1 р. 90 к. Индекс 70331

ЗНАМЯ, № 12—1991 г.

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. Искупить кровью. Повесть

Руслан КИРЕЕВ. Из поздней прозы

Юрий МАЛЕЦКИЙ. Привет из Калифорнии. Рассказ

Артур ХЕЙЛИ. Окончание романа «Вечерние новости»

Письма, неоконченная повесть **Владислава ХОДАСЕВИЧА**

Вадим БАКАТИН. Неизбежная отставка

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 11. 1—240.

ISSN 0130-1616



1991

Ноябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

11

НОЯБРЬ
1991

Содержание

Николай Клюев. Песнь о Великой Матери 3

Татьяна Толстая. Лимпопо 45

Лев Лосев. Стихи 71

Артур Хейли. Вечерние новости. Роман. Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Н. Изосимовой. Продолжение 81

Михаил Айзенберг. Стихи из шестого рукописного сборника 148

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Неизвестный Достоевский

Ф. М. Достоевский. Сцена в редакции 154

Алексей Эйсснер. Из воспоминаний... 160

Публицистика

Г. Померанц. Долгая дорога истории 177

Критика

Ст. Рассадин. Голос из арьергарда 199

Москва
Издательство
«Правда»

Пристальное прочтение

Л. Вильчек, Вс. Вильчек. Эпиграф столетия 219

Между прочим

А. Кабаков. Заметки самозванца 229

В мире журналов и книг

С. Бурин. Советы непостороннего (Джордж Сорос. Советская система: к открытому обществу. М., ИПЛ, 1991) 235

Советуем прочитать

Ирина Слюсарева представляет «новую женскую прозу» 238

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи просим высылать заказной бандеролью,— посылки редакция не принимает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

При перепечатке наших материалов ссылка на «Знамя» обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Николай Клюев

ПЕСНЬ О ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ

Об этой поэме давно ходили слухи и легенды. Современники Клюева вспоминали, как читал поэт отрывки из нее, вписывал в альбомы знакомым. Известен лишь начальный фрагмент, хранившийся в бумагах близкого друга Клюева — художника А. Н. Яр-Кравченко (Н. Клюев. Завещание. М., Библиотека «Огонек», № 22, 1988). В Томске ссыльный поэт часто навещал дом В. В. Ильиной, которая потом вспоминала: «Прекрасны были его отрывки из неоконченной поэмы о матери, особенно в его передаче. Многое он забыл и дополнял просто рассказом. Мы очень просили его записать хоть то, что он помнит, но он этого не сделал и продолжить ее уже не мог...» Однако другой свидетель, литературный критик и литературовед Р. В. Иванов-Разумник, хорошо знавший Клюева и получавший от него письма из ссылки, говорит: «Там он жил в самых ужасных условиях, но продолжал заканчивать «Песнь о Великой Матери» и написал такие стихи, выше которых еще никогда не поднимался...»

Лучшие, самые зрелые и выстраданные стихи Клюева, в том числе и первая часть «Песни», вместе с письмами, хранились в квартире Иванова-Разумника в Пушкине (Царском Селе). И погибли при фашистском нашествии зимой 1941—1942 годов. Была у Иванова-Разумника и вторая часть поэмы, которую он сумел переслать из своей ссылки писателю Николаю Архипову, в то время — хранителю Петергофского Дворца-музея. Тот спрятал рукопись на одной из высоких кафельных печей в дворцовом зале. Но и это не спасло. Вскоре Архипова арестовали, а Петергофский дворец разрушила война.

Поэма была потеряна. Навсегда — так думал и сам Клюев. В июле 1935 года он писал из ссылки жене Сергея Клычкова В. Н. Горбачевой: «Пронзает мое сердце судьба моей поэмы «Песнь о Великой Матери». Создавал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны... Нестерпимо жалко...»

И вот поэма — перед нами, чудесная, как град Китеж, поднявшийся со дна Светлояра.

Что представляет собой рукопись? Это пачка больших листов разного формата, исписанных рукой поэта, его своеобразным почерком, со всеми следами мук творчества — исправлениями, вычеркиваниями, вариантами, пометками. Поэма огромная — около четырех тысяч строк. Пришлось сначала собирать ее, составлять по листочку из вороха разнообразных бумаг. Немалое время ушло на расшифровку, переписку и анализ текста, выяснение темных мест, работу со словарями... Впрочем, время и место для работы на Лубянке, в архиве КГБ (где рукопись пролежала с грифом «Совершенно секретно» пятьдесят семь лет!) — было предоставлено...

Найденная вещь состоит из трех частей, или, как назвал одну из них сам Клюев,— «гнезд». Поэма не закончена, хотя внутри текста есть запись с планом продолжения. Обозначены и годы написания — 1930—1931-й. Там же дан вариант названия — «Последняя Русь».

В самых общих чертах содержание можно определить так: первая часть — юность матери, вторая — детство героя-автора и становление его как певца, народного поэта, третья часть — мировая война, конец старой России и надвигающиеся на нее новые бедствия. История дана изнутри уже советского времени — его Клюев бескомпромиссно рисует как Апокалипсис, царство Антихриста.

Этим, конечно, не исчерпывается содержание,— поэма столь полифонична, многопланова, что вмещает в себя и прошлое, и настоящее, и даже будущее России, то, которое мы сейчас переживаем. Разве не о нас всех в грозный час Чернобыля — вещее слово поэта?

...Тут ниспала полынная звезда,—
Стали воды и воздухи желчью,
Осмердили жизнь человечью.
А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичьей и нерыбной!..

Троцкий, в свое время, верно угадал в Клюеве «двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему». Думал, что заклеймил,— на самом деле воздал хвалу. Так опростоволосилась перед истинным величием «образованность наша вонючая» (выражение Клюева)!

Прообраз главной героини «Песни» — мать поэта Прасковья Дмитриевна. Клюев писал о ней: «Отроковицей прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой... Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебедя и Розу из Шестокрыла, огненные письма протопопа Аввакума и много другого, что потайно осоляет народную душу — слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни...» И еще: «Тысячи стихов моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распевца моей светлой матери...»

Плачея и сказительница, «златая отрасль Аавакума», мать научила поэта грамоте и тайнам слова, укрепила в вере — древней вере предков-старообрядцев. Тут будет кстати напомнить суждение Андрея Платонова о старообрядчестве — этом, еще не разгаданном, скорее загаданном нам явлении: «Старообрядчество— это серьезно, это всемирное принципиальное движение; причем — из него неизвестно что могло бы еще выйти, а из прогресса известно что...».

Кульминация в поэме достигается к концу — это бегство героя и его «посмертного друга» — в нем угадывается Есенин: «Бежим, бежим, посмертный друг, от черных и от красных вьюг!..» — из проклятого настоящего, и навстречу им, за «последним перевалом» — мистическое шествие с хоругвями русских святых. Эта картина, исполненная высшей поэзии и света, не только озарение, в ней заключен громадный провидческий смысл. Христос — не в п е р е д и отряда красногвардейцев, как у Блока, он выходит н а в с т р е ч у поэтам! И слияние душ — живой и иконной — рисуется как подготовка к отплытию в невидимый Град-Китеж, который, по Клюеву,— вовсе не прошлое России, а будущее ее.

Современный Апокалипсис и грядущее преображение, воскресение России — эти темы пронизывают всю поэму. «Песнь» не просто поэтическая мечта, утопия. Клюев родился, чтобы подать нам пророческую весть о глубинной, сокровенной судьбе Родины. Русь — Китеж. Град видимый падет, чтобы в муках поднялся Град Невидимый, чаемый, заветный.

Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведет,
Никола наг, Егорий пеший

Стоят у китежских ворот!.
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!

Жанр поэмы — лирический эпос, сказание, в ней Клюев предстает как единственный в русской, да и во всей мировой поэзии мифотворец двадцатого века. Миф, эпос. Не старое или новое — вечное. Это книга народной судьбы — «мужицкие Веды». Здесь и речи не может быть о какой-то стилизации «под народ», Клюев говорит от имени и голосом народа, он сам — народ. Поэма прямо восходит к «рублевским заветам» — в иконописи и зодчестве, в старопечатных книгах и церковной музыке, но более всего — к фольклору, народному песнетворчеству — или исходит от них. А еще глубже, в человеческой истории, она подхватывает и несет тот священный огонь, который с христианством перешел на Русь от высоких светильников Византии и Эллады.

Виталий ШЕНТАЛИНСКИЙ

Эти гусли — глубь Онега,
Плеск волны палеостровской,
В час, как лунная телега
С грузом жемчуга и воска
Проезжает зыбью лоской,
И томит лесная нега
Ель с карельскою березкой.

Эти притчи — в день Купалы
Звон на Кижах многоглавых,
Где в горящих покрывалах,
В заревых и рыбьих славах
Плещут ангелы крылами.

Эти тайны парусами
Убаюкивал шелоник.
В келье кожаный часовник,
Как совят в дупле смолистом,
Их кормил душистой взяткой
От берестяной лампадки
Перед образом пречистым.

Эти вести — рыбья стая,
Что плывет, резвясь, играя,
Лосось с Ваги, язь из Водлы,
Лещ с Мегры, где ставят мёрды,
Бок изодран в лютой драке

За лазурную плотицу,
Но испить до дна не всякий
Может глыбкую страницу.

Кто пречист и слухом золот,
Злым безверьем не расколот,
Как береза острым клином,
И кто жребием единым
Связан с родиной-вдовицей,
Тот слезами на странице
Выжжет крест неопалимый
И, таинственно водимый
По тропинкам междустрочий,
Красоте заглянет в очи —
Светлой девушке с поморья.

Броженица ли воронья —
На снегу вороньи лапки,
Или трав лесных охапки,
На песке реки таежной
След от крохотных лапотцев —
Хитрый волок соболиный,
Нудят сердце болью нежной,
Как слюду в резном оконце,
Разузорить стих сурьмою,
Команикой и малиной,
Чтоб под крышкой гробовою
Улыбнулись дед и мама,
Что возлюбленное чадо,

Лебеденок их рожоный,
Из железного полона
Черных истин, злого срама
Светит тихою лампадой,—
Светит их крестам, криницам,
Домовищам и колодам!..
Нет прекраснее народа,
У которого в глазницах,
Бороздя раздумий воды,
Лебедей плывет станица!
Нет премудрее народа,
У которого межбровье —
Голубых лосей зимовье,
Бор незнаемый кедровый,
Где надменным нет прохода
В наговорный терем слова! —
Человеческого рода,
Струн и крыльев там истоки...
Но допрядены, знать, сроки,
Все пророчества сбылися,
И у русского народа
Меж бровей не прыщут рыси!
Ах, обожжен лик иконный
Гарью адских перепутий,
И славянских глаз затоны
Лось волшебный не замутит!
Ах, заколот вещий лебедь
На обед вороньей стае,
И хвостом ослиным в небе
Дьявол звезды выметает!

<ЧАСТЬ ПЕРВАЯ>

* * *

А жили по звездам, где Белое море,
В ладонях избы, на лесном косогоре.
В бору же кукушка, всех сказок залог,
Серебряным клювом клевала горох.
Олень изумрудный с крестом меж рогов
Пил кедровый сбитень и марево мхов,
И матка сорочья — сорока сорок
Крылом раздувала заклятый грудок.
То плящий костер из глазастых перстней
С бурмитским зерном, чтоб жилось веселей.
Чтоб в нижнем селе пахло сытой мучной,
А в горней светелке проталой вербой,
Сурмленым письмом на листах Цветника,
Где тень от ресниц, как душа, глубока!

Ах, звезды поморья, двенадцатый век
Вас черпал иконой обильнее рек.
Полнеба глядится в речное окно,
Но только в иконе лазурное дно.

Хоромных святынь, как на отмели гаг,
Чуланных, овинных, что брезжат впотьмах,
Скоромных и постных, на сон, на улов,
Сверчку за лежанку, в сундук от жуков,
На сшив парусов, на постройку ладьи,

На выбор мирской старшины и судьи —
На все откликалась блаженная злать.
Сажали судью, как бобриху на гать,
И отроком Митей (вдомек ли уму?)
«Заклания» образ — вручался ему.
Потом старики, чтобы суд был легóк,
Несли старшине жемчугов кузовок,
От рыбных же весей пекли косовик,
С молоками шаньги, а девичий лик
Морошковой брагой в черпугах резных
Честил поморян и бояр волостных.

Ах, звезды помория, сладостно вас
Ловить по излучинам дружеских глаз
Мережею губ, языка гарпуном,
И вдруг разрыдаться с любимым вдвоем!
Ах, лебедь небесный, лазоревый крин,
В Архангельских дебрях у синих долин!
Бревенчатый сон предстает наяву:
Я вижу над кедрами храма главу,
Она разузорена в лемех и слань,
Цветет в сутемёнки, пылает в зарань.
С товарищи мастер Аким Зяблецов
Воздвигли акафист из рудых столпов,
И тепля ущербы — Христова рука
Крестом увенчала труды мужика.

Три тысячи сосен — печальных сестер
Рядил в аксамиты и пестовал бор;
Пустынные девы всегда под фатой,
Зимой в горностаях, в убрусах весной,
С кудрявым Купалой единожды в год
Водили в тайге золотой хоровод
И вновь засыпали в смолистых фатах.
Линяла куница, олень на рогах
Отметиной пегой зазимки вершил,
Вдруг Сирина голос провеял в тиши:
«Лесные невесты, готовьтесь к венцу,
Красе ненаглядной и саван к лицу!
Отозван Владыкой дубрав херувим, —
Идут мужики, с ними мастер Аким;
Из ваших телес Богородице в дар
Смиренные руки построят стожар,
И многие годы на страх сатане
Вы будете плакать и петь в тишине!
Руда ваших ран, малый паз и сучец
Увидят Руси осиянной конец,
Чтоб снова в нездешнем безбольном краю
Найти лебединую радость свою!»
И только замолкла свирель бирюча,
На каждой сосне воссияла свеча.
Древесные руки скрестив под фатой,
Прощалась сестрица с любимой сестрой.
Готовьтесь, невесты, идут женихи!..
Вместят ли сказанье глухие стихи?
Успение леса поведает тот,
Кто слово, как жемчуг, со дна достает.

Меж тем мужики, отложив топоры,
Склонили колени у мхов и коры
И крепко молились, прося у лесов
Укладистых матиц, кокор и столпов.
Поднялся Аким и топор окрестил:
«Ну, братцы, радейте, сколь пота и сил!»
Три тысячи бревен скатили с бугра

В речную излуку — котел серебра:
Плывите, родные, укажет Христос
Нагорье иль поле, где ставить погост!
И видел Аким, как лучом впереди
Плыл лебедь янтарный с крестом на груди.
Где устье полого и сизы холмы,
Пристал караван в час предутренней тьмы,
И кормчая птица златистым крылом
Отцам указала на кедровый холм.

Церковное место на диво красно:
На утро — алтарь, а на полдень — окно,
На запад врата, чтобы люди из мглы,
Испив купины, уходили светлы.
Николин придел — бревна рублены в крюк,
Чтоб капали вздохи и тонок был звук.
Егорью же строят сусеком придел,
Чтоб конь-змееборец испил и поел.
Всепетая в недрах соборных живет, —
Над ней парусами бревенчатый свод,
И кровля шатром — восемь пламенных крыл,
Развеянных долу дыханием сил.

С товарищи мастер Аким Зяблецов
Учились у кедров порядку венцов,
А рубке у капли, что камень долбит,
Узорности ж кры́лец у белых ракит —
Когда над рекою плывет синева,
И вербы плетут из нее кружева,
Кувшинами кры́лец стволы их глядят,
И легкою кровлей кокошников скат.
С товарищи мастер предивный Аким
Срубили акафист и слышен и зрим,
Чтоб многие годы на страх сатане
Саронская роза цвела в тишине.

Поется: «Украшенный вижу чертог», —
Такой и Покров у Лебяжьих дорог:
Наружу — кузнечного дела врата,
Притвором — калик перехожих места,
Вторые врата серебрятся слюдой,
Как плёсо, где стая лещей под водой.
Соборная клеть — восковое дупло,
Здесь горлицам-душам добро и тепло.
Столбов осетры на резных плавниках
Взыграли горé, где молчания страх.
Там белке пушистой и глубн озер
Печальница твари виет омофор.
В пергаменных святцах есть лист выходной,
Цветя живописной поблекшей строкой:
Творение рая, Индикт, Шестоднев,
Писал, дескать, Гурий — изограф царев.
Хоть титла не в лад, но не ложна строка,
Что Русь украшала сновидца рука!

* * *

Мой братец, мой зяблик весенний,
Поющий в березовой сени,
Тебя ли сычу над дуплом
Уверить в прекрасном былом!

Взгляни на сиянье лазури —
Земле улыбается Гурий,
И киноварь, нежный бакан
Льет в пестрые мисы полян!

На тундровый месяц взгляни —
Дремливей рыбачьей ладьи,
То он же, улов эскимос,
Везет груду перлов и слез!

Закинь невода твоих глаз
В речной голубиный атлас,
Там рыбью отару зограф
Пасет средь кауровых трав!

Когда мы с тобою вдвоем
Отлетным грустим журавлем,
Твой облик — дымок над золой
Очерчен иконной графьей!

И сизые прошвы от лыж,
Капели с берестяных крыш,
Все Гурия вапы и сны
О розе нетленной весны!

Мой мальчик, лосенок больной,
С кем делится хлеб трудовой,
Приветен лопарский очаг
И пастью не лязгает враг!

Мне сиверко в бороду вплел,
Как изморозь, сивый помол,
Чтоб милый лосенок зимой
Укрылся под елью седой!

Берлогой глядит борода,
Где спят медвежата-года
И беличьим выводком дни...
Усни, мой подснежник, усни!

Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт.
Лишь месяц по кости ножом
Тебе вырезает псалом!

<* * *>

Мы жили у Белого моря,
В избе на лесном косогоре:
Отец богатырь и рыбак,
А мать — бледнорозовый мак
На грядке, где я, василек,
Аукал в хрустальный рожок.

На мне пестрядная рубашка,
Расшита, как зяблик, запашка,
И в пояс родная вплела
Молитву от лиха и зла.

Плясала у тетушки Анны
По плису игла неустанно
Вприсядку и дыбом ушко, —
Порты сотворить не легко!
Колешки, глухое гузёнце,
Для пуговки совье оконце.
Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь.

Пожрали сусального волки,
Оконце разбито в осколки,
И детство — зайченок слепой
Заклевано галок гурьбой!

* * *

Я помню зипун и сапожки
Веселой сафьянной гармошкой,
Шушукался с ними зипун:
«Вас делал в избушке колдун,
Водил по носкам, голенищам
Кривым наговорным ножищем,
И скрип поселил в каблуки
От весел с далекой реки!
Чтоб крепок был кожаный дом,
Прямил вас колодкой потом,
Поставил и тын гвоздяной,
Чтоб скрип не уплелся домой.
Аленушка дратву пряла.
От мглицы сафьянной смугла,
И пела, как иволга в елях,
Про ясного Финиста-леля!»
Шептали в ответ сапожки:
«Тебя привезли рыбаки,
И звали аглицким сукном,
Опосле ты стал зипуном!
Сменяла сукно на икру,
Придачей подложку-сестру,
И тетушка Анна отрез
Снесла под куриный навес,
Чтоб петел обновку опел,
Где дух некрещеный сидел.
Потом завернули в тебя
Ковчежец с мощами, любя,
Крестом повязали тесьму —
Повывесть заморскую тьму,
И семь безутешных недель
Ларец был тебе колыбель,
Пока кипарис и тимьян
На гостя, что за морем ткан,
Не пролили мирра ковши,
Чтоб не был зипун без души!

Однажды, когда Растегай
Мурлыкал про масленый рай,
И горенка была светла,
Вспорхнула со швейки игла, —
Ей нитку продели в ушко,
Плясать стрекозою легко.
И вышло сукно из ларца
Синё, бархатисто с лица,
Но с тонкой тимьянной душой...
Кроил его инок-портной,
Из желтого воска персты...
Прекрасное помнишь ли ты?»
Увы! Наговорный зипун
Похитил косматый колдун!

* * *

Усни, мой совенок, усни!
Чуть брезжат по чумам огни, —
Лапландия кроткая спит,
За сельдью не гонится кит.

Уснули во мхах глухари
До тундровой карей зари,
И дремам гусиный базар
Распродал пуховый товар!

Полярной березке светляк
Затеплил зеленый маяк, —
Мол, спи! Я тебя сторожу,
Не выдам седому моржу!

Не дам и корове морской
С пятнистою жадной треской,
Баюкает их океан,
Раскинув, как полог, туман!

Под лыковым кровом у нас
Из тихого Углича Спас,
Весной, васильками во ржи,
Он веет на кудри твои!

Родимое, сказкою став,
Пречистей озерных купав,
Лосенку в затишьи лесном
Смежает ресницы крылом:
Бай, бай, кареглазый, баю!
Тебе в глухарином краю
Про светлую маму пою!

* * *

Как лебедь в первый час прилета,
Окрай проталого болота,
К гнезду родимому плывет
И пух буланый узнает,
Для носки пригнутые травы,
Трепещет весь, о стебель ржавый
Изнеможенный чистя клюв,
На ракушки, на рыхлый туф
Влюбленной лапкой наступает,
И с тихим стоном оправляет
Зимой изгрызенный тростник, —
Так сердце робко воскрешает
Среди могильных павилик
Купавой материнский лик,
И друга юности старик —
Любимый, ты ли? — вопрошает,
И свой костыль — удел калик
Весенней травкой украшает.

* * *

У горенки есть много таин,
В ней свет и сумрак не случаен,
И на лежанке кот трехмастный
До марта с осени ненастной
Прядет просонки неспроста.
Над дверью медного креста
Неопалимое сиянье, —
При выходе ему метанье,
Входящему — в углу заря
Финифти, черни, янтаря,
И очи глубже океана,
Где млечный кит, шатры Харрана,
И ангелы, как чаек стадо,
Завороженное лампадой —
Гнездом из нитей серебра,
Сквозистей гагачья пера.
Она устюжского сканья,
Искусной грани и бранья,
Ушки — на лозах алконосты,
Цепочки — скреп и звеньев до ста,
А скал серебряник Гервасий,
И сказкой келейку ускрасил.
Когда лампаду возжигали
На Утоли Моя Печали,
На Стратилата и на пост,
Казалось, измарагдный мост
Струился к благостному раю,
И серафимов павью стаю,
Как с гор нежданный снегопад,
К нам высылает Стратилат!

Суббота горенку любила,
Песком с дерюгой, что есть силы,
Полы и лавицы скребла
И для душистого тепла
Лежанку пихтою топила,
Опосле охрой подводила
Цветули на ее боках...
Среда — вдова, Четверг — монах,
А Пятница — Господни страсти.
По Воскресеньям были сласти —
Пирог и команичный сбитень,

Медушники с морошкой в сыте,
И в тихий рай входил отец.
«Поставить крест аль голубец
По тестю Митрию, Параша?»
«На то, кормилец, воля ваша»...
Я голос из-под плата слышал,
Подобно голубю на крыше,
Или свирели за рекой.
«Уймись, касатка! Что с тобой?
Покойному за девяносто...»
Вспорхнув с лампады, алконосты
Садились на печальный плат,
И была горенка, как сад,
Где белой яблоней под платом
Благоухала жизнь богато.

* * *

Ей было восемнадцать весен,
Уж Сирин с прозелени сосен
Не раз налаживал свирель,
Чтобы в крещенскую метель
Или на красной ярой горке
Параше, по румяной зорьке,
Взыграть сладчайшее люблю...
Она на молодость свою
Смотрела в веницейский складень,
При свечке, уморяся за день,
В большом хозяйстве хлопоча.
На косы в пядь, на скат плеча
Глядело зеркало со свечкой,
А Сирин, притаясь за печкой,
Свирель настраивал сверчком,
Боясь встревожить строгий дом
И сердце девушки пригожей.
Она шептала: «Боже, Боже!
Зачем родилась я такой, —
С червонной, блёскою косой,
С глазами речки голубее?!
Уйду в леса, найду злодея,
Пускай ограбит и прибьет,
Но только душеньку спасет!..
Люблю я Федю Стратилата
В наряде, убраном богато
Топазием и бирюзой!..
Егорья с лютою змеей, —
Он к Алисафии прилежен...
Димитрий из Солуня реже
Приходит грешнице на ум,
И от его иконы шум
Я чую вещий, многокрылый...
Возьму и выйду за Вавила,
Он смолокур и древодел!..»
Тут ясный Сирин не стерпел
И на волхвующей свирели,
Как льдинка в икромет форели,
Повывел сладкое «люблю»...
Метель откликнулась: фи-ю!..
Параша к зеркалу все ближе,
Свеча горит и бисер нижет,
И вдруг расплакалась она —
Вавилы рыжего жена:
«Одна я — серая кукушка!..
Была б Аринушка подружка, —
Поплакала бы с ней вдвоем!..»
За ужином был свежий сом.
«К Аринушке поеду, тятя, —
Благословите погостить!»
«Кибитку легче на раскате, —
Дорога ноне, что финить,
В хоромах векше не сидится!..»
Отец обычаем бранится.

* * *

На петухах легла Прасковья, —
Ей чудилось: у изголовья
Стоит Феодор Стратилат,
Горит топазием наряд,
В десной — златое копие.
Победоносец на коне,
И япанча — зари осколок...
В заранки с пряжею иголок
Плакуша ворох набрала
И села, помолясь, за пяльцы;
Но не проворны стали пальцы
И непослушлива игла.
Знать перед утренней иконой
Она девических поклонов
Одну лишь лестовку прошла.

Слагали короб понемногу...
И Одигитрией в дорогу
Благословил лебедку тятя.
«Кибитку легче на раскате,
Дорога ноне, что финить!
Счастливо, доченька, гостить,
Не осрами отца покрутой!..»
Шесть сарафанов с лентой гнутой,

Расшитой золотом в Горицах,
Шугай бухарский — пава птица —
По сборкам кованый галун,
Да плат — атласный Гамаюн —
Углы отливом, лапы, меты, —
В изъяне с матери ответы.
Сорочек пласт, в них гуси спят,
Что первопуток серебрят.
К ним утиральников стопой,
Чтоб не утерлася в чужой,
Не перешла б краса к дурнушке,
Опосле с селезня подушки,
Афонский ладон в уголках —
Пугать лукавого впотьмах.
Все мать поклала в коробью,
Как осетровый лов в ладью,
А цельбоносную икону
По стародавнему канону
Себе повесила на грудь,
Чтоб пухом расстилался путь.
Простилась с теткой-вековушей,
Со скотьей бабой и Феклушей,
Им на две круглые недели
Хозяйство соблюдать велели.
И под раскаты бубенца
Сошли с перёного крыльца.

Кибитка сложена на славу!
Исподом выведены травы
По домотканому сукну,
В ней сделать сотню не одну
И верст, и перегонов можно.
От вьюги синей подорожной
У ней заслон и напередник,
Для ротозеев хитрый медник
Рассыпал искры по бокам,
На спинку же уселся сам
Луною с медными усами,
И с агарянскими белками,
В одной руке число и год,
В другой созвездий хоровод.

Запряжены лошадки гусем,
По дебреиской медвежьей Руси
Не ладит дядя Евстигней
Моздокской тройкою коней.
Здесь нужен гусь, езда продолом,
В снегах и по дремучим долам,
Где волок верст на девяносто, —
От Соловецкого погоста
До Лебединого скита,
Потом Денисова креста
Завьются хвойные сузёмки, —
Не хватит хлебушка в котомке
И каньги в дыры раздерешь,
Пока к ночлегу прибредешь!
Зато в малёваной кибитке,
Считая звезды, как на свитке,
И ели в шапках ледяных,
Как сладко ехать на своих
Развалистым залётным гусем
И слышать: Господи-Исусе!
То Евстигней, разиня рот,
В утробу ангела зовет.

Такой дорогой и Прасковья
Свершила волок, где в скиту
От лиха и за дар здоровья
Животворящему Кресту
Служили путницы молебен.
Как ясны были сосны в небе!
И снежным лебедем погост,
Казалось, выплыл на мороз
Из тихой заводи хрустальной!
Перед иконой огнепальной
Молились жарко дочь и мать.
Какие беды их томили
Из чародейной русской были
Одной Всепетой разгадать!

«Ну, трогай, Евстигней, лошадок!..»
«Как было терпко от лампадок...» —
Родной Параша говорит
Под заунывный лад копыт.
«Отселе будет девяносто...»
Глядь, у морозного погоста,
Как рог у лося, вырос крин,
На нем финифтяный павлин,
Но светел лик и в ряснах плечи...
«Не уезжай, дитя, далече!..»
Свирелит он дурманней сот
И взором в горнее зовет,
Трепещет, отряхаясь снежно...
Как цветик, в колее тележной
Под шубкой девушка дрожит:
«Он, он!.. Феодор... бархат рыт!..»

* * *

На небе звезды, что волвянки,
Как грузди на лесной полянке,
Мороз в оленьем совике
Сидит на льдистом облучке.
Осыпана слюдой кибитка,
И смазней радужная нитка
Повисла в гриве у гнедка.
Не избяного огонька

И не овинного дымка —
Все лес да лес... Скрипят полозья...
Вон леший — бороденка козья —
Нырнул в ощерое дупло!
Вот черномазое крыло —
Знать бесы с пакостною ношей...
«Он, он!.. Рыт бархат... Мой хороший!..» —
Спросонок девушка бормочет,
И открывает робко очи.

У матушки девятый сон —
Ей чудится покровский звон
У лебединых перепутий,
И яблоки на райском пруте,
И будто девушка она
В кисейно пенном сарафане,
Цветы срывает на поляне.
А ладо смотрит из окна
В жилетке плисовой с цепочкой.
Опосле с маленькою дочкой
Она ходила к пупорезке
И заблудилась в перелеске.
Ау! Ау!.. Вдруг видит — леший
С носатым вороном на плеши.
«Ага, попалась!..» «Ой, ой, ой!..»
«Окстись! Что, маменька, с тобой?..»
И крепко крестится мамаша.
«Ну вот и палестина наша!» —
Мороз зашмакал с облучка.
Трущобы хвойная рука
В последки шарит по кибитке,
Река дымится, месяц прыткий,
Как сиг в серебряной бадье,
Ныряет в черной полынье. —
Знать ключевые здесь места...
Над глыбкой чернью брезг креста
Граненым бледным изумрудом.
Святой Покров, где церковь-чудо!
Ее Акимушка срубил
Из инея и белых крыл.
Уже проехали окраи...
Вот огонек, собачьи лаи,
Густой, как брага, дых избы
Из нахлобученной трубы.

Деревня, милое поморье,
Где пряха тянет волокно,
Дозоря светлого Егорья
В тысячелетнее окно!
Прискачет витязь из тумана,
Литого золота шелом,
Испепелить Левиафана
Двоперстным огненным крестом!
Чтоб посолонь текли просонки,
Медведи-ночи, лоси-дни,
И что любимо искони
От звезд до крашеной солонки
Не обернулось в гать и пни!
Родимое, прости, прости!
Я, пес, сосал твои молоки
И страстнотерпных гроздий соки
Извергнул желчью при пути!
Что сталося со мной и где я?
В аду или в когтях у змея,
С рожком заливчатым в кости?
Как пращуры, я сын двоперстья,
Христа баюкаю в ночи,
Но на остуженной печи
Ни бубенца, ни многоверстья.
Везет не дядя Евстигней
В собольей шубоньке Парашу —
Стада ночных нетопырей
Запряжены в кибитку нашу,
И ни избы, ни милых братьев
Среди безглазой тьмы болот,
Лишь пни горелые да гати!
Кибитку легче на раскате —
Рыданьем в памяти встает.
Спаси нас, Господи Исусе!
Но запряглися бесы гусем, —
Близки знать адские врата.
Чу! Молонья с небесных взгорий!
Не жжет ли гада свет Егорий
Огнем двоперстного креста?!

* * *

Умыться сладостно слезами,
Прозрев, что сердце соловьями,
Как сад задумчивый, полно,
Что не персты чужих магнолий,
А травы Куликова поля
К поэту тянутся в окно!

Моя Параша тоже травка,
К ее безбровью камилавка
С царьградской опушью пошла б.
В обнимку с душенькой Аришей
Она уснула, мягко дышит,
Перемогая юный храп.
Так молодая куропатка,
Морошкою наполнив сладко
Атласистый крутой зобок,
Под комариный говорок,
Себя баюкает — кок, кок!
Мне скажут — дальше опиши
Красу двух елочек полесных!
Побольше было в них души,
Чем обольщений всем известных.

Вот разве косы — карь и злать —
Параше заплетала мать
На канифасовых подушках,
А далее... Моя избушка
Дымится в слове на краю, —
Я свет очей моих пою!

Торопит кулебяку сбитень:
«Остыну, гостейку будите!
Уже у стряпки Василисы
Полны суденцы, крынки, мисы,
В печи вотрушка-кашалот,
И шаньги водят хоровод,
Рогульки в масленном потопе,
Калач в меду усладу копит,
И пряник пестрым городком,
С двуглавым писаным орлом,
Плывет, как барка по Двине,
Наперекор ржаной стряпне!
А в новом пихтовом чулане,
Завялым стогом на поляне,
Благоухает сдобный рай...» —
Хоть пали гости невзначай,
Как скатерть браная с сушил...
«Ахти, касатики, остыл! —
Торопит кулебяку сбитень. —
Скорее девушек будите!»
Уже умылись, чешут пряди,
Нельзя в моленной не в обряде
Поклоны утренние класть,
За сбитнем же хозяин — власть,
Еще осудит ненароком —
Родительское зорко око!
На Пашеньке простой саян,
В нем, как березка, ровен стан,
И косы прибраны вязейкой,
Аринина же грудь сулейкой
И в пышных сборках сарафан,
В Сольвычегодске шит и бран.
Красна домашняя моленна,
Горя оковкою басменной,
Иконы — греческая прорись,
Что за двоперстие боролись,
От Никона и Питирнма
Укрыла их лесная схима.
Параша — ах!.. Как осень, злат,
Пред ней Феодор Стратилат.
Мамаша ахнула за дочкой,
Чтоб первый блин не вышел кочкой.
Как бы на греческую вязь
По бабьей простоте дивясь.
Опосле краткого канона
Пошли хозяину поклоны.
«Здоров ли кум? Здоров ли сват?
Что лов семуженый богат,
На котика в Норвегах цены,
Что в океане горы пены —
Того гляди прибьет суда!
Как Пашенька?.. Моя — руда!»
И девушка, оправя косы,
Морскому волку на вопросы
Прядет лазурный тихий лен.
«Мои хоромы — не полон,
И гости — не белуга в трюме!
Без дальних, доченька, раздумий
Зови подруг на посиделки!..»
«Ох, батюшка, плетешь безделки,
Не для Параши вольный дух!..»
«Тюлень и под водою сух!..
Еще молодчиков покраше,
Авось, приглянутся Параше,
Не мы — усатые моржи!..»
Что куколь розовый во ржи,
Цвели в прирубе посиделки.
Опосле утушки и белки
Пошли в досюльный строгий шин.
«Я Федор, Калистрата сын,
Отложьте прялицу в сторонку!..»
И вышла Пашенька на гонку.
Обут детинушка в пимы,
И по рубахе две каймы
Испещрены лопарским швом.
«Заплескала сера утушка крылом,
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Добру молодцу поклоны до земли!
Ты на реченьке крыла не полощи,
Сиза селезня напрасно не ищи!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Выплывали в сине море корабли!
Сизый селезень злым кречетом убит,
Под зеленою ракитою лежит!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Во лузях цветы лазоревы цвели!
Еще Федор Парасковьюшку
Не ищи по чисту полюшку!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!
Поклевали те цветочки журавли!
Парасковья дочь отецкая,
На ней скрута не немецкая!
Ой-ли, ой-ли, ой-ли!

Серу утушку ко прялке подвели...»
Все девушки: «Ахти-ахти!
Красивее нельзя пройти
Размеренным досюльным шином
Речной лебедушке с павлином!..»
«Спасибо, Федор Калистратыч!..
Подладь у прялки спицу на́ стычь!..»
И поправляет паслю он,
Лосенок, что в зарю влюблен.
И кисть от пояса на спице
Алеет памяткой девице:
Мол, кисточкой кудрявый Федя
В кибитке с лапушкой поедет.
Запело вновь веретено...
Глядь, филин пялится в окно!
Не ясно видно за морозом.
Перепорхнул к седым березам,
Ушаст, моржовые усы...
Хозяин!.. У чужой красы!..
Но вьются хмелем посиделки —
Детина пляшет под сопелки
То голубым песцом в снегах,
То статным лосем в ягелях,
Плакучим лозняком у вод —
Заглянет в омут и замрет,
В лопарских вышивках пимы...
Чу! Петухом из пегой тьмы
Оповещает ночь полати,
Лежанки, лавицы, кровати,
Что сон за дверью в кошелях
Несет косматых росомах
И векшу — серую липушу
Угомонить людскую душу!

* * *

Как лен, допрялася неделя.
Свистун поземок на свирелях
Жалкует, правя панихиды,
И филин плачет от обиды,
Что приморозил к ветке хвост.
На вечереющий погост
Зарница капает сусалом.
Вон огонек, там в срубце малом
Живет беглец из Соловков —
Остатний скрытник и спасалец,
Ночной печальник и рыдалец
За колыбель родных лесов.
И стало горестно Параше,
Что есть молитва за леса, —
Неупиваемые чаши
Земле готовят небеса.
Сподоби, Господи, сподоби
Уснуть невестой в белом гробе
До чаши с яростной полынью!..
А вечер манит нежной синью,
И ель, как схимник в манатейке...
«Не приросла же я к скамейке!
Пойду к отцу Нафанаилу
Пожалковать на вражью силу,
Что ретивое мне грызет!»
Сама не зная как по крыльцам
Она бежит, балясин рыльца
Собольим рукавом метет,
Спеша испить от ярых сот.
Вот на сугробе волчий след,
Ни огонька, ни сруба нет.
Вот слезка просочилась в ели.
Тропинку выкрали метели...
Опять сугроб — медвежья шапка...
Ай, волк, что растерзал арапка!
Бирюк матер, зеленоглаз,
Знать утка выплыла не в час!
Котлом дымится полынья...
«Пусть растерзает и меня,
Чтоб не ходила красным шином!..»
Касатка в стаде ястребином,
Бесстрашна внучка Аввакума.
В тенётах сокол — в сердце дума
Затрепетала по борьбе
Без терпкой жалости к себе.
И как Морозова Федосья,
Оправя мокрые волосья,
Она свой тельник золотой,
Не чуя, что руда сгорает,
Над зверем, над ощерой тьмой
Рукою трезвой поднимает
И трижды грозно осеняет!
Как от стрелы, метнулся волк,
Завыл, скликая бесов полк,
И в миг издох... Параша к срубу,
Слюдою осыпая шубу
И обронив с косы вязейку,
Упала в сенцах на скамейку.
Пахнуло тепелью от сердца...
Омыты тишиною сенцы.
Вот гроб колодовый, на нем,
Пушистым кутаясь хвостом,
Уселась белка буквой в святцах...
«С рассудком видно не собраться...»

Чу! В келье плач глухой и палый!..
«Что, Парасковьюшка, застряла?
На темя капают слова,
Уймися, девка не вдова!..
Намедни спрос чинил я белке:
Что, полюбились посиделки
У сарафанистой Ариши?
Запрыскала, усами пишет,
На Федьку сердится... Да, да!
Плыви, лебедушка, сюда!»
И очутилась Паша в келье.
Какое светлое веселье!
Пред нею в мантии дерюжной,
Не подъяремный и досужный,
Сиял отец Нафанаил.
Веянием незримых крыл
Дышали матицы, оконце...
«Не хошь ли сусла с толоконцем?
Вот ложка — корабли по краю!
Ведь новобрачную встречаю, —
Богато жить да сусло пить!..»
«Я, батюшка!..» «Эх, волчья сыты!» —
И старец указал брадою.
Возрилась гостья, что такое?
Хозяин... Морж... стоит у печи,
Усы в слезах, как судно в течи,
Как паруса в осенний ливень!..
«Мотри, голубка, Спас-от дивен,
Не́ поругаем никогда!..»
«Ах, батюшка!..» «Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы, —
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки,
Златые роспиты напитки,
И у святых корсунских врат
Топор острит свирепый кат!..
В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон — вестник страха,
Святители лежат в коросте,
И на обугленном погосте,
Сдирая злать и мусикию,
Родимый сын предаст Россию
На крючья, вервие, колеса!..
До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживет,
В последний раз пригубить мед
От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..»
И старец скрылся в подземельи.
Березкой срубленой средь кельи
Лежит Параша на полу,
И как к лебяжьему крылу
Припал к ней морж в ребячьем страхе,
Не смея ворота рубахи
Тяжелым пальцем отогнуть,
И не водой опрыскал грудь,
А долголетними слезами,
Что накопил под парусами.
«Моя любовь, мой осетренок!..»
Легка невеста, как ребенок,
Для китобойщика руки.
Через сугробы, напрямки,
На избяные огоньки,
Понес ларец бирюк матерый...

Цветут сарматские озера
Гусиной пра́зеленью, синью...
Не запрокинут рог с полынью
В людские веси, в темный бор,
Где тур рогатый и бобер.
Парашу брачною царевной,
В простой ладье, рекой напевной,
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой ея удел.
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сел.
Дубовый терем тих и мирен,
Ордынский не грозит полон,
И в горнице двуглавый Сирин
Поет Кирие елейсон.
И снится Паше гроб убраный,
Рубин востока смертью взят,
Отныне кто ее желаный?
Он, он, в кольчуге филигранной,
Умбрийских красок Стратилат!
Дочитан корсунский псалтырь,
Заключена колода в клети,
И Воскресенский монастырь
Рубин баюкал шесть столетий.
Но вот очнулася она
От рева, посвиста и гама, —
Топор разламывает мрамор,
Бежит от гроба тишина,
И кто-то черный пятерню
К сидонским перлам жадно тянет...
«Знать угорела в чадной бане!
Ходила к старцу по кутью,
Да волка лютого спужалась...
Иль домовой... На губках алость!..

Иль ворон человечий зуб
Занес на девичий прируб —
Примета злая!..» Так над ладой,
Стрижами над вечерним садом,
Гуторил пестрый бабий рой.
И как тростник береговой,
Примятый бурею вчерашней,
Почуя ласточек над пашней,
К лазури тянет лист и цвет,
Так наша ладушка в ответ
На вопли матери, сестрицы,
Раскрыла тяжкие ресницы.

От горницы до черной клети,
На василистином совете,
У скотьей бабы в повалуше,
Решили: порча девку сушит!
Могильным враном на прируб
Обронен человечий зуб.
Ох, ох! Хвороба неминуча,
Голубку до смерти замучит!
Недаром полыньи черны
И волчьи зубы у луны!
Не домекнет гусыня мать
Поворожить да отчитать!
И вот Аринушка с Васихой,
Рогатиной на злое лихо,
Приводят в горенку ведка́,
В оленьих шкурах старика,
В монистах из когтей медвежьих.
По желтой лопи, в заонежьях,
По дымным чумам Вайгача,
Трепещут вещего сыча.
Он темной древности посланец,
По яру — леший, в речке — сом,
И даже поп никонианец
Дарил шамана табаком.
Кудесник не томил Парашу,
Опрыскав каменную чашу
Тресковой желчью, дудку взял
И чародейно заиграл:
Га-га-ра га-га сайма-ал,
Ай-ла учима трю-вью-рю,
Ты не ходила по кутью!
Одна болезнь, чью-ри-чирок,
Что любит девку паренек!..
Но, айна-ала чам-ера,
Вдовец, чам-ра, убьет бобра!..
Вставай, вставай! Медведю пень,
Гагаре же румяный день!..
«Ох, дедушка, горю, горю!..
Отдайте серьги лопарю,
И ленту, шитую в Горицах!..»
А уж ведун на задних крыльцах:
Арина с теткой Василистой
Уладили отчитки чисто.

* * *

Поморский дом плывет китом,
Ему смарагдовым копьем
В предутрия, просонки, зори
Указывает путь Егорий.

Столетие, мгновенье, день —
Копье роняет ту же тень
Все на восток, где Брама спит, —
С ним покумиться хочет кит.

Все на восток, где сфинкс седой
Встает щербатой головой,
Печаль у старого кита
Клубится дымом из хребта.

Скрипят ворота — плавники —
Друзья все так же далеки,
Им с журавлями всякий год
Забытый кум поклоны шлет.

Сегодня у него в молоке,
Где сердца жаркие истоки,
О тайне сумерек лесных
Поют две птахи расписных.

Аринушка с душой Прасковьей,
Два горностая на зимовье,
В светелке низенькой сошлись
И потихоньку заперлись.
«Крепки затворы, нас не слышат», —
Поет малиновкой Ариша, —
«Уснула лавка, потолок
И кот — пузатый лежебок,
А домовому за лежанку
Положим черствую баранку,
Чтоб грыз досужливым сверчком!..»
«Не обернулась бы грехом
Беседа наша!..» «Что ты, Паня!
Отмоемся золою в бане,
Оденем новые станушки,
Чай не тонули в пьяной кружке!»
«Аринушка, я виновата!..»
«С Федюшей, сыном Калистрата?..»
«Ох, что ты, что ты!.. Видит Бог...
Живой не выйти за порог!..»

«Так кто ж обидчик?..» «Твой отец...»
«Окстись, Параня!.. Пес, выжлец!..
Повыйдет матушка из гроба!..»
«Тогда, у волчьего сугроба,
Спознала я свою судьбу...
Прости, Владычица, рабу!
Святый Феодор Стратилат,
Ты мой жених и сладкий брат!
Тебе вручается душа,
А плоть, как стены шалаша,
Я китобойцу отдаю!..»
(Свирель от иконы:)
С тобою встретимся в раю!
«Аринушка, ты слышишь гласы?..»
«Ах он выжлец, кобель саврасый!..
Повыйду замуж не в угодье
За калистратово отродье,
За Федьку в рыболовный чум!..»
«В горящих письмах Аввакум
Глаголет: детушки, горите!..
Я нажилась в добре и сыте,
Теперь сгорю огнем тягучим,
Как в море лодка без уключин,
О камни груди разобью!..»
(Свирель от иконы:)
С тобою встретимся в раю!..
«Аринушка, поет свирель!..»
«То синеперая метель...»
«Подруженька, люби Федюшу,
Ему отдай навеки душу!...
Целуй покрепче да ласкай,
Ведь по хозяйке каравай —
Пригож, волосья — красный яр,
Смолистый кедр в лесной пожар
Он опаляет!..» «Что ты, Паня?
Аль любишь?.. Знала бы заране,
Тебе бы сердца не открыла...»
«Пророчество Нафанаила —
Мне быть супругою вдовца
И твоего ласкать отца!..
А Феде — белому оленю,
Когда посадит на колени
Он ясноглазую дочурку,
Скажи, что рысь убила... курку!
Что поминальный голубец
Дознает повести конец!..
Ты любишь Федора, Арина?..»
«Под осень не тряси осины,
Не то рудою изойдет!..
Олень же вербу любит яро...»
Тут кит дохнул морозным жаром,
И из его оконных глаз
Полился желтый канифас,
Потом кауровый камлот,
Знать офень-вечер у ворот
Огнистый короб разложил —
Мохры, бубенчики, гужи...
Но вот погасла чудо полка. —
Дудец запел перед светелкой,
То Федя — нерполова сын
Идет в метелицу один,
И в синеперой ранней мгле,
На непонятном веселе,
Как другу, жалостной волынке
Вверяет милые старинки:

Пчелы белояровыя-а-а-а!
Тю вью верею павы я-а-а-а!
Ко двору-двору,
Ту-ру-ру-ру-ру,
К Парасковьину
Прививалися-а-а-а!
У медведя животы,
Ах, по меду у топты-ы-ы-
Гина растужилися-а-а-а!..
Ах, пошел медведь
На поклоны в клеть —
Ти-ли вью-вью-вью,
Пиво во-во, да люблю-ю-ю!..
Парасковья свет
Подала ответ:
Ох, да медведь косолап,
Лапой сам зацап!..
Трю-вью, ох да я —
Пчелы белояровыя-а-а-а!

* * *

Тебе, совенок кареглазый,
Слюду и горные топазы,
Морские зерна, кремешки
Я нижу на лесу строки.

Взгляни, какое ожерелье,
Играет радугою келья,
И шкуры золотистой ржи
В родимом поле у межи!

Шепни, дитя, сквозь дымку сна:
Ну, молодчина, старина!..

Но звезды спят, всхрапнул очаг,
В дупло забился филин-страх.

Тебе на мерную лесу
Я нижу яхонтом слезу,
А сердца алый уголек
Стяну последним в узелок!

Я знаю, молодость прошла,
Вернется филин из дупла
Вцепиться в душу напослед,
Чтоб навсегда умолкнул дед!

Как прялка, голос устает,
И ульи глаз не точат мед,
Лишь сединою борода
Цветет, как травами вода

Среди болотных мочежин...
Усни, дитя, изгнанья сын!
Костлявой смерти на беду
Я нить звенящую пряду.

И, может быть, далекий внук
Уловит в пряже дятла стук,
В кострике точек и тире
Гусиный гомон на заре.
По дебрям строк медвежий
след

Слепым догадкам даст ответ,
Что из когтей Руси дудец
Себе нанизывал венец.
Что лесовик дуду унес
В глухую топь, в пургу,
мороз!..
Но скучно внуков поминать,
Целуя пепельную прядь.
Им Погорельщины угли
Мы в груду звонкую сгребли,
Слова же сук, паук и внук
Напоминают дятла стук.
Чуждаясь осминогих слов,
Я смерть костлявой звать готов
И прялке прочу в женихи
Ефрема Сирина стихи!

<* * *>

. . . .
Господи владыко,
Метелицей дикой
Сжигает твое поморье!
Кибитку, шубоньку соболью,
Залетную русскую долю.
Бубенец и копье Егорья!..

Уймись, умолкни, сердце!
Вон пряничною дверцей
Скрипит зари изба, —
В реку упали крыльца,
Наличники, копыльца,
Резная городьба.

Живет Параша дома —
Без васильков солома
Пустая полова.
Неделя канет за день,
Но в веницейский складень
Не падает коса.

Не окунутся руки
От девичьей прилуки
В заморское стекло.
В приятстве моль со свечкой,
И не цветет за печкой
Сусальное крыло.

Ау, прекрасный Сирин!
В тиши каких кумирен
Твой сладостный притин?
Уж отплясали святки
Татарские присядки,
Эх-ма и брынский трын.

На постные капели,
На дымчатые ели
Не улыбнется
Плющиха Евдокия
Снежинки голубые
Сбирает в решето.

Глядь, Алексей калика
Из бирюзы да лыка
Сплетает неводок,
И веткой Гавриила
В оконце к деве милой
Стучится ветерок.

Почуяла Прасковья,
Что кончилось зимовье —
Христос во гробе спит,
Что ноне дедов души
По зорьке лапти сушат
У голубцов да плит.

Утечь бы солнопеком,
Доколе видит око,
В лазоревый Царьград —
Там лапушку приветит
В незаходимом свете
Феодор Стратилат!

Написано в Прологе,
Что встретил по дороге
Отроковицу мних,
Кормил ее изюмом,
И вторя травным шумам,
Слагал индийский стих.

Узорно бает книга,
Как урожаем рига,
Смарагдами полна.
Уйду на солнопеки,
В индийский край далекий,
Где зори шьет весна!

И вот от скотьей бабы
В узлу коты-расхлябы
Да нищая сума,
Затих базар сорочий,
И повернулась к ночи
Небесная корма.

За ужином Прасковья
Спросила о здоровье
Любимого отца.
К родимой приласкалась,
Знать в час, на щеки алость
Струилась от светца.

Уж мглицы да потемы
Закутали хоромы
В косматый балахон.
Низги затренькал в норке,
И снится холмогорке
В хлеву зеленый сон.

В котах, сума коровья,
Повышла Парасковья
На деревенский зад
И в голубые насты,
Где жуть да ельник частый,
Отправилась в Царьград.

Бегут навстречу елки —
«К нам гостья из светелки», —
И тянут лапы ей.
Ой, пенышки, макушки,
Не застите кукушке
На Индию путей!

Глядит, с развалом сани,
В павлиньих перья Ваня —
Купецкий ямщичек:
«Садитесь, ваша милость,
К заутрене на клирос
Примчу за целкачок!»

Летит беркутом карий,
Вон огоньки на яре —
Из грошиков блесия,
Чай в Цареграде бабы
Не ждут через ухабы
Павлиного коня?

Подъехали к палатам, —
Горя парчовым платом,
Хозяйка на крыльце:
«Раба Парасковия,
Вот бисеры драгие
И маргарит в ларце!»

Как в смерти дивно Паше!
А горницы все краше,
Благоуханней сот.
Она пчелою дале
И Утоли Печали
В хозяйке узнает!

«Вот горенка Миколы,
Подснежники — престолы,
На лавке лапоток.
Здесь — Варлаам с Хутиня
И матерь слез — пустыня,
Одетая в поток.

Иона яшезерский,
С уздечкой, цветик
сельский, —
Из Веркольска Артём.
Се — Аввакум горящий,
Из свитка, меда слаще,
Питается огнем!

На выструге ж в светлице,
Где будут зори шиться,
Для гостьюшки покой.
Черемухою белой
Пройдя земное тело,
В него войдешь душой!

Как я, вдовцом укрыта,
Ты росною ракитой
Под платом отцветешь
И сына сладкопевца
Повыпустишь из сердца,
Как жаворонка в рожь!

Он будет нищ и светел —
Во мраке вещий петел —
Трубить в дозорный рог,
Но бесы гнусной грудой
Славянской песни чудо
Повергнут у дорог.

Запомни, Параскева —
Близка година гнева,
В гробу святая Русь!..
Чай, опозднился Ваня,
Продрогли с карим сани.
Прощай!..» «Я остаюсь!..

Владычица!.. Мария!..»
Кругом места глухие.
Сопит глухарь-рассвет.
И глухо сердце млеет...
Пролей, Господь, елеи
На многоскорбный след!

Страшат беглянку дебри,
Уж солнышко на кедре
Прядет у векш хвосты,
Проснулся пень зобатый.
Присесть бы... Пар от плата
И снег залез в коты.

Когтит тетерку кречет,
И дупла словно печи,
Повыкрал враг суму.
Прощай, любимый тятя,
Кибиткой на раскате
Я брошена во тьму!

Но что за марь прогалом, —
Ужели в срубце малом
Спасается бегун?
Скорей к нему в избушку,
За нищую пирушку,
Где кот — лесной баюн!

Как цепки бурееломы!..
Наверно, скрытник дома —
Округок ни следка.
Ай, увязают ноги!..
А уж теплом берлоги
Обожжена щека.

Ай, на хвосте у белки
Медвежьи посиделки
Параше суждены!
В шубейке, легким комом,
Лежать под буреломом
До ангельской весны!

Во те поры топтыгин,
Бегун с дремучей Выги,
Усладный видел сон, —
Как будто он в малине,
Румяной, карей, синей,
Берет любовь в полон.

Как смерть, сильна дремота,
Но завести охота
Звериную семью.
Храпя, слюнявя ветки,
Он обнял напоследки
Разлапушку свою.

Еще снега округой,
И черная лешуга
К просонкам не зовет...
На быстрых лыжах Федя
Спешит силки проведать
Пока солноворот.

Нейдет лукавый соболь,
Рядками ли, особо ль
На лазах петли ставь!
Верст сорок от становищ,
По дебрям дух берложищ —
С оглядкой лыжи правь.

Прошит сугроб котами, —
По ярам соболями
Не бабе промышлять!
Где пень — сума коровья,
Следы же до логовья, —
Там хворост лижет чадь.

Насупился Федюша
И иу, как выдра, слушать,
Заглядывать в суму.
Мережкой ловят уши,
Как белка лапки сушит,
Лишайник бахрому.

Сума же кладом дразнит,
В ней правит тихий праздник
Басменный образок
И с кисточкой вязейка...
Но где же душегрейка
И Гамаюн-платок!

У сына Калистрата
В глазах сугроб лобатый
Пошел с корягой в шин.

Она, она!.. Параня!..
Недаром снились сани —
За ямщика — павлин!

«Увез мою кровинку
К медведю на поминку!..
Не в час родился я!»
«Мой цветик, соболенок!..»
А голос хрупко-звонок,
Как подо льдом струя.

«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Лисицей на поляне
Резвится солнопек.
«Пророче, Елисее,
Повызволь от злодея
Кровинку-перстенек!»

«Я на твою божницу
Дам бурую куницу
И жемчугу конец!..»
Скрепя молитвой душу,
Прислушался Федюша:
Храпит лесной чернец.

Меж тем щегленок-лучик
Прокрался на оиучи,
На Парасковьин плат,
Погрелся у косицы, —
Авось пошевелится,
На крошку бросит взгляд!

Ай, лапя по шубейке,
Оборочусь в копейки,
Капелью побренчу:
То-ли, сё-ли,
Ну-ли, что-ли, —
Дай копеечку лучу!

И дрогнули ресницы...
Душа в ребро стучится...
Жива иль не жива?
И в кровяном прибое
Плывет, страшнее вдвое,
Медвежья голова.

Потемки гуще дегтя,
Лежат, как гребень, когти
На девичьих сосцах.
«Пророче Елисее,
Повызволь от злодея», —
Запел бубенчик-страх.

«Я на твою божницу
Дам с тельника злaтницу
И пряник испеку!..»
В обет смертельный веря,
Она втишок от зверя
Ползет, как по ложку.

«Параша!.. Паша!.. Паня!..»
Знать Сирин на поляне, —
И покатилось в лог!..
Взбурлила келья ревом,
И в куколе еловом
Над нею чернобог.

«Пророче Елисее!..»
Топор прошел от шеи
По становой костец.
Захлебываясь кровью,
Спасает Парасковью
Неведомый боец.

Как филин с куропаткой
Топтыгин в лютой схватке
С Федюшой-плясуном!..
Отколь взяла отвагу,
На ворога корягу
Набросить хомутом?

И бить колючей елкой
По скулам и по холкам,
Неистово молясь?
Вот пошатнулся Федя, —
Топор ушел в медведя
От лысины — по хрясь.

«Параша!..» «Федя!.. Сокол!..»
«Поранен я глубоко...
Тебя Господь упас?..
Ох, тяжко!..» «Братец милый,
Коль сердце не остыло, —
Христос венчает нас!»

«Ах, радость, радость, радость
Пожить женатым малость...
Того не стою я...»

«Вот тельник из Афона,
Вдоветь да класть поклоны
Благослови меня!»

«Благославляю... Паша!..»
И стал полудня краше
Феодор — Божий раб.
От горести в капели
Свои запястья ели
Поо6ронили с лап.

И кедр, раздув кадило,
Над брачною могилой
Запел: подаждь покой!
А солнопек на брата
Расшил покров богато
Коралловой иглой.

К невиданной находке
Слетелись зимородки,
Знать кудри — житный сноп.
На них глаза супруги
Наплавили от туги
Горючих слез поток.

И видела трущоба,
Как вырос из сугроба
Огнистый слезный крин,
На нем с лицом Федюши,
Чтоб жальче было слушать,
Малиновый павлин.

* * *

Усни, мой лосенок больной!
По чумам проходит покой,
Он мерности весла несет
Тому, кто отчизну поет.

Смежи своих глаз янтари,
Еще далеко до зари,
Лапландия кроткая спит,
Не слышно оленьих копыт,

Не лает голубый песец,
От жира совеет светец,
За кожаной дверью покой
Стучит в колоток костяной.

Войди и садись к очагу,
Но только про смерть ни гу-гу!
Пускай не приходит она
Пока голубеет сосна,

И трется, линяя, олень
О теплый березовый пень!

Покуда цветут берега,
От пули не ноет нога,
И пахарь за кровлю и хлеб
Над песней от слез не ослеп.

Не лучше ли в свой колоток
Пришельцу потренькать часок,
Чтоб милый лосенок янтарь
Смежил, как в счастливую старь!

Где бабкины спицы цвели
Кибиткой в морозной пыли,
Медведем, малиной, рекой
И русской ямщицкой тоской!

Затренькал ночной колоток.
Усни, мой болотный цветок,
Лапландия кроткая спит,
Не слышно ни трав, ни ракит!

Лишь пальцы зайченком в кустах
Плутают в любимых кудрях,
Да сердце — завьюженный чум —
Тревожит таинственный шум.

То стая фрегатов морских —
Стихов острокрылых, живых,
У каждого в клюве улов —
Матросская горсть жемчугов.

У каждого в крыльях закат,
Чтоб рдян был поэзии сад.
Послушай фрегатов, дитя,
В безбрежной груди у меня!

Послушай и крепче усни.
Уж зорче по чумам огни.
С провидящих кротких ресниц

Лапландия гонит ночниц,
И дробью оленьих копыт
Судьба в колотушку стучит.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

...И в горенку входил отец...
«Поставить крест аль голубец
По тестю Митрию, Параша?..»
Неупиваемая чаша,
Как ласточки звенящих лет,
Я дал пред родиной обет
Тебя в созвучья перелить,
Из лосьих мыков выпрясть нить,
Чтоб из нее сплести мережи!
Авось любовь, как ветер свежий,
Загонит в сети осетра,
Арабской черни, серебра,
Узорной яри, аксамита,
Чем сказка русская расшита!
Что критик и газетный плут,
Чихнув, архаикой зовут.
Но это было! Было! Было!
Порукой — лик нездешней силы —
Владимирская Божья Мать!
В ее очах Коринфа злать,
Мемфис и пурпур Финикии
Сквозят берестою России
И нежной просинью вифезды
В глухом Семеновском уезде!
Кто Светлояра не видал,
Тому и схима — чертов бал!
Но это было! Было! Было!
Порукой образ тихокрылый
Из радонежеских лесов!
Его писал Андрей Рублев
Смиренной кисточкой из белки.
Века понатрудили стрелки,
Чтобы измерить светлый мир,
Черемух пробель и сапфир —
Шести очей и крыл над чашей!
То русской женщины Параши,
Простой насельницы избы,
Душа — под песенку судьбы!
Но... многоточие — синицы,
Без журавля пусты страницы...
Увы... волшебный журавель
Издох в октябрьскую метель!
Его лодыжкою в запал
Я книжку ... намарал,
В ней мошкара и жуть болота,
От птичьей желчи и помета
Слезами отмываюсь я,
И не сковать по мне гвоздя,
Чтобы повесить стыд на двери!..
В художнике, как в лицемере,
Гнездятся тысячи личин,
Но в кедре много ль сердцевин
С несметною пучиной игол? —
Таков и я!.. Мне в плач и в иго

Громокипящий пир машин,
И в буйном мире я один —
Гадатель над кудесной книгой!
Мне скажут: жизнь — стальная пасть,
Крушит во прах народы, классы...
Родной поэзии атласы
Не износил Руси дудец. —
Взгляните, полон коробец,
Вот объярь, штоф и канифасы!
Любуйтесь и поплачьте всласть!
Принять, как антидора часть,
Пригоршню слез не всякий сможет...
Я помню лик... О Боже, Боже!
С апрельскою березкой схожий
Или с полосынькой льняной
Под платом куколя и мяты,
Или с гумном, где луч заката
Касаток гонит на покой
К стропилам в кровле восковой,
Где в гнездышках пищат малютки!..
Она любила незабудки
И синий бархат васильков.
В ее прирубе от цветов
Тянуло пряником суропным,
Как будто за лежанку копны
Рожков, изюма, миндаля
С неведомого корабля
Дано повыгрузить арапам.
Оконца синие накрапы
И синий строгий сарафан —
Над речкой мглица и туман,
Моленный плат одет на кромки...
Лишь золотом, струисто ломкий,
Зарел Феодор Стратилат.
Мои сегодня именины, —
Как листопадом котловины,
Я светлой радостью богат:
Атласной с бисером рубашкой
И сердоликовой букашкой
На перстеньке — подарке тяти.
«Не надо ль розанцев сокати,
Аль хватит колоба с наливом?»
Как ветерок по никлым ивам,
На стол и брашна веял плат.
«Обед-то ноне конопат, —
Забыли про кулич с рогулей,
Да именинника на стуле
Не покачати без отца,
Чтоб рос до пятого венца,
А матерел, как столб запечный.
Придется, грешнице, самой
Повеселить приплод родной!»
И вот сундук с резьбой насечной,
Замок о двадцати зубцах,

В сладчайший повергая страх,
Как рай, как терем, разверзался,
И, жмуря смазни, появлялся
На свет кокошник осыпной,
За ним зарею на рябинах
Саян и в розанах купинных
Бухарской ткани рукава.
Однажды в год цвели слова
Волнистого, как травы, шина,
И маменька, пышней павлина,
По горенке пускалась в пляс
Жар-птицей и лисой-огневкой,
Пока серебряной подковкой
Не отбивался «подзараз»,
И гасиул танец-хризопрас.
«Ах, греховодница-умыка!
От богородичного лика
Укроется ли бабий срам?!»
И вновь сундук — суровый храм
Скрипел железными зубами.
Слезилась кика жемчугами,
Бледнел, как облачко, саян.
Однажды в год, чудесным пьян,
Я целовал кота и прялку,

И становилось смутно жалко
Родимую — платок по бровь.
Она же солнцем, вся любовь,
Ко мне кидалась с жадной лаской:
«Николенька, пора с указкой
Читать славянские зады!..»
И в кельице до синей мглицы,
До хризопрасовой звезды,
Цвели словесные сады.
Пылали Цветника страницы,
Глотал слюду струфокамил,
И снился фараону Нил
Из умбры, киновари, яри...
В павлино-радужном пожаре
Тонула мама, именины...
Мои стихи не от перины
И не от прели самоварной
С грошовой выкладкой базарной,
А от видения Мемфиса
И золотого кипариса,
Чьи ветви пестуют созвездья.
В самосожженческом уезде
Глядятся звезды в Светлояр, —
От них мой сон и певчий дар!

* * *

Двенадцать снов царя Мамера
И Соломонова пещера,
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры Щит,
Четвертый список белозерский,
Иосиф Флавий — муж еврейский,
Зерцало, Русский виноград —
Сиречь Прохладный вертоград,
С Воронограем Список Вед,
Из Лхасы Шолковую книгу,
И Гороскоп — Будды веригу
Я прочитал в пятнадцать лет —
Скитов и келий самоцвет.
И вот от Кеми до Афона
Пошли малиновые звоны,
Что на водах у Покрова
Растет Адамова трава.
Кто от живого злака вкусит —
Найдет зарочный перстень Руси,
Его Тишайший Алексей
В палатах и среди полей
Носил на пальце безымянном;
Унесен кречетом буланым
С миропомазаной руки,
Он теплит в топях огоньки,
Но лишь Адамовой травой
Закликать сокола домой!
И что у Клюевой Прасковьи
Цветок в тесовом изголовьи,
Недаром первенец сынок
Нашел курганный котелок
С новогородскими рублями
И с аравийскими крестами,
При них, как жар, епистолия,

Гласит — чем кончится Россия!
На слухи — щокоты сорочьи
У василька тускнели очи,
Полоска куколя и льна
Бывала трепетно бледна.
«Николенька, на нас мережи
Плетутся лапою медвежьей!
Китайские историане
В поморском северном тумане
Нашли улыбчивый цветок,
И метят на тебя, дружок!
Кричит орлица Валаама,
Из звездоликой Лхасы Лама
В леса наводит изумруд...
Крадутся в гагачий закут
Скопцы с дамасскими ножами!..
Ах, не веселыми руками
Я отдаю тебя в затвор —
Под соловецкий омофор!
Открою завтра же калитку
На ободворные зады,
Пускай до утренней звезды
Входящий вынесет по свитку —
На это доки бегуны!»
И вот под оловом луны,
В глухой бревенчатый тайник
Сошелся непоседный лик:
Старик со шрамом, как просека,
И с бородой Максима Грека,
В веригах богатырь-мужик,
Детина — поводырь калик
По прозвищу Оленьи Ноги,
Что ходят в пуще без дороги,
И баба с лестовкой буддийской.

От Пустозерска и до Бийска,
И от Хвалыни иа Багдад
Течет невидимый Ефрат, —
Его бесплотным кораблям
Притины — Китеж и Сиам.

Златая отрасль Аввакума,
Чтоб не поднять в хоромах шума,
Одела заячьи коты,
И крест великой маяты,
Который с прадедом горел
И под золой заматорел, —
По тайникам, по срубам келий,
Пред ним сердца, как свечи, рдели.

«Отцам, собратиям и сестрам,
Христовым трудникам, невестам,
Любви и веры адамантам,
Сребра разженного талантам,
Орлам ретивым пренебесным,
Пустынным скимеам безвестиым
Лев грома в духе говорит,
Что от диавольских копыт
Болеет мать земля сырая,
И от Норвеги до Китая
Железный демон тризну правит!
К дувану адскому, не к славе,
Ведут Петровские пути!..
В церковной мертвенной груди
Гнездится змей девятиглавый...
Се Лев радельцам веры правой
Велит собраться на собор —
Тропой, через Вороний бор,
К Денисову кресту и дале
На Утоли Моя Печали!..
А на собор пресветлый просим
Макария — с Алтая лося,
От Белой пагоды Дракона,
Агата — столпника с Афона,
С Ветлуги деву Елпатею,
От суфиев — Абаза-змея,
Да от рязанских кораблей
Чету пречистых Голубей,
Еще Секиру от скопцов!..
Поморских братий и отцов,
Как ель, цветущих недалеко,
Мы известим особь сорокой!»
Так мамины гласили свитки —
Громов никейских пережитки.
Земным поклоном бегуны
Почтили отзвуки струны
Узорной корсунской псалтыри,
Чтоб разнести по русской шири,
Как вьюга, искры серебра
От пустозерского костра.*

1930. На Покров день.

Денисов крест с Вороньим бором
Стоят, как воины дозором,
Где тропы сходятся узлом.
Здесь некогда живым костром,
Белее ледовитых пен,
Две тысячи отцов и жен
Пристали к берегу Христову.
Не скудному мирскому слову
Узорить отчие гроба,
Пока архангела труба
Не воззовет их к веси новой,
Где кедром в роще бирюзовой
Доспеет русская судьба.

<* * *>

Денисов крест — потайный знак,
Что есть заклятый буерак,
Что сорок верст зыбучих мхов
Подземной храмины покров.
В нее, по цвету костяники,
Стеклись взыскующие лики:
Скопец-Секира и Халдей,
Двенадцать вещих медведей
С Макарием — лесным Христом,
Над чьим смиренным клобуком
Язык огня из хризолита,
И Елпатея — риза скита
Из омофорных подоплек —
Все объявились в час и срок.
В подземной горнице, как в чаше,
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода
Со стен, где олова прослои
И скопы золота, как рои,
По ульям кварца залегли, —
То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник.
Недаром керженский мужик,
Поморец и бегун от Оби
Так величавы в бедном гробе.
«Обра́з есть неизреченной славы», —
Поют над ними крыльев сплавы.

---

* Здесь в рукописи имеется запись: «Поэма Последняя Русь еще не кончена 1) собор отцов, 2) смерть матери, 3) явление матери падчерице Арише с предупреждением о страшной опасности, 4) Ариша с дочерью Настенькой на могилке Пашеньки».

Очей, улыбок, снежных лилий.
В их бороды из древних былей
Упали башни городов,
Как в озеро зубцы лесов.
И в саванах, по мхам олени, —
Блуждают сонмы поколений
От Вавилона и до Выга...
Цвети, таинственная книга
Призоров чарых и метелей,
Быть может, в праздник новоселий
Кудрявый внук в твои разливы
Забросит невод глаз пытливых,
Чтоб выловить колдунью рыбу —
Певучеротую улыбу!
Но ты, железный вороненок,
Кому свирель лесных просонок
Невнятна, как ежу купава,
Не прилетай к узорным травам,
Оне обожжены грозой —
России крестною слезой!
И ты, кровавый, злобный ящер,
Кому убийство песни слаще
И кровь дурманнее вина,
Не для тебя стихов весна,
Где под ольхою, в пестрой зыбке
Роятся иволги-улыбки,
И ель смолистой едкой титькой
Поит Аленушку с Микиткой
(То бишь, Федюшу с Парасковьей.
К чему приводит цветословье!)

Собор пресветлый вел Макарий,
Весь в хризолитовом пожаре,
И с ним апостолы-медведи —
В убрусах из закатной меди,
Венцы нездешней филиграни.
«Отцы и сестры, на Уране
Меч указует судный час,
Разодран сакоса атлас,
И веред на церковной плоти,
Как лось, увязнувший в болоте,
Смердящим оводом клокочет.
Смежила солнечные очи
София на семи столпах,
И сатана в мужицких снах
Пасет быков железнорогих.
Полесья наши, нивы, логи
Ад истощает ясаком, —
Удавленника языком
Он прозывается машиной!..
(Слышатся удары адского молота,
храмина содрогается,
слюда точит слезы, колчеданы
обливаются кровью.)
За остяка, араба, финна
Пред вечным светом Русь порука —
Ее пожрет стальная щука!
И зарный цвет во мгле увянет,
Пока на яростном Уране
Приюта Сирин не совьет,
Чтоб славить Крест и новый род,
Поправший смертью черный ад!
И будет Русь, как светлый сад,
Где заступ с мачехой могилой,
Как сторож полночью унылой,
Не зазывает в колотушку
Гостей на горькую пирушку!
Нам адский молот ворожит,
Что сгибнет бархат, ал и рыт,
И в русский рай, где кот баюн,
Стучатся с голодом колтун,
И в красном саване пришлец,
Ему фонарь возжет мертвец,
А в плошку вытопили жир
С могильным аспидом вампир...
О горе, горе! Вижу я
В огне родимые поля, —
Душа гумна, душа избы,
Посева, жатвы, бороньбы,
Отлетным стонет журавлем!..
Убита мать, разграблен дом,
И сын злодей на пепелище
Приюта милого не сыщет,
Как зачумленный волк без стаи!..
Но нерушимы Гималаи —
Блаженных сеней покрывало.
Под океан, тропинкой малой,
Отбудем мы в алмазный город,
Где роковой не слышен молот,
Не полыхает саван злой,
Туда жемчужною тропой
К святым собратиям в соседи
Нас поведут отцы-медведи!»
Собор ответствовал: амины! —
Макарию, с Алтая лосю.
Абаз поднялся, смугл, как осень
В тигриных зарослях Памира,
В его руках сияла лира,
И цвет одежд был снежно синь.

Как полевой тысячецвет
Звенит, подругу опыляя,
Так лира чарая, чужая,
Запела горлицей из рая
Медвежьей мудрости в ответ:
«От розы и змеи рожден,
Я помню сладостный Сарон
И голубой Генисарет,
Где несмываем легкий след
Стопы прекраснейшего мужа —
По нем струна рыдать досужа!
Ему в пастушеском Харране
Передо мной дано заране
Горящим терннем цвести, —

Не потому ли у Абаза
Сосцы — две розы из Шираза
И пламя терпкое в кости?!
Велик Сиам и древни Хмеры,
Порфирный Сива пьет луну
И видит Пермскую весну
Из глубины своей пещеры.
Цветет береста, лыко, прель,
В смолистых иглах муравейник,
И внуку дедушка-затейник
Из древесины свил свирель.
Туру-ру-ру! Пасись, олень,
Рядись, земля, в янтарь и ситцы,
Но не в березовый златень
Родятся матереубийцы!

Есть месяц жадиых волчьих стай,
Погонь и хохотов совиных,
Когда на пастбищах ослиных
С бодягой пляшет молочай.
Тогда у матери родящей
Змея вселяется в приплод,
И в светлый мир приходит кот,
Лобато-рыжий и смердящий.
На роженичное мяу
Ад вышлет нянюшку — змею
Питать дитя полынным жалом,
И под неслышным покрывалом
Котенка выходит рогатый...
Он народился вороватый,
С нетопырем заместо сердца,
Железо — ребра, сталь — коленцы,
Убийца матери великой!..»

И блюдом с алой земляникой
Оборотилась лира с певчим —
Все причастились телом вещим
И кровью сладостно певучей.
Меж тем с базальтовых излучин,
Хрустальный колоколец в горле
(Ее с икон недавно стерли),
Монисто из рублей хазарских, —
Запела птица рощ цесарских:

«К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!

К нам тучи вести занесли,
Что Волга синяя мелеет,
И жгут по Керженцу злодеи
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!

Нас окликают журавли
Прилетной тягою в последки,
И сгибли зябликов наседки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят мохнатые шмели!

К нам вести черные пришли,
Что больше нет родной земли,
Как нет черемух в октябре,
Когда потемки на дворе
Считают сердце колуном,
Чтобы согреть продрогший дом,
Но не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать!..
Ах, страшно песню распинать!

Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной
Истек бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!»

Разбился бубенец хрустальный,
И как над мисой поминальной,
Сединами поникли старцы,
Бураном перекрылись кварцы,
И тихо плакала слюда —
Окаменелая вода.
А маменька и Елпатея
От половчанина-злодея
Оборонялись силой крестной.
Но вот из рощи пренебесной
В тайник дохнуло фимиамом,
И ясно зримы храм за храмом,
Как гуси по излуке синей,
Над беломорскою пустыней
Святыни русские вспарили,
Все в лалах, яхонтах, берилле:
Егорий ладожский, София,
Спас на Бору, Антоний с Сии
И с Верхотурья Симеон,
Нередицы в атласном корзне
Четою брачною и в розне
Текли и таяли, как сон.
И золотой прощальный звон
Поил, как грудью, напоследки
Озера, камни, травы, ветки,
Малиновок в дупле корявом...
Прощайте, возопил собор,
Святая Русь отходит к славам,
К заливам светлым и купавам
Под мирликийский омофор!
Вот пронеслись, как парус, Кижи —
Олонецкая купина,
И всех приземистей и ниже,
Кого, как челку, кедры лижут,
Чтоб не ушла от них она,
Проплыл Покров, как пелена,
Расшитая жемчужным стёгом.
К отлетным выспренним дорогам
Мы долго простирали руки...
«Беру Владычицу в поруки,
Что не покину я тебя,
О Русь, о горлица моя!..» —
Рыдала дева Елпатея.
«Пусть у диавола и змея
В железной кише таин тьма, —
Моя сиротская сума
Благоуханнее Шираза.
В подземном граде из алмаза
Березке ль керженской цвести?
Садовник вечный, обрати
Меня в убогую былинку,
Чтобы не в сыть на сиротинку
Овце камолой набрести!»
И голос был: «Да будет тако!»
И полевым плакучим маком
Оборотило Елпатею, —
Его не скосят, не посеют
За горечь девичьих слезинок,
Пока для злаков и былинок

Приходит лекарем апрель...
«Проснись, Николенька, кудель
Уже допрялася по спицу!..»
Гляжу, домашние все лица,
И в горенку от заряницы
Летят малиновки, касатки,
И сказка из сулейки сладкой
Меня поит цветистым суслом...
Готов наш ужин, крепко взгусло
В лесном чумазом котелке,
Но не лазурно на реке,
Пока не полноводно русло.
Так я лишь в сорок страдных лет
Даю за родину ответ,
Что распознал ее ракиты
И месяц, ложкою изрытый,
Пирог румяный на отжинки —
Месопотамии поминки,
И что сады Александрии
Цвели предчувствием России!

Усни, дитя, забыв гоненье,
Пока вскипает песнопенье!

* * *

У лосенка моего
Нет копытца одного.
Где ты, милое копытце? —
Дано облачку напиться.

Звонок ковшик золотой,
Полон солнечной водой,
А на дне резвится рыбка,
Предрассветная улыбка.

Скоро розовый хромуша
Задудит: дед, дай покушать!
И хоть беден котелок,
Да зато горяч кусок!

На заедку сизый лось
Выпьет душу — ягод гроздь.
Будет в чуме жить душа,
Веретёнцем верезжа.

Чтобы пряла эскимоска
Из крапивы нитку лоско —
Сказку вьюжную про нас
С ярким инеем прикрас:

Жил да был медвежий дед,
Самый вещий самоед,
С ним серебряный лосенок,
От черемухи ребенок.

Знать, черемуха-девица —
Заревая рукавица,
Заняла красы у шубы
И родился лось голубый!

Золоченые копытца!..
Сказка длится, длится, длится!
Села ближе к очагу —
Я, мол, клад устерегу!

* * *

Клад ты мой цареградский —
Песня — лапоть бурлацкий,
Расписная волжская беляна,
Убаюкала царевича Романа,
Распрекрасную зазнобу — Василису, —
Полонит их ворог котобрысый!
Аксамиты, объяри разграбит,
Чистоту лебяжью распохабит.
Приволочит красоту на рынок:
За косушку — груди-пара свинок,
А за шкалик — очи-сине море,
Маргариты, зерна на уборе!
За алтын — в рублях арабских косы,
Песню-сокола, плеч снежные заносы,
На закуску сердце-рыбник свежий,
Глубже звезд, певучей заонежий!
Ах, ты клад заклятый, огнепальный,
Стал ты шлюхой пьяной да охальной,
Ворон, пес ли — всяк тебя облает:
«В октябре родилось чучело, не в мае...»
Аржаное мое чучело,
Что тебя замучило?
Солоду, гречихе да гороху
Без тебя бездомно, дюже плохо.
Жило ты в домашности — печь с развалом,
Сермяжное, овчинное, лаптем щи хлебало,

А щи-те костромские, ядреные,
Котлы-те черемисиной долбленые,
А полати-те — пазуха теплущая,
А баба-те гладкая, радущая,
А Бог-те в углу с хлебной милостью,
Борода, как стог, глаза с разливностью,
По разливам, по заглазьям, лукоморьям
В светлый Град проложен путь Егорьем.
Тем бы волоком доступить околицы,
Вышли бы устрет все богородицы.
Семиозерная, Толгская, Запечная,
Нерушимая Стена, Звездотечная,
Сладкое Лобзание, Надежда Ненадежных,
Спасение На Водах безбрежных,
Узорошительница, Споручница Грешных,
Умягчение Злых Сердец кромешных,
Спорительница с манным коробом,
Повышли бы к Федоре целым городом.
Мол, кровинушка наша, Федора,
Ждет тебя Микола у собора,
Петр, Алексий, Иона, —
Для тебя сошли они с иконы.
Сергий с Пересветом да Ослябей
Не помянут твоей дурости бабьей.
Варвара, Парасковья-пятница
С чашой, что вовек не убавится,
Ефросинья — из Полоцка письмовница,
А за ними вся небесная конница!
Да не сподобил Господь, чтобы чучело
Купиною розвальни навьючило,
Напустил змею котобрысую
На беляну с распрекрасной Василисою.
А и стали красоту пытать-крестовать:
Ты ли заря, всем зарницам мать?
Отвечала краса: Да!
Тут ниспала полынная звезда, —
Стали воды и воздухи желчью,
Осмердили жизнь человечью.
А и будет Русь безулыбной,
Стороной нептичной и нерыбной!
Взяли красоту в зубы да пилы:
Ты ли плачешь чайкой белокрылой?
Отвечала невеста: Да!..
Тут пошли огнем города —
Дудя на волчьих свирелях,
Закрутились бесы в метелях,
Верхом на черепе Верефер,
Молот в когтях против сил и вер:
«Стань-ка, Русь, барабанной шкурой,
Дескать, была дубовою дурой,
Верила в малиновые звоны,
В ясли с младенцем да в месяц посконный!»
Томили деву черным бесчестьем —
Ты ли по валдайским безвестьям
Рыдала бубенцом поддужным
И фатой метельной, перстнем вьюжным
Обручилась с Финистом залетным?
И калымом сукам подворотным
Ярославне выкололи очи...
Ой, Каял-река! Ой, грай сорочий!
Ой, бебрян рукав! Ой, раны княжьи!

Гляжу: на материнской пряже
Горит купальский светлячок —
Его бы в брачный перстенек
Или в иконную репейку.
Вот переполз на душегрейку
И таять стал... Слеза родимой

Сберется пчелкою незримой,
Чтоб в божьем улье каплей меда
Благоухать за жизнь народа —
От матери за мать златница!..
«Николенька, тебе синица
Нащебетала лапотки
И легкий путь на Соловки
К отцу Савватию с Зосимой,
Чтоб адамантовою схимой
Тебя укрыть от вражьей сети!
Пройдет немного зим, пролетий,
И для меня сошьют коты —
Идти в селенья красоты,
Кувшинке к светлости озер, —
Так кличет лебедем — собор,
И семилетняя разлука —
За прялкой зимняя докука,
Лишь сердца сладостный порез, —
Христос воскрес! Христос воскрес!
Запомни, дитятко, годину,
Как белоцветную калину, —
Твою невесту под окном,
Что я усну в калинов цвет
Чрез семь плакучих легких лет
Невозмутимым гробным сном!
Я не страшусь могильной кельи,
Но жалко ивовой свирели
И колокольцев за рекой!
Тебе дается завещанье,
Чтоб мира божьего сиянье
Ты черпал горсткой золотой,
Любил рублевские заветы,
Как петел синие рассветы
Иль пяльцы девичья игла:
Красотоделатель Савватий
На голубом небесном плате
Не шьет совиного крыла!
Поморью любы души-чайки,
Как печь беленая хозяйке,
Оне приветны и моржу...»
«Родимая, ужель последний
Я за твоей стою обедней
И святцы красные твержу?»
«Уже пятнадцать миновало,
У лося огрубело сало,
А ты досель игрок в лапту, —
Пора и пострадать немного
За Русь, за дебренского Бога
В суровом Анзерском скиту!
Там старцы Никона новиной,
Как вербу белую осиной,
Украдкой застят древний чин.
Вот почему старообрядцы
Елиазаровские святцы
Не отличают от старин!»

* * *

«Преподобне отче Елиазаре,
моли Бога о нас!»
И так пятьсот кукушьих раз
Иль иволги свирельных плачей.
Но послушанье меда паче,
Белей подснежников лесных.
«Скиту поружен, как жених
Иль колоб алый, земляничный,
Николенька сладкоязычный,
Зело прилежный ко триоди.
Уж в черном лапотном народе
Гагаркою звенит молва,
Что Иоанова глава
Явила отрочати чудо
И кровью кануло на блюдо».
Так обо мне отец Никита
Оповестил архимандрита.
Игумен душ, лесных скитов,
Где мерен хвойный часослов,
Весь борода, клобук да посох,
Осенним стогом на покосах
Прошелестел: «Зело, зело!..
Покуль бесовское крыло
Не смыло злата с отрочати,
Пусть поначалится Савватий!
У схимника теплы полати
И чудотворны сухари,
А квас-от — солод от зари,
А лестовки — семужьи зерны,
А Спас-от ярый, тайновзорный!
Опосле Мишка-балагур,
Хоть косолап и чернобур,
Зато, как азбука живая,
Научит восходить до рая!»
Честнóму Авве боле сотни,
Он сизобрад, как пух болотный,
С заливами лазурных глаз,
Где мягкий зыблется атлас,
И помавают тростники —
Сюда не помыслов чирки,
А нежный лебедь прилетает
И берег вежд крылом ласкает,
Чтоб золотилися пески.
Кто видел речку на бору,
Глубокую, с водою вкусной,
С игрою струй прозрачно грустной,
Как след резца по серебру, —
Она пригоршней на юру
Сосновой яри почерпнула
И вновь, чураясь шири, гула,
Лобзает светлую сестру —
Молчание корней, прогалов...
Лишь звезд высоких покрывало
Над нею ткется невозбранно —
Таков, вечерне осиянный,
И древний схимник Савватий.
К нему с небесных византий
Являлся житель чудодейный,
Как одуванчик легковейный,
С лотком оладий, калачей,
Похожих на озерный месяц
Косым прозрачным пирожком,
И звал в нерукотворный дом
От мочежин и перелесий
«Погодь маленько, паренек,
Пока доспеет лапоток

И заживет у мишки ухо,
Его разъела вошь да муха,
Да выбродит в лубянке квас».
И с той поры ущербный лапоть
Не устает берестой капать,
Медведь развел иа шубе улей,
А квас зарницею в июле
То искрится, то крепнет дюже,
Святой же брезжит, не остужен,
Речной лазурной глубиной,
И сруб с колодой гробовой
Напрасно ждет мощей нетленных.
Как хорошо в смолисто-пенных
И в строгих северных лесах!
«Подъязик ты, а не монах,
Иль под корягой ерш вилавый!
Послушай, молятся ли травы,
Благословясь ли снегири
Клюют в кормушке сухари?
Как у топтыгина с ушами?..»
И было в келье мне, как в храме.
Как в тайной завязи зерну. .
«Ну, подплывай, мой ерш, к окну!
Я покажу тебе цветулю!..» —
И Авва, взяв сухую дулю,
Тихонько дул на кожуру.
И чудо, дуля, как хомяк,
От зимией дремы воскресала,
Рождала листья, цвет, кору
И деревцем в ручей проталый
Гляделося в слюдяный мрак,
Меж тем, как вечной жизни знак,
В дупельце пестрая сииичка,
Сложив янтарное яичко,
Звенела бисерным органцем...
Обожжен страхом и румянцем,
Я целовал у старца ряску
И преподобный локоток.
«Плыви, ершонок, иа восток
Дивиться на сорочью сказку.
Она с далекого Кавказья
На Соловки летит с оказьей,
С письмом от столпника Агапа,
А чтоб беркут гонца не сцапал,
На грудку, яхонтом пылая,
Надета сетка золотая —
В такой одежине сороку
Не закогтит ни вран, ни сокол.
Перекрестясь, воззрись в печурку, —
Авось закличешь балагурку!
Ау! Ау! Сорока, где ты?»
Гляжу, предутрием одеты,
Горища, лысиной до тучи,
И столп ступенчатый у кручи,
Вершина — русским голубцом,
Цветет отеческим крестом.
На подоконнике сорока,
Зеленый хвост и волоока,
Пылает яхонтом кольчуга.
На Соловки примчаться с юга —
Пот птичий и гусиной стае!..
Вот поднялась, в тумане тая,
Скатилась звездочкою в дол...
«Ох, батюшка, летит орел!..»
Но вестник плещет против солнца,
И лучик, кольче веретенца,
Пугает страшного орла...
Вот день, закаты, снова мгла.
Клубок летучий ближе, ближе,
Уже полощется, где Кижи,
Онего, синий Палеостров
И Кемский берег нерпой пестрой.
Сюда!.. Сюда!.. «Чир-чир! Чок-чок!»
«Встречай туркиню, голубок!»
И схимник подиимал заслонец.
Не от молитвенных бессонниц,
Постов, вериг семифунтовых,
Я пил из ковшиков еловых
Нездешних зорь живое пиво, —
Есть Бог и для сороки сивой!
Что ковш, то год... Четыре... Пять...
И бледной голубикой мать
Цвела в прогалине душевной.
Топтыгин шубою пригревной
Неясный растоплял озноб...
Откуда он — спорынный сноп
На ниве, вспаханной крылами
Пустынных ангелов и зорь?
Есть горе — сом и короб — горь.
Одно, как заводи, зрачки
Лопатой плавников взрывает,
Седому короб не с руки,
А юный горе отряхает,
Как тину резвая казарка,
Но есть зловещая знахарка
С гнилым дуплом заместо рта,
Чьи заклинания — песта
В ночном помоле стук унылый,
В нем плаха, скрежеты, могилы,
На трупе слизней черный ужин!..
Я помню месяц неуклюжий
Верхом на ели бородатой
И по козлиному рогатой,
Он кровью красил перевал.
Затворник, бледный, как опал,
В оправе схимы вороненой,
Тягчайше плакал пред иконой
Под колокольный зык в сутёмы.
А с неба низвергались ломы,
Серпы, рогатины, кирьги...
Какие тайные враги
Страшны лазурной благостыне?
«Узнай, лосенок, что отныне
Затворены небес заставы,
И ад свирепою облавой,
Как волк на выводок олений,
Идет для ран и заколений
На Русь, на Крест необоримый.
Уж отлетели херувимы
От нив и человечьих гнезд,
И никнет колосом средь звезд,
Терновой кровью истекая,
Звезда монарха Николая. —
Златиницей срежется она
Для судной жатвы и гумна!
Чу! Бесы мельницей стучат,
Песты размалывают души. —
И сестрин терем ворог-брат
Под жалкий плач дуваном рушит,
Уж радонежских лампад

Тускнеют перлы, зори глуше!
Я вижу белую Москву
Простоволосою гуленой,
Ее малиновые звоны
Родят чудовищ на яву,
И чудотворные иконы
Не опаляют татарву!»

«Безбожие свиной хребет
О звезды утренние чешет,
И в зыбуны косматый леший
Народ развенчанный ведет,
Никола наг, Егорий пеший
Стоят у китежских ворот!
Деревня в пазухе овчинной,
Вскормившая судьбу-змею,
Свивает мертвую петлю
И под зарею пестрядинной —
Как под иудиной осиной,
Клянет питомицу свою!

О Русь! О солнечная мати!
Ты плачешь роем едких ос,
И речкой, парусом берез
Еще вздыхаешь на закате.
Но позабыл о Коловрате
Твой костромич и белоросс!

В шатре Батыя мертвый витязь,
Дремуч и скорбен бор ресниц,
Не счесть ударов от сулиц,
От копий на рязанской свите.
Но дивен Спас! Змею копытя,
За нас, пред ханом павших ниц,
Егорий вздыбит на граните
Наследье скифских кобылиц!»

Так плакал схимник Савватий!
И зверь, печалуясь о брате,
Лизал слезинки на полу.
И в смокве плакала синичка,
Уж без янтарного яичка,
Навек обручена дуплу —
Необоримому острогу...
Ах, взвиться б жаворонком к Богу!
Душа моя, проснись, что спишь!..
Но месяц показал нам шиш,
Грозя кровавыми рогами, —
И я затрепетал по маме,
О сундуке, где Еруслан
Дозорит сполох-сарафан,
Галченком, в двадцать крепких лет...
Прощай, мой пестун, бурый дед!
Дай лапу в бодожок дорожный!..
И спрятав когти, осторожно,
Топтыгин обнимал меня,
И слезы, как смола из пня,
Катились по щекам бурнастым...
Идут кривым тюленьим ластам
Мои словесные браслеты!..

* * *

На куполах живут рассветы,
Ночам — колокола — светелка,
Оне стрижами, как иголкой,
Под ними штопают шугаи.
Но лишь дойдет игла до края,
Предутрие старух сметает
Пушистой розовой метлой,
И ангел ковшик золотой
С румяною зарничной брагой
Подносит колоколу Благо.
Опосле Лебедю, Сиону —
Для чистоты святого звона.
Колоколам есть имена.
О том вещают письмена
И годы светлого рожденья,
Чтобы роили поколенья
Узорных сиринов в ушах
Дырявым штопалкам на страх!
Качает Лебедя звонарь,
И мягко вздрагивает хмарь,
Как на карельских гуслях жилы.
То Лебедь — звон золотокрылый!
Он в перьях носит бубенцы,
Жалеек, дудочек ларцы.
А клюв и лапки из малины,
И где плывет, там цвет кувшинный
Алеет с ягодой звончатой.
Недаром за двоеперстной хатой,
Таяся, ликом на восток,
Зорит малиновый садок —
Для девичьей души услада.
Пока Ильинская лампада
В моленной теплет огонек,
И в лыке облачном пророк
Милотью плещет Елисею,
Сама себя стыдясь и млея,
За первой ягодкой — обновой
Идет невестою Христовой
Дочь древлей веры и креста.
И трижды прошептав «Достойно»,
Купает в пурпуре уста,
Чтоб слаже была красота!
Сион же парусом спокойно,
Из медной заводи своей,
Без зорких кормчих, якорей,
Выходит в океан небесный,
И грудь напружа, льет глаголы,
Чтоб слышали холмы и долы,
Что Богородице полесной
Приносят иноки дары
И протопопы осетры,
Тресковый род, сигов дворы
Обедню служат по Сиону.
Во Благо клонятся к канону
И на отход души блаженной
Чтоб гусем или сайкой нежной
Летела чистая к Николе,
Опосле в сельдяное поле
Отведать рыбки да икрицы...
Есть в океане водяницы,

Княжны мариские, царицы,
Их ледяные города
Живой не видел никогда,
Лишь мертвецы лопарской крови
Там обретают снедь и кровы,
Оленей, псов по горностаям, —
Что поморяне кличут раем;
Вот почему мужик ловецкий,
Скуластый инок соловецкий
По смерти птицами слывут
С весенней тягой в изумруд,
В зеленый жемчуг эскимосский,
Им крылья — гробовые доски,
А саван уподоблен перьям
Лететь к божаткам и деверьям,
Как чайкам, в голубые чумы.
Колоколам созвучны думы
Далеких княжичей мариских,
Оне на плитах ассирийских
Живут доселе — птицы те же,
Оленьи матки, сыр и вежи!

Усни, дитя! Колокола
В мои сказанья ночь вплела,
Но чайка-утро скоро, скоро
Посеребрит крылом озера!

Твой дед тенёта доплетет,
Утиный хитрый перемет,
Чтобы увесистый гусак
Порезал шею натощак

О сыромятную лесу,
Иль заманил в капкан лису
На шапку добрый лесовик...
Не то забормотал старик!

Колокола... Колокола...
И саван с гробом — два крыла!
Уж пятьдесят прошло с тех пор,
Как за ресницей жил бобер,
Любовь ревниво зазирая,
И искры с шубки отряхая,
Жила куница над губой,
Но все прошло с лихой судьбой!

Не то старик забормотал!
Подброшу хвороста в чувал
И с забиякой огоньком
Спою акафист о былом!

Как жила Русь, молилась мать,
Умея скорби расшивать
Шелками сказок, ярью слов
Под звон святых колоколов!

* * *

В калигах и в посконной рясе,
В пузатом сумском тарантасе,
От хмурой Колы на Крякву
Я пробирался к Покрову,
Что на лебяжьих перепутьях.
Поземок-ветер в палых прутьях
Запутался крылом тетерьим,
По избам Домнам и Лукерьям
Мерещатся медвежьи сны,
Как будто зубы у луны,
И полиняли пестрядины
У непокладистой Арины, —
Крамольницу карает Влас...
Что ал на штофнике атлас
У Настеньки, купецкой дщери,
И бык подземный на Печере,
Знать, к неулову берег рушит,
Что глухариные кладуши
В осоке вывели цыплят —
К полесной гари... «Эй, Кондрат,
Отложь натруженые возжи,
И бороду — каурый стог
Развей по ветру вдоль дорог!..»
«С никонианцем нам не гоже...»
«Скажи, Кондратушко, давно ли
Помор кручинится недолей?
И плат по брови поморянке
Какие сулят лихоманки?
Святая наша сторона,
Чай, не едала толокна
Не расписной, не красной ложкой
И без повойницы расплошкой
У нас не видывана баба!..»
«Никонианцы — нам расслаба!»
И вновь ныряет тарантас —
Затертый хвоями баркас.
Но что за блеск в еловой клети?
Не лесовик ли сушит сети,
Не крест ли меж рогов лосиных,
Или кобыл золотоспинных
Пасет полудник, гривы чешет?
То вырубок седые плеши
В щетине рудо-желтых пней!
Вон обезглавлен иерей —
Сосна в растерзанной фелони,
Вон сучьев пади, словно кони
Забросили копыта в синь.
Березынька — краса пустынь.
Она пошла к ручью с ведерцем
И перерублена по сердце,
В криницу обронила душу.
Укрой, Владычица, горюшу
Безбольным милосердным платом!..
Вон ель — крестом с Петром распятым
Вниз головой — брада на ветре...
Ольха рыдает: Петре! Петре!
Вон кедр — поверженный орел
В смертельной муке взрыл когтями
Лесное чрево и зрачками,
Казалось, жжет небесный дол,
Где непогодный мглистый вол
Развил рога, как судный свиток.
Из волчьих лазов голь калиток,

Настигло лихо мать-пустыню,
И кто ограбил бора скрыню, —
Златницы, бисеры и смазни,
Злодей и печенег по казни, —
Скажи, земляк!.. И вдруг Кондратий,
Как воин булавой на рати,
В прогалы указал кнутом:
«Знать ёи, с кукуйским языком!»
Гляжу — подобие сыча,
И в шапке бабе до плеча,
Треногую наводит трубку
На страстнотерпную порубку.
Так вот он, вражий поселенец,
Козява, короед и немец.
Что комаром в лесном рожке
Зовет к убийству и тоске!
Он — в лапу мишкину заноза,
Савватию — мирские слезы,
Подземный молот для собора!..
И солью перекрыло взоры.
Мои.. ямщицкие Кондрата.
Где версты, вьюги, перекаты,
Судьба — бубенчик, хмель, ночлеги...
«Эх, не белы снежки — да снеги!..»
Так сорок поприщ пели мы —
Колодники в окно тюрьмы,
В последний раз целуя солнце.
И нам рыдало в колокольце:
«Антихрист близок! Гибель, гибель
Лесам, озерам, птицам, рыбе!..»
И соль струилась по щекам...

По рыболовным огонькам,
По яри кедровых полесий
Я узнавал родные веси.
Вот потянуло парусами,
Прибойным плеском, неводами,
А вот и дядя Евстигней
С подковным цоком, звоном шлей
Повыслан маменькой навстречу!..
Усекновенного предтечу
Отпраздновать с родимой вместе!
В раю, где писан на бересте
Благоуханный патерик —
Поминок Куликова поля,
В нем реки слезотечной соли
Донского омывают лик.
О радость! О сердечный мед!
И вот покровский поворот
У кряковиных подорожий!
Голубоокий и пригожий,
Смолисторудый, пестрядной,
Мне улыбался край родной,
Широкоскуло, как Вавила, —
Баркасодел с моржовой силой,
Приветом же теплей полатей!
Плеща и радуясь о брате,
На серебристом языке
Перекликалися озера.
Как хлопья снега в тростнике,
Смыкаясь в пасмы и узоры,
Плясали лебеди... Знать, к рыбе
Лебяжьи свадьбы застят зыби!
Князь брачный, оброни перо
Проезжим людям на добро,
На хлеб и щи — с густым приваром,
И на икру в налиме яром,
На лен, на солод, на пушнину,
На песню — разлюли малину,
На бусы праздничной избы,
С вязижным дымом из трубы!
Вот захлебнулись бубенцы —
По гостю верные гонцы,
Заперешептывались шлеи,
И не спросясь у Евстигнея,
К хоромам повернул буланый, —
Хлестнуло веткой росно пряной,
И прямо в губы, как волчек,
Лизнул домашний ветерок, —
Волчку же пир за караваем,
Чтобы усердным пустолаем
Обрядной встречи не спугнуть.
К коленям материнским путь
Пестрел ромашкой, можжевелем,
Пчелиной кашкой, смолкой, хмелем,
А на крылечных рундуках
С рассветным облачком в руках —
Владычицей Семиозёрной,
Как белый воск, огню покорный,
Сияла матушка... Станицей
За нею хоры с головщицей,
Мужицкий велегласный полк,
И с бородой, как сизый шелк,
Начётчик Савва Стародуб, —
Он для меня покинул сруб
Среди болотных ляг и чарус,
Его брада, как лодку парус,
Влекла по океану хвой,
Чтобы пристать к избе мирской,
Где соловецкой бедной рясе
Кадят тимьяном катавасий!
Но предоволен прозорливец,
На рундуке перёных крылец
Семь крат положено метанье,
И погрузив лицо в сиянье
Рассветной тучки на убрусе,
Я поклонился прядью русой
И парусовой бороде:
«Христу почет, а не руде,
Не праху в старческом азяме!..»
А сердце билось: к маме, к маме!
Так отзвенели Соловки —
Серебряные кулики
Над речкой юности хрустальной,
Где облачко фатой венчальной,
Слеза смолистая медвежья.
Не плел из прошлого мереж я
И не нанизывал событий
Треской на шесты и нити,
Пускай для камбалы шесты!..
Стучат сердечные песты,
И жернов-дума мерно мелет
Медыни месяца, метели
И вести с Маточкина Шара,
Где китобойные стожары
Плывут на огненных судах,
И где в седых зубастых льдах
Десятый год затерт отец,
Оставя матери ларец
По весу в новгородский пуд —

Самосожженцев дедов труд.
Клад хоронился в тайнике,
А ключ в запечном городке
Жил в колдобоине кирпичной,
И лишь по нуде необычной
На свет казал кротовье рыльце.
Про то лишь знает ночь да крыльца.
Избу рубили в шестисотом,
Когда по дебрям и болотам
Бродила лютая Литва,
И словно селезня сова,
Терзала русские погосты.
В краю, где на царевы версты
Еще не мерена земля,
По ранне-синим половодьям,
К семужьим плесам и угодьям
Пристала крытая ладья.
И вышел воин исполин
На материк в шеломе — клювом,
И лопь прозвала гостя — Клюев —
Чудесной шапке на помин!
Вот от кого мой род и корень,
Но смыло все столетий море,
Одна изба кольчужной рубки
Стоит пред роком без отступки,
И ластами в бугор вперясь,
Все ждет, когда вернется князь.
Однажды в горнице ночной,
Когда хорек крадется к курам
И поит мороком каурым
Молодок теплозобых рой,
Дохнула турицею лавка,
И как пищальная затравка,
Зазеленелись деда взоры:
«Почто дружиною поморы
Не ратят тушинских воров,
Иль Богородицы покров
Им домоседная онуча?
И горлиц на костер горючий
Не кличет Финист-Аввакум?
Почто мой терем, словно чум,
Убог и скуден ратиой сбруей,
И конь, как облако, кочует
Под самоедскою луной?!
Я князь и вотчиной родной,
Как раб, не кланяюсь Сапеге!
Мое кормленье от Онеги
До ледяного Вайгача,
Шелом татарского меча
Изведал с честью не однажды...
Ах, сердце плавится от жажды
Воздать обидчикам Руси!..
Мой внук, немедля приноси
Заклятый ключ — стальное рыльце!»
И выходили мы на крыльца
Под желтоглазою луной,
И дед на камень гробовой,
В глубоком избяном подполье,
Меня сводил и горше соли
Поил кровавой укоризной:
«Вот булава с братиной тризной,
Ганзейских рыцарей оброк,
Златницы, жемчуга моток,
Икры белужниной крупнее!
Восстань, дитя, убей злодея,
Что душу русскую, как моль,
Незримо точит в прах и боль,
Орла Софии повергая!..»
И до зари моя родная
Светца в те ночи не гасила.

* * *

«Николенька, меня могила
Зовет, как няня, тихой сказкой,—
Орлице ли чужой указкой
Господне солнце лицезреть?
Приземную оставя клеть,
Отчалю в Русь в ладье сосновой,
Чтобы с волною солодовой
Пристать к лебяжьим островам,
Где не стучит по теремам
Железным посохом хромец,
Тоски жалейщик и дудец.
Я умираю от тоски,
От черной ледяной руки,
Что шарит ветром листодером
По перелесицам, озерам,
По лазам, пастбищам лосиным,
Девичьим прялицам, холстинам,
В печи по колобу ржаному,
По непока́зному, родному,
Слезе, молитве, поцелую.
Я сказкою в ином ночую,
Где златоносный Феодосий
Святителю дары приносит,
И Ольга черпает в Корсуни
Сапфир афинских полнолуний,—
Знать неспроста Нафанаил
Меня по гречески учил,
А по арабски старец Савва!..
Меж уток радужная пава,
Я чувствую у горла нож
И маюсь маятой всемирной —
Абаза песенкою пирной,
Что завелась стальная вошь
В волосьях времени и дней,—
Неумолимый страшный змей
По крови русский и ничей!»
Свое успение провидя,
Родная по́ходя и сидя
Христос воскресе напевала
Иль из латинского хорала
Дориносимые псалмы.
Еще поминками зимы
Горел снежок на дне овратов,
Когда дорогой звездных магов
К нам гости дивные пришли,
Три старца — Перския земли.
Они по виду тазовляне,
Не черемисы, не зыряне,
Шафран на лицах, а по речи —
Как звон поленницы из печи.
Подарки матушке — коты,
Венец и саван из тафты,

А лестовку она сама
Связала как бы из псалма
Или из утренних снежинок,
В ней нити легче паутинок,
И лестовки — евангелисты,
Как лепестки, от слез росисты!
Пошел живой сорокоуст.
Моленна, как горящий куст
Иль яблоня в цвету тяжелом,
Лучилась матицами, полом...
И в купине неопалимой,
Как хризопраз, лицо родимой
Сияло тонко и прозрачно,
Казалося, фатою брачной
Ее покроет Стратилат,
Чтоб повести в блаженный сад,
Где преподобную София
Нарядит в бисеры драгие!
И вот на смертные каноны
Пахнуло миррой от иконы,
И голос был: «Иду! Иду!..»
И голубым сигом во льду,
Весь в чешуе кольчуги бранной
Сошел с божницы друг желанный
И рядом с мученицей встал,
Чтоб положить скитской начал
Перед отбытьем в путь далекий.
Запели суфии: Иокки!
Чамарадан, эхма-цан-цан!..
Проплыл видений караван:
Неведомые города
И пилигримами года
В покровах шелестных, с клюками,
И зорькой улыбался маме
То светлый Божий Цареград.
Мем тем дворовый палисад
С поемной ласковой лужайкой
Пестрели, словно отмель чайкой,
Толпой коленопреклоненной,
Чтоб гробом праведным, иконой,
Как полным ульем, подышать.
Дымилась водь, скрипела гать,
Все прибывали китежане,—
От Ясных Ляг, где гон кабаний,
Из городища Турий Лоб,
И от Печёр, где узел троп
Подземной рыбы пачераги,
Что роет темные овраги,
Бездонный чарус, родники...
Явились в бусах остяки,
В хвостах собольих орочены,
Услышав росомашьи стоны,
Волыночный лосиный плач...
И па́волок венчальных ткач,
Цвела карельская калина.

«Николенька, моя кончина
Пусть будет свадьбой для тебя.—
Я умираю не кляня
Ни демона, ни человека!..
Мое добро ловец, калека,
Под гусли славы панихидной,
Пускай поделят безобидно —
Сусеки, коробы, закуты,
Шесть сарафанов с лентой гнутой,
Расшитой золотом в Горицах,
Шугай бухарский павой птицей,
По сборкам кованый галун,
И плат — атласный Гамаюн,
Они новехоньки доселе,
Как и... в федюшины метели...
Все по рукам сестриц да братий!..»
Кибитку легче на раскате,
Дорога ионе, что фнниты!
Счастливо, Пашенька, гостить
В светлице с бирюзовой печью!..
И невозвратно, как поречье
Сквозь травы в озеро родное,
Скатилось солнце избяное
В колодовый глубокий гроб,
Чтоб замереть в величьи строгом,
И убеляя прошвы троп,
Погоста холм и сад над логом,
Цвела карельская калина!

Милый друг, моя кручина —
Не чувальная зола,
Что зайченком прилегла
У лопарского котла,
Дунет ветер и зайчек
Вздыбит лапки наутек,
А колдунье головешке
Не до пепельной услежки,
Ей чесать кудрявый дым,
Что никем не уловим,
Ни белугой, ни орланом,
Только с утренним туманом
Он в ладах и платьем схож,
Князь крылатый без вельмож!
Пал в долину на калину
Непроглядный синь-туман,—
Не найдет гнезда орлан,
Океан ворчит сердито:
Где утесные граниты —
Обсушить седой кафтан?
И не плещутся пингвины,
Мертвы гаги, рыба спит,—
Это цвет моей калины —
В пенном саване гранит!
Это сосны на Урале,
Лык рязанских волокно,
Утоли Моя Печали,
В глубине веретено!
Чу! Скрипит мережный ворот,
Знать известье рыбакам,
Что плывет хрустальный город
По калиновым волнам!
Милый друг, в чувале нашем
Лишь зола да едкий чад,—
Это девушки Параши
Заревой сгоревший плат!

ГНЕЗДО ТРЕТЬЕ

* * *

Три тысячи верст до уезда,
Их мерил нечистый пурговой клюкой,
Баркасом — по соли, долбленкой — рекой,
Опосле путина — пролазы, проезды.
В домашнее след заметай бородой!
Двуглавый орел — государево слово
Перо обронил: с супостатом война!
Затучилась сила — Парфён от гумна,
Земля ячменем и у нас не скудна,
Сысой от медведя, Кондратий с улова,
Вавила из кузни, а Пров от рядна, —
Любуйся, царь-батюшка, ратью еловой!
Допрежде страды мужики поговели,
Отпарили в банях житейскую прель,
Чтоб лоснилась душенька — росная ель
Иль речка лесная — пролетья купель,
Где месяц — игрок на хрустальной свирели.
На праздник разлук привезли плачею —
Стог песенных трав, словозвучий ладью.
В беседной избе усадить иа скамью
Все сказки, заклятья и клады
Устинья Прокопьевна рада!
Она сызмальства по напеву пошла,
Варила настои и пряник пекла,
Орленый, разлапый и писаный тоже.
В невестах же кликана Устьей пригожей.
Как ива под ветром, вопила она —
Мирская обида, полыни волна,
Когда же в оконце двуглавый орел
Заклёкал, что ставится судный престол,
Что книги разгнуты — одна живота,
Другая же смерти, словес красота,
Как горная просинь, повеяла небом...
То было на праздник Бориса и Глеба —
Двух сиринов красных, умученных братом.
Спешилися морем — китищем горбатым —
Подводная баба кричала: Ау!
И срамом дразнила: хи-хи да ху-ху.
Но мы открестились от иечисти тинной.
Глядь, в шубе из пены хозяин глубинный,
Как снежная туча, грозит бородой!
Ему поклонились с ковригой ржаной
Да руги собрали по гривне с ладони,
Чтоб не было больше бесовской погони,
Чтоб царь благоверный дождался нас здравых, —
Чай, солнцем не сходит с палат златоглавых
И с башни дозорной глаза проглядел,
А сам, словно яхонт, и душенькой бел!..
Ужо-тко покажем мы ворогу прятки,
Портки растеряет в бегах без оглядки!..
Сысоя на тысчу, Вавила же на пять...
Мужик государю — лукошко да лапоть,
А царь мужику, словно вёдро, ломоть!
За веру лесную поможет Господь!
И пели мы стих про Снафиду,
Чтоб черную птицу обиду
Узорчатым словом заклясть:
Как цвела Снафида Чуриле всласть,
Откушала зелья из чарочки сладкой,

За нею Чурила, чтоб лечь под лампадкой.
Вырастала на Снафиде золота верба́,
На Чуриле яблоня кудрявая! —
Эта песня велесова, старая,
Певали ее и на поле Куликовом, —
Непомерное ведкое слово!
Все реже полесья, безрыбнее губы,
Селенья ребрасты, обглоданы срубы,
Бревно на избе не в медвежий обхват,
И баба пошла — прощалыжный обряд, —
Платок не по брови и речью соромна,
Сама на Оятн, а бает Коломной.
Отхлынули в хмару леса и поречья,
Взъерошено небо, как шуба овечья,
Что шашель изгрыз да чуланная мышь.
Под ним логовище из труб да из крыш.
То, бают, уезд, где исправник живет,
И давит чугунка захожий народ.
Капралы орут: Ну, садись, мужики!
«Да будет ли гоже, моржу ли клыки
Совать под колеса железному змию?
Померимте, други, котами Россию!»
Лосей смирноглазых пугали вагоны,
Мы короб открыли, подъяли иконы,
И облаком серым, живая божница,
Пошли в ветросвисты, где царь да столица.
Что дале то горше... Цигарки, матюг,
Народишко чалый и нет молодух,
Домишки гноятся сивухой
Без русской улыбки и духа!
А вот и столица — железная клеть,
В ней негде поплакать и душу согреть, —
Погнали сохатых в казармы...
Где ж Сирин и царские бармы?
Капралы орут: Становись, мужики!
Идет благородие с правой руки...
Аась, два! Ась, два!
Эх, ты родина — ковыль-трава!..
«Какой губернии, братцы?»
«Русские, боярин, лопарцы!..»
«Взгляните, полковник, — королевич Бова!»
«Типы с картины Сурикова...»
«Назначаю вас в Царское Село,
В Феодоровский собор на правое крыло!
Тебя и вот этого парю!..
Наверно, понравитесь государю.
Он любит пожитный... стебель.
Распорядись доставкой, фельдфебель!»

Господи, ужели меня,
В кудрях из лесного огня?..

Царь-от живет в селе,
Как мужик... на живой земле!..

«Пролетарии всех стран...» Глядь, стрюцкий!
«Не замай! Я не из стран, — калуцкий!»

* * *

Феодоровский собор —
Кувшинка со дна Светлояра,
Ярославны плакучий взор
В путивльские вьюги да хмары.

Какой метелицей ты
Занесен в чухонское поле?
В зыбных пасмах медузы — кресты
Средиземные теплят соли.

Что ни камень, то княжья гривна!..
Закомары, печурки, зубцы,
К вам порожей розовой сливной
Приплывали с нагорий ловцы.

Не однажды метали сети
В глубь мозаик, резьбы, янтаря
В девятьсот пятнадцатом лете,
Когда штопала саван заря.

Тощ улов. Космы тины да ила
В галилейских живых неводах,
Не тогда ли душа застыла
Гололедицей на полях?!

Только раз принесли мережи
Запеклый багровый ком.
С той поры полевые омежи
Дыбят желчь и траву костолом.

Я, прохожий, тельник на шее,
Светлоярной кувшинке молюсь:
Кличь кукушкой царя от Рассеи
В соловецкую белую Русь!

Иль навеки шальная рубаха
И цыганского плиса порты
Замели, как пургою, с размаха
Мономаховых грамот листы?!

Вон он, речки Смородины заводь,
Где с оглядкой, под крики сыча,
Взбаламутила стиркой кровавой
Черный омут жена палача!

Вот он, праведный Нил с Селигера,
Листопадный задумчивый граб,
Кондовая сибирская вера
С мановением благостных лап!

С ним тайга, подорожие ссылок,
Варгузи, пошевеливай вал,
Воровской поселили подпилок,
Как сверчка, в Александровский зал.

И сверчок по короткой минуте
Выпил время, как тени закат...
Я тебя содрогаюсь, Распутин, —
Домовому и облачку брат!

Не за истовый крест и лампадки,
Их узор и слезами не стерт,
Но за маску рысиной оглядки,
Где с дитятей голубится черт.

Но за лунную глубь Селигера,
Где утопленниц пряжа на дне,
Ты зеленых русалок пещера
В царской ночи, в царицыном сне!

Ярым воском расплавились души
От купальских малиновых трав,
Чтоб из гулких подземных конюшен
Прискакал краснозубый центавр.

Слишком тяжкая выпала ноша
За нечистым брести через гать,
Чтобы смог лебеденок Алеша
Бородатую адскую лошадь
Полудетской рукой обуздать!

* * *

Был светел царский сад,
Струился вдоль оград
Смолистый воздух с медом почек,
Плутовки осы нектар строчек
Носили с пушкинской скамьи
В свое дупло. Казалось, дни
Здесь так безоблачны и сини,
Что жалко мраморной богине
Кувшин наполнить через край.
Один чугунный попугай
Пугает нимфу толстым клювом.
Ах, посмотрел бы Рюрик, Трувор
На эту северную благость!
Не променяли б битвы сладость
На грот плющевый и они?!..
«Я православный искони
И Богородицу люблю,
Как подколодную змею,
Что сердце мне сосет всечасно!
С крутыми тучами, ненастный,
Мой бог обрядней, чем Христос
Под утиральником берез,
Фольговый, ноженьки из воска!
Моя кремнистая полоска
Взборонена коттями...» «Что ты!
Не вспоминай кромешной злоты!
Пусть нивы Царского Села
Благоухают, как пчела,
Родя фиалки, росный мак...»
«А ну тя к лешему, земляк!
Не жги меня пустой селедкой,
Давай икры с цимлянской водкой,
Чтоб кровью вышибало зубы!..
Самосожженческие срубы
Годятся Алексею в сказки,
Я разотру левкас и краски
Уж не на рябкином яйце!
Гнездятся чертики в отце,
Зеленые, как червь капустный,
Ему открыт рецепт искусный,
Как в сердце разводить гусей —
Ловить рогатых карасей —
Забава царская... Ха! Ха!..
Царица же дрожит греха,
Как староверка общей мисы,
Ей снятся море, кипарисы
И на утесе белый крест —
Приют покинутых невест,
И вдов, в покойников влюбленных!
Я для нее из бус иконных

Сварил, как щи из топора,
Каких не знают повара,
Два киселя — один из мысли,
Чтобы ресницы ливнем висли,
Другой из бабьего пупка,
Чтоб слез наплавилась река!..
Вот этот корень азиатский
С тобою делится по-братски.
Надрежь меж удом и лобком,
Где жилы сходятся крестом,
И в ранку, сладостнее сот,
Вложи индийский приворот,
Чрез сорок дней сними удильце.
Чтобы пчелою в пьяной пыльце
Влететь, как в улей, в круг людской
И жалить души простотой,
Лесной черемухи душистей,
Что обронила в ключ игристый
Кисейный девичий платок!..
Про зелье знает лишь восток
Под пляс факиров у костра!..
Возьми мой крест из серебра
С мидийской надписью...
в нем корень!..»
Я прошептал: «Оставь, Григорий!..»
Но талисман нырнул в ладони —
И в тот же миг, как от погони,
Из грота выбежал козел,
Руно по бедра, грудью гол,
С загуслым золотом на рожках...
И закопытилась дорожка.
Распутин заплясал с козлом,
Как иволга, над кувшином
Заплакала из камня баба.
У грота же, на ветке граба
Качалась нимфа белой векшей.
И царский сад, уже померкший,
Весь просквозил нетопырями,
Рогами, крыльями, хвостами...
Окрест же сельского чертога
Залег чешуйчатой дорогой
С глазами барса страшный змей.
«Ладони порознять не смей,
Не то малявкой сгинешь, паря!»
И увидал я государя.
Он тихо шел окрай пруда.
Казалось, черная беда
Его крылом не задевала,
И по ночам под одеяло
Не заползал холодный уж.
В час тишины он был досуж
Припасть к еловому ковшу,
К румяной тучке, камышу,
Но ласков, в кителе простом,
Он все же выглядел царем.
Свершилось давнее. Народ,
Пречистый воск потайных сот,
Ковер, сказаньями расшитый,
Где вьюги, сирины, ракиты, —
Как перл на дне, увидел я
Впервые русского царя.
Царь говорил тепло, с развальцем,
Купецкий сын перед зеркальцем,
С Коломны — города церквей.
Напрасно ставнями ушей
Я хлопал, напрягая слух, —
В дом головы не лился дух,
И в сердце — низенькой светлице,
Как встарь, молчальницы-сестрицы
Беззвучно шили плат жемчужный.
Свершалось давнее. Семужный,
Поречный, хвойный, избяной,
Я повстречался въявь с судьбой
России — матери матерой,
И слезы застилали взоры, —
Дождем душистый сенокос,
Душа же рощею берез
Шумела в поисках луча,
Бездомной иволгой крича.
Но между рощей и царем
Лежал багровый липкий ком!
С недоуменною улыбкой,
Простой, по-юношески гибкий,
Пошел обратно государь
В вечерний палевый янтарь,
Где в дымке арок и террас
Залег с хвостом змеиным барс.
«Коль славен наш» поет заря
Над петропавловской твердыней
И к милосердной благостыне
Вздымает крылья-якоря.
На шпице ангел бирюзовый.
Чу! Звякнул медною подковой
Кентавр на площади сенатской.
Сегодня корень азиатский
С ботвою срежет князь Димитрий,
Чтоб не плясал в плющевой митре
Козлообраз в несчастном Царском.
Пусть византийским и татарским
Европе кажется оно,
Но только б не ночлежки дно,
Не белена в цыганском плисе!
Не от мальчишеской ли рыси
Я заплутал в бурьяне черном
И с Пуришкевичем задорным
Варю кровавую похлебку?
Ах, тяжко выкогтить заклепку
Из Царскосельского котла,
Чтоб не слепила злая мгла
Отечества святые очи!..
Так самому себе пророчил
Гусарским красноречьем князь —
В утробу филина садясь,
(Авто не называл Григорий).
И каркнул флюгер: горе, горе!
Беда! Мигнул фонарь воротам.

В ту ночь индийским приворотом
Моя душа — овин снопами,
Благоухала васильками,
И на радении хлыстовском,
Как дед на поле Куликовском
Изгнал духовного Мамая
Из златоордного сарая,
Спалив поганые кибитки,
Какие сладкие напитки
Сварил нам старец Селиверст!
Круг нецелованных невест

Смыкал, как слезка перстенёк,
Из стран рязанских паренек.
Ему на кудри меда ковш
Пролили ветлы, хаты, рожь,
И стаей, в коноплю синицы,
Слетелись сказки за ресницы.
Его, не зная, где опаска,
Из виноградников Дамаска
Я одарил причастной дулей,
Он, как подсолнечник в июле,
Тянулся в знойную любовь,
И Селиверст, всех душ свекровь.
Рязанцу за уста-соловку
Дал лист бумаги и... веревку.
Четою с братчины радельной
Мы вышли в сад седой, метельный,
Под оловянную луну.
«Овсеня кликать да весну
Ты будешь ли, учитель светлый?..
У нас в Рязани сини ветлы,
И месяц подарил узду
Дощатой лодке на пруду —
Она повыглядит кобылой,
Заржет, окатит теплым илом,
Я ж, уцепимшись за мохры,
Быстринкой еду до поры,
Пока мой дед под серп померкший
Карасьи не расставит верши!
Ах, возвратиться б на Оку,
В землянку к деду рыбаку,
Не то здесь душу водкой мучить
Меня писатели научат!»
«Мой богоданный вещий братец,
Я от избы, резных полатец
Да от рублевской купины,
И для языческой весны
Неуязвим, как крест ростовский,
Мужицкой верой беспоповский,
Мой дух в апостольник обряжен:
Ни лунной, ни ученой пряжей
Его вовек не замережить!..
Но чу! На Черной речке скрежет —
В капкане росомахи стон!..
Любезный братец, это он,
В богатых тобольских енотах,
В губе сугроба, как в воротах,
Повис над глыбкой полыньей!..»
«Учитель светлый, что с тобой?
Не обнажайся на морозе!..
Быть может, пьяница в навозе,
В тени косматого ствола!..»
Ему не виделось козла,
Сатир же под луною хныкал,
И снежной пасмой павилика
Свисала с ледяных рогов...
Под мост, ныряя меж быков,
И метя валенком в копыто,
Достигли мы губы-корыта,
Где, от хорька петух в закуте,
Лежал дымящийся Распутин!
Кто знает зимний Петербург,
Исхлестанный бичами пург
Под лунной перистой дугой,
Тот видел душ проклятых рой,
И в полыньях скелетов пляски,
В одной костяк в дратунской каске,
На Мойке, в Невке... Мимо, мимо!
Их съели раки да налимы!
«Григорий что ли?!» И зрачок —
В пучине рыбий городок
Раскрыл ворота — бочку жира,
Разбитую на водной шири —
Крушенья знак и гиблых мест.
«Земляк... Спаси!.. Мой крест!..
Мой крест!
Не подходи к подножной глыбе,
Не то конец... Прямая гибель!..
Держуся я, поверь на слово,
За одеяние Христово.
Крестом мидийским целься в скулы...
Мотри вернее!..» Словно дуло,
Навел я руку в мглистый рот,
И... ринул страшный приворот!
Со стоном обломилась льдина...
Всю ночь пуховая перина
Нас убаюкать не могла.
Меж тем из адского котла,
Где варятся грехи людские,
Клубились тучи грозовые.
Они ударили нежданно,
Кровавою и серной манной
В проталый тихозвонный пост.
Когда на Вятке белят холст,
А во незнаемой губернии
Гнут коробьё да зубят гребни,
И в стружках липовых лошкарь
Старообрядческий тропарь
Малюет писанкой на ложке!
Ты показал крутые рожки
Сквозь бранный порох, козлозад,
И вывел тигров да волчат
От случки со змеей могильной!
России, ранами обильной,
Ты прободал живую печень,
Но не тебе поставит свечи
Лошкарь, кудрявый гребнедел!
Есть дивный образ, ризой бел,
С горящим сердцем, солнцеликий,
Пред ним лукошко с земляникой,
Свеча с узорным куличом!
Чтоб не дружить вовек с сычом
Малиновке, в чьей росной грудке
Поют лесные незабудки!

* * *

Двенадцать лет, как пропасть,
гулко страшных,
Двенадцать гор, рассеченных
на башни,
Где колчедан, плитняк да аспид
твердый,
И тигров ненасытных морды!
Они родятся день от дня
И пожирают то коня,
То девушку, то храм старинный
Иль сад с аллеей лунно-длинной.
И оставляют всюду кости,
Деревья и цветы в коросте,
Колтун на нежном винограде,
С когтями черными в засаде.
О горе, горе! — воет пес,
О горе! — квохчет серый дрозд,
Беда беда! — отель мычит,
Бедою тянет от ракит.
Вот ярославское село —
Недавно пестрое крыло
Жар-птицы иль струфокамила.
Теперь же с заступом могила
Прошла светелками, дворами...
По тихой Припяти, на Каме,
Коварный заступ срезал цвет,
И тигры проложили след.
Вот нива редкою щетиной,
В соломе просквозила кровь
(Посев не дедовский старинный —
Почтить созвучием — любовь,
Как бирюзой дешевку ситца,
Рублевской прориси претится).
Как будто от самой себя
Сбежала нянюшка-земля,
И одичалое дитя,
Отростив зубы, волчий хвост,
Вцепилось в облачный помост
И хрипло лает на созвездья!..
Вон в берендеевском уезде
За ветроплясом огонек —
Идем, погреемся, дружок!
Так холодно в людском жилье
На Богом проклятой земле!..
Как ворон, ночь. И лес костляв.
Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки —
Навеки с радостью в разлуке!
Вот бык — поток, рога — утес,
На ребрах смрадный сенокос.
Знать, новоселье, правят бесы
И продают печенку с весу,
Кровавых замыслов вязигу.
Вот адский дьяк читает книгу,
Листы из висельника кожи,
Где в строчках смерть могилы
множит
Безкрестные, как дом без кровли!..
Повышла Техника для ловли, —
В мереже, рыбами в потоке,
Индустриальные пороки —
Молитва, милостыня, ласка,
В повойнике парчовом сказка
И песня про снежки пушисты,
Что ненавидят коммунисты!
Бежим, бежим, посмертный друг,
От черных и от красных вьюг,
На четвертовый огонек,
Через Предательства поток,
Сквозь Лес лукавых размышлений,
Где лбы — комолые олени
Тучны змеиною слюной,
Там нет подснежников весной,
И к старым соснам, где сторожка,
Не вьется робкая дорожка,
Чтоб юноша купал ресницы
В смоле и яри до зарницы,
Питая сердце медом встречи...
Вот ласточки — зари предтечи!
Им лишь оплакивать дано
Резное русское окно
И колоколен светлый сон,
Где не живет вечерний звон.
Окно же с девичьей иголкой
Заполыхало комсомолкой,
Кумачным смехом и махрой
Над гробом матери родной!
Вот журавли, как хоровод, —
На лапках костромских болот
Сусанинский озимый ил,
Им не хватило птичьих сил,
Чтоб заметелить пухом ширь,
Где был Ипатьев монастырь,
Там виноградарем Феодор,
В лихие тушинские годы,
Нашел укромную лозу
Собрать алмазы, бирюзу
В неуязвимое точило...
«Подайте нам крупицу ила,
Чтоб причаститься Костромой!»
И журавли кричат: «Домой,
На огонек идите прямо,
Там в белой роще дед и мама!»
Уже последний перевал:
Крылатый страж на гребне скал
Нас окликает звонким рогом,
Но крест на нас, и по острогам
С хоругвями, навстречу нам
Идет Хутынский Варлаам,
С ним Сорский Нил, с Печеньги
Трифон,
Борис и Глеб — два борзых грифа.
Зареет утро от попон,
И Анна с кашинских икон —
Смиренное тверское поле.
С пути отведать хлеба-соли
Нас повели в дубовый терем...
Святая Русь, мы верим, верим!
И посохи слезами мочим...
До впадин выплакать бы очи,
Иль стать подстрешным воробьем,
Но только бы с родным гнездом,

Чтоб бедной песенкой чи-ри
Встречать заутреню зари.
И знать, что зернышки, солому
Никто не выгонит из дому,
Что в сад распахнуто давно
Резное русское окно,
И в жимолость упали косы!..

На Рождество Богородично.
1931.

* * *

На преподобного Салоса —
Угодника с Большой торговой,
Цветистей в Новгороде слово,
И пряжею густой, шелковой,
Прошит софийский перезвон
На ипостасный вдовий сон,
На листопад осин опальных,
К прибытку в избах катовальных,
Где шерсть да валенок пушистый.
Аринушка вдовела чисто,
И уж шестнадцать дочке Насте,
Как от неведомой напасти
Ушел в могилу катовал,
Чтоб на оплаканном погосте
Крестом из мамонтовой кости
Глядеться в утренний опал!
Там некогда и я сиял,
Но отягченный скатным словом,
Как рябчик к травам солодовым,
На землю скудную ниспал!
Аринушка вдовела свято,
Как остров под туманным платом,
Плакучий вереск по колени,
Уж океан в саврасой пене
Не раз ей косы искупал,
И памяткой ревнивый вал
В зрачки забросил парус дальний,
Но чем прекрасней, тем печальней
Лён времени вдова пряла,
И материнского крыла
Всю теплоту и многострунность
Испила Настенькина юность!
Зато до каменной Норвеги
Прибоя пенные телеги
Пух гаги — слухи развезли,
Что материнские кремли
И сердца кедр, шатра укромней,
Как бирюзу в каменоломне
Укрыли девичью красу!

Как златно-бурую лису
Полесник чует по умётам,
Не правя лыжницу болотом,
Ведь сказка с филином не дружит,
Араиной дозоры вьюжит,
И на березовой коре —
Следы резца на серебре,
Находит волосок жар-зверя,
И ревностью снега измеря,
Пустым притащится к зимовью, —
Так, обуянные любовью
И Капарулин с Кулда оя *,
И Лопарев от Выдро оя. —
Купцы, кудрявичи и щуры
В сеть сватовства лисы каурой
Словить, как счастья, не могли!
Цветисты моря хрустали,
Но есть у Насти журавли
Средь голубик и трав раздумных,
Златистее поречий лунных,
Когда голуборогий лось,
В молоках и опаре плёс,
Куст головы, как факел, топит!
В Помории, в скуластой Лопи
Залетней нету журавля,
Чем с Гоголиного ручья —
Селения, где птичьи воды, —
Сын косторезчика — Феодор!
Он поставец, резьбой украшен,
С кувшинцами нездешних брашен,
Но парус плеч в морях кафтанных
Напружен туго. Для желанных
Нет слов и в девичьем ларце,
И о супружеском венце
Не пелося Анастасии...
Святые девушки России —
Купавы, чайки и березки,
Вас гробовые давят доски,
И кости обглодали волки,
Но грянет час — в лазурном шелке
Вы явитесь, как звезды, миру!
Полюбит ли сосна секиру,
Хвой волосами, мясом корня,
И станет ли в избе просторней
От гробовой глухой доски?
Так песнь стерляжьи плавники
Сдирает о соображенье,
Испепелися наважденье —
Понятие — иглистый еж!
Пусть будет стих с белугой схож,
Но не полюбит он бетона!..
Для Настеньки заря — икона,
А лестовка — калины ветка —
Оконца росная наседка.
Вся в бабку, девушка в семнадцать
Любила платом покрываться
По брови, строгим, уставным,
И сквозь келейный воск и дым,
Как озарение опала,
Любимый облик прозревала,
Он на купеческого сына,
На объярь — серая холстина —
Не походил и малой складкой,
И за колдующей лампадкой
Пил морок и горючий сон,
В березку раннюю влюблен.

* Золотой ручей — карельское. (Примечание Клюева)

Так две души, одна земная,
И живописная другая,
Связались сладостною нитью,
Как челн, готовые к отплытью,
В живую водь, где Китеж-град,
И спеет слезный виноград.
Куда фиалкой голубой
Уйдешь и ты, любимый мой!
Бай-бай, изгнания дитя!
Крадется к чуму, шелестя,
Лисенок с радужным хвостом,
За ним доверчивым чирком
Вспорхнул рассветный ветерок,
И ожил беличий клубок
В дупле, где смоль, сухая соты!..
Вдовицын дом хранил Господь
От черной немочи, пожара,
И человеческая свара
Бежала щедрого двора,
Где от ларца до топора
Дышало все ухой да квасом
И осенялось ярым Спасом,
Как льдиной прорубь сельдяная,
Куда лишь звездочка ночная
Роняет изумрудный усик...

Подготовка текста и публикация В. А. Шенталинского

СЛОВАРЬ-КОММЕНТАРИЙ

Мы отнеслись к тексту предельно бережно и лишь в необходимых случаях приблизили орфографию и пунктуацию к современным нормам. В ряде мест сохранено авторское, особенное написание слов, чтобы не нарушить звучания и вкуса клюевской речи. Конъектуры в публикуемом тексте обозначены угловыми скобками. Словарь-комментарий составила фольклорист Татьяна Шенталинская.

Абаз — священнослужитель у мусульман.
Аксамит — бархат.
Алисафия — царевна, которую святой Егорий спасает от змея.
Антидор — благословенный хлеб, большая просфора, раздаваемая частицами народу.
Апостольник — плат, которым монахи прикрывают грудь и шею.
Араина — низкое, поемное место.
Базан — ярко-красная, багряная краска.
Бармы — оплечье, ожерелье на торжественной одежде.
Бегун — раскольник особого толка беспоповцев, скрывающийся от государственных повинностей.
Беляна — деревянная баржа.
Бирюч — глашатай.
Влесня — украшение в виде подвесок из серебряных монет.
Вапа — краска.
Вежа — шатер, лопарский шалаш.
Вифезда — купальня, где исцелялись больные и где, по Евангелию, Иисус исцелил человека, болевшего тридцать восемь лет.
Выг — Выговская старообрядческая община или пустынь в Заонежье.
Головщица — руководительница певчих на церковном клиросе.
Грицько на Украине — очевидно, «человек Божий Гриц» — известный блаженный прорицатель из Черниговской губ. — Григорий Мирошников (ум. в 1885 г.).
Дебренский — от дебри — лесная земля. Про странников из раскольников говорили — «из дебрей». Для поэта «дебренская Русь» — образ его родины, лесного русского Севера, одного из оплотов старообрядчества.
Денисовы — братья Андрей и Семен Денисовы, настоятели Выговского старообрядческого общежительства, авторы религиозных сочинений.
Домовище — гроб.
Досюльный — стародавний.
Дуван — дележ и место дележа награбленного добра; открытое высокое место; сильный порывистый ветер, вихрь.
Епистолия — послание в форме письма, грамоты.
Калиги — обувь странников, стянутый ремнем лоскут кожи.
Каньги — зимняя обувь.
Катавасия — разновидность церковных песнопений.
Кирие елейсон (греч.) — «Господи помилуй», начальные слова молитвы.
Кирьга — то же, что кирка.
Колода — долбленый гроб.
Корабль — название религиозной общины, распространенное у староверов.
Корзно — широкий плащ, обычно застегивающийся на левом плече.
Крин — лилия, а также сад-цветник.
Кукуйский язык — немецкий, от названия немецкой слободы на ручье Кукуй в Москве в XVII в.
Лестовка — кожаные четки.
Ляга — непросыхающее место, болото.
Малафейка — кофта со сборками.
Манатейка — монашеская мантия.

Милоть — меховое одеяние (библ.).
Мусикия — здесь от «мусия», мозаика.
Несториане — христианская секта, названная по имени Нестория — патриарха константинопольского.
Ночница — бессонница.
Омежа — плуг, сошник.
Омофор — святительский убор, часть облачения архиереев
Пасмо, пасма — моток пряжи.
Патерик — сборник жизнеописаний отцов-монахов.
Повалуша — спальня, обычно общая, холодная.
«Погорельщина» — поэма Н. Клюева.
Поприще — церковная путевая мера.
Поружен — от ружить, платить ругу (см.).
Посолонь — в направлении по ходу солнца.
Репейка — украшение в виде цветка, завитка, бантика
Руга — податная плата на содержание священнослужителей
Рясно — ожерелье, подвески.
Сакос — архиерейское облачение.
Сата — мучная сата, еда.
Саян — распашной сарафан.
Светлояр — святое озеро в Нижегородской обл., в которое, по преданию, погрузился град Китеж.
Сивть — крутить, свивая (проволоку, пряжу); раскатывать тесто
Скимен — молодой лев.
Срута — нарядная, праздничная одежда.
Сирыня — сундук, ларец.
Слава — символ божественного сияния на иконах
Смазни — цветные камни.
Совик — верхняя одежда из оленьих шкур.
Станушка — верхняя часть женской рубахи
Струфокамил — страус.
Стрюцкий — дрянной, презренный
Суземик — дремучий лес.
Сулейка — сосуд с узким горлышком, бутыль.
Сулица — копье.
Сыр — участок леса, отведенный смолокурам.
Тельник — нательный крест.
Триодь — богослужебная книга.
Чарус, чаруса — непроходимое болото, топь.
Шин — деревенский танец.
Шмохв — то же, что шмоина — распутница.
Штофник — шелковый сарафан.
Шугай — короткополая кофта.
Шур — щеголь.

Татьяна Толстая

ЛИМПОПО

Могилку Джуди в прошлом году перекопали и на том месте проложили шоссе. Я не поехала смотреть, мне сказали: так мол и так, все уже там закончено, машины шуршат и несутся, в машинах дети едят бутерброды и собаки улыбаются, проносясь в обнимку с хозяйками — мелькнули и нету. Что мне там делать?

Они в таких случаях обычно посылают родственникам и близким скорбное письмо: поживее, мол, забирайте ваш дорогой прах, а не то у нас тут ударная стройка, огни пятилетки и всякое такое. Но у Джуди родственников — по крайней мере в нашем полушарии — не было, а из близких был только Ленечка, да где теперь Ленечку найдешь? Хотя, конечно, его ищут всякие энтузиасты, кому не лень, но об этом потом.

А в прошлом году исполнилось пятнадцать лет, как Джуди умерла, и я, ничего не зная про шоссе, как всегда в этот день, зажгла свечу, поставила на стол пустую рюмочку, прикрыв ее хлебом, села напротив и выпила за помин души рябиновой наливки. И горела свеча, и смотрело зеркало со стены, и неслась за окном метель, но ничего не заплясало в пламени, не прошло в темном стекле, не позвало из снежных хлопьев. Может быть, не так надо было поминать бедную Джуди, а допустим, завернуться в простыню, зажечь курительные палочки и бить в барабан до утра, или, скажем, обрить голову, помазать брови львиным жиром и девять дней сидеть на корточках лицом в угол — кто их знает, как у них там в Африке принято?

Я даже не помню толком, как ее на самом деле звали: надо было как-то по-особому завыть, зубами клацнуть и зевнуть — вот и произнес; нашими буквами на бумаге не запишешь, а имя, говорила Джуди, на самом деле очень нежное, лирическое, означает — по справочнику — «мелкое растение из отряда лилейных со съедобными клубнями»; весной все отправляются на холмы, выкапывают эту штуку острыми палками и пекут в золе, а потом пляшут всю ночь до холодного рассвета, пляшут, пока не взойдет алое огромное солнце, чтобы, в свою очередь, заплясать на их лицах, черных как нефть, на голубых ядовитых цветах, воткнутых в проволочные волосы, на ожерельях из собачьих зубов.

Так это все у них происходит или не так — теперь трудно сказать, тем более что Ленечка — вдохновенный сам по себе да еще и поощряемый Джудиной улыбкой до ушей — написал на эту тему кучу стихов (где-то они у меня и сейчас валяются); правда и вымысел так перепутались, что теперь, по прошествии стольких лет, и не сообразишь, плясали ли когда-нибудь на холмах, радуясь восходу солнца, черные блестящие люди, протекала ли под холмами голубая река, курясь на рассвете, изгибался ли экватор утренней радугой, повисая, тая в небе, и были ли у Джуди, в самом деле, шестьдесят четыре двоюродных брата, и верно ли, что ее дедушка с материнской стороны вообразил себя крокодилом и прятался в сухих камышах, чтобы хватать за ноги купающихся детей и уток?

А все возможно! Это у них там экзотика, а у нас никогдашеньки ничегошеньки не происходит.

Пляски плясками, но Джуди, видимо, успела где-то перехватить клочок какого-никакого образования, ибо приехала к нам на стажировку (по

Рассказ опубликован в Париже: ж. «Синтаксис» № 27. 1990.

ветеринарной части, бог мой!). Размотали платки, платки, платки; шарфы, клетчатые шали, шали из козлиной пряжи в узлах и занозах, шали газовые, оранжевые, с золотыми продержками, шали голубого льна и полосатого льна; размотали; посмотрели: чему там стажироваться? — там и стажироваться-то нечему, а не то что со скотиной бороться: рога, хвосты, копыта, рубец и сычуг, помет и вымя, му-у-у и бэ-э-э, страшно подумать, а против корявого этого воинства — всего-то: столбик живой темноты, кусочек мглы, дрожащий от холода, карие собачьи глаза — и все, и больше ничего. Но Ленечка был сразу обворожен и сражен, причем резоны для этой внезапно нахлынувшей страсти были, как и все Ленечкины резоны, чисто идеологические: умственный завихрянс, или, проще выражаясь, рациональная доминанта всегда была его основной чертой.

Ну, во-первых, он был поэтом, и пылинки дальних стран много тянули на его поэтических весах, во-вторых, он, как опять-таки человек творческий, непрестанно протестовал — неважно, против чего, предмет протеста выявлялся в процессе возмущения, — а Джуди возникла как воплощенный протест, как вызов всему на свете: обрывок мрака, уголь среди метели, мандариновые шали в крепком московском январе, под Сретенье! — цитирую Ленечку. По мне — так ничего особенного. В-третьих, она была черна не просто так, а — как кочегар, — восторгался Ленечка, — а кочегар, наряду с дворником, ночным сторожем, лесником, привратником и вообще всяким, кто мерзнет ли в полушубке под жестокими звездами, бродит ли в валенках, поскрипывая снегом, охраняя ощерившуюся сваями ночную стройку, несет ли дремотную вахту на жестком стуле казенного дома, или же в тусклом свете котельной, у труб, обмотанных тряпьем, поглядывает на манометры, — был любимым Ленечкиным героем. Боюсь, что его представление о кочегаре было излишне романтическим или устарелым — кочегары, насколько мне известно, вовсе не такие черные, я знала одного, — но поэта простим.

Все эти профессии Ленечка уважал как последние плацдармы, куда отступили истинные интеллигенты, ибо на дворе зависло время, когда — по слову Ленечки — духовная элита, не в силах более взирать, как трещит и чадит в вонючем воздухе эпохи ее слабая, но честная свечка, отступила, повернулась и ушла под улюлюканье черни в подвалы, сторожки, времянки и щели, чтобы там, затаившись, сберечь последнюю свечу, последнюю слезу, последнюю букву рассыпанного своего алфавита. Почти никто не вернулся из щелей: одни спились, другие сошли с ума, кто по документам, кто на самом деле, как Сережа Б., что нанялся стеречь кооперативный чердак и как-то весною узрел в темном небе райские букеты и серебряные кусты с перебегающими огнями, поманившие его одичавшую душу предвестием Второго Пришествия, навстречу коему он и вышел, шагнув из окна четырнадцатого этажа прямо на свежий воздух и омрачив тем самым чистую радость трудящихся, вышедших полюбоваться праздничным салютом.

Многие надумали себе строгую светлую думу о чистом княжеском воздухе, о девушках в зеленых сарафанах, об одуванчиках у деревянных заборов, о светлой водице и верном коне, о лентах узорных, о богатырях дозорных, — пригорюнились, закручинились, прокляли ход времен и отрастили себе золотые важные бороды, нарубили березовых чурок — вырезать ложки, накупили самоваров, ходиков с кукушкой, тканых половиков, крестов и валенок, осудили чай и чернила, ходили медленно, курящим женщинам говорили: «Дама, а воняете», — и третьим оком, что отверзается во лбу после долгих постов и умственных простоев, стали всюду прозревать волшбу и чернокнижие.

А были такие, что рвали ворот, освобождая задыхающееся горло, срывали одежды свои, отравленные ядом и гноем, и отрекались паки и паки, вопия: анафема Авгию и делам его, женам его и наследникам его, коням его и колесницам его, злату его и слугам его, идолам его и гробницам его!.. И, отшумев и отерев слюну свою, затягивали ремни и веревки на узлах и торбах, брали детей на руки и стариков — на загривки, — и, не оборачиваясь и не крестясь, растворялись в закате: шаг вперед — по горбатому мостику — через летейские воды — деревянный трамплин — потемневший воздух — свист в ушах — рыдания глобуса, тише и тише, и вот: мир иной, чертополох цветущий, весенний терновник, полынный настой, рассыпается каперс и кузнечик тяжелеет, и... — ах и невинны же новые звезды, и золотые же скопища огней внизу, будто прошел, ступая широко и неровно, оставляя следы, кто-то горящий, — и роятся, извиваясь, золотые сегментчатые черви и сияющие щупальца, и вот, — кроваво-голубой, облитый ромом и подожженный, обжигая глаза и пальцы, кружится, шипя в черной воде, торт чужого города, а море дымящимися языками рек вползает в остывающее, потемневшее, уже замедленное и подергивающееся пленкой пространство, — прощай, помедливший, прощай, оставшийся, навек, навек прощай!..

А иные уцелели, сохранились, убереглись от перемен, пролежали без движения за полоской отклеившихся обоев, за отставшим косяком, под прохудившимся войлоком, а теперь вышли, честные и старомодные, попахивающие старинными добродетелями и уцененными грехами, вышли, не понимая, не узнавая ни воздух, ни улицы, ни души, — не тот это город, и полночь не та! — вышли, вынося под мышками сбереженные в летаргическом сне драгоценности: сгнившие новинки, прохудившиеся дерзости, заплесневелые открытия, просроченные прозрения, аминь; вышли, щурясь, странные, редкие и бесполезные, подобно тому, как из слежавшейся бумаги, из старой кипы газет выходит белый, музейной редкости таракан, и изумленные игрой природы хозяева не решаются прибить тапкой благородное, словно сибирский песец, животное.

Но это теперь. А тогда — январь, черный мороз, двухсторонняя крупозная любовь, и эти двое, стоящие в прихожей моей бывшей квартиры друг против друга и с изумлением друг на друга взирающие, — а ну их к черту, надо было немедленно растащить их в разные стороны и в корне пресечь грядущие несчастья и безобразия.

Ну ладно, что ж теперь говорить.

Мы забыли ее настоящее имя и звали ее просто Джуди, что же касается страны, откуда она приехала, то я что-то не смогла найти ее в новом атласе, а старый сдала в макулатуру — в спешке, не подумав, так как мне срочно нужно было выкупать макулатурное издание «Засупонь-реки» П. Расковырова: все же помнят, что этот двухтомник хорошо менялся на Бодлера, а Бодлер нужен был одному массажисту, который знал того маклера, что помог мне наконец с квартирой, хотя и попортил крови предостаточно. Не в том суть. А страны я не нашла. Видимо, после очередных боев, дележки, колдовства и людоедства Джудины соотечественники растащили в разные стороны и холмы, и дымную реку, и свежую утреннюю долину, распилили крокодилов на три части, разогнали народ и спалили соломенные хижины. Там была война, вот в чем дело-то, потому Джуди и застряла у нас: денег нет, дома нет и на письма никто не отвечает.

Но поначалу она была просто закутанная, замерзшая и мало что понимавшая девушка, собиравшаяся лечить зверей и доверявшая каждому Ленечкиному слову.

Я-то его хорошо знала, Ленечку, еще со школьных лет, и потому ни доверять, ни уважать не могла, но другим — что ж, другим уважать никогда не мешала. В конце концов, он был славный малый, друг детства — таких не уважают, а любят, — и мы с ним когда-то торопились сквозь одну и ту же утреннюю железную мглу, мимо тех же сугробов, заборов и качающихся фонарей, в ту же красную кирпичную школу, опоясанную снаружи медальонами с алебастровыми профилями обмороженных литературных классиков. И общими были для нас тоска зеленых стен, полы, измазанные красной мастикой, гулкие лестницы, теплая вонь раздевалок и страшноглазый Салтыков-Щедрин на площадке третьего этажа, мучительный и неясный, туманно писавший про какого-то карася, которого требовалось осудить в полугодовой контрольной с лиловыми штампами гороно. Этот Салтыков то «бичевал язвы», то «вскрывал родимые пятна», и за бешеным, остановившимся его взглядом вставали окровавленный фартук садиста, напряженные клещи палача, осклизлая скамья, на которую лучше бы не смотреть.

Крашеные эти полы, и мутный карась, и язвы, и свист ремня, которым порол Ленечку его отец, — все это прошло, горизонт, как говорится,

заволокло дымкой, да и не все ли равно! Теперь Ленечка был вдохновенным лжецом и поэтом — что одно и то же, — небольшим, кривоногим юношей, с баранно-блондинной головой и круглым, неплотно закрывающимся ртом битого кролика. Друзья, они такие. Они некрасивые.

Он был, конечно, борцом за правду, где бы она ему ни померещилась. Попадался ли в столовой жидкий кофе — Ленечка вбегал в общепитские кулуары и, именуя себя общественным инспектором, требовал отчета и ответа; стелили ли сырое белье в поезде — Ленечка воспламенялся и, тараня вагоны, громя тамбуры, прорывался к начальнику поезда, объявляя себя ревизором Министерства путей сообщения, и грозил разнести в клочья воровскую эту их колымагу, и кабину машиниста, и радиорубку, и особо — вагон-ресторан: потоптать пюре, раздрызгать борщи и полуборщи ударами могучих кулаков, и всех, всех, всех похоронить под обрушившейся лавиной вареных яиц.

К тому времени, о котором идет речь, Ленечку уже выгнали из редакции вечерней газеты, где он, под лозунгом правды и искренности, пытался самовольно придать литературный блеск некрологам:

> В страшных мучениях скончался
> ТЕР-ПСИХОРЯНЦ
> Ашот Ашотович,
>
> главный инженер сахаро-рафинадного завода, член КПСС с 1953 года. За весь коллектив не скажем, но большинство работников расфасовочного цеха, двое из бухгалтерии и зампредместкома Л. Л. Кошевая еще какое-то время будут вспоминать его незлым тихим словом.

или:

> Давно ожидаемая смерть
> ПОПОВА
> Семена Иваныча,
>
> бывшего директора фабрики мягкой игрушки, наступила в ночь со 2 на 3 февраля, никого особенно не удивив и не огорчив. Пожил — и будет. 90 лет, шутка ли!.. Может, кто хочет поприсутствовать на похоронах, так они скорее всего в среду, 6-го, если подвезут гробы, а то у нас всякое бывает.

или же:

> Хватились только через неделю
> ПОЛУЭКТОВУ
> Клариссу Петровну,
>
> личность без определенных занятий, 1930 года рождения, горькую пьяницу. Найденная соседями на балконе, не подавала признаков жизни, и уж теперь-то, ясно, не подаст. Все там будем, что и говорить. Эхе-хе

или, наконец:

> Малютка ПЕТР, с огнем играя,
> Достиг теперь преддверья рая.
> Вкушая райский ананас,
> Малютка ПЕТР, молись за нас!

Ленечка был возмущен узостью и черствостью сотрудников газеты, не принявших его стилистики, он усматривал в их позиции скудоумие, стандарт, бескрылость и гонение на творческую интеллигенцию, — и, по-моему, вполне справедливо; — усматривал небрежение русским словом, могучим и ядовитым, а в то же время нежным и гибким, — усматривал нежелание расширять рамки жанра, а главное — лживость, лживость и презрение к простому и страшному, ждущему всех нас, акту смерти простого человека.

Он пил чай у меня на коммунальной кухне, вовлекая в спор и крик моего соседа Спиридонова, тоже измучившегося в борьбе с равнодушными: изобретенный Спиридоновым отрывной бумажный пятак стоил ему раннего инфаркта, развода с женой, исключения из партии и потери иллюзий. Бывший энтузиаст, а ныне потухший, седой человек, Спиридонов выходил со стаканом чая в железнодорожном подстаканнике, подаренном сослуживцами на юбилей, выставлял ванильные сушки, и они, эти двое, бубнили и кричали друг другу: «Гегели долбанутые... он мне говорит: а вы документацию обосновали?.. Фантазия червя... я говорю: сколько ж одного металла псу под хвост кидаем, это ж Алтайские горы... мушиные мозги со склеротическими бляшками... все автобусные парки — так? весь метрополитен — так?..» — и плакали, обнявшись, о чистом, свежем, о незапятнанном, о доверии к мысли, о любви к человеку, о простой улыбке — да мало ли о чем плакали в те годы. Эх, ба, чу, фу-ты ну-ты, увы, ого, — как печально писали в свое время составители учебника вздохов родного языка Бархударов и Крючков. «Пушкина просрали!» — горячился Спиридонов. — «Эх, Пушкина бы сюда!..» — «Будет Пушкин! Сделаем Пушкина!» — обещал Ленечка.

Он изложил Спиридонову свой план. Я вроде бы интеллигент, так? — говорил Ленечка. Интеллигент... плакаты видели, знаете?.. это тот, кто изображается сзади, за рабочим и крестьянкой, в очках, так и просящих, чтобы по ним заехали, допустим, обрезком трубы или куском застывшего цемента, — с жиденькой, неуверенной улыбкой, готовой перейти в униженную: знаю, мол, знаю свое место!.. Он, плакатный, знает свое место: оно сзади, в дверях, у порога, — и одна ненарисованная нога уже нашаривает ступеньку вниз, обратный ход, путь к отступлению; это то место, куда швыряют, так уж и быть, обноски, обрезки, объедки, опивки, окурки, очистки, ошметки, обмылки, обмусолки, очитки, овидки, ослышки и обмыслевки. Что, дескать, встал!.. Я тебя!.. Ах, не нра-авится?! Не лю-ю-бишь?! А вот тебе, вот тебе, вот тебе! Взы его! п-падло... Так и норовит цапнуть... Ощерился, вишь, — не нра-авится ему... А ну вали отсюда! с-скотина... Гнать, гнать взашей, эй, мужики, навались, вломим ему!.. А-а, побежал! Беги, беги... Далеко не убежишь... еще разговаривал тут, тля...

Недаром, недаром интеллигент изображается на официальных картинах — то бишь плакатах — сзади, изображается вторым и последним сортом, так же, между прочим, как на плакатах, взывающих к дружбе народов, вторым сортом идет негр — позади белого, чуть отступя. Мол, дружба дружбой, но ведь, товарищи, негр все-таки, понимать надо...

А посему интеллигент (Ленечка) и негр (Джуди) должны соединиться брачными узами, и этот союз униженных и оскорбленных, уязвленных и отверженных, этот минус, помноженный на минус, даст плюс — курчавый, пузатый, смуглый такой плюс; повезет — так сразу будет Пушкин, не повезет — еще раз ухнем, и еще раз ухнем, а то внуков дождемся, правнуков, и, в гроб сходя, благословлю! — постановил Ленечка. «Дерзай», —

вздохнул Спиридонов и ушел, унося юбилейный подстаканник, на котором три серебряных спутника облетали земную горошину с одной-единственной страной на выпуклом боку.

Ленечка стал дерзать.

Момент для этого был самый, надо сказать, туманный, так как именно в это время выяснилось, что Джуди, или как там ее на самом деле звали, остается без гражданского статуса, то есть начисто безо всякого статуса, — на месте ее африканской родины открывается театр военных действий, одна страна ее не признает, другая выпихивает, третья приглашает интернироваться на неопределенное время, а наша исключительно сожалеет, разводит руками, причесывается, продувает расческу, любезно улыбается и рассеянно смотрит в окно, но решительно ничего утешительного на данный туманный момент предложить не может. Не бьет, и то спасибо.

Тетя Зина, Ленечкина тетка, не подозревая еще, какую свинью ей и ее благополучию собирается подложить племянник, говорила Джуди: «Доча, держись. Всем трудно», — но дядя Женя, ее муж, находившийся, между прочим, на взлете своей дипломатической карьеры и ждавший — так уж получилось — назначения в противоположный Джудиному угол африканского континента, не одобрял контактов с иностранной подданной, хотя бы и бездомной, и по мере приближения часа окончательного оформления своих документов все острее и бдительнее следил за собой, чтобы не сделать ложного шага в том или ином направлении. Так, он запретил тете Зине подписаться на «Новый мир», памятуя о его недавней, еще не просохшей ядовитости, вымарал из записной книжки всех знакомых с подозрительными окончаниями фамилий и даже, поколебавшись, какого-то Нурмухаммедова (о чем позже горько сожалел, и, мучая глаза, рассматривал листок на свет, чтобы восстановить номер телефона, так как это оказался всего лишь жулик по ремонту автомобилей) и в последнюю, кризисную неделю даже побил и спустил в мусоропровод все импортные консервы, вплоть до болгарского яблочного джема, и уже покушался на республиканские продукты, но свекольный хрен тетя Зина отстояла своим телом.

И вот вам, пожалуйста, — в тот самый момент, когда он довел себя до неслыханной, невероятной, нечеловеческой идейной чистоты, когда он почти уже светился, как хорошая, спелая хурма, — все косточки просвечивают, и ни единого пятнышка, как ты его ни верти, не найдешь, — нет, нет, нет, не участвовал, не привлекался, не имею, не состоял, не намеревался, не произносил, не встречался, никогда не думал о, в жизни не слыхал, в голове не держал, не имел ни малейшего представления, и ни днем, ни ночью не имел покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет, — вот в этот самый момент мальчишка, сопляк, племянник, а выражаясь научно — близкий родственник, — марает, понимаете ли, его репутацию, по сравнению с коей отшельники горы Афон — просто хулиганы, пишущие в лифтах неприличные слова, псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители!

Так вот, дядя Женя устроил пронзительный визг и биение об пол, так как из-за Ленечкиных матримониальных устремлений его карьера повисла на волоске, а он уже мысленно съездил, отслужил и вернулся, и привез кучу добра: и настенные маски, и коврики, и торшер с начесом, не говоря уже о вещах крупногабаритных; он уже предвидел, как будущие, через пять-шесть лет имеющие возникнуть гости, перейдя из сапог в тапки, обойдут по периметру гостиную, с виду беспристрастные, а в душе раздираемые завистью; как он разрядит атмосферу вечера шутками: достанет из пакетика и будет бросать об стену резинового гонконгского паука, чтобы тот, цепляясь и обрываясь, и снова цепляясь, мерзко сползал по стене под счастливые крики и испуг дам; как они будут пить чай из синей банки, где на крышке пляшет такая цыпа в шальварах, — в ноздре брильянт, а в глазах, знаете, эдакое — ложная такая невинность; индийский будут пить они чай, а кое-кто, невелик пан, перебьется и грузинским, — короче, дядя Женя предполагал жить роскошно, жить вечно, но Бог судил иначе, и скажу уж, забегая вперед, что когда он, после нескольких блистательных месяцев своей состоявшейся-таки африканской карьеры посетил национальный заповедник, где дразнил палкой павиана, — то засвался и был разорван в мельчайшие клочки каким-то проходившим мимо ихним животным. Словно предчувствуя что-то, словно томясь, он все же успел до своей кончины выслать в подарок Ленечке вышеупомянутого липкого паука, но посылка шла так долго, что по прибытии паук оказался просроченным и сползать не хотел, а просто шмякался; так долго, что уже и газеты, обещавшие, что светлая память о дяде Жене навсегда останется в наших сердцах, были сданы в макулатуру, чтобы обернуться, в вечном круговороте превращения материи, обоями по восемьдесят копеек, очередь за которыми длинна и печальна, словно насмешка над нашими чаяниями.

Но все это было позже, а в тот момент дядя Женя был еще живым и счастливым мужчиной: и жена у него была какая надо — дочь военнослужащего, — и плитка в сортире салатовая, чешская, и на стене — для благонадежности — висела балалайка. Так что визг его был вполне закономерен и оправдан.

Он навизжал — на правах младшего, но преуспевшего брата — на Ленечкиного отца, указав ему на черт знает какое воспитание, данное детям: Ленечке, оскандалившемуся в кулуарах печати, — а ведь мог, щенок, вырасти в крепкого, спортивно-международного журналиста, если бы слушался дядю; Светлане, Ленечкиной сестре, девушке распущенной, склонной шляться по кафе и кататься на машинах неизвестно с кем; заодно попало и младшему, Васильку, ученику пятого класса, решительно ни в чем не повинному и даже только что занявшему второе место на городской олимпиаде по санкам. Он навизжал на жену, тетю Зину, обвинив в попустительстве, ротозействе, потакании и в том, что муж ее двоюродной тети некогда собирался устроиться на работу в КБ, а между тем дедушка одного из бывших сотрудников этого КБ жил по соседству с мужиком, владевшим в 1909 году двумя коровами; а это может быть расценено как заведомо опасная близость к кулацким кругам; навизжал на кота, с приближением марта все чаще поглядывавшего за окно, на дворника, на торговок редиской в подворотне, на лифтершу, на сторожа кооперативной автостоянки, на начальника ЖЭКа и даже на хомяка, жившего в клетке на кухне, причем хомяк, выслушав дядю Женю, тут же умер.

Как бы то ни было, визг дяди Жени был страшен, как страшен, должно быть, визг падающего, соскальзывающего в пропасть и держащегося только за пучки травы человека: податливая сухая почва пылит и крошится, и вздуваются, выходя из земляных гнезд, корни, — близко, близко у глаз; и уже выбежал из своего домика встревоженный паучок или муравей, — он-то останется, а ты-то полетишь, расцветая на короткий миг птицей, полотенцем, еще теплой и живой рогулькой, спеленутой собственным криком; ноги уже царапают пустой воздух, и мир готов, кружась и поворачиваясь, подставить тебе свою пышную, зеленую, грубую чашу.

И было мне его жаль, как всегда бывает жаль раздавленных, разбитых в кровь, приснившихся без глаз.

Между тем Ленечка, приказав Васильку приступить к выпиливанию лобзиком полочки, на которую он поставит сочинения будущего Пушкина, вплотную занялся Джуди и обращением ее в свою поэтическую веру. Ни к себе домой, ни, естественно, к дяде он ее привести не мог, и моя коммунальная кухня, оживляемая инвалидом Спиридоновым, оглашалась безумными Ленечкиными текстами, протестами и тостами.

«Ну что ты хочешь? Говори! Все сделаю!» — разбрасывал Ленечка стандартные любовные посулы, напившись чаю с пряниками инвалида.

Джуди смущалась. Она хочет скорее стать ветеринаром. Она хочет приносить пользу и лечить зверюшек... Коров, лошадей... — Милая, это не называется зверюшки, это крупный рогатый скот!.. — Лошади — не рогатый... — Напрасно так думают! Напрасно! — кипел Ленечка. — Рога у лошадей были, но отпали в процессе эволюции, когда лошадь слезла с деревьев, повинуясь общественной потребности, и вышла в поле, к мужику, где рога только мешали. А у вас в Африке есть коровы и лошади? А они впадают в зимнюю спячку? — веселился поэт. И объяснял Джуди, что корова, сдав все дела и распорядившись насчет теленка, уходит в лес, роет ямку и, уютно устроившись, свернувшись калачиком, спит до весны, заметаемая снегом, с нежной улыбкой, сомкнув прелестные свои очи,

воспетые в нашем и не нашем эпосе, и снятся ей быстрые ручьи да зеленые луга в россыпях ромашек,— а охотники, построившись цепью, уже идут на зимний промысел с фонарями и красными флажками, и шарят граблями по сугробам, и подымают спящую ухватами,— вот почему мясо у нас только мороженое, это ж вам не зебу.

А вот сойдут снега, Джуди, дорогая, поедем за город, в густые леса и широкие поля,— ели темные, пни огромные,— увидишь нашу северную фауну, кудрявых шелковых соловьев с голубыми очами, белорунных овец о серебряных копытцах, что поют чудные песни с припевами над бегущими водами, а какие у нас коты в кафтанах рытого бархата с медными пуговицами, а какие козлы — знала бы ты — политически грамотные, опрятные, с твердой гражданской позицией, в стальных очках! А наши пауки, а мухи — веселые, в красных сапожках, с пряниками под мышкой,— скажи, Спиридонов! Выше голову, Спиридонов, пьем за паука!

Нельзя сказать, чтобы мне очень уж нравился этот ежевечерний шабаш, эта колготня и чаепитие на моей небольшой территории,— у меня были свои планы на жизнь и кое-какие мечты: выйти замуж, перевезти к себе маму из Фрязина или поменяться на однокомнатную квартиру, все это, правда, как-то, едва наметившись, путалось и разваливалось, и не то чтобы не было мужей или вариантов обмена,— все было, но завалященькое, убогое, пятого сорта, с изъянами и кавернами, флюсами и перекосами.

Нельзя же было всерьез отнестись, например, к жениху Валерию: крепкий, высокий, очень себя за это уважавший, с лицом милиционера или ответственного работника, Валерий ел много мяса, держал дома гири, эспандеры, велосипед, лыжи и еще какие-то необязательные спортивные загогулины; его мечтой было купить синий пиджак с металлическими пуговицами, но тот не давался ни за какие деньги. Без пиджака Валерий чувствовал себя выпавшим из жизненных пазов. Как-то осенью мы шли с ним по ветреной набережной Яузы, был оранжевый холодный вечер, летели последние листья, в небе зажглась чистая звезда и повеяло близкой зимой, тоской, новым, бессмысленным, неотвратимо приближавшимся годом; ветер поднял и бросил в нас городскую, подмерзающую пыль. Валерий остановился и зарыдал. Я постояла, пережидая, разглядывая небо и звезду в пустоте; я понимала, что слова — ничто, что утешения не надо, понимала, что это — горе, крах, крушение: синий пиджак выходил из моды, проплыв мимо Валерия; розовым утренним облачком, мимолетным видением, журавлями, ангелом в лунной вышине уплывал пиджак,— поманил, растревожил, смутил душу, вошел в сны и прошел, как прошли, отшумев и отблистав, роскошные, пестрые и пряные царства Востока. Отплакав, Валерий утер красной рукой свое негибкое комсомольское лицо, и мы пошли дальше, притихшие и печальные, и расстались у овощного магазина на углу, с тем, чтобы больше никогда не встретиться.

Не годился в женихи и Гарик, духовный человек. Не то чтобы меня смущали постоянные обыски в его конуре: государство все нападало на Гарика, отбирая его духовные бумажки и картинки, отнимая любимые книжки, а иногда забирая и самого Гарика; не то чтобы меня пугали шестеро его детей от предыдущей жены,— Гарик был добрый, любящий, милый и на редкость изворотливый юноша: и детей кормил, и бумажки как-то быстренько, неутомимо, хлопоча, восстанавливал,— а вот что-то скучно мне было: послушать его — все «вертоград» да «вертоград», да пути, да искания, да благодать, да все сладчайшее да нерукотворное, а жизнь идет — плохая, но единственная, а в конуре у него хлам, тряпье, пыль, и бутылки с клеем на подоконнике, и постная кашка в подгорелой кастрюльке, и рубище на шатком гвоздике... и неужели же этот, вот этот мир, тщедушный и безобразный, и был обещан и нашептан, возвещен и предчувствован, когда все начиналось, когда раскрывались невидимые ворота и звучал неслышимый гонг?

По правде сказать, хотелось любви, да она и была, потому что любовь есть всегда, вот тут, в тебе, только не знаешь, с кем ее разделить, кому поручить нести чудесную, тяжелую ношу,— тот слабоват, а этот скоро устанет, и вон те,— бежать от них прочь, пока тебя не расхватали, как пирожки с повидлом у «Детского мира», бросая пятачок и заворачивая свою добычу в промасленную бумажку.

Да, хотелось чего-то такого — тяжелее Валериевых гирь и легче доморощенных крылышек Гарика, хотелось уехать или уйти, или долго, долго говорить, а может быть, слушать, и воображался кто-то неясный: спутник, друг, прохожий, и мерещился путь: ночная тропа, запах прели, капли с мокрых кустов, смех в темноте и огонь впереди, деревянный дом, и вымытый пол, и книга, в которой про все написано, и всю ночь, до утра,— шум высоких, невидимых деревьев.

И еще... но неважно. Была реальность: кухня, крики, седая щетина Спиридонова, ныряющая в стакан с чаем, теснота и эти двое, эта противоестественная парочка с далеко идущими планами. Форточку мы плотно закрывали, чтобы не слышать далекий, острый, как игла, нескончаемый и мучительный крик дяди Жени.

— Вот что, старуха,— намекал Ленечка,— если тебе дороги судьбы российской словесности, отчего бы тебе не вынести раскладушку на кухню?

Я не хотела ни спать на кухне, ни «пойти погулять», ни уехать на недельку во Фрязино, и Спиридонов тоже не хотел, но Ленечка ругался, боролся и поносил нас,— как приватно, в рабочем порядке, так и в стихах, для вечности,— и покупал нам со Спиридоновым билеты в кино на двухсерийные фильмы с киножурналами.

Уже шумела весна — холодная, ночная: уже гудел ветер в деревьях, и в ветре летела вода, и птицы, каркая, сбивались в клубки над сквозными деревьями, над проржавевшими куполами: чистые лужицы дрожали, отражая огни пельменных, рюмочных, чебуречных, и в воздухе дышали, летели, бежали тревога, жизнь, желания — общие, невостребованные, ничьи,— а я брела под руку с угрюмым, волочившим ногу инвалидом Спиридоновым по кривым переулкам, под московской, мусульманской луной, и нога его, зашнурованная в ботинок за четырнадцать рублей тридцать копеек, чертила по Москве длинную, извилистую линию, словно вспахивая бесплодный городской асфальт, словно готовя борозду под незнаемые индустриальные семена. А потом в кинозале, в подмокших пальто, нахохлившись, исподлобья смотрели — я и инвалид — на какой-то мелькающий прокатный стан, болванки, корявых героев труда, раскаленные брусы железа, трактора, свиней-рекордсменок, на плешивых, хорошо покушавших людей в шевиотовых костюмах, растирающих в пальцах колоски, на поток льющегося на нас, идеологически выдержанного зерна, смотрели, покорно ожидая, пока где-то там, из факта дружбы бездомных народов не завяжется беззаконный младенец Пушкин как последняя наша надежда.

К лету Пушкина все еще не было, а жизнь моя стала совершенно невыносимой: международные любовники устроились в моей комнате как у себя дома, ели лапшу из кастрюльки, играли на зурне, ходили голыми и даже пытались разводить на полу костер в каком-то железном кульке; Ленечка купил Джуди для научного развлечения белых мышей и белого же, мужского пола, кота; будучи убежденным пацифистом, Ленечка навязывал коту свои взгляды: разработал систему просветительных лекций и проводил практические семинары по воздержанию от мышеедения.

С деньгами у Ганнибалов было всегда плохо: Ленечка устроился было на полставки в женский календарь как обозреватель рецептов национальных кухонь. Но правдолюбие и здесь сослужило ему дурную службу, так как в календаре не хотели низких истин, критиканства и разоблачений, не хотели рецепт майского салата начинать словами: «Будем откровенны: жрать нечего», не хотели посланий и проповедей вроде: «Если рыночный помидор тебе по средствам, остановись и вопроси себя: так ли ты жила? Где согрешила? Когда оступилась, свернув с узкой стези добродетели на торную дорогу соблазна?..» — и его опять выгнали, и он опять гордился и негодовал, и немедленно завел себе пару друзей, а вернее, учеников и последователей,— бородатых, в помятой одежде, увешанных крестиками и бубенчиками, с блуждающими улыбками и отрешенными коровьими взорами, и, пригласив их к себе, а вернее, ко мне, читал им назидания, учил выбирать неложные пути и предъявлял в качестве наглядного примера кота, который, испытав силу Правдивого Слова, стал уже совершеннейшим буддистом и трансцендировал все земное и преходящее, а также пробегающее.

Теплое лето, опустевший воскресный город — я уходила слоняться по

переулкам, выбирая старые, глухие углы, где пахнет пивом, пролитым в пыль, дешевой штукатуркой, досками строительных заборов, где из стен домов торчит дранка, а одуванчики — топчи их, не топчи, — невинно и тупо пробиваются у подножий сараев и храмов со времен Ивана Калиты. Тяжкий блеск церковного купола вдали, немолчный и бессмысленный шелест листьев, уже потускневших, бегучие пятаки солнечных пятен, вонь и ветошь вокруг гаражей, трава в тени лип и земляные плеши во дворах, на площадках, где сушат белье, — тут прожить, тут и умереть, так никого и не встретив, никому ничего не сказав.

Может быть, и был один человек в другом городе... но неважно, какая разница, если ничего из этого не вышло, и сейчас, после стольких лет, я одна выпью рябиновой наливки за помин Джудиной души и долго буду смотреть в пламя свечи, и ничего в нем не увижу, кроме сияющего лепестка с белой сердцевиной, кроме пустоты, горящей в пустоте...

Прощай, Джуди, скажу я ей, не ты одна пропала ни за грош, пропадаю и я, все звери моей породы разбежались кто куда, — ушли за зеленые летейские воды, за стеклянную стену океана — он не раздвинется, чтобы дать проход: кто зазевался — подстрелен, охотники славно поохотились, усы их в крови, и к зубам прилипли свежие перья; а те, что прыснули во все стороны в отчаянной жажде выжить, — поспешно переоделись в чужие шкуры: прилаживали рога и хвосты у осколков зеркал, натягивали перчатки с когтями, и теперь уже не отодрать бутафорскую, мертвую шерсть. Я встречаю их иногда, и мы смотрим друг на друга мутно, как из-под воды, и надо, наверно, что-то говорить, а говорить бессмысленно, как тогда, когда уезжаешь, а тот, другой, провожает, и ты стоишь в вагоне, за двойным немытым стеклом, а тот, другой — на перроне, в порывах ночного дождя, и вы оба напряженно улыбаетесь: все слова сказаны, а уйти нельзя, и киваешь головой, и чертишь пальцем на ладони волну: «пиши», и тот, другой, тоже кивает: понял, понял, напишу, — но он не напишет, и вы оба это знаете, а поезд все стоит, все не трогается с места, все никак не начнутся толчки, белье, рубли, долгий говор соседей, темный приторный чай, промасленная бумага, тусклый промельк фонарей на пустом полустанке, бисерное, вспыхивающее золото дождевого пунктира на стекле, косой и грешный взгляд солдата, качающаяся теснота коридора и срамной холод сортира, где грохот колес сильней и оскорбительней, и из полумрака близко и нелестно смотрит на тебя твое собственное отражение — унижение — поражение... — все это впереди; а поезд все стоит и не трогается, и твоя улыбка натянута и готова сползти, оплыть слезою, и в ожидании толчка, конца, последнего взмаха ты шевелишь ртом, шепча бессмысленные слова: восемьдесят семь, семьдесят восемь: семьдесят восемь, восемьдесят семь. — и по ту сторону глухоты тот, другой, тоже шевелится и с облегчением лжет: «обязательно».

Тут как раз Спиридонов, испортивший зубы дешевыми сушками и сокрушительным ежевечерним кипятком, вынужден был заказать себе новые коронки. Рассеянный инвалид полагал, что ставит золотые, однако его прямо во рту обворовали на приличную, как выяснилось позже, сумму. Впрочем, разнообразие металлов в его пожилом рту создало редкий, но чудесный эффект: Спиридонов стал сам, безо всяких дополнительных приборов, принимать радиопередачи. Из него плыли тихие танго, далекие иностранные голоса, молитвы, вопили футбольные матчи, бушевавшие неведомо где; работал он обычно на коротких волнах и включался к вечеру. В ранние часы он передавал какую-то дребедень — «Вам, пытливые» или же концерт по заявкам механизаторов, но чем больше сгущалась тьма, тем таинственнее бормотал и смеялся мир, и огни вырывались из мрака, и какие-то цветные фонари, и барабаны... и где-то бежала вода, вся в огнях — что это за вода, и что это за огни, и о чем говорят барабаны, — откуда нам знать!.. А в полночь инвалид вещал, кажется, по-португальски. А может быть, и не по-португальски, откуда нам знать! Ах, какой это был прекрасный язык! Плоский тугой океан мерно бил в берег длинной, как хлыст, волною, пестрые паруса входили в гавани, и каменные ступени спускались к воде, и пахло ракушками и вареным рисом, и суровые женщины громко пели под красными крышами о цветах, о убийцах, о кораблях, груженных мочалом и лаковыми коробочками, птицами и бусами, лиловым шелком и душистым перцем. А может быть, все там было совсем не так, — откуда нам знать, если мы этого не видели и никогда, никогда не увидим, — никогда, до самой смерти, до скрипа дешевого крашеного гроба из сырого горбыля, спускаемого на волосатом вервие толчками, рывками, последними земными аршинами в осенний супесок, суглинок, краснозем!.. — до последней астры, царского цветка, вдавленного в ноябрьскую землю, с головкой, откушенной каблуком сизого, торопливого могильщика! Никогда, никогда, — пел Спиридонов; — никогда, — плакала я, никогда, — кричал Ленечка, — время встало, пространство высохло, люди попрятались по щелям, купола проржавели и заборы оплетены белым вьюнком, крикнешь — не слышно, взглянешь — не поднять сонных век, пыль стоит до облака, и могила Пушкина заросла густой лебедою! — кричал Ленечка. Над густою лебедою гуси-лебеди летят! То как зверь они завоют, то ногами застучат! Гуси-лебеди с усами — страшно девице одной; это ты, Иван Сусанин? Проводи меня, родной! Нашим планам нет предела, всем народом рвемся ввысь, и в распухнувшее тело раки черные впились! Едут греки через реки, через синие моря; все варяги едут в греки, ничего не говоря. Холодок бежит за ворот, пасть разинул соловей: не сдается лютый ворог милой родине моей. Соловей хрипит на ветке, гнется дерево под ним; «кукареку» — вопит в клетке шестикрылый серафим; птичка божия не знает ни пощады ни стыда: сердце с мясом вырывает и сжирает без следа. А струна звенит в тумане, а дорога все пылит... Если жизнь тебя обманет — значит, родина велит.

Но Спиридонов, глухой к Ленечкиной упаднической поэзии, мечтал о своем, и планы его были грандиозны: какие-то антенны, усилители, мотки проволоки, радиолампы, цветомузыка, — да что цветомузыка, он уже собирался озвучивать воображаемые танцплощадки и стадионы, он уже размечтался о телевизионном изображении, о фестивалях, кроссах дружбы, вручении олимпийских медалей, установке поздравительных статуй на родине — в мраморе по шею, в бронзе по титьки, в граните, с мечом в руках, в пятиэтажный рост; он уже срывал горы и прорубал туннели, перегораживал плотинами реки и перекраивал республики, он уже выходил в открытый космос и оттуда, сверкая фиксами и вращая телескопическими глазами, огромный как Кинг-Конг, сбивал баллистические ракеты и устанавливал вечный мир во всем мире.

А Пушкина все не было.

Тут в квартиру наведались бдительные товарищи из домоуправления, возглавляемые стариком Душкиным, который, если поскальзывался на улице, или если прокисала сметана, иначе, как в Политбюро, не писал. Товарищи хотели знать: зачем шум и музыка и почему ночью свет? Документики попрошу. Спиридонов взял вину на себя: он изобретатель, работает по ночам, звуки зурны и барабана его стимулируют. Вынес он и показал также свою почетную грамоту за 8-й класс 415-й мужской школы Красногвардейского района, публикацию в «Науке и жизни»: «СДЕЛАЙТЕ из старых ЗУБНЫХ ЩЕТОК удобную новую ШВАБРУ» и музейную вещицу: текст работы Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин», выполненный инкрустацией из рыбьих костей по моржовому бивню неизвестным народным умельцем. Но если нельзя, сказал Спиридонов, то он больше не будет, а документы в порядке, правила проживания нам известны. Мы, слава богу, не маленькие, знаем, что все запрещено: стоять ночью на обочине МКАД, работать без упора, дергать без надобности, заслонять кабину шофера, получать более 600 грамм в одни руки, нарушать целостность упаковки, приносить и распивать, ставить вещи на поручни, торговать с рук, открывать до полной остановки, выгуливать без намордника, провозить зловонное, ядовитое и длинномерное, разговаривать дольше трех минут, спускаться и ходить по путям, высовываться, влезать, фотографировать, оказывать сопротивление, квакать, свистеть, трижды кричать на заре василиском и производить распиловку дров после 23 часов вечера по местному времени.

С товарищами из домоуправления лучше было не шутить; я выгнала Ленечкиных учеников, белый кот ушел сам, подговорив мышей странствовать вместе, — кстати, к осени эту компанию видели в верховьях Волги: кот шел, опираясь на посох, в венке из незабудок, отрешенный; мыши,

шесть штук, бежали следом, неся мелкие пожитки, соль и спички,— боюсь, что они зажигали костры в неположенных местах, а мы за них отвечай и вдобавок дядя Женя,—уже прибывший к месту назначения, уже прошедшийся неспешно по комнатам своего нового жилья, уже подергавший, проверяя на крепость, окна, двери, замки, жалюзи, уже распаковавший чемоданы с галстуками в полосочку, галстуками в клеточку, галстуками в павлиний глаз, уже объяснивший тете Зине, как пользоваться кондиционером («Жень! А, Жень! Чего-то я тут... Чего-то не пойму!»)—дядя Женя ни на минуту не утратил бдительности и послал Ленечке письмо диппочтой—копию Ленечкиным родителям,—предупреждающее, чтобы тот прекратил сам знает что и не вздумал это самое; что кое-кто предупрежден и проследит со всей строгостью, ибо на то уполномочен; а если Ленечка не перестанет кое-что, то дядя Женя даст знать кое-куда и тогда будет ай-яй-яй. И пусть Ленечка не думает, что если дядя Женя кое-где, то ему хоть бы хны. Нет, все очень серьезно, потому что—сам понимаешь, а тем более сейчас, когда...—вот именно. Так-то.

Бедный дядя Женя, он писал, задумывался, подбирал оттенки смысла, а смерть его уже вышла из дальних лесов и, принюхиваясь, побежала на мягких лапах, играя мышцами, ему навстречу. Дядя Женя дописал, выпил доступного кофе и глянул в пустую чашку,—и вся кофейная гуща мира, все ромашки, все линии на ладонях, и рисунок дальних звезд, и колоды карт с насупленными королями и самонадеянными валетами уже сложились в простой гробовой узор, доверчиво открывая дяде Жене его близкую судьбу, но он не прочел ее, ибо это знание не было ему дано. И дядя Женя заклеил конверт и задумался о фруктах будущих лет, о морском купании, о шинах для нового автомобиля, о бумагах отчетов и петлях интриг,— сладко-сладко задумался о вещах, которые, конечно же, случились, но не имели к нему уже ни малейшего отношения. Странно думать, что он умер почти в одно время с Джуди, и, пронзая метафизические выси, столкнулся с ней, быть может, в сером свете посторонних светил, не узнав.

Дядя Женя не шутил—он пошевелил доступные ему рычаги, и в октябре — хорошо помню этот день — паника, Ленечкины крики, Джудины слезы, а ночью, в южной стороне неба,—далекая дрожащая заря дяди-жениного злорадства,—в октябре Джуди вызвали в одно неприятное место—казенный дом—и предложили сейчас же уехать вон, куда угодно, но только чтобы вон. Понятно, что мы не спали всю ночь, что Ленечка произносил декабристские речи, что его сестра Светлана, вся густо накрашенная, в крутых локонах, несмотря на поздний час (а вдруг за поворотом любовь?), курсировала от нас к своим родителям (мама-то была совершеннейшая овца, а папа—посвирепей), передавая, с одной стороны, радикальные планы брата: жениться, эмигрировать, уехать на север, на юг, на Марс, устроить акт самосожжения на Пушкинской площади и так далее, а с другой стороны—все, что полагается в таких случаях, и когда под утро Светлана сообщила, что состоялся телефонный разговор с южным полушарием,—причем эти сообщили: «Леня кое-что», а тот ответил: «Вызывайте кое-кого»,—мы все: любовники, Спиридонов, Светлана и я—бежали, как говорится, в неизвестном направлении, причем по дороге перессорились; Светлана хотела к морю, так как очень любила моряков и то, что они привозят в подарок девушкам Светланиного образа жизни; я предлагала Фрязино, где у мамы был свой домик, обсаженный черной смородиной и люпинами, Ленечку манила тайга (как всегда, по идеологическим соображениям), и в результате победил Спиридонов, отвезший нас в город Р., где проживала его сестра Антонина Сергеевна, большое городское начальство.

Хотя начальству в городе Р. жилось, как всегда, лучше, чем простым людям—к майским праздникам можно было получить по спискам зефир и китайские полотенца, а то и «Сказки Бирмы» в красочном переплете, а на ноябрьских постоять на отапливаемой трибуне, задушевно помахивая варежкой смерзшимся массам, и многие простые люди, разметавшись ночами в постелях, мечтают о такой жизни, но все-таки и у начальства тоже свои драмы, и ни к чему, мне кажется, так уж сразу, с порога, злословить или завидовать. Так, Антонина Сергеевна, приютившая нас, где-

го там в своих эмпиреях отвечала за горячие трубы, и когда в городе Р. стал проваливаться асфальт и люди безвозвратно падали в подземный кипяток, эмпиреи поставили вопрос об ответственности Антонины Сергеевны за этот незапланированный бульон. Но ведь асфальт-то, асфальт был не в ее ведении, а в ведении Василия Парамоновича, и строгое предупреждение следовало вынести ему, сердилась Антонина Сергеевна, хлопая ладонью по светлому полированному столу в учреждении и по темному у себя дома. Но Василий Парамонович как раз в момент проваливания людей отсутствовал—один генерал пригласил его в Нарьян-Мар поохотиться с вертолета на колхозных оленей—и строго предупреждаться решительно не хотел. Он указал Антонине Сергеевне на свою дружбу с генералом как на дополнительный лилейный оттенок белизны своих номенклатурных риз и намекнул на то и то, а также на вот это и, ловко все подведя и передернув, подчеркнул, что если бы не проржавели трубы Антонины Сергеевны, то вода не размыла бы асфальт Василия Парамоновича. Правильно? Правильно. Пока шли взаимные перекоры, вода подмыла деревья Ахмеда Хасяновича, каковые рухнули и придавили пару бездомных собак Ольги Христофоровны, которой и без того пора было на персональную пенсию. Естественно, она-то и понесла в конце концов всю меру ответственности, так как ей припомнили, что подведомственная ей служба недоотстреляла ничейных собак, и они в течение всего отчетного периода оскорбляли достоинство наших людей в скверах и на детских площадках, а достоинство наших людей—это золотая, неразменная монета, залог и гарантия нашего постоянного заведомого успеха, нашей поднятой головы, ибо лучше умереть стоя, в кипятке, чем жить на коленях, подбирая всякое там не хочу даже говорить что за ее распущенными собаками,—безродными, подчеркнем, собаками!—а кроме того, не исключено, что именно ее собаки повалили деревья, разрыли асфальт и прогрызли горячие трубы, что и повело к сварению в родной земле, ни пяди которой мы не уступим, четырнадцати человек, причем западные радиоголоса клевещут, что пятнадцати, но господа—как и всегда, впрочем,—просчитались, так как пятнадцатый выздоровел и заступил на трудовую вахту в артели слепых по производству липкой ленты «Мухолов», и облыжная клевета прихвостней и энтээсовских кликуш и подпевал годится только под рубрику «ха-ха» в районной газете.

Таким образом, истинное лицо Ольги Христофоровны было вскрыто, и она без оглядки бежала на пенсию республиканского значения, чтобы вплотную засесть за создание боевых мемуаров, ибо скакала в свое время в эскадроне, знавала Щорса и даже была награждена именною шашкой, и поныне висевшей поперек настенного, малинового, в синих зигзагах ковра, подарка от дагестанской делегации, под которым на узкой кроватке, укрывшись военным одеялом, тосковало ночами ее никем не востребованное девичество.

Замечу уж кстати — полноты картины и справедливости ради — что Антонина Сергеевна, смалодушничав и спихнув с себя вину в истории с вареными р-скими гражданами (а кто бы не смалодушничал?),—Антонина Сергеевна в целом осталась на высоте положения, прекрасно понимая и ценя роль Ольги Христофоровны и ее вклад в наши успехи, в наше светлое, как она говаривала, сегодня; она не вычеркнула, как вполне могла бы, Ольгу Христофоровну из списка престарелых, охваченных тимуровским движением, а ежегодно, в октябре, направляла к ней двух переходного возраста подростков с топором для рубки дров к зиме; в свою очередь, Ольга Христофоровна, из деликатности не дававшая знать, что дом ее давно уже переведен на центральное отопление и в дровах не нуждается, подростков не гнала, поила чаем с айвовым вареньем, показывала, не жалея белой герани на подоконниках, как рубают шашкой, и даже посылала их по дружбе за папиросами—ибо куряка была отчаянная—в недалекий ларек, каковой подростки и вскрыли топором под Новый год, унеся четыре кило леденцов и по две пачки макаронных изделий «Рожки» для мамы и бабушки; на суде они ссылались на Прудона, учившего, что собственность—это воровство, а также проявили хорошее знание трудов Бакунина; уходя в колонию, обещали по возвращении подать заявления на философский факультет и долго махали вослед всплакнувшей Ольге Христофоровне тюремными носовыми платочками.

К слову сказать, отличная была баба эта Антонина Сергеевна, хотя и совершенно не нашего круга: зубы стальные, голова в кудрях и загривок высоко подбрит. «Девки! — говорила она нам. — Вы ж не деловые, ну вас к богу в рай, что мне с вами делать?» Пиджак у нее был начальственный, несгибаемый, под пиджаком теплые и необъятные, хотя уже и пожилые просторы в розовой блузке, на горле деревянная брошка, а помада яркая, парижская, ядовитая, — мы все почувствовали это на себе, когда Антонина Сергеевна вдруг вскакивала из-за обильного стола («помидорков-то! помидорков накладывайте!») и с чувством прижимала наши головы к животу, целуя с нерастраченной силой.

Антонина Сергеевна приняла наш табор как должное, сказала, что очень, очень, очень рада нашему приезду, много хлопот, много работы, и мы ей, конечно, поможем. Дело в том, что в Р. предстоял праздник: ждали в гости племя Больших Тулумбасов, являющееся коллективным побратимом всей р-ской области. Был запланирован трехдневный фестиваль дружбы, по случаю чего все начальство ходило в пятнах волнения. Задумка была серьезная: предстояло создать все условия, чтобы тулумбасы чувствовали себя как дома. Срочно воздвигались фанерные горы и ущелья, веревочный комбинат плел лианы, а свиней, для перекраски в черный цвет, более близкий сердцу побратимов, заставили дважды пересечь вброд речку Уньку, отмеченную еще в летописи XI века: («И приде князь на Уньку реку. И бе зело широка и видом страхолюдна»), но ныне утратившую стратегическое значение.

Антонина Сергеевна немедленно, сдвинув тарелки, разложила на столе бумаги, и, отмахиваясь от домашней моли, ввела нас в суть споров руководства. Сама она предложила развернутый план: интернациональное лазание по гладкому столбу, сауна для вождя, посещение фабрики строче вышитых изделий с вручением подзоров и рушников, ознакомительная экскурсия по городу: руины женского монастыря; дом, где, по преданию, стоял другой дом, строящаяся булочная, возложение комьев земли к деревцу дружбы, подписание совместного протеста против международной напряженности там и сям и чай в фойе дома культуры. Василий Парамонович выдвинул встречное предложение: встреча с активом, экскурсия в кислотный цех химзавода, концерт хора дружинников, вручение памятных конвертов, подписание проекта о выдвижении кого-нибудь из тулумбасов в почетные члены отряда космонавтов и пикник на берегу Уньки с разжиганием костров и рыбной ловлей; подзоры он предложил заменить трудами Миклухо-Маклая на языке урду, в неограниченном количестве поступившими в местные магазины. Ахмед же Хасянович упрекнул коллег в отсутствии фантазии: все это уже было, сказал он, когда принимали делегацию индейцев вака-вака, нужны свежие идеи: массовые заплывы, прыжки с парашютом или, наоборот, спуск в местные карстовые пещеры, а лучше бы всего — двухнедельный дружеский переход через пустыню или, наоборот, тундру, причем уже сейчас надо утрясти маршрут и расставить вдоль всего пути ларьки с лимонадом и витыми сметанными плюшками. Преподнести же лучше всего копию известной картины «Муса Джалиль в Моабитской тюрьме», поскольку она содержит все, что можно пожелать для картины: и национальное, и народное, есть в ней и протест, и оптимизм, выражаемый лучами света, льющегося из зарешеченного окна. Антонина Сергеевна возразила, что окна на картине, насколько ей помнится, нет, а если она ошибается, то тем не менее: тюрьма там изображена изнутри, что может и опечалить, не лучше ли картина «Всюду жизнь», где тюрьма видна снаружи, а из окна высовываются милые детские мордашки, рождающие теплые чувства даже у неподготовленного зрителя? Василий Парамонович, в искусстве не сильный, примирительно сказал, что самое надежное — это плакат «С каждым годом — шире шаг», их на складе несколько сот рулонов, можно подарить каждому из побратимов. На том они и порешили, но теперь Антонина Сергеевна хотела знать наше мнение, как людей, крепче овеянных столицей.

Надо отдать должное Антонине Сергеевне: Джудино прошлое, настоящее и будущее, внешний вид, имя, дурное произношение и одежда, обилием и качеством наводящая на мысль о продукции фабрики «Трехгорная мануфактура» в конце квартала, абсолютно ее не волновали: Спиридонов

знал, куда нас вез, Джуди так Джуди, тулумбасы так тулумбасы, пять человек гостей или двадцать пять — Антонине Сергеевне, как женщине, мыслящей категориями и документами, было совершенно все равно.

А уже смеркалось, и в Спиридонове проснулись дальние острова, закипел океан, зашевелились Тринидад и Тобаго, ветерок плеснул в верхушки пальм, упал кокос, выбросил новую колючую стрелку слепой коралл, и раковины раскрыли створки в теплой тьме лагуны, и в дымном сне жемчужницы проплыл, должно быть, Париж, — серым дождем, в виноградe огней проплыл, содрогаясь, Париж, как сладкое предчувствие загробного существования, взвизгнули скрипки, словно тормоза небесных колесниц.

— Ты все-таки будь сдержаннее, Кузьма, — заметила Антонина Сергеевна, подняв голову от бумаг и невидяще глядя поверх очков. — Так вот, тут еще Василий Парамонович хочет вызвать дирижабли — у него хорошие знакомства, — и натянуть между ними праздничные полотнища — серпы немножко, золотые колосья, — эскиз завизирован, — как символы мирного труда. В связи с этим к вам вопрос, товарищи москвичи: текстовка к колосьям нужна, как вы считаете?

При слове «текстовка» Ленечка немедленно, с опасной скоростью начал политически возбуждаться, и, заметив эти нехорошие признаки (пот, дрожь, зарницы протеста в глазах), мы все тихо отступили на крыльцо.

Ранняя осень уже вползла в город Р. и торчала там и сям где бурыми кустами, где плешью в листве покорившихся деревьев. Пахло курами, сортиром, мокрой травой, вставала луна, такая медная и такая огромная, словно уже наступил конец света; Спиридонов курил, и вместе с дымом из его рта выходила музыка иных миров; небритый и хромой, пожилой и неумный, он был избран кем-то, дабы свидетельствовать о другой жизни, далекой, невозможной, недоступной, — такой, в которой никому из нас не было места. А нашим местом был город Р., заранее понятный, истоптанный, хоть направо пойди, хоть налево, хоть спускайся в подвалы, хоть заберись на конек крыши и, упираясь скользящими ногами в проржавевшую жесть и обхватив теплую, картошкой пропахшую трубу, кричи на весь свет, кричи редеющим лесам, синим туманам в холодных сжатых полях, кричи пьяным трактористам, сползшим в борозду с трактора, и волкам, объедающим трактористам штаны и шею, и маленьким сельским магазинам, где лишь сухой кисель да резиновые сапоги; кричи уснувшим жукам и улетающим журавлям, кричи одиноким черным старухам, забывшим дрожь перед свадьбой и вой в изголовьях гробов; кричи: все известно наперед, все истоптано, проверено, обыскано, сосчитано и перетряхнуто, выхода нет, выходы закрыли; в каждом доме, окне, чердаке и подвале уже ходили, проверяли: трогали бочки, дергали шпингалеты, вбивали или вырывали гнутые гвозди, обшаривали осклизлые от плесени или подсохшие с углов подвалы, ковыряли рамы, отколупывая коричневую краску, вешали и срывали замки, двигали кипы свалявшейся бумаги; нет ни одной пустой, случайно как-нибудь забытой комнаты, угла, коридора; нет стула, на котором бы не посидели; не сыскать медной, душно пахнущей дверной ручки, за которую бы не подержались, скобы или засова, который не двигали бы туда-сюда, — выхода нет, да и сторожа нет, — просто уйти не дано.

А эти, — те, что поют и шумят в огне и дыму в беззаконном рту инвалида, — не ищут ли и они выхода в той, своей вселенной, ныряя, прыгая, танцуя, вглядываясь из-под руки в морской горизонт, провожая и встречая корабли: здравствуйте, матросы, что привезли вы нам: ковры? чуму? серьги? селедку? — расскажите скорее, есть ли иная жизнь, и в какую сторону бежать, чтобы ухватить ее золотистый краешек?

Тяжко вздохнула Светлана, страдая от того, что по всей земле, в шахтах и на самолетах, в ресторанах и каторжных норах, в ночном дозоре и под праздными белыми парусами, недостижимые и прекрасные, шевелятся мужчины, которых она не встретит, — маленькие и огромные, с усами и автомобилями, галстуками и лысинами, кальсонами и золотыми перстнями, с карманами, полными денег и страстным желанием потратить эти деньги на Светлану, — вот, сидящую себе тут, всю в кудрях и пудре, на

вечернем крылечке и согласную крепко и неотвязно полюбить каждого, кто ни попросит.

И Джуди сидела, сливаясь с темнотой, и молчала, как и все. Она давно уже, кажется, молчала, но только сейчас, когда Спиридонов исполнял соло на трубе, стало вдруг слышно, как глухо, бессильно и черно ее молчание, подобное покорному, одинокому молчанию зверя,— того фантастического зверя, которого она хотела лечить, еще не зная и не видя, того, кто позвал ее, поманив копытом или когтистой лапой; на поиски кого она, замотавшись в платки и шали, храбро отправилась вдаль, за моря и горы,— тихого, теплого, полезного друга, покрытого мягкой шерстью, с глупыми темными глазами, с редкими волосами на морде, с таинственной пустотой, дующей из ушей, изрытых розовыми хрящами и каналами, с молоком в атласном животе или столбом прозрачного семени в завитых тайниках чресел; с длинными, винтовыми рогами, с хвостом, подобным волосам гейши поутру, с серебряной цепочкой на шее и маргариткой в беспечной пасти,— зверя ласкового, верного, небывалого, придуманного во сне.

Мне захотелось обнять ее, погладить ее шершавую голову и сказать: ну что, что ты хочешь от нас, глупая женщина, чем мы можем тебе помочь, если и сами не знаем, куда бежать, что искать и от кого прятаться? Все мы бежим в разные стороны: и я, и ты, и Антонина Сергеевна, вспотевшая от безмерной государственной ответственности, и дядя Женя, уже далекий, южный, почти потусторонний, уже удобно потопывающий ногой в новенькой экономной сандалии, чтобы отправиться на свою последнюю прогулку, с которой он не вернется; и кавалер-девица Ольга Христофоровна, хотевшая как лучше, но сбитая влет хотевшими как еще лучше коллегами,— вот всходит луна и мучает Ольгу Христофоровну забытыми снами, забытыми полями, изрытыми копытами конницы, свистом призрачных сабель, дымом беззвучных ружейных выстрелов, запахом каши из коллективных котлов, запахом овчины, крови, юности и неполученных поцелуев. Оглянись вокруг, прислушайся, а не то раскрой книги: все бегут, бегут,— прочь от себя или на поиски себя самого: бесконечно бежит Одиссей, кружа и топчась в мелком блюдце Средиземного моря; три сестры бегут в Москву, неподвижно и вечно, как в кошмаре, перебирая шестью ногами и не двигаясь с места, бежит доктор Айболит, тоже, вроде тебя, размечтавшийся о каких-то заморских больных зверях— «и вперед побежал Айболит, и одно только слово твердит: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» Москва, Лимпопо, город Р. или остров Итака — не все ли одно?

Но ничего этого я не сказала, потому что тут звякнула калитка, и из затуманенных росою кустов боярышника вышел, белея вышитой рубашкой, Василий Парамонович, любитель воздушных путей, а с ним об руку— Перхушков, районный идеологический дракон.

— Ктой-то?— весело и тревожно гукнул Василий Парамонович из сумерек.— А я вот согласовывать иду, да планы новые несу, да и слышу: хулиганит кто-то с музыкой. А это никак братец к Антонине Сергеевне пожаловали? А милости просим! До дома, до хаты!

— Что это? — встрепенулся и Перхушков, чуя во тьме темноту Джуди.— Неужели иностранные товарищи прибыли? Бронь-то с двадцатого!

И вернул нас в дом, где помидорки с коньяком и видом своим, и действием возрождали глухие исторические воспоминания о Бородинской битве.

— К утру ждем эскадрилью,— сказал Василий Парамонович.— Эх, и торжественно будет!

— А где ж она сядет?— удивилась Антонина Сергеевна.

— А нигде не сядет: у них допуска нет,— отвечал Василий Парамонович, покосившись на Перхушкова, и Перхушков кивнул.— Они кружиться будут и фигуры изображать. Завтра отрепетируют, а уж когда товарищи побратимы подойдут, тут они всю красоту и покажут.

— А нельзя ли с истребителей красные гвоздики сбрасывать? Бумажные?— спросила Антонина Сергеевна.

— На бумагу лимиты мы вон когда еще выбрали— в июне! Эк ты, Антонина, хватила— бумагу!

— А если частный сектор подключить, что для кладбища цветы вяжет?

— Ни в коем случае! Они же вяжут розы, не гвоздики, а розы аполитичны,— вмешался Перхушков.— Надо же понимать разницу. Вообще кладбище— это большая наша боль и тревога,— взгрустнул Перхушков,— запущенный, признаться, участок идеологической работы,— какой-то не свойственный нашему обществу дух уныния, угнетенности, причем с оттенком мистицизма: кресты, склепы, а кое-кто даже позволяет себе пессимистические надписи или сооружает цементных ангелочков, каковые суть незамаскированные подрывники материализма и эмпириокритицизма. И подумать только, что на камнях и надгробиях высекают — совершенно безответственно— не только дату рождения, но и дату так называемой смерти, причем ни та, ни другая зачастую не согласовывается с компетентными организациями. Это— прямой космополитизм. Вот почему сейчас задуман почин вносить строгое замечание — строгое! — в учетные карточки усопших товарищей, если на их могилах будут зафиксированы мистические фигуры и несогласованные цифры— ведь не можем же мы допустить, чтобы три источника и три составных запчасти учения засорялись и разбазаривались привнесенными извне херувимчиками. А взять другие узкие места! Да что далеко ходить,— вон, два квартала отсюда, интернат для престарелых, ведь что делается, если копнуть! Гайдуков Андрей Борисович— заслуженный работник, медали от проймы до проймы, к прошлым ноябрьским аж китель клиньями надставляли; трижды лауреат Голубого Меча,— совершенно забывается, под кроватью зайчиков ловит, позорит органы! Бойко Раиса Николаевна — уж, кажется, все условия созданы; на политсеминары ее на каталке привозят, камфара— пожалуйста, капельница— на здоровье, кислородная подушечка— милости просим, все под рукой! Так ведь Ясперса с Кьеркегором путает, не может семнадцать причин постепенного перерастания перечислить и настаивает, что апрельские тезисы были прибиты Мартином Лютером Кингом к берлинской стене! Что это? А Иванова Суламифь Семеновна? Добро бы из бывших, так нет, интеллигент в первом поколении, кандидат наук и все что полагается, и даже изобрела в свое время какой-то там сироп для успокоения нервов, очень популярный в конце тридцатых годов, так что сам Михаил Иванович Калинин ее поздравлял, прикалывал ей к груди медальку, обнимал и целовал, пожимал руки, ноги, шею, все,— очень горячо приветствовал! — так вот эта Суламифь впала в такой жестокий склероз,— а скорее всего не склероз это, а диверсия,— что воображает себя юной капризницей, причем самого дурного тона: подайте ей, значит, какие-то букеты сирени, она будет в них валяться и пусть, дескать, эльфы с опахалами навеют на нее, к примеру, зефиры или там, страшно вымолвить, сирокко,— и это наша-то, советская старуха допускает такой политический просчет! Ну какое, друзья, по чести, может быть в нашей стране сирокко?

Перхушков заплакал, крутя головой, и Светлана, влекомая к мужским выделениям, будь то хоть слезы,— подобно змее, влекомой к теплу,— приникла к ослабевшему комиссару и принялась вытирать все сорок его очей светлыми своими локонами, для крепости вымоченными накануне в сахарном сиропе и накрученными на газету «Красная звезда».

И вообще, говорил Перхушков, давясь тоскою, как страшно и трудно жить на свете, друзья! Какие драмы, коллизии, ураганы, бури, смерчи, циклоны, антициклоны, тайфуны, цунами, мистрали, баргузины, хамсины и бореи, не говоря уж о лон-жень-фынах, случаются на каждом шагу в духовной нашей жизни! О! Вот буквально только что этим летом, да что там, в августе, вот в этом самом августе Перхушков пережил драму, описать которую не возьмется ничье перо— еще не ослеп такой Гомер, чтобы поднять эту тему. Ад,— горько рассказывал Перхушков,— это просто вечеринка с девушками, это, не сказать худого слова, ЦПКиО им. Горького на фоне того, что с ним было! Да этот всемирный дурачок Данте, якобы шаставший со своим дружком Вергилькой по адским кругам, случись ему пережить такое, просто удавился бы на месте, не стал бы зря мучиться! С первое по четырнадцатое августа— траурные дни, недели плача.— Перхушков пережил разлуку с родиной. Да. В Италию. Да. Туда— самолетом, а назад— чтобы умножить муки— поездом. И вот— ранняя седина (Перхушков отодвинул Светлану и показал седину) и горькие, испещрившие буквально все лицо, уши и даже затылок, морщины.

Как описать — ведь Перхушков не Гомер, не Лопе де Вега и даже не поэты Плеяды— это одиночество, эту разбитость, эту глубокую, безыс-

ходную депрессию? А этот гнет, как бы разлитый в воздухе? В Италии всегда серое, серое небо, описывал Перхушков, — низкие свинцовые тучи сгустились над плоскими крышами и так тяжело давят, давят. Вой ветра едва оживляет пустые и жалкие улочки. Пройдет, сгорбившись, старуха, проползет нищий, помахивая окровавленной культей, обернутой в грязную тряпицу, и вновь — тишина. Редкие снежинки, медленно кружась, падают в ужасающей духоте. Густой промышленный дым черными клубами застилает кривые переулки городов, так что на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно, да и смотреть там не на что. Итальянцы — угрюмый, мрачный народ, сгорбленный от многовекового непосильного труда, с впалой чахоточной грудью и постоянным кровохарканьем, так что все улицы покрыты кровавыми туберкулезными плевками. Редко, редко слабая улыбка освещает бледное, испитое лицо итальянца, обнажая бескровные десны, лишенные зубов, — и то лишь если встретит нашего, советского, — тогда тянет итальянец свои худые руки в обрывках лохмотьев и тихо хрипит: «Товарищ! Кремль!», — и вновь бессильно роняет ослабевшие конечности.

Посреди Италии возвышается угрюмая черная крепость — Ватикан. Страшные зловонные рвы окружают крепость с четырех сторон, и лишь скрипучий подъемный мост раз в год опускается на ржавых цепях, чтобы впустить грузовики с золотом. Воронье кружит над Ватиканом, зловеще каркая, а выше носятся вертолеты, а еще выше — Першинги. Изредка из-за стен крепости раздается хриплый смех — это смеется папа римский, мрачный старик, которого никто никогда не видел. Уж он-то сыт и богат, у него свои стада и поля, так что ест он каждый день и колбасу, и сало, и пельмени, а по праздникам — пиццу. В подвале Ватикана — гарем, там томятся сотни прекрасных девушек, среди которых есть и наши, советские, променявшие родные просторы на чечевичную похлебку. Да просчитались — чечевицу им дают раз в год, на Восьмое марта, а так — одну баланду. Да и парашу не каждое утро выносят.

Стража Ватикана ужасающа — кто ни приблизится, стреляют без предупреждения. Шаг влево, шаг вправо тоже считается попыткой покушения на папу римского. Вот почему никто с ним ничего поделать не может. Хорошо тренированные овчарки и колючая проволока под током довершают гнетущее впечатление.

Крысы в Италии шныряют так густо, что автомобили практически не могут проехать. Да и у кого есть деньги на автомобили? — горько вскричал Перхушков. — Разве у толстосумов и богатеев! Эти-то катаются как пармезан в масле, день и ночь попивая вино в пышных дворцах и соборах и громко смеясь над простыми итальянцами, а те лишь бессильно сжимают исхудавшие кулаки. Полки магазинов пусты, и часто, а вернее, постоянно, можно видеть, как маленькие дети, все, кстати, как один на костылях, — дерутся у помойных бачков из-за куска хлеба.

— Кто же выбрасывает хлеб, если в магазинах ничего нет? — встрепенулась в ужасе Антонина Сергеевна.

— Мафия, — строго сказал Перхушков. — Хлеб выбрасывает мафия.

— Бож-же...

— Да. И вот я вам это смело говорю, потому что нам с вами бояться нечего, но за разоблачение этой ее тайны мафия убила всех комиссаров полиции, всех прокуроров республики, всех карабинеров и теперь держит в непрекращающемся страхе членов их семей — вплоть до двоюродных бабушек. А сама живет в пышных дворцах и соборах и громко смеется.

Перхушков был настолько расстроен видом пышных дворцов и соборов, с отвращением возведенных простыми средневековыми угнетенными, что не мог даже смотреть на эти омерзительные постройки, еле видные сквозь дым, и закрывал глаза руками, вся наша делегация тоже ходила, крепко зажмурившись. Совсем другое, светлое чувство охватывало его при взгляде на покосившиеся лачуги простого итальянского люда; и уж по-особому тепло, с умилением провожал он глазами простых безработных и простых угнетенных, ползущих мимо на костылях, а одного он даже догнал и дал ему рубль с профилем Ломоносова. Если же встречал кого побогаче — в гневе стискивал кулаки и скрежетал зубами, а меж бровей у него немедленно залегала суровая складка, окончательно разгладившаяся лишь на обратном пути, в Чопе, при смене колес. С самого на-

чала Перхушкова мучила тоска по родине. Еще при оформлении документов он начал тосковать и не находить себе места. Более того! Едва слово «Италия» было произнесено в первый раз, как Перхушкова пронзила такая нестерпимая тоска, что он, как птеродактиль, вылетел во двор и мертвой хваткой обхватил березку, посаженную на недавнем субботнике, так что пришлось его отдирать вместе с листочками и корой — перед разлукой Перхушков хотел хотя бы насосаться березового сока. И сидя в самолете, он тосковал: жадно прильнул к иллюминатору и следил распухшими глазами, как убегает назад родная земля. Когда же самолет пересек границу, Перхушкова обожгло как раскаленным прутом, ударило, подбросило, он сорвался с кресла, расшвыривая сахар и соль в пакетиках, пластмассовый стаканчик с минеральной водой, котлетку в томате — таком родном! — и кинулся, рыдая, к запасному выходу, откручивать засовы, так что его с трудом удержали две стюардессы, бортмеханик и второй пилот, тоже распухшие от слез и тоски по гречневым просторам. Такие же приступы ностальгии, все учащаясь, настигали его и в Италии, так что ночами он метался и кусал стиснутые, побелевшие кулаки, а днем сидел в своем номере на койке с потухшим взглядом, опустив голову и свесив плетьми руки, беспрестанно бормоча: «Родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина, родина». Товарищи звали его в покосившиеся театры, пить неприятное вино, кататься в дырявой гондоле — куда там. Так что понятно, что встретив соотечественника — нашего, тверского, — Перхушков бросился к нему и так крепко стиснул, что задушил в объятиях, в связи с чем были даже небольшие неприятности с трупом, пришлось писать объяснительную записку в учреждение, командировавшее покойника в капстрану, и немножко хлопотать о пенсии вдове и сиротам, но это неважно, важно нестерпимое патриотическое чувство, охватившее Перхушкова при возвращении: чувство гордости за родину, за ее небеса и другие аналогичные просторы, за ее величественные свершения, широкий шаг, уверенную поступь и высокие надои.

— Родина, — закричал взволнованный Перхушков, — да что же может быть дороже родины в свете последних постановлений? Ничего! И ведь сколь мудры эти золотые Последние Постановления с их пронзительным светом, как вовремя и в то же время неожиданно они случаются, каким глубоким ожогом прожигают нам душу, аки меч блистающий, обоюдоострый, взаимоволнистый, несказанным сиянием исполненный, несокрушимый, неразъемный, непобедимый паки и паки! И то — как жили бы мы без Постановлений, мы, жалкие, белые, нагие, слепые и дрожащие, подобные червям и безногим водяным личинкам? О, уподобить ли нас тлям прозрачным, в дремучем невежестве и животном безверии зеленый лист грызущим; о, уподобить ли нас инсектам простейшим, в капле колодезной воды без понятия толкущимся? О, сравнить ли нас с амебами неразличимыми, жаждущими и страшащимися разделения в самих себе — и попусту греховно жаждущими, ибо ничто, разделившееся в себе, не устоит; о как темно, пусто и страшно нам без Постановлений, как робко ползаем мы, пугаясь шорохов и скрипов, меж каменистых пустынных отрогов, как жалобно скулим, протягивая руки, щупальца, членики, жальца, хватальца и осязательные волоски во тьму кромешную, откуда лишь хлад и рык зловонный: просвети! о, просвети!.. И как тускло, словно подернутые туманом и ржавчиной, светят нам остывшие, отгоревшие, **прежние** последние Постановления, утратившие свою актуальность и злободневность, как дева — цвет юности, как розан — весеннюю пыльцу...

Но се — бьет час, и не предугадать его, гремит глас — и кто посмеет предчувствовать его? — разверзаются небеса и раздираются покровы, и Зверь стоочитый, число коего есть двенадцать, как бы весь в пурпуре и багрянце, и в грохоте нестерпимом являет себя, вращая ногами;

— и митра его есть папаха драгоценного каракуля, и одежды его суть драп цвета вечерних туманов;

— перси и чресла его суть рубин и золото чистое, беспримесное, плащаница его двубортна, и число застежек равно числу песка морского;

— в головах его звезда Сарынь, в ногах — мертвец; препоясан он зубцами невыразимыми;

— и, подъяв трубу, трижды восклицает он голосом, подобным шуму вод: «есть, есть, есть Последние Постановления!»

И с силой несравненной, с шумом таковым же разворачивает Зверь список Последних Постановлений, и свет их, соотечественники, — свет их подобен взрыву тысячи солнц, и, завидя его, всякий мрак, скверна и нечистоты бегут, скрываясь с лица земли, изрыгая бессильную хулу.

— Вот опишите это, друг мой, юный поэт, — просил Перхушков Ленечку, — опишите как гражданин, как солдат, как рядовой. И пусть книга сия будет во рту нашем сладка как мед, в чреве же нашем горька как корень полыни каракумской, как мумие памирских пещер, как соль озер Эльтон и Баскунчак, действие же ее да будет очищающим подобно действию соли карлсбадской.

Перхушков отодрал от себя Светлану, встал и одернул гимнастерку, тельняшку, китель, пиджак, бурку, кожанку, плащаницу и черную мантию на лазоревой подкладке, — все одернул, что на нем было или же только мерещилось.

— А насчет родины, — сказал он с порога, пронзая испуганную Джуди сорока очами, — я разъяснил. Кто может вместить да вместит. Кто не может — мы сами вместим куда следует. — И прикрыв часть очей, сверкнул шпорами и вышел.

— Да, — вздохнула Антонина Сергеевна, — что ж, дома-то, конечно, лучше, кто спорит. В этом году и масло в магазинах было, а в заказах — так по три пятьдесят постоянно есть.

— Дрожжи были, — подтвердил Василий Парамонович.

— Были дрожжи. Мука всегда. Я не знаю, что еще надо. Ветеранам изюм. И живи себе, и никакой Италии не нужно.

— Что ж, он не по своей воле ездит, — заметил Василий Парамонович. — Служба такая. А насчет описать сюжет — это он верно. Это хорошо. Вы, молодой человек, пишете, а вы вот меня послушайте, — рекомендовал он Ленечке. — Я вот тоже даю вам сюжет. Вот, скажем, товарищ некий. Простой, русский. Фронтовик, между прочим. Два ранения, причем одно не так, чтобы тяжкое, ну, допустим, в мягкие ткани, скажем так. А второе похуже. Да. Второе посерьезней будет. Ну, не в этом, конечно, дело, это уж на ваш полет фантазии. Вот приходит с фронта, сразу на завод вальцовщиком, тут девчата, конечно, симпатичные, одна такая... бойкая... ну, это тоже на ваш полет. Не в этом дело. Ну, годы идут. Выдвигают его на руководящую работу. А годы идут. Он на руководящей, худого слова не скажу. Но! Вот, понимаете, в чем сюжет, ну не продвигают его выше-то, ну ни в какую. Вот он с Кузнецовым мыло варит, с Агафоновым мыло варит, — это я к примеру, — ну мертвое дело. Вот как словно бы за гвоздь штанами зацепился, по-простому говоря. Что ж такое, думает. Что такое. Да... Вот вам сюжет. Жизненный. А то пишут: пташки-комары. Поцелуи. Все не по делу. А вы, как будете в Москве, опубликуйте, — вот это, что я вам сказал. Кто понимает — приужахнется, точно вам говорю. Волнения даже могут быть. Войска, может, подтягивать придется. Так что вы эдак легонько, без нажима. На тормозах. Лады?

Накануне прибытия тулумбасов Ольга Христофоровна проскакала через город Р. на колхозном коне с черным знаменем в правой руке и с ультиматумом в левой. Она требовала отмены денег, пайков, талонов, требовала закрытия столов заказов, отмены экзаменов в школах и вузах, объявляла свободу лошадям, собакам и попугаям, буде таковые случатся в личном пользовании жителей города Р.; она требовала уничтожения заборов, замков, ключей, занавесок, ковров, простыней, наволочек с прошвами и без прошв, подушек, перин, домашних тапочек, нижнего белья, носовых платков, бус, серег, колец, брошек и кулонов, скатертей, вилок, ложек, чайной и кофейной посуды, — за вычетом граненых стаканов, — галстуков, шляп, дамских сумок, изделий из шерсти, шелка, синтетики, вискозы и полихлорвинила. Ольга Христофоровна разрешала оставить в личном пользовании жителей города Р. не более одного стола, двух табуреток, ведра цинкового одного, кружек жестяных с ручками (трех), ножей складных (двух), примуса с ежемесячной регистрацией одного, и полутора кубометра дров на семью; одеял — одно per capita, папирос и зажигалок — ad libitum.

А кроме того, Ольга Христофоровна объявляла, что природа отныне переименовывается ею раз и навсегда, в мировом масштабе, и отныне городу Р., а также всему миру даруются осенние дожди имени Августа Бебеля, туманные рассветы имени Веры Слуцкой, облака Ногина, зори Урицкого и краснознаменные метели имени пробуждающихся женщин Закавказья.

И в заключение Ольга Христофоровна удостоверяла, что ее учение верно, потому что оно правильно.

Так что в связи с опасным поведением Ольги Христофоровны на подмогу была вызвана близлежащая военная часть, тем более необходимая, объяснил Василий Парамонович, что и без того только и жди эксцессов со стороны населения: бывают ведь случаи, когда горячие головы из местных прорываются к побратимам и требуют передать в ООН ту или иную заведомую клевету: будто бы пшено заражено жучком, или же рыбу продают рогатую, и стало быть, якобы облученную, меж тем как если ей и случается бывать рогатой, то совсем по иным частным, известным только ей самой причинам, или же в маргарине попадаются мужские носки и трудно намазывать на хлеб, что неверно. Мажется прекрасно.

С юга подступали тулумбасы, с севера — неограниченный контингент войск, в зените зависли дирижабли, украшенные усатыми колосьями и кратким сопровождающим текстом: «Ой, рожь, рожь!» — все остальное было вымарано цензурой; а между югом, севером и зенитом скакала Ольга Христофоровна, как дух отмщенья, и подземные каверны, гудя освобождающимся кипятком, гулко отзывались на удары конских копыт.

В ожидании встречи с побратимами руководящие товарищи взошли на холм, и Антонина Сергеевна потребовала, чтобы мы как столичные гости и отчасти родственники тоже постояли на холме с рушниками и хлебом-солью на вытянутых руках. Василий Парамонович надел свой самый плотный костюм и электронные часы, Ахмед Хасянович трижды побрился и теперь с тревогой ощупывал быстро синеющую, рвущуюся вновь прорасти щетину, Антонина Сергеевна выглядела так, словно недавно умерла и теперь нарядно, за большие деньги, мумифицирована; холодный ветер раздувал ее кудри, где мелькали забытые впопыхах, неотстегнутые бигуди; Перхушков тоже был где-то тут: притворялся валуном, обросшим поздними, заиндевевшими подорожниками, а может быть, вон той корягой. Рябина пылала, обещая скорую метельную зиму, и далеко, насколько хватает глаз, видны были далекие леса в осенней дымке, желтые уже и бурые.

И серый свод неба над нами, где выла, проносясь, не имеющая где присесть, эскадрилья, и далекие бурые леса, и холм посреди глобуса, где мы топтались на ветру, выдувающем соль из резных солонок, и подмерзшая земля, дрожащая под копытами вороного, восставшего, невидимого отсюда коня — все это была в тот миг наша жизнь, наша единственная, цельная, полная и замкнутая, реальная, ощутимая жизнь — вот такая и никакая другая. И выход из нее был только один.

— Нет, это не жизнь, — вдруг громко сказала Джуди, прочтя мои мысли, и все в недоумении оглянулись. Нет, она была не права. Это жизнь, жизнь. Это она. Ибо жизнь, как нас учили, есть форма существования белковых молекул, а что сверх того — то суть пустые претензии, узоры на воде, вышивание дымом. Стоит принять этот мудрый взгляд — и сердцу будет не так больно, «а больно — так разве чуть-чуть», как писал поэт. Вот только поменьше бы мечтать, ведь жизнь жестока к мечтателям. Ну чем провинилась я? Впрочем, не обо мне речь. Чем провинилась Джуди, простудившаяся на холме города Р. и через две недели умершая от воспаления легких, так и не родив нам Пушкина, так и не встретив ни одного больного животного, так и пропав ни за грош? Да, она, сказать по правде, померла, как собака — в чужой стране, среди чужих людей, которым она — чего уж там — была только обузой; вспомнишь о ней иногда и думаешь: кто такая была? чего хотела и как ее, в конце концов, звали? И что думала она об этих странных людях, окружавших ее, прятавших, кричавших, пугавшихся

и вравших, — белых, как личинки жуков, как опарыши, как сырое тесто людях, то быстро-быстро принимавшихся что-то говорить, махая руками, то стоявших у окна в слезах, как будто это именно они заблудились в жизненной чаще? А тот же дядя Женя — чем провинился он, растерзанный на основные белковые молекулы в чужом краю, у водопада, — палка в руке, недоеденный банан во рту, боль и недоумение в выпуклых дипломатических глазах? И право же, я, чувствуя в нем своего романтического собрата, не осужу его, как не осужу ни Ольгу Христофоровну с ее еженощными снами, где сабли, и дым, и кони яблочной масти, ни Василия Парамоновича, рожденного ползать, но взахлеб летавшего, как дитя, при любой возможности, ни Светлану, простую московскую девушку с аппетитами падишаха.

Тут дрогнул куст боярышника, и невидимый Перхушков, откашлявшись, заговорил из куста:

— О черт. Mea culpa. Зашибесся с вами. Ведь не предусмотрели возможные валютные операции!

— Какие валютные операции? — ужаснулся Ахмед Хасянович, озираясь безумными и прекрасными козьими глазами. Светлана взглянула на Ахмеда Хасяновича, полюбила его до гроба и прильнула к его груди.

— Какие-какие, — закричало из куста, — запрещенные, вот какие! Вы соображаете, что нас ждет? Высоко сижу, далеко гляжу, не смыкаю очей; вижу, вижу: идут товарищи побратимы деревнями и селами, несут товарищи побратимы тулумбасскую валюту; блеск ее нестерпим, число ее не учтено; скупают по деревням и селам молоко и капусту, галоши и карамель, подрывают допустимое, нарушают разрешенное. Сейчас вступят товарищи тулумбасы в город Р., вверенный попечению моему: рухнут столбы и затрещит кровля, зашатаются стены и разверзнется земля, черным дымом задымятся сберкассы и небесный огонь пожрет жилконторы и отделы государственного страхования, если хоть мельчайшая валютная единица коснется десницы хоть ничтожнейшего из наших соотечественников. Страх, петля и яма! — крикнул куст.

И, словно отвечая его речам, внизу, под холмом, пропела труба: то Ольга Христофоровна объявляла сбор всех частей, которых, впрочем, не было.

— От незадача... — прошептал Василий Парамонович. — А может, и обойдется? Из центра вроде сообщали: ихняя валюта — ракушки на бечевках. Махонькие такие, желтые в крапинку. На детский срам похожие. Было указание.

— Может, и обойдется, — успокоился куст. — А ответственность все равно на Ахмеде Хасяновиче.

— Идут! — крикнул Ахмед Хасянович.

Тулумбасы шли и шли нескончаемым потоком, ломая кусты и подминая деревья.

— Тыщ пять, — прикинул Василий Парамонович и выразился пофронтовому некрасиво.

— Ну чисто татары, — пригорюнилась Антонина Сергеевна совсем по-старинному, на что Ахмед Хасянович отвечал: «однако я вам попрошу!»

— Отчего они вооружены? — закричал зоркий Перхушков. — Сейчас кое-кого испепелю с занесением в учетную карточку!

— Вот так он всегда, — покрутила головой Антонина Сергеевна. — Стращает, а в сущности добрая душа. Живность тоже любит. У него дома и цыплятки, и утятки, и индюшатки. Всех и в лицо знает, и по именам. Сам их кормит, сам и кушает. И всегда ведь запишет, кого съел: Пеструшку или Кокошу, или Белохвостика, и фото в альбом наклеит. Как с детьми, честное слово.

Солнце прорвало тучи и блеснуло на ружейных стволах подступавшей толпы.

— Да ведь это наши! Солдатики! — засмеялся радостно Василий Парамонович. — Вовремя поспели! Хлебу-соли отбой! Это же наши идут! Вон и танки показались! Господи, радость-то какая!

И точно, это были наши. Двигались стройно, красиво, оставляя за собой ровную, как шоссе, просеку. Двигались пешком, и на мотоциклах, и на газиках, и на танках, и на «Волгах», черных и молочных, и на одном «мерседесе», закамуфлированном под избушку путевого обходчика.

Избушка повернулась к лесу задом, к нам передом, и из лакированной двери, сияя нестерпимой мужской красотой, вышел полковник Змеев. Светлана, увидев его, даже закричала.

— Хей-хо! — по-иностранному приветствовал наше начальство полковник Змеев. — Здравия желаю. Сколько прекрасных разноцветных женщин и нарядных гражданских лиц! Как чудно светит солнце и бодрит морозный ветерок! Как символичны щедрые дары нашей богатой земли: хлеб, а также соль. Но и мы не курами клеваны: позвольте отблагодарить вас за внимание и гостеприимство и преподнести вам скромные дары, сработанные или реквизированные нашими ведомственными умельцами в часы редкого досуга. Амангельдыев! Подай скромные дары.

Амангельдыев, солдат небольшого роста, выражавший на лице постоянную готовность либо к испугу, либо к немедленному физическому наслаждению, подал ящик со скромными дарами и расстелил на жухлой траве скатерть с кистями, которая как-то сразу и густо покрылась бутылками с коньяком и холодными рыбными закусками.

— Ну, с прибытием! — чокнулся с гостями Василий Парамонович. — Слава богу. Вовремя поспели. Мы уж волновались. Вон авиация-то: не подвела, с утра шастает. Шестой океан! Понимать надо!

— Голубой простор, — согласился Ахмед Хасянович, ревниво поглядывая на полковника, трижды обвитого Светланой. — Небесные орлы.

— Туда, где танк не проползет, туда домчит стальная птица. — радовался Василий Парамонович.

— Не совсем так, — улыбнулся полковник Змеев. — Мы сейчас с помощью современной техники проползем туда, куда нашим дедам и не снилось. Устарела песенка.

— Огурчиков! Огурчиков берите! Наваливайтесь! — суетилась Антонина Сергеевна, угощая гостей их же добром.

— Вечно женственное, — одобрил Змеев суету Антонины Сергеевны и еще крепче был стиснут Светланой.

Ленечка поглядывал на Амангельдыева, который, как представитель нацменьшинства и к тому же простой, подчиненный человек, сразу стал ему необычайно дорог.

Закусив, полковник одарил присутствующих. Ленечке вручили отрез зеленой сирийской парчи размером два сорок на семьдесят, который Ленечка тут же передарил Амангельдыеву на портянки (что вызвало, подобно крику в горах, лавину событий: благодарные родственники Амангельдыева два года ежемесячно посылали Ленечкиной семье урюк, точильные камни, ложное мумие и синий изюм, а так как Ленечка к тому времени уже исчез, то его ошарашенная семья, задыхаясь под камнепадом подарков и не понимая, чем она обязана неведомым дарителям, тщетно пыталась остановить не имеющее обратного адреса изобилие. Затем нагрянуло трое двоюродных братьев Амангельдыевых, желавших снять квартиру, продать дыни, купить ковры и поступить в институт на прокурора; встреченные, по их ощущению, неласково, они подожгли кооперативный гараж, разнесли в клочья детскую песочницу и согнули в дугу молодые, недавно высаженные пионерами липки; взяли их, недооценивших оперативность и старые связи тети Зины в кафе «Охотничье», в момент, когда они выменивали чемодан бирюзы на сертификаты с желтой полосой у некоего Гохта (за которым милиция давно охотилась, но это все между прочим). Джуди получила вяленого омуля, Светлана — авторучку на гранитном постаменте, а я — календарь памятных дат Вооруженных Сил Варшавского Договора.

Тут из города вновь раздался глас трубы и затем крик Ольги Христофоровны в громкоговоритель:

— Всем сложить оружие! Считаю до трех миллионов восьмиста шестидесяти четырех тысяч восьмисот восьмидесяти одного! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь!..

— Время есть, — сказал Змеев, — еще по рюмке — и стреляем.

— Застрелите ее, родные, она песни поет, — пожаловался Василий Парамонович.

Действительно, там, далеко внизу, Ольга Христофоровна, досчитав до девяноста девяти, прервала счет и запела:

— Как дело измены, как совесть тира-а-а-на
Осенняя ночка! Темна!
Темнее той ночи встает из тума-а-ана
Виденьем мрачным! тюрьма!

— Это ничего, это она про Ватикан, — прислушался Перхушков. — Это можно.

— Не надо стрелять, ее просто поймать нужно, — пожалела и Антонина Сергеевна. — Она неплохая.

— Как же не стрелять, когда она вон — как на ладони, — поразился Змеев. — Амангельдыев, подай ружье.

Полковник вскинул ружье и выстрелил. Ольга Христофоровна упала с коня.

— Вот и не поет, — пояснил полковник. — Давайте еще выпьем. Огурчики хороши.

— Ну что же вы делаете? — закричал Ленечка. — Что же вы в людей стреляете?

Но его никто не слушал.

— Стрелять — это красиво. Это волнует, — рассказывал Змеев разгоряченным товарищам. — Ведь что мы в жизни ценим, — из удовольствий, я имею в виду? Мы ценим в огурце — хруст, в поцелуе — чмок, а в выстреле — громкий, ясный бабах. Сейчас лесами сюда шли, вдруг откуда ни возьмись — негров куча. Вот вроде этой гражданочки, — показал он на Джуди. — Все белой краской раскрашены, в носу перья, в ушах перья, даже, простите, при дамах не скажу где, так там тоже перья. Отличная боевая цель, игрушечка. Очень хорошо постреляли.

— Кто-нибудь живой остался? — спросил Ахмед Хасянович.

— Никак нет, гарантирую, — никого. Все чисто.

— Ну и ладно. Убираем дирижабли. Отбой, — вздохнул Ахмед Хасянович.

— Пусть повисят! — закричал захмелевший Василий Парамонович. — Ведь красота-то какая, а? Как все равно голуби серебряные. Помню, мальчонкой я голубей гонял. Рукой взмахнешь, а они — фрррр! — и полетели! И так трепещут, трепещут, трепещут! Эх!

— Ну, по последней — и на машине кататься, — предложил полковник. — Как, молодежь? Грибов поищем!

— Едем, едем, — просила Светлана, любуясь полковником. — Хочу грибов, грибов!

— Амангельдыев, па-а-а гри-ббб!!!

Трудно было сказать в хмелю и суматохе, кто куда сел, лег, встал и кто на ком повис, но мы, сплетясь в живой клубок, уже неслись в «мерседесе» по кочкам и корням, и сосны проносились мимо, сливаясь в плотный забор, и лесная малина хлестала по стеклам, и пищала Джуди, отпихивая толстый живот заснувшего Василия Парамоновича, и блеяла Антонина Сергеевна, и Спиридонов, зажатый где-то под потолком, исполнял чей-то национальный гимн, и никто не делил нас на чистых и нечистых, и откуда-то взявшийся закат пылал, как зев больного скарлатиной, и рано было выпускать ворона из ковчега, ибо до твердой земли было далеко как никогда.

— Винтовочка ты моя! — щекотал полковник Светлану.

— Женат ли ты? — спрашивала Светлана своего прекрасного возлюбленного.

— Так точно, женат.

— Но это неважно, правда?

— Так точно, неважно.

— Грибов скорей хочу, — просила Светлана.

— Будут грибы. Я тебе такой мухомор покажу! — обещал полковник.

— Ой, пропадет девка! — ныл Спиридонов сквозь гимн, любуясь Светланой. И было на что посмотреть — да не по зубам инвалиду была Светлана, светящаяся от счастья — волосы ее сияли сами по себе, глаза стали лиловыми как у русалки, пудра облетела и краска отвалилась, и была она так хороша, что Спиридонов тихо матерился и клялся отдать за один ее взгляд полцарства — со всеми его полудворцами, полуконюшнями, полубочками с квасом, со всеми грибами, жемчугами, жестью и парчой, с тестом для куличей и тестом для пряников, изюмом, уздечками, шафраном, рогожей, серпами, боронами, мочалой и яхонтами, с индейскими курами, лазоревыми цветами и сафьяновыми полусапожками. Да только ничего этого у него не было.

Ковчег встал, и Светлана, рука об руку с полковником Змеевым, на цыпочках, пошла в лес.

— Наймусь в матросы — увезу тебя в Бомбей! — как дурак крикнул ей вслед Спиридонов. И сам покраснел.

— Были когда-то и мы рысаками, — вздохнул проснувшийся Василий Парамонович. — А ты чего здесь делаешь? — вдруг накинулся он на Джуди. — Чего она здесь делает?

— Я... зверей... зверей лечить... — лепетала Джуди.

— Зверей она лечить! Ты нас вылечи, ну-т-ка! — бушевал Василий Парамонович, неизвестно с чего вдруг озлобившийся. — Зверей и дурак вылечит! Я с Агафоновым мыло варил, с Кузнецовым мыло варил, я во как лез, сколько добра людям переделал — другого бы стошнило! Как цемент — к Василию Парамоновичу, как штукатурка — к Василию Парамоновичу, а как продвигать — так других! Это ж понимать надо, а не зверей! Ходят и ходят, ходят и ходят!

— Он добрый, очень добрый, — объясняла Антонина Сергеевна. — Это погода так действует, а он очень добрый. У него дома канареек десять штук, так он с утра им тюр-люр-лю сразу, а они уж знают, чирикают. Они добро чувствуют. Ну где ж наши-то?

Из лесу, одергивая китель, вышел полковник Змеев.

— Порядок. Поехали ужинать.

— А где Светлана?

— Убил нечаянно, — засмеялся полковник. — Обнимал-обнимал, ну и... раздавил немножко. Знаете, как бывает. Ничего, потом я команду подошлю, зароют. Там возни-то немного. Дело военное. Ну, поехали. Амангельдыев!

* * *

Странно теперь, по прошествии пятнадцати лет, думать о том, что никого из нас, тогдашних, уже не осталось — ни Светланы, умершей, хочется думать, от счастья; ни Джуди — теперь вот и могилки ее больше нет, а на том месте дорога; ни Ленечки, помутившегося в рассудке после Джудиной смерти и бежавшего в леса на четвереньках, — говорят, правда, что он жив и какие-то напуганные дети видели его у ручья лакающим воду, и какие-то инженеры, любители загадочного, организовали кружок по поимке «дикого среднерусского человека», как они его научно называют, и каждое лето с веревками, сетями и крючьями устраивают засады и раскладывают приманки — кексы, ватрушки, булочки с марципаном, — того не понимая, что Ленечка, человек возвышенный и поэтический, клюет только на духовное; нет Спиридонова, тихо скончавшегося естественной смертью в почтенном возрасте и изобретшего напоследок много-много интересного: и говорящий чайник, и автоматические тапочки, и портсигар с будильником, — никого больше нет, и не знаешь, жалеть ли об этом, сокрушаться ли, или благословить время, забравшее их, непригодившихся, ни на что не понадобившихся, обратно в свой густой непрозрачный поток.

Что ж, они хоть погрузились в него нетронутые, целиком, а вот дядю Женю собирали по клочкам, по фасциям, по астрагалам, волоскам и пучкам, причем один глаз так и не нашли, и в гробу он лежал с черной бархатной повязкой на лице словно Моше Даян или Нельсон, в новом полосатом костюме, взятом в долг у посольского повара, которому, кстати, все обещали, обещали, да так и не выплатили компенсацию, что и толкнуло его на подделку накладных на маринованные плоды гуайявы. А ведь известно: лиха беда — начало; повар увлекся, головка закружилась, и хотя он каждый день обещал себе перестать, но бес был сильнее, как-то сам собою образовался «роллс-ройс», потом второй, третий, четвертый, — потом, как водится, пошло увлечение искусством, и вот уже повар до тонкостей стал разбираться в течениях современного дорогостоящего авангарда, вот ему уже не нравится политика, не устраивает посол и кое-кто из посольских секретарей, — осторожно, повар! — дальше связь с местной мафией, рэкет

и наркобизнес, тайный контроль над сетью банков и борделей, шашни с военными и планы обширного государственного переворота.

Так что к тому моменту, когда повар, разоблаченный, вновь обрел брусничные перелески и кучевые тучки родины, он успел до такой степени осложнить международную обстановку, так взвинтить цены на природные ресурсы и внести такую сумятицу в торговлю предметами искусства, что вряд ли что-то удастся поправить до конца текущего тысячелетия. Нефтяной бум — тоже его рук дело, говорил повар, навещая тетю Зину на майские и ноябрьские, уже совсем опустившийся, небритый, в ватнике; тетя Зина постилала на кухонный пол газету, чтобы с повара не натекло, пока он выпьет рюмку-другую ерофеича; денег за костюм с вас не прошу,— говорил повар,— вдовье ваше дело понимаю,— но прошу только уважения к заслугам, потому что нефтяной бум — это я; а гуайяву эту я в рот не брал отродясь, и нечего на меня всяких собак вешать, а только почет и уважение, а костюм не надо, а что у меня голова быстро варит, так это понимать надо, а не руки выкручивать,— в другом государстве я бы во как пригодился, сразу в президенты и все; сказали бы: Михаил Иваныч, иди к нам в президенты, и будет тебе почет и уважение, а костюм, барахло это, и не надо совсем, в гробу я видал костюмы ваши... А они у меня все вот где были,— говорил повар, показывая кулак,— вот где все сидели, а надо будет,— и еще посидят: и короли эти все, и президенты, и генералы-адмиралы, и шейхи всякие; у меня, если хочешь знать, уже Нородом Сианук на крючке был, я ему звоню по вертушке: ну как, Нородом, все чирикаешь? — Чирикаю, Михаил Иваныч! — Ну чирикай, чирикай... — А что, что такое, Михаил Иваныч?.. — Ничего, говорю, проверка слуха... Чирикай дальше, только не зарывайся... А то японский император звонит по вертушке: я тут, говорит, Михаил Иванович, сырую рыбу есть сел, так без тебя никак, прилетай, составь компанию; ну вот, говорю, с приветом, а то я рыбы вашей не ел,— нет, говорит, хи-хи-хи, такой не ел, такую только я ем... а то: гуайява-гуайява,— ругался повар, теснимый тетей Зиной к двери,— а ты меня не трожь! Ты, говорю, за рукав-то меня не хватай! — и, хапнув рубль, а когда и три, шумно вваливался в лифт, где его рвало звездчатым, недавно съеденным винегретом.

Тетя Зина, отплакав положенное и отходив нужное время в трауре, давно, конечно, успокоилась, и, поскольку человек слаб и тщеславен, нашла удовлетворение в том, чтобы числиться общественным консультантом по поимке дикого среднерусского человека,— она с гордостью подчеркивала, что он ей приходится близким родственником, и соседи завидовали и даже пытались строить козни, отрицая родство, но, конечно, были посрамлены. «Если бы Женя дожил, как бы он гордился»,— повторяла тетя Зина, блестя глазами, как молодая.

Каждый год, осенью, в любую погоду я захожу за ней; она поправляет кружевной шарф на волосах, берет меня под руку, и мы идем — не спеша, помаленьку,— к Пушкину, чтобы положить цветы к подножию. «Вот еще б немножко поднатужились — и родился бы»,— шепчет тетя Зина с любовью, засматривая снизу в его опущенное, слепое, позеленевшее лицо, до ушей загаженное голубями мира, в его печальный подбородок, навек примерзший к негреющему, занесенному московскими метелями, металлическому фуляру, словно ожидая, что он, расслышав ее сквозь холод и мрак нового своего, командорского обличья, поднимет голову, выпростает из-за пазухи руку и благословит всех чохом — ближних и дальних, ползающих и летающих, усопших и нерожденных, нежных и ороговевших, двустворчатых и головоногих, поющих в рощах и свернувшихся под корою, жужжащих в цветах и толкущихся в столбе света, пропавших среди пиров, в житейском море, и в мрачных пропастях земли.

— «И гордый внук славян и ныне дикий...» — торжественно шепчет тетя Зина.— Как там дальше-то?

— Не помню,— говорю я.— Пойдемте, тетя Зина, пока милиция нас не разогнала.

И правда, дальше я уже ни слова не помню.

Лев Лосев

СТИХИ

Рота Эрота

Нас умолял полковник наш, бурбон,
пропахший коньяком и сапогами,
не разлеплять любви бутон
нетерпеливыми руками.
А ты не слышал разве, б....,—
не разлеплять.

Солдаты уходили в самовол
и возвращались, гадостью налившись,
в шатер, где спал, как Соломон,
гранатометчик Лева Лифшиц.
В полста ноздрей сопели мы —
он пел псалмы.

«В ландшафте сна деревья завиты,
вытягивается водокачки шея,
две безымянных высоты,
в цветочках узкая траншея».
Полковник головой кивал:
бряцай, кимвал!

И он бряцал: «Уста — гранаты, мед —
ее слова. Но в них сокрыто жало...»
И то, что он вставлял в гранатомет,
летело вдаль, но цель не поражало.

Разговор с нью-йоркским поэтом

Парень был с небольшим приветом.
Он спросил, улыбаясь при этом:
«Вы куда поедете летом?»

— Только вам. Как поэт поэту.
Я в родной свой город поеду.
Там источник родимой речи.
Он построен на месте встречи
Элефанта с собакой Моськой.

Туда дамы ездят на грязи.
Он прекрасно описан в рассказе
А. П. Чехова «Дама с авоськой».

Я возьму свой паспорт еврейский.
Сяду я в самолет корейский.
Осеню себя знаком креста —
и с размаху в родные места!

Нелетная погода

Где некий храм струился в небеса,
теперь там головешки, кучки кала
и узкая канала полоса,

где Вытегра когда-то вытекала
из озера. Тихонечко бася,
ползет буксир. Накрапывает дрема.
Последняя на область колбаса
повисла на шесте аэродрома.
Пилот уже с утра залил глаза
и дрыхнет, завернувшись в плащ-палатку.
Сегодня нам не улететь. Коза
общипывает взлетную площадку.
Спроси пилота, ну зачем он пьет,
он ничего ответить не сумеет.
Ну, дождик. Отменяется полет.
Ну, дождик сеет. Ну, коза не блеет.

Коза молчит и думает свое,
и взглядом пожелтелым от люцерны
она низводит наземь воронье,
освобождая небеса от скверны,
и тут же превращает птичью рать
в немытых пэтэушников команду.
Их тянет на пожарище пожрать,
пожарить девок, потравить баланду.
Как много их шагает сквозь туман,
бутылки под шинелками припрятав,
как много среди юных россиян
страдающих поносом геростратов.

Кто в этом нас посмеет укорить —
что погорели, не дойдя до цели.

Пилот проснулся. Хочется курить.
Есть беломор. Но спички отсырели.

М

М-М-М-М-М-М — кирпичный скалозуб
над деснами под цвет мясного фарша
несвежего. Под звуки полумарша
над главным трупом ходит полутруп.

Ну, Капельдудкин, что же ты, валяй,
чтоб застучали под асфальтом кости —
котлетка Сталина, протухшая от злости,
Калиныча и прочий де-воляй.

М-М-М-М-М-М — кремлевская стена,
морока и московское мычанье.
Милиционер мне сделал замечанье,
что, мол, не гоже облегчаться на

траву вблизи бессмертной мостовой,
где Ленина видал любой булыжник.
Сказал, что оскорбляю чувства ближних.
Но не забрал гуманный постовой.

Конечно, праздник — пьянка и расход:
летят шары, надуты перегаром,
и вся Москва под красным пеньюаром
корячится. Но это же раз в год.

На девушек одних в такие дни
уходит масса кумача и ваты,
и у парней, рыжи и кудреваты,
прически вылезают из мотни.

Раз в год даешь разгул, доступный всем.
Ура, бумажный розан демонстраций.
Но вот уж демон власти, рад стараться,
усталым зажигает букву М.

Вот город. Вот портреты в пиджаках.
Вот улица. Вот нищие жилища.
Желудком не удержанная пища.
Лучинки в леденцовых петушках.

Вот женщина стоит — подобье тумбы
афишной и снаружи и внутри,
и до утра к ней прислонились три
пигмея из мучилища Лумумбы.

Вале́рик

Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь...

А. С. Пушкин

Вот ручка — не пишет, холера,
хоть голая баба на ней.
С приветом, братишка Валера,
ну, как там — даешь трудодней?

Пока мы стояли в Кабуле,
почти до конца декабря,
ребята на город тянули,
но я так считаю, что зря.

Конечно, чечмеки, мечети,
кино подходящего нет,
стоят, как надрочены, эти,
ну, как их, минет не минет...

Трясутся на них «муэдзины»
не хуже твоих мандавох...
Зато шашлыки, магазины —
ну, нет, городишко не плох.

Отличные, кстати, базары.
Мы как с отделенным пойдем,
возьмем у барыги водяры
и блок сигарет с верблюдом,

и так они тянутся, тезка,
кури хоть две пачки подряд.
Но тут началась переброска
дивизии нашей в Герат.

И надо же как не поперло:
с какой-то берданки, с говна
водителю Эдику в горло
чечмек лупанул — и хана.

Машина мотнулась направо.
Я влево подался, в кювет.
А тут косорылых орава,
втащили в кусты и привет.

Фуражку, фуфайку забрали,
Ну, думаю, точка, отжил.
Когда с меня кожу сдирали,
я очень сначала блажил.

Ну, как там папаня и мама?
Пора. Отделенный кричит.
Отрубленный голос имама
из красного уха торчит.

Памяти Москвы

Длиннорукая самка, судейский примат.
По бокам заседают диамат и истмат.
Суд закрыт и заплечен.

В гальванической ванне кремлевский кадавр
потребляет на завтрак дефицитный кавьяр,
растворимую печень.

В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент,
прикупить нету денег.

Потому и застыл этот башенный кран.
Недостройка. Плакат
«Пролетарий всех стран, не вставай с четверенек!»

Памяти Пскова

Когда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы йогов,
умеющих задерживать дыхание
с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
(в ведомостях блокноты со стихами),
торчал в райцентре, где меня уж нет.

Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял свое и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.

Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им.
И я им говорил: «А ну дыхни».

* * *

Я ясно вижу дачу и шиповник,
забор, калитку, ржавчину замка,
сатиновые складки шаровар,
за дерево хватаюсь, суевер.
Я ясно вижу — злится самовар,
как царь или какой-то офицер,
еловых шишек скушавший полковник
в султане лиловатого дымка.
Так близко — только руку протяни,
но зрелище порой невыносимо:
еще одна позорная Цусима,
японский флаг вчерашней простыни.

А на крыльце красивый человек
пьет чай в гостях, не пробуя варенья,
и говорит слова: «Всечеловек...
Арийца возлюби... еврей еврея...
Отсюда шаг один лишь, но куда?
До царства Божия? до адской диктатуры?»

Теперь опять зима и холода,
Оленей гонят хмурые каюры
в учебнике (стр. 23).
«Суп на плите, картошку сам свари».

Суп греется. Картошечка варится.
И опера по радио опять.
Я ясно слышу, что поют — арийцы,
но арийских слова не разобрать.

* * *

Продленный день для стриженых голов
за частоколом двоек и колов,
там, за кордоном отнятых рогаток,
не так уж гадок.

Есть много средств, чтоб уберечь тепло
помимо ваты в окнах и замазки.
Неясно, как сквозь темное стекло,
я вижу путешествие указки
вниз, по маршруту перелетных птиц,
под взглядами лентяев и тупиц.
На юг, на юг, на юг, на юг, на юг.
Оно надежней, чем двойные рамы.
Напрасно академия наук
нам посылает вслед радиограммы.
«Я полагаю, доктор Ливингстон?»
В ответ счастливый стон.

Края, где календарь без января,
где прикрывают срам листочком рваным,
где существуют, обезьян варя,
рассовывая фиги по карманам.
Мы обруселых немцев имена
подарим этим островам счастливым,
засим вернемся в город над заливом —
есть карта полушарий у меня.

Вот желтый крейсер с мачтой золотой
посередине северной столицы.
В кают-компании трубочный застой.
Кругом висят портреты пустолицы.
То есть уже готовы для мальца
осанка, эполет под бакенбардом,
история побед над Бонапартом
в союзе с Нельсоном и дырка для лица.

Посвистывает боцман-троглодит,
На баке кок толкует с денщиками.
Со всех портретов на меня глядит
очкастый мальчик с толстыми щеками.

* * *

Характерная особенность натюрмортов петербургской школы состоит в том, что все они остались неоконченными.

Путеводитель

Лучок нарезан колесом. Огурчик морщится соленый.
Горбушка горбится. На всем грубоватый свет зеле-
ный. Мало свету из окна, вот и лепишь ты, мудила,

цвет бутылки, цвет сукна армейского мундира. Ну, не ехать же на юг. Это надо сколько денег. Ни художеств, ни наук мы не академик. Пусть Иванов и Щедрин пишут миртовые рощи. Мы сегодня нашустрим чего-нибудь попроще. Васька, где ты там жива! Сбегай в лавочку. Васена, натюрморт рубля на два в долг забрать до пенсиона. От Невы неверен свет. Свечка. Отсветы печурки. Это, почитай, что нет. Нет света в Петербурге. Не отпить ли чутку лишь нам из натюрморта... Что ты, Васька, там скулишь, чухонская морда. Зелень, темень. Никак ночь опять накатила. Остается неоконч Еще одна картина Графин, графленый угольком, граненой рюмочки коснулся знать художник под хмельком заснул не проснулся

Л. Лосев (1937—?). НАТЮРМОРТ.
Бумага, пиш. маш. Неоконч.

Бахтин в Саранске

Капуцинов трескучие четки.
Сарацинов тягучие танцы
Грубый гогот гог и магог.

«М. Бахтин,— говорили саранцы,
с отвращением глядя в зачетки,—
не ахти какой педагог».

Хотя не был Бахтин суевером,
но он знал, что в костюмчике
сером
не студентик зундит, дьяволок:

«На тебя в деканате телега,
а пока вот тебе alter ego—
с этим городом твой диалог».

Мировая столица трахомы,
Обжитые клопами хоромы.
Две-три фабрички. Химкомбинат.

Здесь пузатая мелочь и сволочь
выпускает кислоты и щелочь,
рахитичных разводит щенят.

Здесь от храма распятого Бога
только щебня осталось немного.
В заалтарьи бурьян и пырей.

Старый ктитор в тоске и запое
возникает, как клитор, в пробое
никуда не ведущих дверей.

ПБГ*

Далеко, в стране Негодяев
и неясных, но страстных знаков,
жили-были Шестов, Бердяев,
Розанов, Гершензон и Булгаков.
Бородою в античных сплетнях,
верещал о вещах последних

Вячеслав. Голосок доносился
до мохнатых ушей Гершензона:
«Маловато дионисийства,
буйства, эроса, пляски, озона.
Пыль Палермо в нашем закате».
(Пьяный Блок отдыхал на Кате,

и, достав медальон украдкой,
воздыхал Кузмин, привереда,

* Петербург, т. е. зашифрованный герой «Поэмы Без Героя» Ахматовой.

над беспомощной русой прядкой
с мускулистой груди правоведа,
а Бурлюк гулял по столице,
как утюг, и с брюквой в петлице.)

Да, в закате над градом Петровым
рыжеватая примесь Мессины,
и под этим багровым покровом
собираются красные силы,
и во всем недостача, нехватка:
с мостовых исчезает брусчатка,

чаю спросишь в трактире — несладко,
в «Речи» что ни строка — опечатка,
и вина не купить без осадка,
и трамвай не ходит, двадцатка,
и трава выползает из трещин
силлурийского тротуара.
Но еще это сонмище женщин
и мужчин пило, флиртовало,
а за столиком, рядом с эсером,
Мандельштам волхвовал над эклером.

А эсер глядел деловито,
как босая танцорка скакала,
и витал запашок динамита
над прелестной чашкой какао.

Пушкинские места

День, вечер, одеванье, раздеванье —
все на виду.
Где назначались тайные свиданья —
в лесу? в саду?
Под кустиком в виду мышиной норки?
à la gitane?
В коляске, натянув на окна шторки?
но как же там?
Как многолюден этот край пустынный!
Укрылся — глядь,
в саду мужик гуляет с хворостиной,
на речке бабы заняты холстиной,
голубка дряхлая с утра торчит в гостиной,
не дремлет, б.....
О где найти пределы потаенны
на день? на ночь?
Где шпильки вынуть? скинуть панталоны?
где — юбку прочь?
Где не спугнет размеренного счастья
внезапный стук
и хамская ухмылка соучастья
на рожах слуг?
Деревня, говоришь, уединенье?
Нет, брат, шалишь.
Не оттого ли чудное мгновенье
мгновенье лишь?

Документальное

Ах, в старом фильме (в старой фильме)
в окопе бреется солдат,
вокруг другие простофили
свое беззвучное галдят,
ногами шустро ковыляют,
руками быстро ковыряют
и храбро в объектив глядят.

Там, на неведомых дорожках
следы гаубичных батарей,
мечтающий о курьих ножках
на дрожках беженец еврей,
там день идет таким манером
под флагом черно-бело-серым,
что с каждой серией — серей.
Там русский царь в вагоне чахнет,
играет в секу и в буру.
Там лишь порой беззвучно ахнет
шестидюймовка на юру.
Там за Ольштынской котловиной
Самсонов с деловитой миной
расстегивает кобуру.

В том мире сереньком и тихом
лежит Иван — шинель, ружье.
За ним Франсуа, страдая тиком,
в беззвучном катится пежо.
. . . .

Еще раздастся рев ужасный,
еще мы кровь увидим красной,
еще насмотримся ужо.

Москвичи

1

Дворовая свора бежала куда-то,
Визжала девчонка одна.
«Я их де-фло-ри-ру-ю пиццикато», —
промолвил старик у окна.

Он врал и осекся, трепач этот древний,
московской орды старожил.
Он в комнату выплывшей Анне Андреевне
услужливо стул предложил.

Он к ней обращался с почтительным креном,
он чайничек ей подержал.
Его, побывавший в корзиночке с кремом,
мизинец при этом дрожал.

Он маялся, мальчик шестидесятилетний,
но все же отважился на
рассказ, начиненный последнею сплетней,
и слух не замкнула она.

Он даже заставил ее улыбнуться,
он все-таки ей угодил,
москвич, отдуватель чаинок на блюдце,
писатель стишков в «Крокодил».

2

Поникла, чай, моя камелия,
а ежели еще жива,
знать, из метели и похмелья
сидит и вяжет кружева.

Окно черно в вечерних шторах,
там, в аввакумовых просторах
морозный вакуум и тьма
ей выдается задарма.

Итак, она не растеряла
ни мастерства, ни материала,
в привычных пальцах вьется нить,
ловка пустоты обводить.

Сидит, порою дурь глотает,
и пустоты кругом хватает,
да уменьшается клубок,
И мрак за окнами глубок.

3

Любви, надежды, черта в стуле
недолго тешил нас уют.
Какие книги издаются в Туле!
В Америке таких не издают.

Чу! проскакало крошечное что-то
в той стороне, где теплится душа.
Какая тонкая работа!
Шедевр косого алкаша.

Ах! В сердце самое куснула.
И старый черт таращится со стула,
себе слезы не извиня:
что это — проскочило, промелькнуло,
булатными подковками звеня?

В отеле

Цветной туман, отдельные детали
как в детстве, прежде чем надел очки:
игра «Летающие колпачки» —
я позабыл, куда они летали).

Конгресс масонов в пестрых колпаках,
крутясь в сигарных облаках слоистых,
сливался с конференцией славистов
и растворялся в нижних кабаках.
Жидомасонский заговор в разгаре:
один масон уже блюет в углу,

славистьi пьют, друг другу корчат хари
и лягают зубами по стеклу.
Случайный славофильный господин,
надравшись в своем номере, один
сидит, жуя тесемки от кальсон,
на краешке кровати пустомерзкой
и ждет, когда с отвесом или стамеской
ворвется иудей или масон.
Чужбинушка — подмоги ждать откель?
По стенкам бесы корчатся — доколе?

Как колокол, колеблется отель.
Работают лифты на алкоголе.
А это что там, покидая бар,
вдруг загляделось в зеркало, икая,
что за змея жидовская такая?
Ах, это я. Ну, это я .бал.
От шестисот шестидесяти шести
грамм выпитых, от пошлостей, от дыма
какое там до Иерусалима —
тебе бы до постели доползти.

г. Ханновер, США

Артур Хейли

ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

РОМАН

5

В пятницу утром, через день после похищения семьи Слоуна, в главном здании телестанции Си-би-эй началось формирование команды расследования во главе с Гарри Партриджем; старшим выпускающим была назначена Рита Эбрамс.

В 8 часов утра Рита, прилетевшая в Нью-Йорк из Миннесоты накануне поздно вечером, вошла в помещение, предоставленное группе расследования. Вскоре к ней присоединился Гарри Партридж, который провел ночь в люксе отеля «Интерконтинентл», снятом для него телестанцией.

Он сразу приступил к делу:

— Есть что-нибудь новое?

— Что касается похищения — ничего, — ответила Рита. — Но перед домом Кроуфа огромная толпа.

— По какому поводу?

Оба находились в комнате для совещаний группы, и Рита сидела, откинувшись во вращающемся кресле. Несмотря на краткость своего отпуска, она выглядела отдохнувшей — к ней вернулись присущие ей живость и энергия. Не утратила она и своего легкого цинизма, который нравился всем, кто с ней работал.

— Сегодня каждому охота хотя бы дотронуться до ведущего. Поклонники узнали адрес Кроуфа и хлынули в Ларчмонт. Их сотни, если не тысячи. Полиция еле справляется — ставит заслоны на дорогах.

— Туда послана съемочная группа?

— Конечно. Ребята проторчали там всю ночь. Я сказала, чтобы они оставались там, пока Кроуф не уедет на работу. Тогда их сменит другая группа.

Партридж одобрительно кивнул.

— Скорее всего похитители убрались из Ларчмонта в другое место, а значит, и центр событий переместился, — сказала Рита, — но на всякий случай стоит подежурить там пару дней: вдруг всплывет что-нибудь новенькое. Впрочем, может быть, у тебя есть другие соображения?

— Пока нет, — ответил он и, помолчав, добавил: — Ты знаешь, что нам разрешили подобрать самых способных ребят?

— Мне сказали об этом вчера вечером. Для начала я попросила дать нам трех выпускающих: Нормана Джегера, Айрис Иверли и Карла Оуэнса. Они вот-вот явятся.

— Великолепная тройка. — Партридж отлично знал всех троих. Это были лучшие профессионалы на Си-би-эй.

— Кстати, я и кабинеты распределила. Хочешь взглянуть на свой?..

Партриджу, как и Рите, был выделен отдельный кабинет. Еще две комнаты, где расставили письменные столы, предназначались для других выпускающих, для съемочных групп и вспомогательных служб — кто-то уже начал там устраиваться. Партридж и Рита поздоровались с ними и верну-

---

Продолжение. Начало см. «Знамя», 1991, № 10.

лись в самое большое помещение — комнату для совещаний, — чтобы продолжить свой разговор.

— Я бы хотел, — сказал Партридж, — как можно скорее провести встречу со всеми членами нашей команды и сразу приступить к работе над вечерним выпуском новостей.

Рита взглянула на часы: было 8.45.

— Я назначу встречу на десять часов, — сказала она. — А пока узнаю, что там происходит в Ларчмонте.

— За все годы, что я здесь прожил, — сказал сержант полиции Ларчмонта, — впервые такое вижу.

Говорил он это специальному агенту ФБР Хэвелоку, который несколько минут назад вышел из дома Слоуна посмотреть на толпу зевак, стоявших на улице. Начиная с рассвета, толпа росла и росла и сейчас запрудила все тротуары перед домом...

Теле- и прочие репортеры теснились у ворот. На Хэвелока тут же были направлены телекамеры и посыпались вопросы.

— Слышно что-нибудь о похитителях?

— Как держится Слоун?

— Нельзя ли поговорить с Кроуфордом?

— Кто вы?

Хэвелок лишь мотал головой и махал руками: мол, ответов не будет.

Толпа, стоявшая за журналистами, вела себя спокойно, правда, с появлением Хэвелока гул разговоров усилился.

Сотрудник ФБР недовольным тоном спросил сержанта полиции:

— Послушайте, неужели вы не можете очистить улицу?

— Мы пытаемся. Шеф приказал поставить заслоны. Мы перекроем движение и будем пропускать лишь тех, кто живет на этой улице, затем постараемся выдворить отсюда зевак. Нам потребуется как минимум час. Учитывая, что здесь полно телекамер, шеф не хочет никаких столкновений.

— Откуда, по-вашему, все эти люди?

— Я спрашивал некоторых, — ответил сержант. — В основном не из Ларчмонта. Должно быть, их взбудоражило телевидение, и теперь они хотят хоть одним глазком взглянуть на мистера Слоуна. Соседние улицы заставлены машинами.

Начался дождь, но любопытные и не думали расходиться. Одни раскрыли зонтики, другие подняли воротники пальто.

Хэвелок вернулся в дом. И сказал измученному, мрачному Кроуфорду Слоуну:

— Уезжать будем на двух машинах ФБР с обычными номерами. Вы сядете во вторую. Пригнетесь на заднем сиденье, и мы быстро улизнем.

— Нет, этого не будет, — сказал Слоун. — Там журналисты. Мои коллеги...

— Но в толпе могут быть и люди, которые захватили вашу семью. — Тон Хэвелока был резким. — Кто знает, что им в голову взбредет, они ведь могут вас и пристрелить. Так что не валяйте дурака, мистер Слоун. И не забывайте: я отвечаю за вашу безопасность.

В конце концов они сошлись на том, чтобы впустить операторов и репортеров в дом и устроить импровизированную пресс-конференцию в холле... Правда, вся новая информация заключалась в том, что в течение ночи похитители не объявились.

— Ничего другого сообщить не могу, — закончил Слоун. — Просто ничего больше не произошло. К сожалению...

— Все, мистер Слоун, — обратился к нему Хэвелок, — а теперь поехали, как я предложил.

Слоун нехотя согласился.

Однако при осуществлении плана произошла непредвиденная неприятность.

Кроуфорд Слоун юркнул в машину так быстро, что его успели заметить всего несколько человек из толпы. Но слух — «Слоун во второй машине» — распространился с быстротою пожара. Хэвелок и еще один агент

ФБР сели в ту же машину на заднее сиденье, Слоун с трудом умещался между ними, стоя на четвереньках. Третий агент ФБР сел за руль.

Еще двое сотрудников ФБР вскочили в первую машину, и оба автомобиля сразу тронулись с места.

Теперь, когда стало известно, что Слоун уезжает, стоявшие сзади начали напирать и вытолкнули на проезжую часть тех, кто стоял впереди. Дальше события стремительно следовали одно за другим.

Первая машина по знаку полицейского отъехала от дома Слоуна. Она шла на большой скорости, вторая машина — следом. Перед первой машиной, которая еще минуту назад могла бы беспрепятственно проехать, вдруг возникла толпа: люди напротив ворот под напором стоявших сзади оказались на середине дороги. Растерявшийся водитель, увидев их прямо перед бампером, нажал на тормоза.

При другом стечении обстоятельств машина могла бы остановиться вовремя. Но так как дорога была мокрой и скользкой после недавнего дождя, автомобиль занесло. Под визг шин, глухие звуки падения и громкие крики машина врезалась в передние ряды толпы.

Сидевшие во второй машине — за исключением Слоуна, который не мог ничего видеть, — затаили дыхание в преддверии того, что и с ними произойдет то же самое. Но люди устремились на другую сторону улицы — толпа на дороге рассосалась, и Хэвелок, сурово нахмурившись, приказал шоферу: «Не останавливайся! Гони!» Позднее, защищаясь, Хэвелок объяснит свой жестокосердный поступок так: «Все произошло очень быстро, я не знал, что и думать, и предположил, что это засада».

А Кроуфорд Слоун, почувствовав неладное, поднял голову и посмотрел в окно. В этот момент телевизионная камера выхватила крупным планом лицо Слоуна, после чего продолжала снимать быстро удалявшуюся с места происшествия машину. Позже видеозапись вышла в эфир, но откуда было знать телезрителям, что Слоун умолял Хэвелока вернуться, а тот стоял на своем:

— Там полиция. Они примут все необходимые меры.

Полиция Ларчмонта действительно приняла меры: на место происшествия примчалось несколько карет «скорой помощи». Пострадало восемь человек: шестеро отделались царапинами и синяками, двое получили серьезные увечья.

В другой ситуации этот трагический инцидент не привлек бы к себе столь широкого внимания. Но поскольку он был связан с похищением семьи Слоуна, средства массовой информации раззвонили о нем по всей стране; косвенно доля вины легла на Слоуна.

Представитель лондонского отделения Си-би-эй Тедди Купер прилетел, как и обещал, утренним «конкордом». Прямо из аэропорта он явился в группу поиска — около десяти — и доложил о своем прибытии сначала Партриджу, потом Рите. Все трое отправились в комнату для совещаний, где должна была собраться вся группа.

По пути Купер столкнулся с Кроуфордом Слоуном, который тоже приехал всего несколько минут назад и еще не успел прийти в себя после происшествия в Ларчмонте.

Купер, высокий жилистый парень, поистине излучал энергию и оптимизм. Каштановые, прямые, не по моде длинные волосы обрамляли бледное лицо, с которого еще не сошли юношеские прыщи. В результате он выглядел моложе своих двадцати пяти лет. Купер родился и вырос в Лондоне, но не раз бывал в Соединенных Штатах и хорошо знал Нью-Йорк...

— Прежде всего, Гарри, — обратился он к Партриджу, — я должен ознакомиться с фактами и прочесть все материалы. Затем я хотел бы осмотреть место преступления и побеседовать со всеми старыми пердунами, которые видели, как это произошло. Я подчеркиваю: со всеми. Нельзя пренебрегать домашним заданием, иначе кусочки головоломки не встанут на место. А если кто и умеет выполнять домашние задания, так это я.

— Делай как знаешь. — Партридж не забыл тех случаев, когда он наблюдал Купера за работой. — Дадим тебе двух помощников, будешь отвечать за расследование.

Эти двое — молодые мужчина и женщина, которых сняли с другого проекта Си-би-эй, — уже ждали в комнате для совещаний. Партридж представил их Куперу до начала собрания...

Купер явно пришелся по душе своим новым подчиненным, и все трое принялись обсуждать «Хронологию событий», которая уже висела в комнате для заседаний, занимая всю стену. Такая доска всегда имелась в любой группе поиска — сюда в хронологическом порядке будут заносить каждую деталь, имеющую отношение к похищению семьи Слоуна. На другой стене висела вторая большая доска с заголовком «Разное». Сюда будет стекаться побочная информация — гипотезы и слухи, неизвестно или неважно когда возникшие. По мере того как данные на доске «Разное» будут уточнены, часть из них перекочует в «Хронологию событий»...

Эти доски выполняли двуединую задачу: во-первых, держать всех членов группы в курсе имеющейся информации и свежих событий; во-вторых, наглядно показывать продвижение к цели, служить стимулом для обмена идеями, что, как неоднократно подтверждал опыт, могло оказаться продуктивным.

Ровно в десять часов Рита Эбрамс, перекрывая шум разговоров, громко сказала:

— Ну что ж, друзья! Давайте приступим к делу.

Она сидела во главе длинного стола, рядом с ней — Гарри Партридж. Вошел Лэсли Чиппингем и тоже подсел к столу. Они с Ритой встретились глазами и слегка улыбнулись друг другу.

Кроуфорд Слоун сидел на противоположном конце стола. Он пока не собирался принимать участия в дискуссии, признавшись накануне Партриджу: «Я чувствую себя абсолютно беспомощным — как орех без ядрышка».

Здесь же присутствовали трое выпускающих, которых завербовала Рита. Самый старший из них, Норман Джегер, был ветераном Си-би-эй, прошедшим все ступени работы в «Новостях». С мягким голосом, изобретательный и прекрасно образованный, он был выпускающим престижной программы под названием «Что кроется под заголовками». То, что его сразу перевели на эту работу, показывало, сколь мощными силами располагала группа поиска.

Возле Джегера сидела Айрис Иверли, двадцатипятилетняя «звезда» в подготовке «Новостей». Хрупкая и миловидная, она была выпускницей Школы журналистики Колумбийского университета, обладала острым умом и молниеносной реакцией.

Третий выпускающий, Карл Оуэнс, был трудягой, который славился своей непомерной работоспособностью; иногда, разрабатывая вместе с корреспондентами какой-нибудь сюжет, именно он доводил дело до конца, когда его коллеги уже складывали оружие. Оуэнс был младше Джегера и старше Айрис Иверли и, хотя уступал им в изобретательности, отличался основательностью и крепким знанием ремесла.

Во втором ряду за столом сидели также: Тедди Купер и двое его помощников; штатный текстовик «Вечерних новостей»; Минь Ван Кань, назначенный старшим оператором, и секретарша — она же администратор группы.

— Итак, все мы знаем, зачем мы здесь, — сказала Рита деловым тоном, открывая собрание. — Сейчас мы обсудим, как будем работать. Сначала я расскажу об организации работы. Затем Гарри представит основные направления, по которым мы будем готовить передачи... С сегодняшнего дня работа будет вестись на двух уровнях: первый — долгосрочная стратегия, второй — ежедневные выпуски новостей. Норм, — обратилась она к старшему из выпускающих, — ты возглавишь долгосрочный проект.

— Согласен.

— Айрис, ты будешь готовить ежедневные выпуски, включая сегодняшнюю вечернюю передачу, ее мы обсудим немного позже.

— Понятно, и первое, что мне понадобится, — твердо потребовала Айрис, — это видеозапись утреннего происшествия перед домом Кроуфа.

— Ты ее получишь, — ответила Рита. — Пленку как раз везут сюда.

Третьему выпускающему, Оуэнсу, Рита сказала:

— Карл, ты будешь работать то с одним, то с другим — по мере необходимости. — И добавила: — Я буду в тесном контакте со всеми вами. — Теперь ее внимание сосредоточилось на Купере. — Тедди, насколько я понимаю, ты хочешь отправиться в Ларчмонт.

Купер взглянул на нее и широко улыбнулся.

— Совершенно верно, мэм. Копать и раскапывать, как знаменитый Шерлок Х. — И добавил, обращаясь уже ко всем присутствующим: — А в этом деле я мастер.

— Тедди, — впервые вмешался Партридж, — здесь все мастера. Потому их и пригласили в команду.

Ничуть не смущаясь, Купер улыбнулся.

— Тогда я в своей тарелке.

— Как только наше собрание закончится, — сказала Рита, — Минь поедет в Ларчмонт во главе двух новых съемочных групп. Ты поедешь с ним, Тедди, там встретишься с хроникером из нашего местного филиала Бертом Фишером. Я уже все устроила. Вчера Фишер первым сообщил о происшествии. Он провезет тебя по округе и представит всем, кого ты сочтешь нужным увидеть. А теперь более важная часть — подготовка передач. Гарри, тебе слово.

— Я вижу нашу первоочередную задачу в том, чтобы собрать как можно больше информации о похитителях, — начал Партридж. — Кто они? Откуда? Каковы их цели? Разумеется, очень скоро они сами смогут ответить на эти вопросы, но мы не имеем права сидеть и ждать сложа руки. Пока не могу вам сказать, как мы будем искать ответы, знаю только, что мы должны обмозговать все, что случилось, осмыслить любую новую информацию. Я прошу каждого из вас изучить сегодня все данные, которыми мы располагаем, и запомнить детали. В этом нам помогут доски... Когда все войдут в курс дела, я хочу, чтобы мы сообща и по отдельности проанализировали имеющуюся информацию. Как показывает опыт, из этого кое-что может выйти.

Члены группы, сидевшие за столом, внимательно слушали Партриджа.

— Одно я вам скажу наверняка. Эти люди, похитители, где-то наследили. Следы непременно остаются, как бы тщательно их ни старались замести. Штука в том, чтобы эти следы отыскать. — Он кивнул Джегеру. — В этом и будет заключаться твоя работа, Норман.

— Ясно, — откликнулся Джегер...

Обсуждение длилось еще минут пятнадцать, затем Рита побарабанила пальцами по столу.

— Довольно, я думаю, — объявила она. — Разминка окончена. Начинается настоящая работа.

В гуще серьезных забот произошла небольшая буря.

В интересах дела Гарри Партридж решил подробно расспросить обо всем Кроуфорда Слоуна. Партридж рассчитывал, что Слоун, как это часто бывает в сложных ситуациях, знает больше, чем ему кажется, и что с помощью умело сформулированных, целенаправленных вопросов можно вытащить на свет новые факты. Слоун уже дал согласие на разговор.

Когда в комнате для заседаний Партридж напомнил Слоуну об их договоренности, неожиданно у них за спиной кто-то произнес:

— Если не возражаете, я бы тоже посидел и послушал. Может, что-то узнаю.

Опешив, они обернулись. Перед ними стоял Отис Хэвелок, который вошел, когда собрание уже закончилось.

— Раз уж вы спросили, — сказал Партридж, — то я возражаю.

— Вы случайно не мистер ФБР? — спросила Рита Хэвелока.

— Это вы по аналогии с мисс Америкой? — дружелюбно отозвался Хэвелок. — Вряд ли мои коллеги с этим согласятся.

— Если говорить серьезно, — сказала Рита, — вы вообще не имеете права здесь находиться. Сюда запрещено входить кому бы то ни было, кроме членов группы.

Хэвелока это заявление, казалось, озадачило.

— В мои обязанности входит охрана мистера Слоуна. А кроме того, речь ведь идет о похищении. Не так ли?

— Да.

— В таком случае мы решаем общую задачу — ищем семью мистера Слоуна. Поэтому, все, что вы обнаружите, все, что заносится туда, — он указал на доски, — в ФБР тоже должны знать.

Все присутствующие, в том числе Лэсли Чиппингем, умолкли.

— Тогда, — сказала Рита, — давайте установим обратную связь. Могу я прямо сейчас послать корреспондента в нью-йоркское отделение ФБР, чтобы его ознакомили со всеми поступившими туда донесениями?

Хэвелок помотал головой.

— Боюсь, это невозможно. Некоторые донесения секретны.

— Вот видите!

— Слушайте, ребята! — Хэвелок чувствовал, что обстановка накаляется, и старался говорить сдержанно. — Вы, наверно, не до конца отдаете себе отчет в том, что мы имеем дело с преступлением. И каждый, кому что-либо известно, по закону обязан тотчас сообщить об этом ФБР. В противном случае он нарушает закон.

Рита, которой частенько изменяла выдержка, возмутилась:

— Помилуйте, мы же не дети! Мы постоянно проводим расследования и знаем правила игры.

— Хочу заметить, мистер Хэвелок, — вставил Партридж, — что мне неоднократно доводилось работать в тесном контакте с ФБР — ваши люди славятся тем, что берут любую информацию, а взамен не дают никакой.

— ФБР не обязано ничего давать взамен, — рявкнул Хэвелок. От его прежней сдержанности не осталось и следа. — Мы правительственная организация, за нами стоят президент и конгресс. Вы же сейчас пытаетесь создать нам конкуренцию. Так вот позвольте вам заметить, что если кто-нибудь вздумает препятствовать официальному расследованию, скрывая информацию, ему будут предъявлены серьезные обвинения.

Чиппингем решил, что пора вмешаться.

— Мистер Хэвелок, — сказал шеф Отдела новостей, — уверяю вас, мы не нарушители закона. Однако мы вольны проводить расследование так, как считаем нужным, и иногда нам это удается лучше, чем тем, кто, по вашим словам, занимается «расследованием официальным». Я допускаю, что здесь существуют некоторые нюансы, но ни в коем случае нельзя забывать о праве корреспондентов вести расследование, держа в тайне источники информации, — раскрыть их может заставить только суд. Так что ваше требование прямого и абсолютного доступа к любой поступающей информации есть не что иное, как посягательство на нашу свободу. Посему, должен вам сказать, хоть мы и рады видеть вас здесь, есть предел — черта, переступать которую вы не имеете права, она вон там. — И он указал на дверь комнаты для совещаний.

— Будь по-вашему, сэр, — сказал Хэвелок, — однако я не уверен, что дело обстоит именно так, и надеюсь, вы не будете возражать, если я доведу это до сведения Бюро...

После того, как Хэвелок отправился звонить, Чиппингем сказал Рите:

— Свяжись с охраной. Попроси ключи от всех наших комнат и запирай их.

Уединившись в кабинете Партриджа и включив магнитофон, Партридж и Слоун повели разговор. Партридж начал с уже известного, он задавал старые вопросы, добиваясь большей конкретики, но ничего нового так и не выяснил. Наконец он спросил:

— Кроуф, возможно, краем сознания или даже подсознания ты ухватил какую-то деталь, которая вызывает смутные ассоциации со случившимся? Это может быть мелочь, пустяк, который вызвал у тебя недоумение, а в следующую секунду ты о нем уже забыл.

— Ты вчера меня об этом спрашивал, — задумчиво ответил Слоун.

— Я знаю, что спрашивал, — сказал Партридж, — и ты обещал подумать.

— Что ж, я думал над этим вчера вечером и, кажется, кое-что надумал, хотя это не более чем смутное ощущение — никакой уверенности у меня нет.

— Все равно говори, — не отступал Партридж.

— До того как это случилось, у меня было такое чувство, словно за мной следят. Разумеется, это могло прийти мне в голову уже после того, как я узнал, что за домом велось наблюдение...

— Не будем отвлекаться. Значит, ты думаешь, за тобой следили. Где и когда?

— В том-то и беда. Все покрыто таким туманом, что вполне может быть игрой воображения, спровоцированной чувством долга: мол, я обязан что-то вспомнить.

— Ты думаешь, это плод воображения?

Слоун колебался.

— Нет, не думаю.

— Можешь поподробнее?

— Сдается мне, что время от времени, когда я возвращался домой, за мной был хвост. У меня также есть ощущение, очень расплывчатое, что кто-то наблюдал за мной здесь, на телестанции Си-би-эй, кто-то чужой.

— Как долго?

— Примерно с месяц. — Слоун развел руками. — Я вовсе не уверен, что не фантазирую. Но какое это имеет значение?

— Не знаю, — ответил Партридж. — Но я должен обсудить это с остальными.

Партридж отпечатал на машинке краткое содержание беседы со Слоуном и прикрепил листок кнопкой к доске «Разное» в комнате для совещаний. Вернувшись в свой кабинет, он приступил к тому, что журналисты называют «обзвоном».

Он открыл перед собой свою синюю книжку — перечень знакомых, разбросанных по всему миру; в свое время эти люди ему помогли и могли помочь вновь. Здесь же значились фамилии тех, кому он, в свою очередь, оказал услугу, предоставив нужную информацию...

Накануне вечером Партридж перелистал синюю книжку и составил список людей, которым следовало сегодня позвонить. Тут были сотрудники министерства юстиции, Белого дома, государственного департамента, ЦРУ, иммиграционной службы, конгресса, нескольких иностранных посольств, полицейского управления Нью-Йорка, королевской канадской конной полиции в Оттаве, мексиканской уголовной полиции, автор документальных детективов и адвокат, ведущий дела организованной преступности.

Говорил Партридж осторожно и начинал так: «Привет, это Гарри Партридж. Давненько мы с вами не общались. Звоню узнать, как жизнь». Беседа на личные темы, в которую вплетались расспросы о женах или мужьях, любовниках или любовницах, детях — их имена тоже были у Партриджа записаны, — плавно перетекала к насущной проблеме. «Я работаю сейчас над похищением Слоунов. Может быть, до вас доходили какие-нибудь слухи или есть свои соображения...»

Подобные разговоры были обычным делом, подчас весьма утомительным и всегда требующим терпения. Порой они приносили результаты — через некоторое время, а порой не приводили ни к чему. Сегодняшние телефонные звонки не прояснили картины, хотя весьма любопытной была беседа с адвокатом, работавшим на организованную преступность.

Год назад Партридж оказал ему услугу, по крайней мере так считал адвокат. Его дочь поехала в Венесуэлу в составе студенческой группы и там попала на бурную оргию, устроенную наркоманами, — известие об этом просочилось в средства массовой информации США. В оргии принимали участие восемь студентов, двое из них умерли. Через агентство в Каракасе телестанция Си-би-эй получила снимки с места происшествия, в том числе — крупным планом — участников, среди них — дочь адвоката в момент ареста полицией, и Партридж, находившийся в Аргентине, вылетел на север, чтобы сделать об этом репортаж.

В Нью-Йорке отец девицы каким-то образом узнал о готовящейся передаче и о фотографиях и разыскал Партриджа по телефону. Он умолял Партриджа не упоминать имени его дочери и не показывать ее фото:

она-де самая молоденькая, никогда раньше не попадала в подобные истории, и такой позор на всю страну искалечит ее дальнейшую жизнь.

К тому времени Партридж уже ознакомился с фотоматериалами, знал о девушке и сам решил не говорить о ней в репортаже. Однако, не желая связывать себе руки, ограничился обещанием, что постарается сделать все возможное.

Позднее, когда адвокат убедился, что в «Новостях» Си-би-эй имя девушки прямо названо не было, он прислал Партриджу чек на тысячу долларов. Партридж вернул чек, сопроводив его вежливой запиской, и с тех пор пути их не пересекались.

Сегодня, выслушав вступление Партриджа, адвокат без обиняков заявил:

— Я вам обязан. Вам что-то от меня надо? Говорите, что именно.

Партридж объяснил.

— Я ничего не слышал — лишь то, что передавали по телевидению, — сказал адвокат, — но я абсолютно уверен: ни один из моих клиентов в этом не замешан. Они не станут марать о такое руки. Правда, иногда до них доходят сведения, которые другим недоступны. В течение ближайших нескольких дней я осторожно наведу справки. Если что-то удастся выяснить, я вам позвоню.

У Партриджа было предчувствие, что этот человек сдержит слово.

Через час, обзвонив половину людей из своего списка, Партридж сделал перерыв и пошел в комнату для совещаний выпить кофе. Вернувшись, он стал просматривать «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» — все сотрудники телестанции проделывали это ежедневно. Посетителей крупных телецентров всегда приводят в изумление кипы этих газет. Дело в том, что хотя люди здесь работают искушенные, почему-то среди них бытует прочно укоренившееся мнение, будто новость по-настоящему становится новостью, только если попадает на страницы «Таймс» или «Пост».

Чтение Партриджа прервал громкий голос Чака Инсена.

— Гарри, хочу сообщить тебе план сегодняшней передачи, — сказал ответственный за выпуск, входя в кабинет. — Видишь ли, мы собираемся посадить двух ведущих. Половина передачи — твоя.

— Конец или начало?

Инсен слабо улыбнулся.

— Кто из нас знает, где конец, а где начало. В любом случае с сегодняшнего дня ты будешь вести все, что связано с семьей Слоуна: похищение опять будет главной новостью, разве что перед началом передачи убьют президента. Кроуф, как обычно, будет вести остальную часть программы. Понимаешь, все мы решили: не позволим шайке подонков — кто бы они ни были — диктовать Си-би-эй свои порядки.

— Я — за, — ответил Партридж. — Надеюсь, Кроуф тоже.

— Честно говоря, это идея Кроуфа. Как всякому королю, ему становится не по себе вдали от трона. А кроме того, если он будет прятаться, это все равно ничего не даст. Да, вот еще что: в самом конце передачи Кроуф скажет от себя несколько слов — поблагодарит тех, кто прислал телеграммы и вообще выразил сочувствие.

— От себя?

— Ну конечно. Как раз сейчас над текстом корпят трое текстовиков...

6

Почти месяц назад, как только Мигель нелегально проник в Соединенные Штаты, он попытался приобрести гробы... Весь план был разработан задолго до его прибытия, и Мигель надеялся, что осуществит покупку быстро и незаметно — дело-то нехитрое. Но оказалось, что это не так.

Мигель отправился в похоронное бюро в Бруклине, желая раскинуть сети пошире, а не крутиться все время на одном пятачке — в Малой Колумбии, в Куинсе, в то время служившей ему опорной базой. Он выбрал заведение, расположенное неподалеку от Проспект-парка, — элегантный белый особняк с вывеской «Филдс», к которому примыкала большая автостоянка.

Мигель открыл тяжелые дубовые двери и вошел в холл — пол покрывал золотисто-бежевый ковер, всюду стояли высокие растения в кадках,

на стенах висели идиллические пейзажи. Там его чинно встретил мужчина средних лет, в черном пиджаке с белой гвоздикой в петлице, в полосатых, черных с серым, брюках, в белой рубашке и темном галстуке.

— Доброе утро, сэр, — изрек сей муж. — Меня зовут мистер Филд. Чем могу быть полезен?

Мигель отрепетировал то, что ему надлежало сказать.

— Мои престарелые родители хотели бы заранее позаботиться о своем... м-м... уходе из жизни.

В знак одобрения и сочувствия Филд склонил голову.

— Понимаю, сэр. Многие пожилые люди на закате дней хотят быть спокойными и уверенными в своем будущем.

— Именно. Так вот, мои родители хотели бы...

— Простите, сэр. Думаю, нам лучше пройти в мой кабинет.

— Хорошо.

Филд шел впереди. Они миновали — возможно, так было специально задумано — несколько комнат, напоминавших салоны: здесь стояли диваны и кресла, в одной из них — ряды стульев, приготовленных для отпевания. В каждой комнате стоял открытый гроб с телом умершего — голова на подушечке с рюшами, лицо слегка подгримировано...

Кабинет владельца помещался в конце коридора, предусмотрительно скрытый от посторонних глаз. На стенах висели дипломы в рамках, совсем как в кабинете врача, с той лишь разницей, что один из них (украшенный лиловой лентой) был дипломом гримера покойников, а другой — бальзамировщика. Филд жестом предложил Мигелю сесть.

— Могу я узнать вашу фамилию, сэр?

— Новак, — солгал Мигель.

— Что ж, мистер Новак, давайте начнем с главного. Вы или ваши родители уже выбрали и приобрели место на кладбище?

— Гм, нет.

— Значит, этим следует заняться в первую очередь. Мы должны об этом позаботиться не откладывая, — купить место, особенно хорошее, становится все труднее и труднее. Разумеется, мы не говорим о кремации.

Мигель, с трудом обуздывая нетерпение, помотал головой.

— Нет. Я хотел с вами обсудить...

— Затем встает вопрос о вероисповедании ваших родителей. Какая потребуется служба? Есть и другие вопросы, которые следует решить.

И Филд протянул буклет, напоминавший хорошо оформленное ресторанное меню...

— Меня-то, собственно, интересуют гробы, — сказал Мигель.

— Понимаю. — Филдс поднялся. — Пожалуйста, следуйте за мной.

Теперь он повел Мигеля вниз по лестнице, в подвал. Они вошли в помещение, с красным ковром на полу, где были выставлены образцы; Филд начал с гроба стоимостью в 20 тысяч 600 долларов.

— Это наш лучший образец...

— А нельзя ли что-нибудь попроще? — спросил Мигель.

Они остановились на двух гробах — один побольше, другой поменьше — за 2 тысячи 300 и 1 тысячу 900 долларов.

— Моя мать женщина миниатюрная, — пояснил Мигель. А про себя подумал: «Ростом с одиннадцатилетнего мальчика».

Тут Мигель обратил внимание на несколько грубо сколоченных простых ящиков. Он спросил про них у Филда, и тот объяснил:

— Это для правоверных иудеев, которые стремятся к простоте. На дне каждого ящика просверлены два отверстия, чтобы «прах с прахом соединился». Вы не еврей?

Мигель отрицательно покачал головой, и Филд доверительно прошептал:

— Откровенно говоря, я бы не хотел, чтобы мои близкие покоились в таком вот ящике.

Они вернулись в кабинет, и Филд продолжил:

— Теперь я предлагаю обсудить оставшиеся проблемы. Начнем с места захоронения.

— В этом нет нужды, — ответил Мигель. — Я бы хотел просто заплатить за гробы и забрать их.

Филд был потрясен.

— Это невозможно.

— Почему?

— Так никогда не делается.

— Видимо, мне с самого начала следовало все четче объяснить, — Мигель начал понимать, что дело это не такое простое, как он думал. — Мои родители хотят иметь гробы сейчас и поставить их дома, чтобы каждый день видеть. Они хотят привыкнуть к своему, с позволения сказать, будущему жилищу.

Филд явно растерялся.

— То, что вы говорите, невозможно. Мы здесь, если можно так выразиться, занимаемся всем «пакетом услуг». Ваши родители могут приехать и взглянуть на гробы, в которых потом будут покоиться. Но гробы должны оставаться здесь до тех пор, пока в них не возникнет необходимость, так уж у нас заведено.

— А вы не согласились бы...

— Нет, сэр, об этом не может быть и речи.

Мигель почувствовал, что заинтересованность собеседника уступает место подозрительности.

— Хорошо. Я все обдумаю и, возможно, приеду еще.

Филд проводил Мигеля до дверей. У Мигеля не было ни малейшего намерения возвращаться. Он видел, что и без того произвел ошеломляющее впечатление.

На следующий день Мигель побывал еще в нескольких похоронных бюро... Однако ответ был один и тот же. Никто не соглашался продать ему гробы без «пакета услуг».

Тогда Мигель понял, что совершил ошибку, пытаясь действовать без чьей-либо помощи, и вернулся в Куинс, к своим связным из Малой Колумбии. Через несколько дней его направили в небольшое, обшарпанное похоронное бюро в Астории, неподалеку от Джэксон-Хейтс. Там он познакомился с Альберто Годоем...

Годой оказался толстым, лысым, насквозь прокуренным и обрюзгшим от пьянства. Его черный пиджак и брюки в серую полоску были в пятнах от еды. Говорил он скрипучим голосом, то и дело заходясь типичным для курильщика кашлем. В течение разговора с Мигелем, который начался в маленьком, тесном кабинете Годоя, он выкурил три сигареты подряд, прикуривая одну от другой.

— Моя фамилия Новак, и я пришел, чтобы кое-что выяснить, — сказал Мигель.

Годой кивнул.

— Знаю.

— У меня двое престарелых родителей...

— А-а, теперь это так называется?

Мигель все же довершил свой рассказ; Годой слушал со смешанным чувством скуки и недоверия. Когда Мигель закончил, Годой задал единственный вопрос:

— Как будете платить?

— Наличными.

Годой стал чуть дружелюбнее.

— Пойдемте со мной.

Здесь образцы гробов были тоже выставлены в подвале, только ковер был темно-коричневый и потертый, да и выбор не то что у Филда. Мигель быстро нашел два подходящих гроба — один среднего размера, другой поменьше.

— За гроб обычного размера, — объявил Годой, — три тысячи долларов. За детский — две пятьсот.

Хотя слово «детский» не упоминалось в легенде, оно было близко к истине, и Мигель решил не заострять на нем внимания. Он был убежден, что общая сумма — 5 тысяч 500 долларов — по крайней мере вдвое превышала реальную стоимость гробов, но безоговорочно согласился. Наличные были при нем, и он расплатился стодолларовыми банкнотами. Годой потребовал еще 454 доллара на налог городу Нью-Йорку. Мигель добавил эту сумму, хотя сомневался, что городская казна когда-либо получит деньги.

Задним ходом Мигель подал недавно купленный грузовик фирмы

«Дженерал моторс» к месту погрузки, там, под бдительным оком Годоя, гробы вкатили в кузов. Затем Мигель отвез их на конспиративную квартиру, где они и дожидались своего часа.

С тех пор прошел месяц, и сейчас, в поисках третьего гроба, он вернулся в заведение Альберто Годоя.

Мигель понимал, что появляться здесь лишний раз опасно. Он вспомнил, что Годой, как бы между прочим, назвал второй гроб «детским». Не мог ли Годой догадаться, раздумывал Мигель, что вчерашнее похищение женщины и мальчика каким-то образом связано с покупкой гробов? Едва ли — но Мигель и был до сих пор жив только благодаря тому, что взвешивал все «за» и «против». Однако решение перевезти третьего пленника в Перу было принято, и стало быть, кроме Годоя, обращаться все равно не к кому. Приходилось идти на риск.

Приблизительно через час после того, как они отъехали от здания ООН, Мигель велел Луису припарковать катафалк за квартал от похоронного бюро Годоя. Мигелю пришлось раскрывать зонт — шел проливной дождь.

В приемной похоронного бюро секретарша поговорила с Годоем по селектору, затем предложила Мигелю пройти в кабинет владельца.

Толстяк холодно смотрел на Мигеля сквозь облако сигаретного дыма.

— Опять вы. Ваши друзья не извещали меня о вашем приходе.

— О нем никто не знал.

— Что вам угодно? — Какими бы мотивами ни руководствовался Годой при заключении первой сделки, было ясно, что сейчас он насторожен.

— Один пожилой друг попросил меня об услуге. Он увидел гробы, которые я приобрел для моих родителей, и ему так понравилась идея, что он поинтересовался, не мог ли бы я...

— Ну хватит! — Рядом со столом Годоя стояла старомодная плевательница. Он сплюнул в нее, вынув сигарету изо рта. — Слушайте, любезный, давайте не будем понапрасну терять время: мы оба знаем, что все это сказки. Еще раз спрашиваю, что вам угодно?

— Один гроб. Плачу как в прошлый раз.

Глазки Годоя перестали бегать и впились в Мигеля.

— Мои дела идут неплохо. Да, иногда я оказываю услуги вашим друзьям, а они — мне. И вот что я хотел бы у вас выяснить: не окажусь ли я потом по уши в дерьме?

— Все будет чисто. При условии, что вы не будете упрямиться. — Мигель постарался, чтобы в его голосе прозвучали угрожающие нотки, и это возымело должный эффект.

— Ладно, он ваш, — произнес Годой уже более миролюбиво. — Но с прошлого раза цена выросла. За гроб для взрослого теперь четыре тысячи.

Мигель молча вскрыл конверт из толстой бумаги, который дал ему Хосе-Антонио Салаверри, и стал отсчитывать сотенные. Отсчитав сорок, он протянул их Годою, который сказал:

— Плюс еще двести пятьдесят — на налог в Нью-Йорке.

Мигель ответил, заклеивая клейкой лентой конверт:

— Перебьетесь. Нью-Йорк тоже. — И добавил: — У меня там снаружи машина. Пусть гроб доставят к месту погрузки.

Стоя на погрузочной платформе, Годой слегка удивился, увидев катафалк. Он вспомнил, что в прошлый раз гробы увез грузовик. Клиент вызывал у Годоя сильные подозрения, поэтому он запомнил цифру и буквы нью-йоркского номера на катафалке и, вернувшись в кабинет, записал их, сам не зная зачем. Он сунул клочок бумаги в ящик стола и вскоре забыл о нем.

У Годоя было ощущение, что он оказался втянутым в нечто такое, о чем лучше не знать, однако он так и лоснился от удовольствия, пряча в сейф четыре тысячи долларов. В том же сейфе хранились остатки денег, которые клиент заплатил месяц назад: у Годоя не было ни малейшего желания платить подоходный налог с каждой сделки в казну Нью-Йорка

более того, он даже не собирался заявлять о них в своей налоговой декларации. Три гроба с легкостью исчезнут из его книг — голова-то у него варит неплохо. Эта мысль подняла ему настроение, и он решил наведаться в близлежащий бар, куда частенько заглядывал, и пропустить стаканчик.

Его приветствовало несколько завсегдатаев бара. Быстро размякнув от виски «Джек Даниэлс», он поведал честной компании, как какой-то прощелыга купил у него два гроба и поставил их, по его словам, в родительском доме: пускай, мол, старики готовятся «сыграть в ящик», а потом явился за третьим — как будто покупал стулья или сковородки.

Под всеобщий хохот Годой признался и в том, что обвел-таки прощелыгу вокруг пальца, всучив ему гробы по тройной цене. Один из его дружков предложил за это выпить, и Годой, чьи тревоги бесследно исчезли, заказал выпивку на всех.

В баре сидел бывший гражданин Колумбии, а ныне — США, который сотрудничал с захудалой газетенкой, выходившей на испанском языке в Куинсе. Огрызком карандаша он вкратце записал рассказ Годоя на обороте конверта. На следующей неделе он тиснет это в газету — отличный получится сюжетец.

7

Для работников телестанции Си-би-эй денек выдался жаркий, особенно досталось группе поиска. Подготовка детального отчета о похищении семьи Слоуна для «Вечерних новостей» по-прежнему оставалась в центре внимания, заслоняя собой даже важные события, происходившие в мире. Теме похищения отводилось пять с половиной минут — случай исключительный: порой ведь приходилось бороться за какие-нибудь пятнадцать секунд. Поэтому вся группа в полном составе работала над вечерней программой — сегодня было не до рассуждений и не до стратегических планов.

Передачу открывал Гарри Партридж следующими словами:

«Прошло тридцать шесть часов мучительного ожидания, но о семье ведущего программы Си-би-эй Кроуфорда Слоуна, чьи жена, сынишка и отец были похищены вчера утром из Ларчмонта, штат Нью-Йорк, по-прежнему нет вестей. Местонахождение миссис Джессики Слоун, одиннадцатилетнего Николаса и мистера Энгуса Слоуна остается неизвестным».

При упоминании каждого имени над плечом Партриджа появлялась соответствующая фотография.

«Мы также ничего не знаем о личностях похитителей, их целях и принадлежности к какой-либо организации».

В следующую секунду на экране возникло встревоженное лицо Кроуфорда Слоуна. Полным отчаяния голосом он взмолился: **«Кто бы и где бы вы ни были, ради всего святого, дайте о себе знать! Сообщите хоть что-то!»**

Опять голос Партриджа за кадром, а на экране — фотография штаб-квартиры ФБР, здания Дж. Эдгара Гувера в Вашингтоне. **«Пока ФБР, которое проводит официальное расследование, воздерживается от комментариев...»**

Изображение быстро меняется: на экране уже пресс-центр ФБР, откуда говорит представитель организации: **«В данный момент заявление ФБР было бы преждевременным».**

Снова Партридж: **«...в частных беседах сотрудники ФБР признаются, что до сих пор им не удалось добиться каких-либо результатов. Со вчерашнего дня из высоких инстанций идет поток телеграмм, выражающих тревогу и возмущение...»**

Конференц-зал Белого дома, говорит президент: **«В Америке не должно быть места подобному злу. Преступники будут найдены и наказаны».**

Партридж: **«...а вот мнение более скромных слоев населения...»**

В Питтсбурге черный сталелитейщик в шлеме стоит перед домной — отсветы пламени падают на лицо: **«Мне стыдно, что такое могло случиться в моей стране».**

Белая домохозяйка из Топеки на своей сверкающей кухне: **«Неужели нельзя было это предвидеть и принять меры! Я от всей души сочувствую Кроуфорду.** — И поведя рукой в сторону телевизора: — **В нашем доме он как член семьи».**

Девочка-азиатка из Калифорнии, сидя за партой, тихим голосом: **«Я очень волнуюсь за Николаса Слоуна. Это же несправедливо, что они похитили его»...**

Минь Ван Кань мастерски снял крупным планом лицо мисс Ри. Видна была каждая складочка и каждая морщинка, прорезанная возрастом, а также ум и сильный характер. Минь вытащил ее на разговор осторожными вопросами — прием, иногда используемый во время съемок. Когда рядом нет корреспондента, опытный оператор сам берет интервью у тех, кого снимает. Затем вопросы вырезают, и на пленке остаются ответы, которые можно использовать.

Описав происшествие на автостоянке и отъезд пикапа «ниссан», мисс Ри внезапно зазвеневшим голосом заявила: **«Эти похитители вели себя так жестоко, как сущие дикари, звери!»**

Затем шеф полиции Ларчмонта подтвердил, что никаких новых сведений не поступало: похитители до сих пор не дали о себе знать.

За этим последовало интервью с криминалистом Ральфом Салерно.

В первоначальном сценарии «Глобаник индастриз» не упоминался в передаче. Однако Марго, просмотрев текст в кабинете Чиппингема, предложила сослаться на «Глобаник».

— Я бы этого не делал, — возразил Чиппингем. — Зрители воспринимают Си-би-эй как некую данность, часть американской культуры. Если мы начнем ссылаться на «Глобаник», этот образ разрушится, пользы же не будет никому.

— То есть, вы хотите сделать вид, — парировала Марго, — что Си-би-эй — этакая жемчужина в королевской короне, существующая сама по себе. Так вот, она ни то, ни другое. В «Глобаник» относятся к Си-би-эй скорее как к чирию на заднице. Так что ссылка на «Глобаник» обязательна. А вот слова «наш друг и коллега» á propos* Слоуна можете выбросить. Похитили там кого-то или нет, бесконечное упоминание о нем мне надоело.

— Давайте заключим сделку, — сухо предложил Чиппингем. — Я обещаю полюбить «Глобаник», если на время всего одной передачи вы станете другом Кроуфорда.

Впервые Марго громко рассмеялась.

— Черт с вами, договорились.

После первого дня сумасшедшей активности группа поиска топталась на месте, и это не удивляло Гарри Партриджа. Ему не раз доводилось участвовать в подобного рода расследованиях, и он знал, что членам любой новой команды нужен по крайней мере день на то, чтобы освоиться. Тем не менее откладывать составление плана работы было нельзя.

— Давай-ка устроим деловой ужин, — предложил он днем Рите.

Рита все устроила, и шесть главных действующих лиц — Партридж, Рита, Джегер, Айрис, Оуэнс и Купер — собрались в китайском ресторане сразу по окончании выпуска «Вечерних новостей». Рита выбрала «Шан-Ли-Уэст» — любимый ресторан телевизионщиков, расположенный на

---

* Относительно, касательно (франц.). (Здесь и далее прим. переводчиков.)

Шестьдесят пятой улице в Западной части города, недалеко от Линкольн-центра. Заказывая столик, она попросила метрдотеля Энди Июнга: «Нет нужды показывать нам меню. Сами закажите хорошую еду и выберете для нас уголок потише, чтобы можно было разговаривать».

Им приготовили столик в глубине зала, где было более или менее тихо.

Заканчивая первое блюдо — дымящийся ароматный суп из зимних сортов дыни, — Партридж обратился к Куперу. Молодой англичанин провел большую часть дня в Ларчмонте, разговаривая с каждым, кто располагал хоть какой-то информацией о похищении, в том числе и с местными полицейскими. Он возвратился в штаб-квартиру группы поиска уже к вечеру.

— Тедди, давай начнем с тебя: каковы твои впечатления и что ты думаешь насчет наших дальнейших планов?

Купер отодвинул пустую пиалу и вытер губы. Он открыл потрепанный блокнот и сказал:

— Ладно, сначала о моих впечатлениях.

Странички были испещрены наспех сделанными записями.

— Первое: тут поработали профессионалы. Ребята знают свое дело: спланировали все от и до, как расписание поездов, и никаких ошибок. Один из их принципов — не оставлять следов. Второе: у них денег куры не клюют.

— Откуда ты знаешь? — спросил Норман Джегер.

— Я ждал именно этого вопроса. — Купер широко улыбнулся и обвел глазами присутствующих. — Во-первых, все говорит за то, что похитители долго вели слежку, прежде чем сделать ход. Соседи утверждают, что видели перед домом Слоуна легковые машины, а пару раз и грузовики, они думали — это **охрана** мистера С., а не слежка за ним, — вам об этом известно? Так вот, пятеро заявили об этом вчера, с четырьмя из них я разговаривал сегодня. Все они видели, как машины то стояли там, то уезжали — на протяжении трех недель, может быть, месяца. К тому же мистер С. тоже подозревает, что за ним следили. — Купер взглянул на Партриджа. — Гарри, я прочел на доске информации то, что ты написал, и думаю, мистер С. не ошибается: за ним **был** хвост...

— Допустим, все так, но что это нам дает? — спросил Карл Оуэнс.

— Помогает составить представление о похитителях, — ответил Партридж. — Продолжай, Тедди.

— Стало быть, вся эта слежка стоила бандитам уйму денег. Сами посудите: легковые машины, из которых они вели наблюдение, да парочка грузовиков, да вчерашний пикап — это же целая автоколонна. По части машин есть одна любопытная деталь. — Купер перевернул страничку блокнота. — Полицейские Ларчмонта дали мне взглянуть на описание этих автомобилей. Обнаружились занятные факты. Видевший машину человек едва ли потом может сказать о ней многое, но цвет наверняка запомнит. Так вот машины, описанные свидетелями, восьми **разных цветов**. Я задал себе вопрос: неужели у похитителей было восемь разных машин?

— Почему бы и нет, — сказала Айрис Иверли, — они могли взять их напрокат.

Купер покачал головой.

— Не такие ушлые ребята, как наши, — это было бы слишком рискованно. Взять напрокат машину означало бы засветиться: надо же предъявить водительские права, кредитные карточки. К тому же потом по номерным знакам можно выяснить, где взята машина.

— У тебя другая версия, — догадалась Айрис. — Верно?

— Верно. Я думаю, дело обстояло так: скорее всего, у похитителей было три машины, и они перекрашивали их, скажем, раз в неделю, чтобы машины не примелькались. И сработало. Но, перекрашивая машины, они допустили одну дурацкую оплошность.

Принесли новую еду — два блюда с уткой по-пекински. Пока Купер говорил, остальные положили себе палочками кусочки утки и принялись с аппетитом есть.

— Давайте на минутку вернемся назад. Один из соседей оказался более наблюдательным, чем другие. Просто он занимается страхованием

автомобилей и знает все марки и модели... Так вот он утверждает, что моделей было только три: «форд-Темпо», «шевроле-Селебрити» и «плимут-Рилайент» — все нынешнего года выпуска; он запомнил цвета некоторых марок.

— Так как же ты определил, что машины перекрашивались? — спросил Партридж.

— Сегодня днем, — сказал Купер, — ваш хроникер Берт Фишер позвонил по моей просьбе нескольким торговцам автомобилями. Выяснилось, что некоторые цвета, указанные в свидетельских показаниях, не соответствуют моделям. Например, страховой агент утверждает, что видел желтый «форд-Темпо»; промышленность не выпускает автомобили этой марки желтого цвета. То же можно сказать и о голубом «плимут-Рилайенте». Кто-то сказал, что видел зеленую машину, однако ни одна из трех моделей зеленого цвета в продажу не поступала.

— В этом есть резон, — задумчиво произнес Оуэнс. — Конечно, можно предположить, что одна из машин попала в аварию и ее перекрасили в другой цвет, но не все же три.

— И еще одно, — вставил Джегер. — Когда машину красят в автосервисе, почти всегда сохраняют первоначальный цвет. Если только хозяин не захочет пооригинальничать.

— Маловероятно, — сказала Айрис — учитывая, что, по словам Тедди, это ребята ушлые. Они не стали бы выпендриваться.

— Друзья мои, я полностью с вами согласен, — сказал Купер, — все это наводит на мысль, что компашка, которую мы ищем, сама перекрашивала машины, не заботясь о цвете, а может быть, они просто не знали о традиционных цветах.

— Уж очень это притянуто за уши, — с сомнением сказал Партридж.

— Разве? — спросила Рита. — Позволь напомнить тебе то, о чем Тедди говорил раньше. В распоряжении людей, о которых идет речь, была чуть ли не целая автоколонна — как минимум три легковых автомобиля, один или два грузовика и пикап для похищения... Уже получается пять. Есть все основания предполагать, что машины стояли в одном месте, достаточно для этого большом. Вполне возможно, там же помещалась и красильная мастерская.

— Ты хочешь сказать, у них был опорный пункт, — заметил Джегер. И уже не скептически, как утром, а с уважением посмотрел на Тедди. — Ты ведь к этому клонишь? Об этом речь?

— Да. — Купер просиял. — Конечно.

Ужин, состоявший из восьми блюд, продолжался. Сейчас на столе стояло соте из омара с имбирем и луком-пореем. Присутствующие задумчиво раскладывали еду по тарелкам, осмысливая только что сказанное.

— Опорный пункт, — вслух размышляла Рита. — Ведь там с таким же успехом могли размещаться не только машины, но и люди. Из показаний старушки нам известно, что в похищении участвовало четверо или пятеро мужчин. Но не все члены банды могли быть на месте преступления. Конечно, силы должны быть сосредоточены где-то в одном месте!

— Там же могут находиться и заложники, — добавил Джегер.

— Допустим, все это так, — сказал Партридж, — давайте на минуту в это поверим, тогда, естественно, сразу возникает вопрос — где?

— Разумеется, мы этого не знаем, — ответил Купер, — но если напрячь мозги, можно **представить себе** это место, а также вычислить, на каком расстоянии от Ларчмонта оно находилось или находится.

— Ну ты-то уже напряг мозги? — игриво спросила Айрис.

— Раз уж ты спросила...

— Тедди, прекрати набивать себе цену, — резко одернул его Партридж. — Давай по существу!

Купер продолжал как ни в чем не бывало:

— Я попытался поставить себя на место похитителя. И задал себе вопрос: я добился своего — захватил заложников; дальше что?

— А такой вариант не подойдет? — сказала Рита. — Обезопасить себя от погони — быстро помчаться в укрытие и там засесть.

Купер хлопнул в ладоши.

— Вот именно! А может ли быть укрытие надежнее, чем опорный пункт?

— Ты считаешь, что опорный пункт находится поблизости? Правильно я тебя понял? — спросил Оуэнс.

— Вот как я себе это представляю,— сказал Купер.— Во-первых, опорный пункт должен, безусловно, находиться за пределами Ларчмонта — в самом Ларчмонте было бы опасно. Но, во-вторых, он не должен находиться и далеко. Похитители же понимали, что очень скоро — буквально через пару минут — будет поднята тревога и вся полиция бросится их разыскивать. Поэтому они должны были вычислить, каким располагают запасом времени.

— Если ты еще не вышел из образа похитителя, то каким же? — поинтересовалась Рита.

— Я бы сказал: около получаса. Даже это грозило им опасностью, но это необходимый минимум, чтобы удрать подальше.

— Если перевести это в мили..,— задумчиво произнес Оуэнс,— памятуя о том, какой там район.., пожалуй, будет миль двадцать пять.

— Совпадает с моими подсчетами.— Купер достал сложенную карту штата Нью-Йорк и развернул ее. На карте он обвел кольцом район Ларчмонта. И сейчас ткнул в него пальцем.— Это радиус в двадцать пять миль. Я считаю, их опорный пункт находится где-то здесь.

8

В пятницу в 20.40, когда группа сотрудников Си-би-эй еще ужинала в «Шан-Ли-Уэст», в центре Манхэттена в квартире перуанского дипломата Хосе-Антонио Салаверри раздался звонок. Это означало, что кто-то пришел.

Квартира находилась в двадцатиэтажном доме на Сорок восьмой улице, рядом с Парк-авеню. И хотя на первом этаже сидел швейцар, посетители пользовались домофоном, чтобы известить о своем приходе жильца, который, получив сигнал, открывал дверь прямо из квартиры.

С самого утра, расставшись с Мигелем в здании ООН, Салаверри нервничал: он с нетерпением ждал известия о том, что члены группы, действующей от имени «Медельинского картеля» и «Сендеро луминосо», благополучно убрались из Соединенных Штатов. Он надеялся, что с их отъездом порвется нить, связывавшая его с этой жуткой историей, которая не давала ему покоя со вчерашнего дня.

Он и его приятельница Хельга Эфферен вот уже больше часа потягивали водку с тоником, сидя перед камином,— им не хотелось идти на кухню, чтобы приготовить поесть, не хотелось заказывать ужин по телефону. Алкоголь помог им расслабиться физически, но нервного напряжения не снял...

Оба понимали, что располагают важной информацией о сенсационном преступлении, которое было главным событием дня в прессе и главной заботой всех правоохранительных органов страны. Более того, они были финансовыми посредниками, а следовательно, прямыми пособниками банды похитителей.

Но боялись Хельга и Хосе-Антонио не за судьбу похищенных, а за собственную шкуру. Салаверри знал, что в случае разоблачения никакая дипломатическая неприкосновенность не спасет его от самых неприятных последствий: он мигом вылетит и из ООН, и из Соединенных Штатов, карьера его на этом закончится, а в Перу с ним скорее всего разделается «Сендеро луминосо». Хельгу же, не имевшую дипломатического статуса, могут приговорить к тюремному заключению за преступное сокрытие информации и, пожалуй, за нелегальные банковские операции да еще и за взяточничество.

Эти мысли вертелись у Хельги в голове, когда раздался звонок и ее любовник бросился к вмонтированному в стену микрофону, соединенному с главным входом. Нажав на кнопку, он спросил: «Кто там?»

Голос ответил с металлическим скрежетом: «Плато».

— Это он,— с облегчением шепнул Хельге Салаверри. Затем произнес в микрофон: — Поднимайтесь, пожалуйста.— И нажал на кнопку, отпиравшую замок внизу.

Семнадцатью этажами ниже человек, говоривший с Салаверри, толкнул тяжелую, застекленную дверь и вошел. Он был среднего роста, с узким смуглым лицом, глубоко посаженными, угрюмыми глазами и блестящими, черными волосами. На вид ему можно было дать и тридцать восемь, и пятьдесят пять лет. Он был в расстегнутом плаще на теплой подкладке, надетом поверх неприметного коричневого костюма, и в тонких перчатках, которые не снял, хотя в помещении было тепло.

Швейцар в униформе, видевший, как этот человек подошел к дверям и говорил по домофону, указал ему рукою на лифт. В лифт вошли еще трое, стоявших в холле. Человек в плаще будто не видел их. Нажав на кнопку восемнадцатого этажа, он стоял с отсутствующим видом и глядел прямо перед собой. В кабине, когда лифт доехал до восемнадцатого этажа, уже никого, кроме него, не было.

Взглянув на указатель, он направился к нужной ему квартире, отметив про себя, что на этаже находятся еще три квартиры и справа — лестница. Не то чтобы он собирался воспользоваться своими наблюдениями — просто запоминать возможные пути к отступлению вошло у него в привычку. У дверей он нажал на кнопку звонка и услышал, как внутри раздался мелодичный звон. Дверь тотчас открылась.

— Господин Салаверри? — спросил человек. У него был приятный голос и легкий испанский акцент.

— Да-да. Входите. Разрешите я повешу ваше пальто?

— Нет. Я на минуту.— Гость быстро оглядел помещение. Увидев Хельгу, он спросил: — Это женщина из банка?

Вопрос был не слишком вежливым, но Салаверри ответил:

— Да, это мисс Эфферен. А вас как звать?

— Плато — этого достаточно.— Он кивнул в сторону камина.— Можно пройти?

— Разумеется,— Салаверри заметил, что гость не снимает перчаток. Он решил, что это либо причуда, либо парень скрывает какое-то уродство.

Они стояли теперь перед камином. Едва кивнув Хельге, гость осведомился:

— Здесь никого больше нет?

Салаверри отрицательно помотал головой.

— Кроме нас, никого. Можете говорить откровенно.

— Я должен кое-что вам передать,— произнес человек и запустил руку за отворот плаща. Когда он ее оттуда вынул, в ней был зажат девятимиллиметровый браунинг с глушителем.

Салаверри немало выпил, и это притупило его реакцию, но и на трезвую голову ему вряд ли удалось бы предотвратить то, что произошло в следующее мгновение. Перуанец застыл в изумлении, и не успел он шевельнуться, как гость приставил дуло к его лбу и нажал курок. В последний краткий миг жизни несчастный сумел лишь раскрыть рот от неожиданности и удивления...

Теперь человек в плаще повернулся к женщине.

Хельга сидела, словно громом пораженная. Но тут ее изумление сменилось ужасом. Она закричала и кинулась было бежать.

Но поздно. Человек всегда попадал в яблочко — он выстрелил ей прямо в сердце. На пол она рухнула уже мертвой.

Наемный убийца из Малой Колумбии замер и прислушался. Глушитель был превосходный — оба раза пистолет выстрелил беззвучно, но все же рисковать шкурой убийца не собирался: ему надо было убедиться, что снаружи все спокойно. Если бы раздался шум или явились любопытствующие соседи, он бы тотчас исчез. Но все было тихо, и он приступил к выполнению второй части инструкции.

Прежде всего он снял с дула глушитель и сунул его в карман. Затем положил на время пистолет рядом с телом Салаверри. Из другого кармана плаща он достал баллончик с краской. Подошел к стене и, нажав на распылитель, большими черными буквами вывел слово CORNUDO *.

Вернувшись к телу Салаверри, он выпустил несколько капель черной краски на его правую руку, затем прижал безжизненные пальцы к баллончику, чтобы на нем остались отпечатки Салаверри. Поставив бал-

* Рогоносец (исп.).

лончик на стол, убийца поднял с пола пистолет и вложил его в руку покойного. Затем придал руке такое положение, чтобы казалось, будто Салаверри застрелился и упал.

К женщине убийца не притронулся.

Теперь он достал из кармана сложенный лист почтовой бумаги, где был напечатан следующий текст:

«Вы не хотели мне верить, когда я говорила Вам, что она нимфоманка и шлюха, недостойная Вас. Вы думаете, она Вас любит, а на самом деле она не испытывает к Вам ничего, кроме презрения. Вы оказали ей доверие, дав ключи от своей квартиры. Она же водила сюда других мужчин и предавалась с ними разврату. В доказательство прилагаю фотографии. Она была здесь с мужчиной и позволила его приятелю, профессиональному фотографу, сделать эти снимки. В своей нимфомании она дошла до того, что стала коллекционировать подобные фото. Она с чудовищной наглостью пользовалась Вашим домом, оскорбляя тем самым Ваши мужские чувства, а ведь Вы — мужчина из мужчин.

Ваша бывшая (и верная) подруга».

Из гостиной убийца прошел в комнату, которая, несомненно, служила Салаверри спальней. Он скомкал листок и бросил его в корзинку для мусора. При обыске, без которого полиция не обойдется, листок обязательно обнаружат. Скорее всего, послание сочтут полуанонимным: автор письма ведь был известен только Салаверри.

Последним штрихом явился конверт, в который были вложены обрывки черно-белых глянцевых фотографий с обожженными краями. В ванной, примыкавшей к спальне, убийца высыпал содержимое конверта в унитаз, но не стал спускать воду.

Фотографии были разорваны на столь мелкие куски, что опознать там никого не удалось бы. Но они приведут к логическому умозаключению: Салаверри, прочитав обличительное письмо, сжег прилагавшиеся к нему фотографии и остатки выбросил в унитаз. Узнав о предательстве Хельги, ослепленный ревностью Салаверри убил свою возлюбленную выстрелом из пистолета.

Затем Салаверри, видимо, написал на стене одно-единственное слово — жалкое признание в том, кто он такой...

Изощренные режиссеры этой постановки прекрасно знали, что нераскрытое убийство в Нью-Йорке — дело обычное, полицейские детективы перегружены, а потому никто не будет возиться с преступлением, где все мотивы и улики налицо.

Напоследок убийца окинул гостиную внимательным взором и спокойно ушел. Беспрепятственно покинув здание, он увидел, что не пробыл в квартире и пятнадцати минут. Отойдя на несколько кварталов, он стянул с рук перчатки и бросил их в урну.

9

— Думаешь, Тедди Купер что-нибудь придумает? — спросил Норман Джегер.

— Я этому не удивлюсь, — ответил Партридж. — Раньше у него получалось.

Было около 22.30, они медленно шли по Бродвею на юг, неподалеку от Центрального парка. Ужин в «Шан-Ли-Уэст» закончился четверть часа тому назад, вскоре после того как Купер высказал мнение, что опорный пункт банды похитителей расположен в радиусе двадцати пяти миль от Ларчмонта. За этим выводом последовал другой.

Купер был уверен, что похитители и заложники находятся сейчас там: бандиты залегли и выжидают, когда схлынет первая волна поисков и на дорогах сократят или вообще снимут полицейские пикеты, что непременно произойдет, причем в скором времени. Тогда похитители, захватив с собой узников, переберутся в места более отдаленные, либо в Соединенных Штатах, либо за их пределами.

Все присутствующие выслушали соображения Купера с большим вниманием. Общую точку зрения выразила Рита Эбрамс:

— Это один из возможных вариантов.

— Но речь идет о громадном, густонаселенном районе, прочесать который просто невозможно даже при помощи армии, — возразил Карл Оуэнс. И, желая поддеть Купера, добавил: — Разве что ты родишь очередную блестящую идею.

— Не сейчас, — ответил Купер. — Мне надо как следует выспаться. И не исключено, что утром мне в голову придет нечто, как ты лестно заметил, блестящее.

На этом дискуссия прекратилась, и хотя на следующий день была суббота, Партридж назначил совещание группы на 10 часов утра...

Улегшись в постель, Партридж приступил к чтению газет, которые купил по дороге в отель. Но скоро мелкие газетные строчки стали сливаться у него перед глазами, и он бросил это занятие. Он проглядит газеты утром заодно со свежими, которые принесут ему с завтраком.

Сон не шел. Слишком много всего произошло за минувшие тридцать шесть часов. В мозгу его, как в калейдоскопе, события, идеи, задачи перемежались с мыслями о Джессике, о прошлом, о настоящем... оживали воспоминания...

10

Мигель получил телефонограмму в 7.30 утра в субботу на своем опорном пункте в Хакенсаке. Звонок застал его в небольшой комнате на первом этаже основного здания — Мигель предназначил ее для себя, здесь находился его рабочий кабинет, и здесь же он спал.

Из шести радиотелефонов, которыми располагала его группа, один мог принимать экстренные звонки — его номер знали только те, кто имел на то право. Мигель всегда держал этот телефон при себе.

Абонент, согласно инструкциям, звонил из телефона-автомата, чтобы не засекли ни один из номеров.

Мигель вот уже час напряженно ждал этого звонка. Он поднял трубку после первого же сигнала и сказал: «¿Si?» *.

Звонивший произнес пароль: «¿Tiempo?» **, на что Мигель ответил: «Relámpago» ***

За этим последовала главная фраза: «Sombrero profundo sur две тысячи».

«Sombrero» означало аэропорт Тетерборо, до которого было меньше мили пути, «profundo sur» — южный въезд. Число «две тысячи» служило указанием времени — 20.00, когда заложники и сопровождающие должны были взойти на борт принадлежащего Колумбии самолета «лирджет-55», который будет ждать их там.

Мигель коротко ответил: «Lo comprendo» ****, и беседа окончилась. На сей раз звонил другой дипломат — сотрудник Генерального консульства Колумбии в Нью-Йорке; вот уже месяц — с момента прибытия Мигеля в Соединенные Штаты — этого человека использовали для передачи информации. Дипломатические корпуса Перу и Колумбии кишели людьми, либо сочувствовавшими «Сендеро луминосо», либо состоявшими на службе у «Медельинского картеля», либо и то, и другое одновременно: они вели двойную игру за немалые деньги, которые получали от латиноамериканских королей наркобизнеса.

После телефонного разговора Мигель обошел дом и другие постройки, предупреждая остальных об отъезде, хотя приготовления велись уже полным ходом и каждый знал, что от него требуется. Лететь с гробами, в которых будут перевозить узников, должны Мигель, Бауделио, Сокорро и Рафаэль. Хулио оставался в Соединенных Штатах в прежнем качестве агента «Медельинского картеля» — *на случай надобности*. Карлос и Луис должны были через несколько дней вылететь в Колумбию разными рейсами.

У Хулио, Карлоса и Луиса оставалось напоследок одно дело: после

---

* Да? (исп.).
** Время (исп.).
*** Относительное (исп.).
**** Понял (исп.).

того как самолет улетит, они должны были вывести из гаража машины и бросить их в разных концах города.

Мигель много думал над тем, как поступить с логовом в Хакенсаке. Он решил было на прощанье подожечь все строения, включая гараж вместе с машинами. Строения были старые и вспыхнули бы как огонь в печи, особенно если облить их бензином.

Однако пожар привлек бы внимание, пепел могли подвергнуть экспертизе, и не исключено, что всплыли бы улики. Пусть даже это и не имело значения — их все равно здесь уже не будет, — но с какой стати облегчать работу американской службе безопасности. Поэтому идею поджога Мигель отверг.

Если же просто уехать из дома, оставив все как есть, никто — в течение нескольких недель, а то и месяцев, а то и вовсе никогда — не заподозрит, что у похитителей был тут опорный пункт. Но при этом следовало избавиться от автомобилей — разъехаться в них в разные стороны и бросить. Конечно, это было чревато опасностью, в первую очередь для ребят, которые сядут за руль трех легковых машин, фургона и катафалка, но, по мнению Мигеля, риск был не так уж велик. В любом случае он решение уже принял.

Первым на глаза Мигелю попался механик Рафаэль, и он сказал этому мастеру на все руки:

— Выезжаем сегодня вечером в 19.40.

Рафаэль, находившийся у входа в пристройку, где они перекрашивали машины, что-то буркнул себе под нос и кивнул — казалось, его больше занимал фургон, который он накануне перекрасил. Еще совсем недавно фургон был белый, с надписью «Суперхлеб»; теперь же он стал черным, на обеих стенках золотом было выведено: «Тихий похоронный приют».

Работа была выполнена по приказу Мигеля. Окинув взглядом фургон, он остался доволен.

— ¡Bien hecho! * Жаль, что всего один раз на нем прокатимся.

Верзила повернулся к нему, явно польщенный, — на его покрытой шрамами, звероподобной роже появилось нечто вроде улыбки. Мигель в очередной раз удивился тому, что Рафаэль, который мог мучить и убивать с сатанинским упоением, порою вел себя как ребенок, любивший похвалу.

— Новые? — спросил Мигель, указав на номерные знаки штата Нью-Джерси.

Рафаэль снова кивнул.

— Из последнего комплекта. Еще не использованные; остальные я тоже сменил.

Это означало, что пять остальных автомобилей теперь имели номерные знаки, которых никто еще не видел, — стало быть, ехать в машинах с такими номерами куда безопаснее.

Мигель вышел во двор, где Хулио и Луис копали под деревьями глубокую яму. Земля была вязкой после вчерашнего дождя, и работа продвигалась медленно. Хулио пытался разрубить лопатой кривой древесный корень: увидев Мигеля, он прекратил работу, отер рукавом пот со смуглого лица и выругался:

— ¡Pinche árbol! ** Только быкам заниматься такой работой, а не людям.

У Мигеля чуть не сорвалось с языка ответное ругательство, но он сдержался. Безобразный ножевой шрам на лице Хулио налился кровью — верный признак того, что Хулио клокочет от злости и нарывается на скандал.

— Отдохните, — отрывисто сказал Мигель. — Еще есть время. Мы все выезжаем в 19.40.

Глупо было устраивать ссору за несколько часов до отъезда. К тому же яма, куда они закопают все радиотелефоны и медицинское оборудование, которое больше не потребуется Бауделью, все-таки должна быть вырыта.

Конечно, это не лучший выход. Мигель предпочел бы выбросить те-

---

* Хорошо сработано! (исп.).
** Сволочное дерево! (исп.).

лефоны в какой-нибудь глубокий водоем. Но хотя на границе штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк в водоемах нет недостатка, рассчитывать на то, что удастся — за оставшийся небольшой срок — сделать это незаметно, было трудно.

Потом, когда яму забросают землей, Хулио и Луис разровняют граблями листья, чтобы все выглядело естественно, как и прежде.

Следующим, к кому направился Мигель, был Карлос — он жег бумаги в чугунной печке в другой пристройке. Карлос, человек молодой и образованный, в течение месячной слежки вел записи и снимал посетителей дома Слоуна — сейчас все это полыхало в огне.

Когда Мигель сообщил Карлосу, что вечером они уезжают, тот вздохнул с явным облегчением. Его тонкие губы слегка дернулись, и он произнес: «¡Que bueno!» *. После чего его взгляд вновь стал непроницаемо жестким.

Мигель понимал, в каком напряжении находились все члены группы последние двое суток, и в первую очередь Карлос, самый юный из них. Но выдержка молодого человека заслуживала всяческих похвал, и Мигель не сомневался, что в скором времени этот мальчик станет руководителем террористических групп.

Рядом с печью лежала кучкой одежда Карлоса. Перед отлетом Мигель, Карлос и Бауделью наденут темные костюмы в случае таможенной инспекции они должны быть в трауре, согласно тщательно отработанной легенде. Остальное барахло они оставят здесь.

— Не жги это, — указал Мигель на одежду, — слишком много будет дыма. Проверь карманы, все из них вынь и сдери этикетки. Остальное — в яму. — Он кивнул в сторону копавших во дворе. — И другим скажи.

— Хорошо. — Опять уставившись на огонь, Карлос сказал: — Нам цветы нужны.

— Цветы?

— На гроб, который повезут в катафалке; может, стоит и на остальные положить. Так поступила бы любая семья.

Мигель колебался. Он знал, что Карлос прав: занятый подготовкой отъезда из США — сначала аэропорт Тетерборо, потом самолетом до аэропорта Опа-Локка во Флориде, а оттуда — прямиком в Перу, — он упустил эту деталь из виду.

По первоначальному замыслу, когда предполагалось, что заложников будет двое, катафалк должен был совершить две поездки из Хакенсака в аэропорт Тетерборо, поочередно доставив туда гробы, так как катафалк мог вместить только один гроб. Но трижды гонять катафалк — это чересчур: слишком велик риск, поэтому Мигель разработал новый план.

Один гроб — какой именно, решит Бауделью, — доставят в Тетерборо в катафалке. А два других повезет перекрашенный фургон с надписью «Тихий похоронный приют»...

Мигель знал, что «лирджет-55» оснащен грузовым люком, в который легко войдут два гроба. Третий — уже проблема, но Мигель не сомневался, что вполне разрешимая.

Взвесив предложение Карлоса, он пришел к выводу, что такая деталь как цветы, придаст легенде большую убедительность. В Тетерборо им придется ведь проходить через Службу безопасности. Не исключено, что из-за похищения там окажется и полиция, и почти наверняка начнутся расспросы о гробах и об их содержимом. В общем, волнений не миновать, но главное — проскочить Тетерборо, представлявшийся Мигелю вратами к благополучному исходу всей затеи. В Опа-Локка, где они, собственно, и распрощаются с Соединенными Штатами, проблем не предвиделось.

И Мигель решил пойти на незначительный риск сейчас во избежание более крупного риска в будущем. Он кивнул.

— Цветы так цветы.

— Я возьму какую-нибудь из машин, — сказал Карлос. — Есть одно местечко в Хакенсаке. Я буду осторожен.

— Бери «плимут».

«Плимут» был перекрашен в темно-синий цвет, и, как сказал Рафаэль, на нем стояли новые номерные знаки.

---

* Как хорошо! (исп.).

После Карлоса Мигель отправился на поиски Бауделько...

Гробы, в которые перед самым «исходом» в Тетерборо перенесут Энгуса, Джессику и Никки, стояли в горизонтальном положении на козлах. Мигель знал, что в каждом гробу просверлены крошечные вентиляционные отверстия — он сам наблюдал, как Рафаэль делал это под руководством Бауделько. При том что их почти и не видно, воздух они пропускают.

— Это что? — Мигель ткнул пальцем в банку с кристалликами, стоявшую рядом с гробами.

— Гранулы лимонада, — ответил Бауделько. — Положим их внутрь, чтобы они поглощали выдыхаемую двуокись углерода. Там же будет цилиндр с кислородом, который будем регулировать снаружи.

Помня о том, что в течение предстоящих трудных часов от медицинских познаний Бауделько многое будет зависеть, Мигель спросил:

— Так, что еще?

— И последнее: в каждый из трех гробов будет помещен минимонитор ЭКГ, фиксирующий дыхание и глубину седативного сна, — завершил свой стратегический перечень Бауделько, — я буду следить за их показаниями. Пропофол тоже можно будет вводить не открывая гробов.

После разговора с Бауделько Мигель почувствовал себя увереннее: несмотря на посещавшие его ранее опасения, Мигель убедился, что Бауделько знает свое дело. И Сокорро тоже.

Теперь надо было просто дожидаться вечера. А время тянулось бесконечно долго.

11

В субботу утром в Си-би-эй совещание специальной группы поиска, назначенное на 10 часов, прервалось, не успев начаться.

Гарри Партридж, сидевший во главе стола, только было открыл обсуждение, как по селекторной связи из главной репортерской поступило сообщение. Партридж замолчал и вместе со своими шестью коллегами стал слушать.

Сектор распределения заданий. Ричардсон. Только что получен бюллетень ЮПИ...

«Уайт-Плейнз, штат Нью-Йорк. — Несколько минут назад взорвался пикап, которым, как предполагают, пользовались преступники для похищения семьи Кроуфорда Слоуна в четверг. По предварительным данным, трое погибли, остальные ранены. Взрыв произошел в тот момент, когда полиция выехала для осмотра пикапа, оставленного на многоэтажной стоянке Главного городского торгового центра»...

Чтение бюллетеня еще продолжалось, а в комнате для совещаний уже задвигали стульями, и члены группы вскочили с мест. Как только селектор замолчал, Партридж первым бросился в репортерскую, находившуюся этажом ниже. Рита Эбрамс — за ним...

В главной репортерской царила непривычная тишина — две трети столов пустовали; ответственный за задания на тот день Орв Ричардсон одновременно отвечал и за внутриамериканскую информацию. Молодой, энергичный, подтянутый Ричардсон недавно перешел на работу в центр из одного из региональных отделений Си-би-эй...

— Надо немедленно выходить в эфир, — сказала Рита Ричардсону. — Кто дает разрешение?

— У меня есть нужный номер телефона.

Прижав трубку щекой к плечу и глядя в свои записи, Ричардсон набрал номер заместителя заведующего Отделом новостей Си-би-эй, который был дома. Когда тот ответил, Ричардсон, объяснив, в чем дело, попросил разрешения выйти в эфир с экстренным сообщением.

— Разрешаю. Действуйте! — бросил заместитель.

Дальше произошло почти то же, что и в четверг, когда незадолго до полудня программа телестанции была прервана сообщением о похищении. Отличался сегодняшний выпуск лишь содержанием и составом сотрудников, готовивших его. Партридж занял «горячее» кресло корреспондента в эфирной студии. Рита выступала в роли главного выпускающего, а в аппаратной появился режиссер, который, услышав «специальный бюллетень», срочно примчался из другого крыла здания.

Си-би-эй вышла в эфир через четыре минуты после того, как пришел бюллетень ЮПИ. Другие телестанции, как показывали мониторы в аппаратной, почти синхронно прервали свои программы.

Гарри Партридж говорил с присущей ему собранностью и четкостью. Спецвыпуск занял всего две минуты. В нем перечислялись голые факты с минимумом подробностей — и никаких «картинок», лишь над плечом Партриджа сменялись наспех подобранные снимки членов семьи Слоуна, их дома в Ларчмонте и супермаркета, где в четверг произошло похищение. Партридж пообещал телезрителям, что более обстоятельный репортаж со снимками из Уайт-Плейнза будет передан позже, в субботнем выпуске «Вечерних новостей» Си-би-эй.

Как только красные лампочки в эфирной студии погасли, Партридж позвонил Рите в аппаратную.

— Я еду в Уайт-Плейнз, — сказал он. — Ты можешь это организовать?

— Уже организовала. Айрис, Минь и я тоже едем. Айрис будет выпускающим сегодняшней вечерней передачи. Ты можешь там отсняться, а звук наложим потом. Машина с шофером ждут...

А в Уайт-Плейнзе дежурный охранник переписал накануне вечером номера и марки автомобилей, оставленных на ночь, — обычная мера предосторожности против некоторых, не слишком щепетильных автомобилистов, которым вздумалось бы заявить, что они поставили машину только на день, но потеряли квитанцию.

Пикап «ниссан» с номерными знаками Нью-Йорка был записан еще предыдущей ночью, что опять-таки было в порядке вещей. Иногда в силу разных причин автомобили простаивали на стоянке с неделю, а то и больше. На следующий вечер другой, более бдительный дежурный заинтересовался, не тот ли это «ниссан», что разыскивается в связи с похищением семьи Слоуна.

Он включил этот вопрос в свой отчет, и начальник службы эксплуатации стоянки, ознакомившись с ним утром, немедленно позвонил в полицейское управление Уайт-Плейнза, и оттуда была выслана патрульная машина для осмотра пикапа. По полицейским сводкам, это произошло в 9.50 утра.

Однако начальник службы эксплуатации решил не дожидаться приезда полицейских. Он сам отправился взглянуть на пикап, прихватив с собой увесистую связку ключей от автомобилей, которые скопились у него за многие годы работы...

Он быстро подобрал ключ к «ниссану» и открыл дверцу кабины водителя. Это было последнее, что он успел сделать в своей жизни...

Умер он мгновенно; еще двое скончались от ранений и ожогов, четверо — серьезно пострадали и находились на волоске от смерти. Еще двадцать два человека, в том числе около десяти детей, были ранены и госпитализированы...

Одно стало очевидно. Взорвавшийся пикап был действительно тем самым автомобилем, на котором два дня назад увезли семью Слоуна. Все факты — близость к Ларчмонту, появление пикапа на центральной городской стоянке в четверг (о чем свидетельствовала регистрационная запись), а также то обстоятельство, что в него подложили мину-сюрприз, — красноречиво говорили сами за себя. Что касается номерных знаков, то проверка автомобильного банка данных показала, что они принадлежали четырехдверному автомобилю марки «олдсмобиль» 1983 года выпуска. Однако вскоре выяснилось, что фамилия владельца, адрес и страховые данные, занесенные в официальные документы, — фальшивые; кроме того, регистрационный и страховой взносы были выплачены наличными, и никаких сведений о себе плательщик не оставил...

Шеф полиции Уайт-Плейнза, прибывший на место происшествия, пришел к выводу, который он с мрачным видом высказал репортерам:

— Это, безусловно, дело рук матерых террористов.

На вопрос, можно ли предположить, что трех членов семьи Слоуна похитили иностранные террористы, шеф полиции ответил:

— Хоть это случилось и не на моем участке, я в этом почти уверен.

— Сделаем версию об иностранных террористах главной новостью сегодняшнего вечернего выпуска, — сказал Гарри Партридж Рите и Айрис Иверли, после того как ему передали слова шефа полиции...

— Думаю, нам с тобой пора ехать. Айрис и Минь задержатся еще ненадолго, — сказала Рита.

Партридж кивнул.

— Ладно, только дай мне еще минуту.

Они находились на третьем этаже гаража. Оставив Риту, Партридж прошел в дальний, не тронутый взрывом угол, где не было машин.

Ему хотелось спокойно подумать в тишине и попытаться ответить на мучивший его вопрос: он взялся найти и, быть может, вызволить Джессику, ее сына и отца Кроуфорда, но есть ли основания... пусть самые слабые основания надеяться... на успех? Сейчас Партридж опасался, что ответом будет «нет»...

Однако, если отбросить эмоции, должен ли он из прагматических соображений рекомендовать Си-би-эй отказаться от активного расследования и ограничиться своей прямой обязанностью по освещению событий, или хотя бы переложить свои полномочия на кого-нибудь другого?

Сзади послышались шаги. Оглянувшись, он увидел Риту.

— Могу я чем-нибудь помочь? — спросила она.

— Такими делами до сих пор мы никогда ведь еще не занимались, — сказал Партридж, — здесь главное не то, какую передачу мы сделаем, а как мы поступим.

— Знаю, — ответила она. — Ты сейчас думал о том, чтобы умыть руки и спихнуть с себя этот груз, правильно?

Рита и раньше удивляла его своей проницательностью. Он кивнул.

— Да, думал.

— Не делай этого, Гарри. — горячо проговорила она. — Не сдавайся! Ведь нет человека, который сумел бы тебя заменить, даже наполовину.

12

Партридж, Рита и Тедди Купер возвращались на Манхэттен вместе — гораздо медленнее, чем когда мчались к месту события. Партридж сидел на переднем сиденье рядом с шофером, Тедди и Рита — сзади...

Партридж сел вполоборота и, обращаясь к своим попутчикам, сказал:

— Англичане были уверены, что иностранный терроризм никогда не проникнет к ним в страну, однако же проник. У нас тоже многие так считали.

— И заблуждались, — откликнулась Рита. — Это было неизбежно с самого начала вопрос никогда не стоял: «А вдруг?», вопрос стоял: «Когда?»

Оба были почти уверены — их предположения подтвердил шеф полиции Уайт-Плейнза, — что Слоунов похитили иностранные террористы.

— Кто же они, черт побери, такие?! — Партридж ударил кулаком по ладони. — Вот на чем мы должны сосредоточить все свои умственные способности. Кто?..

— Первое, что приходит в голову, это Ближний Восток — Иран, Ливан, Ливия... все эти религиозные организации: Хезболла, Амаль, шииты, джихад, ЛВО *, ООП.

— Я тоже так считал, — признался Партридж. — Но потом я подумал — а зачем им это? Чего ради забираться в такую даль и так рисковать, когда есть более доступные объекты, гораздо ближе к дому?

— Может быть, хотят страху нагнать. Доказать «великому Сатане», что опасность подстерегает всюду...

— Есть другие идеи?

— Гарри, я согласен с тобой насчет Ближнего Востока. Может, действительно, попробовать поискать на юге?

* ЛВО — ливанские вооруженные отряды.

— В Латинской Америке, — вставила Рита. — А что, не лишено логики. Прежде всего в Никарагуа, но я допускаю, что это может быть и Гондурас, и Мексика, и даже Колумбия.

Они продолжали рассуждать, но так и не пришли к единому мнению.

— Я чувствую, в твоем изощренном мозгу что-то крутится, — заметил Партридж, обращаясь к Тедди. — Может, поделишься?

— Попробую, — Купер задумался, помолчал, потом сказал: — Они уехали из страны.

— Похитители?

Купер кивнул.

— И прихватили с собой семейство мистера Слоуна. То, что случилось сегодня утром там, — он кивнул в сторону Уайт-Плейнза, — они оставили вместо подписи. Чтобы дать нам понять, с кем мы имеем дело, какая жесткая идет игра. Это предостережение на будущее — для тех, кому придется иметь с ними дело.

— Давай-ка еще разок — для уточнения, — сказал Партридж. — Ты хочешь сказать, они рассчитали, сколько пройдет времени, прежде чем обнаружат пикап и он взлетит на воздух, и знали точно, что это произойдет после их отъезда?

— Примерно так.

— Но это всего лишь догадка, — возразил Партридж. — Ты ведь можешь и ошибаться...

— Допустим, дело обстоит именно так, что это нам дает? — спросила Рита.

— Это ставит нас перед дилеммой, — ответил Купер, — браться или нет за дорогостоящую операцию по отысканию их логова, которое наверняка окажется пустым, когда мы до него доберемся.

— Тогда зачем же тратить силы, если, как ты говоришь, птички улетели?

— Вспомни, что вчера сказал Гарри: следы оставляют все. И эти, как бы ни старались, наверняка наследили...

И Купер изложил свой план действий — Партридж и Рита внимательно его слушали.

— Предлагаю исходить из следующего: когда эти подонки сюда явились (откуда они явились, сейчас роли не играет), им необходимо было обосноваться недалеко, но в то же время и не слишком близко от Ларчмонта — об этом мы уже говорили. А как найти подходящее место? Сначала надо выбрать район. Затем поступить так, как поступил бы в подобном случае любой человек, особенно если у него мало времени: посмотреть газетные объявления и подыскать себе подходящую хибару, которая сдается на долгий или короткий срок... Нам необходимо изучить объявления о сдаче в аренду недвижимости во всех газетах — районных и местных в радиусе двадцати пяти миль от Ларчмонта, которые были опубликованы за последние три месяца...

— Ты представляешь себе, сколько это газет, — воскликнула Рита, — ежедневных и еженедельных, и сколько людей...

— У меня возникли те же мысли, но пусть договорит.

Купер пожал плечами.

— Знаю ли я, сколько это газет? Пожалуй, нет, но, конечно, их уйма. Наймем людей — способных молодых ребят, — они и будут этим заниматься. Мне говорили, есть такой справочник... — Купер умолк и заглянул в свою записную книжку. — «Международный ежегодник редакций и издательств», где перечислены все периодические издания — крупные и мелкие. С него и начнем. Следующим этапом будут библиотеки, в которых есть газетные подшивки или их микрофотокопии. А если подшивок нет, отправим людей в эти газеты просмотреть прошлые номера. Народу нам придется привлечь изрядно, но делать это надо, и срочно — по горячим следам.

— По твоим расчетам, объявления за три месяца... — начал Партридж.

— Послушай, нам же известно, что эти люди шпионили за Слоуном примерно с месяц — к этому времени, голову даю на отсечение, у них уже был опорный пункт. Так что три месяца — вполне разумный предел...

Воцарилось молчание — Партридж и Рита обдумывали услышанное. Партридж первым высказал свое мнение:

— Поздравляю с оригинальной идеей, Тедди, но ты сказал, что это дальний прицел, и, безусловно, так оно и есть. Причем дальний-предальний. Прямо сейчас вряд ли эта идея что-либо даст.

— Честно говоря, — вступила в разговор Рита, — твой замысел представляется мне неосуществимым. Во-первых, из-за количества газет — их видимо-невидимо. Во-вторых, эта поисковая работа выльется в кругленькую сумму...

— Как бы то ни было, — подвел черту Партридж, — все равно не нам принимать решение. Поскольку речь идет о деньгах, это компетенция Лэса Чиппингема. Когда мы с ним сегодня встретимся, тебе, Тедди, придется еще раз изложить свой план.

Блок субботних «Вечерних новостей» на две с половиной минуты, который подготовила Айрис Иверли, ошеломлял, шокировал и обладал колоссальным — на профессиональном жаргоне — видеоэффектом...

Партридж записал на пленку текст, на который будут положены «картинки». С момента возвращения из Уайт-Плейнза он не переставая думал — временами мучительно — над тем, что сказать в передаче...

В конце концов решение родилось само собой. Пока съемочная группа томилась в ожидании перед зданием Си-би-эй, а вокруг собирались зеваки, Партридж набросал суть своего комментария, затем, несколько раз перечитав про себя записи, произнес:

«Сегодняшнее событие в Уайт-Плейнзе, обернувшееся страшной трагедией для ни в чем не повинных жителей этого местечка, явилось страшной вестью и для моего друга и коллеги Кроуфорда Слоуна. Теперь нет уже и тени сомнения в том, что его жена, сынишка и отец находятся в руках опаснейших, безжалостных преступников, чьи имена и гражданство неизвестны. Зато известно одно: какие бы цели эти люди ни преследовали, они не остановятся ни перед чем ради их достижения.

Характер и сроки преступления в Уайт-Плейнзе наталкивают на вопрос, который сейчас многие себе задают: не вывезены ли заложники из страны и не содержатся ли в каком-то отдаленном месте?

Гарри Партридж, телестанция Си-би-эй, Нью-Йорк».

13

Тедди Купер ошибался. Похитители и их узники еще находились в Соединенных Штатах Америки. Однако через несколько часов — согласно плану — они уже покинут страну.

В субботу днем медельинская команда все еще сидела в своем логове в Хакенсаке — все они были предельно напряжены и взвинчены. Объяснялось это сообщением по радио и по телевидению об утреннем событии в Уайт-Плейнзе... Мигель не сомневался, что пикап простоит незамеченным на стоянке в Уайт-Плейнзе пять-шесть дней, а то и дольше: ведь после похищения они сняли затемнение со стекол и поменяли номерные знаки штата Нью-Джерси на нью-йоркские.

Но как видно, он просчитался. Самое скверное заключалось в том, что раздавшийся утром взрыв со всеми вытекающими отсюда последствиями вновь приковал всеобщее внимание к похитителям семьи Слоуна, поднял на ноги полицию и взбудоражил общественность именно в тот момент, когда они собирались потихоньку улизнуть из страны.

Меньше всего огорчали Мигеля и компанию гибель людей и происшедшие в Уайт-Плейнзе разрушения. При других обстоятельствах это бы их даже позабавило. А сейчас — взволновало, оттого что над ними сгущались тучи и случившееся было вовсе некстати.

Заговорщики спрашивали друг друга: будут ли восстановлены полицейские кордоны на дорогах, которые, если верить газетам, начали после четверга постепенно снимать? Если да, то не поставят ли один-два заслона между конспиративной квартирой и аэропортом Тетерборо? А в самом аэропорту? Не начнет ли там дотошно придираться служба безопасности в связи с новым происшествием? Даже если четверым сопровождающим удастся благополучно вывезти заложников на частном самолете из Тетерборо, что их ждет во Флориде, в аэропорту Опа-Локка? Насколько опасно там появляться?

Никто, включая Мигеля, не знал ответа на эти вопросы. Зато они знали наверняка, что не могут не ехать: механизм по их отправке был запущен, выбора не оставалось.

Другой — видимо, неизбежной — причиной напряжения было возраставшее с каждым днем раздражение, которое заговорщики вызывали друг у друга. Вот уже больше месяца они жили вместе, почти не общаясь ни с кем из внешнего мира, и мелкая неприязнь переросла в чувство, граничившее с ненавистью.

Особенно раздражала всех отвратительная привычка Рафаэля откашливаться и сплевывать мокроту, где бы то ни было, даже за столом. Однажды во время еды Карлос до того возмутился, что обозвал Рафаэля «¡Un bruto odioso!» *; Рафаэль схватил Карлоса за плечи, припер его к стене и начал дубасить увесистыми кулаками. Только вмешательство Мигеля спасло Карлоса от увечий...

Антагонизм возник также между Луисом и Хулио. Неделю назад за игрой в карты Хулио обвинил Луиса в жульничестве...

Дополнительным источником трений стала Сокорро. Хоть она и запретила себе заниматься любовными играми, накануне ночью она переспала с Карлосом. Они так развлекались, что вызвали зависть остальных мужчин и неистовую ревность Рафаэля...

Ситуация осложнялась еще и тем, что Мигеля самого сильно тянуло к Сокорро. Но он постоянно твердил себе, что, будучи главарем, не имеет права участвовать в состязании за нее.

Поэтому, когда стрелки часов подошли к 19.40 и последние приготовления к отъезду были закончены, все — у каждого были на то свои причины — вздохнули с облегчением.

Хулио сядет за руль катафалка, Луис поведет фургон «Тихий похоронный приют». Обе машины были уже с «грузом» и стояли наготове.

В катафалк поместили гроб, в котором глубоким сном спала Джессика. Гробы с Энгусом и Николасом, тоже пребывавшими в тяжелом забытьи, стояли в фургоне. Карлос положил на крышку каждого гроба гирлянду из белых хризантем и розовых гвоздик, которые ему удалось утром раздобыть...

Перед самым выездом в Тетерборо к мужчинам присоединилась Сокорро в черном полотняном платье и таком же жакете, отделанном тесьмой, — выглядела она чрезвычайно соблазнительно. На ней была черная шляпка, в ушах — золотые серьги, а на шее — тонкая золотая цепочка. Из глаз ее струились слезы: по рекомендации Баудельо она положила по зернышку перца под нижнее веко. То же было проделано и с Рафаэлем; он было воспротивился, но Мигель приказал, и верзила подчинился. Ощущение было не из приятных, но Рафаэль быстро привык, и сейчас слезы ручьем текли у него из глаз.

Рафаэль, Мигель и Баудельо были в темных костюмах, при галстуках — ни дать ни взять скорбящие мужи. Если придется отвечать на вопросы, то Рафаэль и Сокорро будут изображать брата и сестру колумбийки, которая погибла в автокатастрофе, сопровождавшейся пожаром, во время путешествия по США — сейчас ее останки везут на родину для захоронения. А так как, согласно легенде, младший сын колумбийки тоже погиб, Рафаэль и Сокорро будут одновременно изображать его безутешных дядю и тетю. Третий «покойник» — Энгус — будет неким дальним родственником, путешествовавшим вместе с матерью и сыном.

Баудельо будет играть роль члена семьи, взявшего на себя все хлопоты по похоронам, а Мигель — ее близкого друга.

Легенду подкрепляли тщательно подготовленные документы — фальшивые свидетельства о смерти, выписанные в штате Пенсильвания, где якобы произошла трагедия; черно-белые фотографии с места происшествия и даже газетные вырезки из «Филадельфия инквайрер», на самом же деле напечатанные в частной типографии. Среди документов были так-

* Мерзкая скотина (исп.).

же новые паспорта Мигеля, Рафаэля, Сокорро и Бауделью и два запасных свидетельства о смерти, одно из которых они использовали для Энгуса. Комплект документов был добыт с помощью одного из доверенных людей Мигеля в Малой Колумбии и обошелся в двадцать тысяч долларов.

В легенде и в газетных фальшивках фигурировала очень важная деталь: все три трупа-де сильно обгорели и изуродованы до неузнаваемости. На это Мигель и рассчитывал; едва ли у кого возникнет охота вскрывать гробы при вывозе их из США.

Моторы катафалка и фургона заработали, Карлос сел за руль «плимута», замыкавшего «траурное шествие». Он поедет на некотором расстоянии от первых двух машин, — чтобы при необходимости можно было вмешаться. Все, кроме Бауделью, были вооружены.

Согласно плану им предстояло сразу двинуться в аэропорт — весь путь должен занять десять, максимум пятнадцать минут.

Стоя во дворе хакенсакского дома, Мигель посмотрел на часы. Было 19.35.

— По машинам, — скомандовал он.

Перед отъездом он еще раз осмотрел дом и пристройки и остался удовлетворен: никаких следов их пребывания не было видно. Правда, одно обстоятельство тревожило его. Место, где была яма, в которую они зарыли радиотелефоны и прочее оборудование, выделялось среди окружающей земли. Хулио и Луис, как могли, разровняли поверхность и завалили ее листьями, но все же было видно, что здесь что-то не так. Мигель успокоил себя тем, что это не имеет большого значения, тем более сейчас уже все равно ничего не исправишь.

Вернувшись к катафалку, он уселся на переднее сиденье и коротко бросил Хулио:

— Поехали.

Смеркалось, справа от них догорал закат — они ехали к Тетерборо.

Луис первым увидел мигающие впереди огни полицейских машин. Он тихо выругался и затормозил. Мигель тоже заметил «мигалки» и, вытянув шею, попытался определить положение на шоссе. Сокорро сидела в центре, между двумя мужчинами.

Они были на Семнадцатом шоссе, ведущем на юг; эстакада автострады «Пассаик» находилась на расстоянии мили позади них. Движение по обеим сторонам Семнадцатого шоссе было оживленным. Между ними и полицейскими «мигалками» не было поворота направо, а из-за проложенного по середине шоссе барьера развернуться тоже было нельзя. С Мигеля полил пот; взяв себя в руки, он приказал Луису:

— Езжай вперед.

И оглянулся, желая удостовериться, что фургон следует за ними. «Плимут» Карлоса должен был находиться сзади, но его видно не было.

Теперь они увидели, что поток машин по команде полицейских сужен до двух рядов. Между рядами высилась будка, похожая на ту, в каких собирают дорожную пошлину, и несколько полицейских беседовали с водителями, когда те останавливались. Справа тоже стояли полицейские машины с «мигалками».

— Без паники, — сказал Мигель двум своим попутчикам. — Все разговоры буду вести я.

Они проползли еще минут десять, прежде чем им удалось разглядеть голову колонны. Но даже тогда нельзя было понять толком, что происходит: уже стемнело, а множество фар и «мигалок» искажали картину. Тем не менее бандиты заметили, что после обмена репликами между полицейскими и водителями некоторые легковые машины и грузовики отгоняли к обочине для более тщательного досмотра, а некоторые пропускали вперед.

Мигель посмотрел на часы. Было почти 8 вечера. Они уже опаздывали к самолету.

Хотя Мигель и призывал других сохранять выдержку, сам он все больше и больше нервничал. Ведь до сих пор все шло как по маслу, неужели это конец, неужели их схватят, или они погибнут в перестрелке с полицией? Мигель предпочел бы умереть. Шансов выбраться из этой передряги, казалось, не было. Он думал: «Может, все-таки попытаться прорваться — по крайней мере хоть устроим драку, или вот так сидеть и ждать, отсчитывая минуты в надежде на чудо».

— Эти сволочи нас ищут! — пробормотал Луис. Он сунул руку под пальто, извлек вальтер П-38 и положил на сиденье рядом с собой.

— Спрячь! — прошипел Мигель.

Луис накрыл пистолет газетой.

Мигель чувствовал, как дрожит Сокорро. Он положил руку ей на плечо, и дрожь унялась. Он видел, что она, не мигая, смотрит перед собой — к ним приближался полицейский.

Казалось, что этот парень в униформе существовал сам по себе и не был связан с нарядом полицейских, действовавших в головной части колонны. Он шел мимо стоявших машин, заглядывал в окна, иногда останавливался, по-видимому отвечая на вопросы. Когда между ними и офицером оставалось лишь несколько ярдов, Мигель решил взять инициативу в свои руки. Нажав на кнопку, он автоматически опустил оконное стекло.

— Офицер, — крикнул Мигель, — скажите на милость, что все это значит?

Полицейский, совсем юнец, подошел ближе. На именном значке было написано «Куайлз».

— Проверка на алкоголь, сэр, в интересах общественной безопасности, — ответил он с натянутой улыбкой.

Мигель ему не поверил.

Тем временем полицейский, поняв, что перед ним катафалк, а в катафалке то, чему там положено быть, добавил:

— Надеюсь, вы не слишком крепко выпили на помниках.

В этой глупой остроте, прозвучавшей так неуклюже, Мигель усмотрел шанс и ухватился за него. Смерив полицейского Куайлза взглядом, он сухо промолвил:

— Если это шутка, офицер, то очень пошлая.

Выражение лица молодого полицейского мгновенно изменилось. Он покаянно пробормотал:

— Простите...

Мигель, будто не слыша, продолжал гнуть свое:

— Рядом со мной сидит дама, которая путешествовала по вашей стране со своей сестрой. Так вот, ее любимая сестра лежит в гробу сзади нас — она трагически погибла в автомобильной аварии; с ней было еще двое, их везут следом за нами в фургоне похоронного бюро. Тела на самолете доставят на родину, где и предадут земле. В Тетерборо нас ждет самолет, и нам не доставляют удовольствия ни ваши шуточки, ни эта задержка.

Почувствовав, что настала ее очередь, Сокорро повернула голову так, чтобы офицер мог видеть струившиеся по щекам слезы.

— Я же попросил прощения, сэр и мадам, — сказал Куайлз. — Случайно сорвалось с языка. Я действительно сожалею об этом.

— Мы принимаем ваши извинения, офицер, — произнес Мигель с достоинством. — А теперь не могли бы вы помочь нам побыстрее отсюда выбраться.

— Подождите, пожалуйста. — Полицейский быстро прошел вперед, к началу колонны и обратился с просьбой к сержанту. Выслушав его, сержант бросил взгляд в сторону катафалка и кивнул. Молодой офицер вернулся.

— Мы все немного взвинчены, сэр, — сказал он Мигелю. И, понизив голос, доверительно сообщил: — По правде говоря, то, что я вам сказал, всего-навсего легенда, на самом-то деле мы разыскиваем похитителей. Вы слышали, что они натворили сегодня в Уайт-Плейнзе?

— Слышал, — с серьезной миной ответил Мигель. — Это ужасно.

Машина перед ними продвинулась вперед, освобождая место.

— Оба ваших водителя могут проехать слева, сэр. Я провожу вас до барьера, а там вы беспрепятственно выедете на шоссе. Еще раз прошу извинить за бестактность.

Полицейский дал сигнал катафалку и фургону вывернуть из ряда

автомобилей. Мигель оглянулся, но «плимута» видно не было. Ну что ж, Карлосу придется самому о себе позаботиться.

Полицейский шел впереди, пока они не поравнялись с переносной будкой, которую видели издали; тогда он махнул им — проезжайте. Путь был открыт...

На этот раз легенда сработала, думал Мигель. Но впереди Тетерборо — и сработает ли она еще?

За время пребывания в Хакенсаке Мигель дважды побывал в аэропорту Тетерборо, чтобы изучить его внутреннее расположение.

Это был оживленный аэропорт, предназначенный исключительно для частных самолетов. В среднем в течение суток там взлетало и садилось около четырехсот машин, причем многие — в ночное время. В северо-восточной части Тетерборо постоянно стояло около ста самолетов. А на северо-западе были расположены здания, в которых размещалось шесть компаний, обеспечивавших обслуживание самолетов как на временной стоянке, так и находившихся здесь постоянно. Каждая компания имела свои въездные ворота и собственную службу безопасности.

Из шести компаний, обслуживавших Тетерборо, самой крупной была «Брансуик эвиейшн»; именно ее услугами, по предложению Мигеля, должен воспользоваться экипаж самолета «лирджет-55», когда прилетит из Колумбии.

В одно из своих посещений аэродрома Мигель, изобразив владельца частного самолета, встретился с главным управляющим компании «Брансуик», а также с управляющими двух других компаний. Из разговоров с ними он понял, что на аэродроме есть более и менее укромные площадки, где происходит загрузка самолетов. Самым оживленным и популярным местом прилета и стоянки был так называемый Стол, расположенный в центре, рядом со зданиями компаний.

Меньше всего — в силу неудобства — использовалась площадка на южном конце поля. Если кто-то просил предоставить там место, просьбу охотно удовлетворяли, чтобы хоть немного разгрузить «Стол». К тому же там находились запертые въездные ворота, которые открывали по требованию любой из компаний, обслуживающих Тетерборо.

Располагая этой информацией, Мигель через своего связного в колумбийском консульстве в Нью-Йорке передал в Боготу рекомендацию, чтобы компания «Лир» попросила предоставить место своему самолету в южной части взлетного поля, рядом с воротами. А сегодня, воспользовавшись в последний раз радиотелефоном, он позвонил в «Брансуик эвиейшн» и попросил держать ворота открытыми с 19.45 до 20.15.

И сейчас Мигель распорядился, чтобы Луис ехал к южным воротам. Он не надеялся, что им удастся избежать встречи со службой безопасности, но здесь эти ребята могли оказаться более покладистыми, чем на главном въезде.

Когда показался забор, огораживающий взлетное поле, он взглянул на часы: 20.25. Они опоздали на целых полчаса, к тому же ворота должны были закрыть десять минут назад.

Фары катафалка высветили ворота: они были на замке. Поблизости никого — непроглядная тьма. В отчаянии Мигель ударил кулаком по приборному щитку и громко выругался: «¡Mierda!» *.

Луис вышел из катафалка и осмотрел замок. Из фургона выпрыгнул Рафаэль и присоединился к нему.

— Я могу открыть эту штуковину одним выстрелом, — сказал он Мигелю, подойдя к катафалку.

Мигель отрицательно помотал головой — он не мог понять, почему ни один из пилотов их не встречает. В темноте за забором он разглядел несколько стоявших самолетов, но ни огонька, ни признаков жизни. Может быть, вылет отложили? Так или иначе, Мигель понимал, что придется воспользоваться главным въездом.

— В машины, — приказал он Луису и Рафаэлю.

Когда они отъехали от южных ворот, появился «плимут». Очевидно,

* Дерьмо! (исп.).

Карлосу удалось проскочить через полицейский кордон. Он должен был следовать за катафалком и фургоном до въезда в аэропорт, затем дожидаться снаружи, когда они выедут.

Подъезжая к ярко освещенному зданию компании «Брансуик», они увидели еще одни ворота. У ворот перед караульным постом стоял представитель службы безопасности в униформе. Рядом с ним человек в гражданской одежде внимательно разглядывал приближавшийся катафалк. Полицейский детектив? И снова Мигель почувствовал, как внутри у него все сжалось.

Второй человек выступил вперед. На вид ему было пятьдесят с небольшим, и в его движениях чувствовались уверенность и сила. Луис опустил стекло, и человек спросил:

— Вы везете нестандартный груз для сеньора Пизарро?

Мигель почувствовал невероятное облегчение. Это был пароль. Он дал соответствующий ответ:

— Партия товаров готова для перевозки, все документы в порядке.

Подошедший к ним кивнул.

— Я ваш пилот, моя фамилия Андерхилл. — У него был американский выговор. — Вы опоздали, черт побери!

— У нас были проблемы.

— Меня это не касается. Я заполнил рапортичку полета. Поехали.

Андерхилл обошел машину и подал знак караульному — ворота открылись.

Значит, не будет проверки со стороны службы безопасности или полицейской инспекции. Легенда, которую они так тщательно готовили, им не понадобилась. Мигель, пожалуй, не имел ничего против.

Вчетвером они едва уместились на переднем сиденье катафалка, но дверь все же удалось захлопнуть. Пилот указывал Луису путь: катафалк выехал на полосу для пробежки и двинулся между синими огнями к южному краю взлетного поля. Фургон следовал за ним.

Впереди возникли очертания нескольких самолетов. Пилот велел ехать к самому большому — самолету «лирждет-55». От самолета отделилась фигура.

— Фолкнер. Второй пилот, — сухо сказал Андерхилл.

Дверь по левому борту самолета была открыта; от фюзеляжа к земле спускался трап. Второй пилот поднялся в салон и включил свет.

Луис задним ходом подал катафалк вплотную к трапу для погрузки. Фургон остановился рядом; с него спрыгнули Хулио, Рафаэль и Бауделио.

Когда все собрались у трапа, Андерхилл спросил:

— Сколько живых пассажиров?

— Четверо, — ответил Мигель.

— Мне нужны ваши фамилии для декларации, — сказал пилот, — а также фамилии покойных. Больше нас с Фолкнером ничего не интересует — ни вы, ни ваши дела. Мы совершаем чартерный рейс по контракту. И на этом точка.

Мигель кивнул. Он не сомневался, что оба пилота сорвут немалый куш за сегодняшний перелет. Воздушные трассы между Латинской Америкой и США были забиты самолетами с американскими — да и не только американскими — экипажами, которые, обходя закон, получали за это большой «гонорар»...

Рафаэль, Хулио, Луис и Мигель под наблюдением второго пилота вынули гроб с Джессикой из катафалка и погрузили в самолет. Они с трудом протащили гроб в дверь — будь проход на дюйм уже, им бы это не удалось. Внутри самолета сиденья с правой стороны были сняты. Ремни для фиксации груза — в данном случае гробов — крепились к пазам в полу и к специальным приспособлениям в потолке.

Как только первый гроб загрузили в самолет, катафалк отъехал и его место занял фургон. Два других гроба быстро внесли, после чего Мигель, Бауделио, Сокорро и Рафаэль заняли свои места, и дверь захлопнулась. Никаких прощаний. Когда Мигель сел в кресло и выглянул в окно, задние фары обеих машин были уже далеко.

Пока второй пилот возился с ремнями, укрепляя гробы, Андерхилл включил приборы на щите управления в кабине — раздался рев двигате-

лей. Второй пилот прошел вперед, и послышалось потрескивание рации: у диспетчерской запросили и получили разрешение на вылет. Минуту спустя они уже катили по беговой дорожке.

А Баудельо со своего места начал подсоединять к гробам контрольные приборы. Он все еще продолжал возиться, когда самолет уже взлетел, быстро набрал высоту и взял курс в ночной тьме на Флориду.

На земле еще оставалось завершить кое-какие дела.

Карлос, ожидавший снаружи, увидел, что катафалк и фургон выехали из аэропорта, пристроился сзади в своем «плимуте» и следом за катафалком доехал до города Пэтерсона, расположенного милях в десяти на запад. Подъехав к скромному похоронному бюро, которое они выбрали наугад, Луис поставил машину на принадлежавшей бюро стоянке. Оставив ключи в машине, он быстро сел в «плимут» и уехал вместе с Карлосом.

Утром владельцу похоронного бюро, очевидно, придется выдержать борьбу со своей совестью: то ли вызывать полицию, то ли подождать — а может, ничего и не случится, и дорогостоящий катафалк задаром достанется ему. Но как бы там ни было, Карлос, Луис и остальные будут уже вне пределов досягаемости.

Карлос и Луис от Пэтерсона проехали около шести миль на север, до Риджвуда, куда Хулио уже пригнал фургон. Он оставил его подле магазина подержанных грузовиков, который закрывался на ночь. Скорее всего здесь не преминут воспользоваться почти новым фургоном и никому не станут о нем сообщать.

Двое бандитов подобрали Хулио в условленном месте, и затем все трое двинулись в последний раз в Хакенсак. Там Хулио и Луис пересели в «шевроле» и «форд». И без промедления разъехались кто куда.

Они бросят машины в разных концах города, не заперев двери и не вынимая ключей зажигания, в надежде, что машины угонят и таким образом исчезнет всякая их связь с похищением семьи Слоуна.

14

Специальная группа поиска возобновила совещание, прерванное трагическими утренними событиями в Уайт-Плейнзе, лишь после того, как был передан первый блок субботних «Вечерних новостей». Было уже 19.10, и членам группы пришлось отменить свои планы на выходные...

Гарри Партридж, сидя, как всегда, во главе стола, обвел взглядом присутствующих — Рита, Норман Джегер, Айрис Иверли, Карл Оуэнс, Тедди Купер. Вид почти у всех был изможденный: Айрис впервые выглядела не безупречно — волосы растрепаны, белая кофточка испачкана чернилами. Джегер сидел в рубашке с короткими рукавами, откинувшись на стуле, положив ноги на стол...

На досках «Хроника событий» и «Разное» сведений значительно прибавилось. Последней была краткая информация об утреннем происшествии в Уайт-Плейнзе, напечатанная Партриджем. Однако ничего определенного относительно личностей похитителей или местонахождения заложников по-прежнему не появилось на досках.

— Есть у кого-нибудь что сказать? — спросил Партридж.

Джегер опустил ноги на пол и, придвинув стул к столу, поднял руку.

— Давай, Норм.

Пожилой, опытный выпускающий заговорил в своей спокойной, академичной манере:

— Сегодня большую часть дня я потратил на телефонные звонки в Европу и страны Ближнего Востока — звонил заведующим отделениями, корреспондентам, хроникерам и задавал одни и те же вопросы: не слышали ли чего-нибудь нового или необычного о террористических группах? Не было ли неожиданных перемещений террористов? Не исчезали ли в последнее время из поля зрения отдельные террористы или, что важнее, террористические группы? Если да, то какова вероятность их появления в Соединенных Штатах? И так далее. — Джегер помолчал, полистал свои записи и продолжал: — Кое-что есть. Целая группа «Хезболла» месяц назад исчезла из Бейрута и до сих пор не обнаружена. Однако поговаривают, что они в Турции, готовят новое нападение на евреев; Анкара подтвердила, что турецкая полиция ведет розыск. Хотя доказательств нет. Они могут быть где угодно...

— Спасибо, Норм. — Партридж повернулся к Карлу Оуэнсу. — Я знаю, ты занимался югом, Карл. Удалось что-нибудь выяснить?

— Ничего существенного... Я говорил с такими же информаторами, что и Норм, и задавал аналогичные вопросы, — только я звонил в Манагуа, Сан-Сальвадор, Гавану, Ла-Пас, Буэнос-Айрес, Тегусигальпу, Лиму, Сантьяго, Боготу, Бразилию, Мехико. Разумеется, почти во всех этих местах орудуют террористы, есть сведения об их выездах за рубеж — они пересекают границы с такой же легкостью, с какой пассажнр с сезонкой пересаживается с одной электрички на другую. Однако ни в одной разведывательной сводке нет указаний на то, что нас интересует, на групповое перемещение. Я, правда, наткнулся на одну штуку. Пока над этим работаю...

— Расскажи, — попросил Партридж. — Пусть еще сыровато, ничего.

— Есть кое-что из Колумбии. Парень по имени Улисес Родригес.

— Один из самых отъявленных мерзавцев среди террористов, — сказала Рита. — Я слышала, его называют латиноамериканским Абу Нидалем.

— Именно так, — подтвердил Оуэнс, — его подозревают в соучастии в нескольких похищениях, организованных в Колумбии. У нас о похищениях сообщают не так уж часто, а там людей крадут без конца. Три месяца назад Родригеса засекли в Боготе, откуда он внезапно исчез. Люди, которым можно верить, убеждены: он где-то действует. Ходят слухи, что он в Лондоне, — как бы там ни было, с июня он как сквозь землю провалился. — Оуэнс помолчал, заглянул в одну из своих карточек. — Это еще не все: что-то побудило меня позвонить одному вашингтонскому знакомому из Иммиграционной службы США и попросить его проверить Родригеса. Некоторое время спустя он позвонил мне и сказал, что три месяца назад, то есть примерно тогда, когда Родригес скрылся, ЦРУ предупредило Иммиграционную службу, что этот террорист может попытаться проникнуть в США через Майами. Федеральные власти выписали ордер на его арест, а Иммиграционная и Таможенная службы были приведены в полную готовность. Но Родригес так и не появился.

— Или проскочил незамеченным, — вставила Айрис Иверли.

— Не исключено. Он мог пройти через другой вход — например, с пассажирами из Лондона, если верить слуху, о котором я упомянул. И еще кое-что: Родригес изучал английский язык в Беркли и говорит на нем без акцента, точнее, с американским акцентом. Иными словами, может сойти за американца.

— Это становится интересно, — сказала Рита. — Можешь еще что-нибудь добавить?

— Фотографий его случайно нет? — спросил Партридж.

Оуэнс отрицательно помотал головой.

— Я запросил фотографии в Иммиграционной службе, но результат нулевой. Говорят, их нет даже в ЦРУ. Родригес всегда отличался осторожностью. Однако, можно сказать, нам повезло.

— Ради всего святого, Карл! — простонала Рита. — Если уж хочешь изображать из себя писателя-романиста, не тяни резину!

Оуэнс улыбнулся. Терпение и кропотливость были его отличительными чертами. Они приносили свои плоды, и он не собирался менять своих принципов ни ради Эбрамс, ни ради кого бы то ни было еще.

— Узнав о Родригесе, я позвонил в наше отделение в Сан-Франциско с просьбой послать человека в Беркли, чтобы кое-что проверить. — Он взглянул на Чиппингема. — От твоего имени, Лэс. Сказал, ты распорядился выполнить эту работу максимально срочно. — Шеф Отдела новостей кивнул, и Оуэнс продолжал: — Туда командировали Фиону Гоуэн, которая, оказывается, окончила Беркли и знает там всех и вся. Фионе повезло, особенно если учесть, что сегодня суббота: хотите верьте, хотите нет, но она отыскала преподавателя кафедры английского языка, который помнит Родригеса, выпускника семьдесят второго года... Похоже, Родригес был волком-одиночкой — ни одного близкого друга. Профессор при-

помнил, что Родригес не любил сниматься: никогда не давал себя фотографировать. Студенческая газета «Дэйли кэл» хотела напечатать групповой снимок иностранных студентов, в том числе и его, но он наотрез отказался. В конце концов это стало предметом шуток, и его однокашник, неплохой художник, набросал углем портрет Родригеса тайком от него. Художник стал показывать портрет всем подряд: узнав об этом, Родригес пришел в бешенство. Он предложил купить портрет и купил-таки, заплатив гораздо дороже, чем портрет стоил. Но фокус в том, что художник успел сделать десяток копий и раздать их друзьям. О чем Родригес не подозревал.

— Эти копии... — начал было Партридж.

— Мы почти у цели, Гарри. — Оуэнс улыбнулся: он не желал, чтобы его подгоняли. — Фиона вернулась в Сан-Франциско и целый день провела у телефона. Это оказалось делом нелегким: выпуск кафедры английского языка семьдесят второго года насчитывал триста восемьдесят восемь человек. Однако ей удалось наскрести несколько фамилий и отыскать номера домашних телефонов некоторых бывших студентов — она стала обзванивать их по цепочке. Как раз перед совещанием она позвонила мне и сказала, что разыскала одну из копий рисунка, и мы получим ее завтра. Как только копия попадет к ней в руки, нам передадут ее по факсу из отделения Си-би-эй в Сан-Франциско.

Над столом пробежал одобрительный шепоток.

— В высшей степени профессиональная работа, — сказал Чиппингем. — Поблагодари Фиону от моего имени.

— Однако давайте смотреть на вещи трезво, — заметил Оуэнс. — Пока это не более чем совпадение, и мы можем только предполагать, что Родригес замешан в похищении. Кроме того, рисунку около двадцати лет.

— Люди не слишком меняются, даже через двадцать лет, — сказал Партридж. — Мы ведь можем показать рисунок в Ларчмонте и поинтересоваться, не видел ли кто-нибудь этого человека. Какие еще новости?

— По сведениям нашего вашингтонского отделения, — сказала Рита, — ФБР ничего нового не обнаружило. Остатки «ниссана» вывезены из Уайт-Плейнза на судебную экспертизу, однако оптимизма у них на этот счет маловато. Все именно так, как сказал Салерно в передаче в пятницу: ФБР надеется на то, что похитители объявятся сами.

Партридж обвел глазами присутствующих и остановил взгляд на Слоуне.

— К сожалению, Кроуф, на сегодня, пожалуй, все.

— А идея Тедди, — напомнила Рита.

— Какая идея? — резко спросил Слоун. — Я о ней ничего не знаю.

— Пускай лучше Тедди объяснит, — сказал Партридж.

— Есть способ выяснить, где находилось логово похитителей, мистер Эс. Даже если их там уже нет, в чем я не сомневаюсь.

И Купер повторил то, что ранее уже изложил Партриджу и Рите...

— Разумеется, это выстрел с дальним прицелом, — закончил свои соображения Купер.

— Мягко говоря, — буркнул Чиппингем. Все это время он сидел насупясь, а когда всплыла проблема найма помощников, брови его сдвинулись почти вплотную. — О каком количестве людей идет речь?..

— По моим подсчетам, понадобится человек шестьдесят, — сказала Рита. — Плюс несколько координаторов.

Чиппингем повернулся к Партриджу.

— Гарри, ты это всерьез?

Подразумевалось: ты никак спятил!..

— Да, Лэс, — сказал Партридж, — всерьез. Я считаю, мы обязаны испробовать все пути. Пока мы ведь не страдаем от избытка конструктивных или свежих идей...

В конце концов, подумал Чиппингем, он не меньше остальных хочет выяснить, где держат Джессику, парнишку и старика, и если надо, он пойдет к Марго и выколотит из нее деньги. Но ради того, в чем он не сомневается, а не ради идиотских идеек этого самоуверенного малого.

— Гарри, я накладываю на это «вето» — пока, во всяком случае, — произнес Чиппингем. — Я считаю, что игра не стоит свеч. — Однако, если они догадываются, что дело тут в Марго, они назовут его трусом. Ну и пусть, у него и так немало проблем, в том числе проблема, как удержаться на работе, о чем они и не подозревают.

— По-моему, Лэс... — начал Джегер.

Но Слоун не дал ему договорить:

— Позволь мне, Норм.

Джегер замолчал, и Слоун резко спросил:

— Твои слова «игра не стоит свеч» означают, что ты не дашь денег?

— Деньги тоже немаловажный фактор, сам знаешь, и ничего тут не попишешь. Но дело в здравом смысле. Это предложение — пустая затея.

— Может быть, у тебя есть что-нибудь получше?

— Пока нет.

Слоун холодно процедил:

— В таком случае я хотел бы задать вопрос и получить честный ответ. Расходы заморозила Марго Ллойд-Мэйсон?

— Мы обсуждали бюджет, — выдавил из себя Чиппингем, — вот и все. — Затем добавил: — Мы можем побеседовать наедине?

— Нет! — взревел Слоун, вскакивая со стула и сверкая глазами. — Никаких к чертовой матери «наедине» ради этой бездушной твари! Ты ответил на мой вопрос. Значит, расходы заморожены.

— Это несущественно. Ради стоящего дела я просто позвоню в Стоунхендж...

— А я просто созову пресс-конференцию, прямо здесь, сегодня же! — в ярости закричал Слоун. — И пусть весь мир узнает, что, пока моя семья страдает бог весть где, в невыносимых условиях, богатейшая телестанция созывает совещания бухгалтеров, перекраивает бюджеты, торгуется из-за грошей...

— Никто не торгуется! — запротестовал Чиппингем. — Кроуф, не горячись. Я был неправ.

— Да кому от этого легче, черт возьми!

Все, кто сидел за столом, с трудом верили своим ушам. Во-первых, расходы на их проект заморозили у них за спиной, и, во-вторых, как можно отталкивать от себя соломинку в такой тяжелый момент.

Столь же невероятным было и то, что на Си-би-эй проявили подобное пренебрежение к своему самому блестящему сотруднику, главному ведущему станции. Была упомянута Марго Ллойд-Мэйсон, стало быть, это она — рука «Глобаник индастриз», занесшая топор.

Норман Джегер тоже встал — самая простая форма выражения протеста. Он спокойно произнес:

— Гарри считает, что мы должны дать ход плану Тедди. Я его поддерживаю.

— Я тоже, — подхватил Карл Оуэнс.

— Я присоединяюсь, — сказала Айрис Иверли.

— Меня, пожалуй, тоже приплюсуйте, — сказала Рита с легкой неохотой: ей ведь был небезразличен Чиппингем.

— Ну ладно, ладно, кончайте этот спектакль, — сказал Чиппингем. — Беру свои слова обратно. Вероятно, я был неправ. Кроуф, мы попробуем.

Про себя же Чиппингем решил, что не пойдет к Марго за разрешением: он слишком хорошо знал, знал с самого начала, каким будет ее ответ. Он рискнет своей шкурой и сам разрешит расходы.

Рита, рассуждая как всегда трезво и желая разрядить обстановку, сказала:

— Если мы за это принимаемся, нельзя терять время. Люди должны приступить к работе в понедельник. Итак, с чего начинаем?

— Призовем на помощь дядюшку Артура, — сказал Чиппингем. — Я поговорю с ним из дома сегодня вечером, завтра он будет здесь и займется набором.

— Отличная идея, — просиял Кроуфорд Слоун.

— Кто такой, черт побери, этот дядюшка Артур? — шепотом спросил Тедди Купер, сидевший рядом с Джегером.

Джегер усмехнулся.

— Ты не знаком с дядюшкой Артуром? Завтра, мой юный друг, ты увидишь нечто уникальное.

Разговор продолжался. Рита сделала вид, что роется в сумочке, а на самом деле что-то нацарапала на клочке бумаги. И незаметно вложила записку в руку Чиппингема под столом.

Он дождался, когда от него отвлечется внимание, и опустил глаза. Записка гласила: «Лэс, как насчет того, чтобы побаловаться в постельке? Давай смоемся».

15

Они поехали к Рите. Ее квартира находилась на Семьдесят второй улице Западной стороны — совсем недалеко от того места, где все они сидели. Чиппингем, пока тянулась его бракоразводная тяжба со Стасей, жил дальше от центра, в районе Восьмидесятых улиц; квартирка у него была маленькая, для Нью-Йорка дешевая и отнюдь не являлась предметом его гордости. Ему не хватало дорогих апартаментов в кооперативном доме на Саттон-плейс, где они со Стасей прожили десять лет до того, как разъехались. Кооператив был теперь для него запретной зоной, утраченной Утопией. Уж Стасины адвокаты об этом позаботились...

По дороге Чиппингем попросил таксиста остановиться у газетного киоска. Он вышел из такси и вернулся с охапкой воскресных номеров «Нью-Йорк таймс», «Дэйли ньюс» и «Пост».

— По крайней мере теперь я знаю свое место в твоей системе ценностей, — заметила Рита. — Надеюсь, ты хотя бы не собираешься читать все это до...

— Позже, — заверил он. — Много, много позже...

Говоря это, Чиппингем подумал — повзрослеет ли он когда-нибудь в своем отношении к женщинам... Он не сомневался, что некоторые позавидовали бы его мужской силе: ведь через несколько месяцев ему стукнет пятьдесят, а он в такой же хорошей форме, как в двадцать пять. Но, с другой стороны, за такую неуемность приходится платить.

Сейчас, как и прежде, Рита волновала его, он знал, что они получат взаимное удовольствие, но знал он и то, что через час-другой спросит себя: «А стоила ли овчинка выделки?» Как часто он задавал себе этот вопрос: стоили ли все его любовные похождения того, что он потерял жену, к которой был по-настоящему привязан, или поставил под угрозу свою карьеру — во время последней встречи в Стоунхендже Марго Ллойд-Мэйсон ясно дала ему это понять.

Зачем он это делал? Отчасти потому, что не мог устоять перед соблазном плотского наслаждения, а работая на телевидении, он сталкивался с такими соблазнами на каждом шагу. Он любил остроту преследования, которая никогда не притуплялась, а потом — победа и физическое удовлетворение: отдавать и получать было для него одинаково важно.

Лэс Чиппингем вел тайный дневник, где были перечислены все его любовные завоевания — зашифрованный список имен, который мог прочесть только он сам. То были имена нравившихся ему женщин: в некоторых он, помнится, был даже по-настоящему влюблен.

Имя Риты, недавно вписанное в тетрадь, значилось там под номером сто двадцать семь. Чиппингем старался внушить себе, что дневник — вовсе не перечень спортивных достижений, хотя в действительности он как раз таковым и был...

Рита тоже размышляла над проблемой человеческих взаимоотношений, — правда, более элементарно. Она никогда не была замужем — так и не встретила свободного человека, с которым захотела бы связать свою жизнь. Что до романа с Лэсом, она знала, он скоро кончится. Она давно наблюдала за Лэсом и пришла к выводу, что он не способен на постоянство. Он менял женщин с такой же легкостью, с какой другие мужчины меняют нижнее белье. Зато у него было могучее, крупное тело, и секс с ним превращался в эйфорический, сладостный, неземной сон. Когда они подъехали к дому Риты и Лэс расплатился за такси, она умирала от желания.

Рита заперла дверь, и в следующее мгновение они уже целовались. Оторвавшись от Лэса, Рита прошла в спальню, Лэс последовал за ней, снимая на ходу пиджак, стягивая галстук и расстегивая рубашку...

Насладившись сексом, Чиппингем и Рита принялись за кипу воскресных газет. Они разложили их на кровати: Лэс начал с «Таймс», Рита — с «Пост».

Оба прежде всего просмотрели материалы о похищении семьи Слоуна...

Затем они перешли к главным внутренним и международным событиям, за которыми не очень следили последние несколько дней. Они совсем не читали газет и потому сейчас не обратили внимание на крошечное, в одну колонку сообщение, напечатанное только в «Пост», да к тому же на внутренней странице, под заголовком: «ДИПЛОМАТ ООН УБИВАЕТ ЛЮБОВНИЦУ И В ПРИПАДКЕ РЕВНОСТИ КОНЧАЕТ С СОБОЙ».

16

С изяществом чайки самолет «лирджет-55» снижался в темноте — рев его мощных двигателей стал сразу тише. Он шел на посадку между двумя параллельными нитями огней, отмечавших полосу один-восемь аэропорта Опа-Локка. За аэропортом раскинулись мириады огней Большого Майами, отбрасывавших в небо гигантский отблеск.

Мигель, сидевший в пассажирском салоне, посмотрел в иллюминатор в надежде, что огни Америки и все, чем они могли обернуться, скоро останутся позади.

Он взглянул на часы. 23 часа 18 минут. Перелет из Тетерборо занял немногим больше двух часов с четвертью.

Рафаэль, сидевший впереди, глядел на приближающиеся огни. Сокорро, казалось, дремала рядом.

Мигель обернулся в сторону Бауделью — тот продолжал следить за приборами, подключенными к гробам. Бауделью кивнул: мол, все в порядке, и Мигель стал думать о внезапно возникшей новой проблеме.

Несколько минут назад он вошел в кабину и спросил:

— Сколько времени займет стоянка в Опа-Локка?

— Не более получаса, — ответил Андерхилл. — Надо только залить горючее и заполнить манифест. — Помолчав, он добавил: — Хотя если таможенникам взбредет в голову досмотреть самолет, может получиться и дольше.

— Мы не обязаны проходить здесь таможню, — рявкнул Мигель.

— Обычно они не лезут, — кивнул пилот, — самолеты, вылетающие за границу, их мало интересуют. Но говорят, что последнее время они иногда прочесывают ночные рейсы...

Мигеля как обухом по голове ударило. Ведь он выбрал для вылета из Штатов аэропорт Опа-Локка, основываясь как на собственных сведениях, так и на сведениях «Медельинского картеля» о правилах американской таможни.

Как и Тетерборо, Опа-Локка обслуживал только частные самолеты. Но поскольку некоторые машины прилетали из-за границы, здесь имелось отделение Таможенной службы США — маленькое, доморощенное заведеньице, размещавшееся в трейлере, служащих — раз два и обчелся... Время для данного полета выбирали исходя из того, что в столь поздний час таможня будет на замке, а таможенники — давным-давно дома.

— Если кто-нибудь из таможенников сейчас здесь и у них включена рация, они услышат, как мы переговариваемся с вышкой, — добавил Андерхилл. — Может быть, они нами заинтересуются, а может быть, и нет.

Мигель понял, что ему ничего не остается, как вернуться на свое место, сесть в кресло и ждать. И сейчас он перебрал в уме все возможные варианты.

Если паче чаяния им сегодня ночью не удастся избежать встречи с американской таможней, они пустят в ход легенду — благо, она отработана. Сокорро, Рафаэль и Бауделью сыграют каждый свою роль, Мигель — свою. Бауделью может быстро отсоединить от гробов приборы. Нет, с легендой и со всем антуражем проблем не будет, проблема в другом — в предписаниях, которым должен следовать инспектор таможни, когда за границу вывозят покойника.

Мигель изучил инструкции и знал их наизусть. На каждого умершего нужны были определенные документы: свидетельство о смерти, разрешение на вывоз тела, заверенное окружным отделом здравоохранения, и

разрешение на ввоз в страну следования. Паспорт покойного не требовался, но самое страшное заключалось в том, что гроб должны вскрыть, осмотреть его содержимое, а затем закрыть.

Мигель предусмотрительно добыл все необходимые бумаги, это были фальшивки, но качественные. К документам прилагались фотографии кровавого зрелища какой-то автокатастрофы — они служили хорошей иллюстрацией к легенде, кроме того, имелись газетные вырезки, в которых сообщалось, что обгоревшие трупы изуродованы до неузнаваемости.

Так что если таможенник окажется на дежурстве в Опа-Локке и явится к ним, — все бумаги в порядке, но вот не потребует ли он вскрытия гробов. С другой стороны, захочет ли он этого, прочитав описание?

Когда самолет мягко приземлился и покатил к ангару номер один, каждый нерв Мигеля был натянут как струна.

Инспектор таможни Уолли Эмслер считал, что операцию «Вывоз» придумал от нечего делать какой-то вашингтонский бюрократ. Кем бы он (или она) ни был, сейчас, наверно, он лежал в постели и видел десятый сон... Оставалось полчаса до полуночи, а потом еще два часа — и Эмслер с двумя другими таможенниками, находившимися на спецдежурстве, могли забыть об операции «Вывоз» и отправиться домой.

Операция «Вывоз» предусматривала периодический досмотр самолетов, вылетавших из Соединенных Штатов за границу. Проверять все самолеты было невозможно — не хватало людей. Поэтому операция осуществлялась «набегами»: группа инспекторов без предупреждения появлялась в аэропорту и в течение нескольких часов проверяла самолеты, вылетавшие за рубеж, — главным образом, частные. Осуществлялось это нередко ночью.

Официально досмотр проводился, чтобы выявить, не вывозится ли нелегально техническая аппаратура последних образцов. Однако негласная задача таможни состояла в том, чтобы воспрепятствовать вывозу валюты сверх дозволенной суммы, в частности, денег, вырученных от продажи наркотиков...

Иногда операция «Вывоз» оказывалась успешной, изредка приводила к сенсационным результатам. Но ни разу — во время дежурства Эмслера, потому-то он и относился к ней с прохладцей. Вот и сегодня ночью он и двое других инспекторов торчали в Опа-Локке из-за пресловутого «Вывоза», за границу вылетало меньше самолетов, чем обычно, и едва ли сегодня будет еще большой вылет.

Правда, один как раз собирался скоро взлететь — самолет компании «Лир», прибывший из Тетерборо; несколько минут назад пилот заполнил манифест, указав пункт назначения — Богота, Колумбия. И сейчас Эмслер направлялся в ангар № 1, чтобы досмотреть самолет.

В отличие от всей южной Флориды, местечко Опа-Локка мало привлекательно. Его название произошло от индейского слова «опатишаво калокка», что означает «высокий, сухой холм». И это соответствует действительности... В аэропорту, хотя и весьма оживленном, было всего несколько строений, а вокруг простиралась ровная выжженная степь, напоминавшая пустыню.

Посреди этой пустыни был оазис — ангар № 1.

Здесь работало около семидесяти человек, выполнявших самые разные обязанности — от уборки пылесосом салонов самолетов и загрузки их едой и питьем до технического обслуживания: мелкого или капитального ремонта. Остальные обслуживали зал ВИП, душевые и комнату для совещаний, оснащенную аудиовизуальной техникой, телефаксами, телексами и множительной аппаратурой.

Почти незримая, но все же существующая черта отделяла эту половину от помещения для экипажей, где также находился оборудованный по последнему слову техники диспетчерский пункт. Здесь Уолли Эмслер и застал пилота Андерхилла, который изучал распечатанный на компьютере прогноз погоды.

— Добрый вечер, капитан. Если не ошибаюсь, вы летите в Боготу.

Андерхилл поднял глаза и не слишком удивился при виде униформы.

— Совершенно верно.

Его ответ, как и данные о маршруте, были сущим враньем. Местом назначения была незабетонированная взлетно-посадочная полоса в Андах, недалеко от Сиона, на территории Перу, и никакой стоянки там не предвиделось. Однако Андерхилл получил четкие инструкции, за выполнение которых ему было обещано щедрое вознаграждение: в качестве пункта назначения он должен был указать Боготу. Так или иначе это было пустой формальностью. Уйдя вскоре после взлета из радиуса наблюдения американского воздушного диспетчера, он мог направляться куда ему вздумается — никто и пальцем не пошевелит, чтобы проверить.

— Если не возражаете, — вежливо сказал Эмслер, — я бы хотел произвести досмотр самолета и пассажиров на борту.

Андерхилл возражал, но понимал, что высказывать это вслух бессмысленно... Тем не менее ему было не по себе — не из страха за пассажиров, а из-за того, что он сам мог влипнуть в историю.

Чутье подсказывало Денису Андерхиллу, что это не просто гробы — тут крылось что-то странное, скорей всего — противозаконное. Он подозревал, что в гробах, по-видимому, везли не мертвецов, а контрабанду; если же там и лежали покойники, то это были жертвы колумбийско-перуанской бандитской войны, и их хотели побыстрее сплавить за границу, пока не хватились американские власти. Он ни на секунду не поверил в сказочку про автокатастрофу и убитую горем семью, которую ему рассказали в Боготе, когда фрахтовали самолет. Если бы это было правдой, тогда к чему вся эта петрушка с конспирацией? Вдобавок Андерхилл не сомневался, что по крайней мере у двоих пассажиров есть при себе оружие. Спрашивается, почему они явно опасаются того, что им сейчас предстоит, — встречи с американской таможней?

Хотя самолет не был собственностью Андерхилла — он принадлежал богатому колумбийскому финансисту и был зарегистрирован в Колумбии, — машина находилась в его распоряжении, и, помимо жалованья и расходов на содержание самолета, Андерхилл получал щедрую долю прибыли от его эксплуатации...

Памятуя о доверии владельца самолета, а также о своей доле доходов, Андерхилл решил, что лучше рассказать эту историю про жертвы автокатастрофы прямо сейчас, дабы снять с себя подозрение и выгородить компанию, если что-то произойдет.

— История тут печальная, — заметил он и стал пересказывать таможеннику то, что слышал в Боготе; его версия соответствовала документам, имевшимся у Мигеля, хотя Андерхилл этого не знал.

Эмслер, молча выслушав его, сказал:

— Пойдемте, капитан.

И они вместе направились из ангара № 1 к самолету... Андерхилл, опередив инспектора Эмслера, поднялся по трапу в пассажирский салон.

— Дамы и господа, — объявил он, — у нас на борту представитель таможни Соединенных Штатов.

По приказу Мигеля четверо гангстеров из «Медельинского картеля» все эти пятнадцать минут продолжали сидеть в салоне. Когда двигатели были выключены и оба пилота сошли на землю, Мигель тщательно проинструктировал трех своих спутников.

Он предупредил их о возможности таможенного досмотра и о том, что им, вероятно, придется разыграть свой спектакль.

Говорить будет главным образом он, Мигель. Остальные будут ему подыгрывать.

Поэтому слова Андерхилла и появление таможенника не застали их врасплох.

— Добрый вечер, друзья, — Эмслер произнес это тем же вежливым тоном, что и в разговоре с Андерхиллом. Одновременно он обвел глазами самолет: гробы стояли в одной части салона, пассажиры находились в другой — трое из них сидели, один Мигель стоял.

— Добрый вечер, инспектор, — ответил Мигель. В руках у него была пачка бумаг и четыре паспорта. Сначала он протянул паспорта.

Эмслер взял их, но проверять не стал. Вместо этого он спросил:

— Куда вы все направляетесь и какова цель вашего путешествия?

Представители таможенной и паспортной служб используют такие приемы, чтобы заставить людей разговориться; иногда интонация вкупе с признаками нервозности раскрывает больше, чем слова.

— Это трагическое путешествие, инспектор: семья, некогда счастливая, сейчас убита горем.

— Простите, сэр. Ваше имя?

— Меня зовут Педро Паласиос, я не являюсь членом семьи, понесшей тяжелую утрату, я ее близкий друг и приехал в эту страну, чтобы оказать помощь в тяжелую минуту...

Эмслер по очереди открыл паспорта и сличил фотографии с присутствующими, затем обратился к Сокорро:

— Мадам, вы понимаете, о чем мы говорим?

Сокорро подняла распухшее от слез лицо. Сердце ее бешено колотилось. Коверкая английский язык, которым она свободно владела, Сокорро ответила неуверенно:

— Да... мало.

Кивнув, Эмслер снова обратился к Мигелю:

— Расскажите мне, что там. — И он указал на гробы.

— У меня есть все необходимые документы...

— Я взгляну на них позже. Сначала расскажите.

Мигель произнес сдавленным голосом:

— Произошла ужасная авария... был большой пожар, и трупы — о, Господи, трупы!..

При упоминании о трупах Сокорро взвыла и разразилась рыданиями. Рафаэль уронил голову на руки, плечи его тряслись — Мигель отметил про себя, что это выглядело убедительнее, чем слезы. У Бауделью был убитый, скорбный вид.

Мигель говорил, не спуская глаз с таможенника. Но выражение лица инспектора оставалось непроницаемым — он стоял в выжидательной позе и слушал. Тогда Мигель сунул ему бумаги.

— Здесь все написано. Пожалуйста, инспектор, прошу вас, прочтите сами.

На сей раз Эмслер взял документы и пролистал их. Свидетельства о смерти были в порядке, как и разрешение на вывоз тел из Америки и на ввоз в Колумбию. Он перешел к газетным вырезкам; дойдя до слов «обгоревшие трупы... изуродованы до неузнаваемости», он почувствовал приступ тошноты. Затем наступил черед фотографий. Он лишь взглянул на них и тотчас спрятал под другие бумаги. Он вспомнил, что вечером хотел отпроситься домой из-за плохого самочувствия. Какого черта он этого не сделал? Его мутило, а при мысли о том, что ему предстоит, становилось совсем худо...

Уолли Эмслер поверил в то, что ему рассказали. Документы были в порядке, все прочие материалы — убедительны, а горе, которое он наблюдал, могло быть только искренним. Будучи хорошим семьянином, Эмслер от души сочувствовал этим людям, и, будь его воля, он отправил бы их сейчас же. Но не положено. По инструкции гробы необходимо было вскрыть для досмотра, и это приводило его в отчаяние...

— Мне искренне жаль, — сказал он Мигелю, — но по правилам я обязан вскрыть гробы для досмотра.

Этого-то Мигель и боялся больше всего. Он предпринял последнюю попытку:

— Пожалуйста, инспектор. Умоляю вас! Столько мук, столько боли пережито. Мы же друзья Америки. Неужели нельзя сделать исключение во имя сострадания. — И он добавил по-испански, повернувшись к Сокорро: — El hombre quiere abrir los ataúdes *

Она в ужасе закричала:

— ¡Ay, no! ¡Madre de Dios, no! **

— Пожалуйста, объясните своим друзьям, что не я писал правила. Иногда мне приходится следовать им без всякого удовольствия, но это моя служба, мой долг.

* Этот человек хочет открыть гробы (исп.).
** Ой, нет! Матерь Божия, нет! (исп.).

Мигеля уже не интересовали его слова. Ломать комедию больше было незачем. Он принял решение.

А идиот-таможенник не унимался:

— Я предлагаю перенести гробы из самолета туда, где не будет посторонних глаз. Ваш пилот это сделает. Ему помогут люди из ангара номер один.

Мигель понимал, что этого допустить нельзя. Гробы должны остаться в самолете. Значит, выход один — оружие. Не для того он преодолел столько препятствий, чтобы потерпеть крах на таможне из-за какого-то cabrón *, — он убьет его здесь, в самолете, или захватит в плен и расправится с ним потом, в Перу. Все решится в следующие несколько секунд. Пилотов тоже надо держать на прицеле, а то еще чего доброго испугаются последствий и откажутся лететь. Рука Мигеля скользнула под пиджак. Он нащупал девятимиллиметровый пистолет и спустил предохранитель. Затем взглянул на Рафаэля — гигант кивнул. Сокорро уже сунула руку в сумочку.

— Нет, — отрезал Мигель, — гробы останутся здесь.

Он шагнул в сторону и загородил собой дверь. Его пальцы сжимали пистолет. Вот сейчас. **Сейчас!**

В это мгновение раздался незнакомый голос:

— Эхо один-семь-два. Говорит Сектор.

Все вздрогнули, кроме Уолли Эмслера, который привык к звукам рации, висевшей у него на поясе. Не заметив, что ситуация изменилась, он поднес рацию ко рту.

— Сектор, говорит Эхо один-семь-два.

— Эхо один-семь-два, — проскрежетал мужской голос. — Лима два-шесть-восемь просит вас прерваться и срочно позвонить по телефону четыре-шесть-семь-двадцать четыре-двадцать четыре. Связаться не по рации — повторяю: не по рации.

Сектор. Десять-четыре. Говорит Эхо один-семь-два. Принял.

Подтверждая прием, Эмслер не сумел подавить радости в голосе. В последний момент он получил отмену «приговора» — четкий приказ, которому обязан повиноваться. «Лима два-шесть-восемь» — код начальника его сектора по Майами...

Скорее всего это означало, что от разведки получены сведения о скором прибытии самолета с контрабандой на борту — большинство своих подвигов таможня осуществляла именно таким образом, — и требовалась помощь Эмслера. Очевидно, потому и следовало пользоваться телефоном вместо рации, чтобы информацию не могли засечь. Значит, надо как можно скорее добраться до телефона.

— Меня вызывают, сеньор Паласиос, — сказал он. — Поэтому я подпишу вашу декларацию, и можете лететь.

Подписывая бумагу, Эмслер не заметил внезапного облегчения, отразившегося на лицах не только пассажиров, но и пилотов. Андерхилл и Мигель переглянулись. Несколько минут тому назад летчик понял, что в ход будет пущено оружие, и сейчас размышлял, не стоит ли потребовать, чтобы пистолеты были сданы ему до взлета. Но выражение лица Мигеля и его ледяной взгляд заставили Андерхилла прикусить язык. Проблем и так хватало, к тому же они опаздывали. Они получат подписанную декларацию и отправятся в путь.

Минуту спустя, направляясь быстрым шагом к ангару № 1, где был телефон, Эмслер услышал, как захлопнулась дверь самолета и заработали двигатели. Он был рад, что этот пустяковый случай остался позади, и пытался представить себе, какой сюрприз ждет его в международном аэропорту Майами. Неужели ему наконец-то представится долгожданный случай раскрыть крупное преступление?

А тем временем «лирджет-55» взял курс на Сион, Перу, и набирал... набирал... набирал... высоту в ночном небе.

* Идиот (исп.).

Часть третья

1

Артур Нэйлсуорт — человек любезный, достойный и известный ныне под именем Дядюшка Артур — был в молодости важной птицей на Си-би-эй. В течение тридцати лет работы на телестанции он занимал самые высокие посты: был заместителем шефа международного отдела, главным выпускающим «Вечерних новостей», исполнительным директором всего Отдела новостей. Затем ветер подул в другую сторону, и когда ему стукнуло пятьдесят шесть, вдруг оказалось, как это часто бывает, что большие посты ему уже не по плечу, и ему предложили на выбор: либо уйти на пенсию, либо перейти на маленькую должность.

В таких случаях большинство людей из гордости подают в отставку. Однако Артур Нэйлсуорт, не страдавший манией величия и умевший принимать жизнь такою, какая она есть, решил остаться на работе — в любой должности. Руководство телестанции, не ожидавшее этого поворота, вынуждено было подыскать ему занятие. И прежде всего наградило его титулом заместителя руководителя Отдела новостей. «Бывшего заместителя, перебирающего бумажки на столе», — как выразился тогда Дядюшка Артур.

Однако неожиданно для себя, а также и для всех своих коллег, Дядюшка Артур нашел себе применение — собственную «благородную стезю». Он занялся набором молодых людей на работу.

Теперь, когда к кому-либо из боссов Си-би-эй обращался покровитель очередного претендента, тот мог ответить: «Конечно, помогу. У нас есть заместитель, который отбирает талантливых молодых ребят. Пусть ваш пареиь позвоннт по такому-то телефону и сошлется на меня — ему будет назначено время для собеседования».

Не было случая, чтобы собеседование не состоялось: Артур Нэйлсуорт принимал в своем крошечном кабинетике без окон всех желающих. Раньше такого не бывало; причем каждое собеседование проводилось обстоятельно, длилось час, а то и дольше...

Теперь, когда Дядюшке Артуру исполнилось шестьдесят пять лет и до официальной пенсии оставалось всего пять месяцев, руководство Отдела новостей собиралось обратиться к нему с просьбой остаться на работе. К всеобщему удивлению, Артур Нэйлсуорт вновь оказался незаменимым.

Итак, утром третьего воскресения в сентябре Дядюшка Артур прибыл в главное здание Си-би-эй, чтобы помочь в поисках Джессики, Николаса и Энгуса Слоунов. В соответствии с указанием Лэса Чиппингема, позвонившего Дядюшке Артуру накануне вечером, он прошел прямо в комнату для совещаний, где его уже ждали Партридж, Рита и Тедди Купер.

Они увидели широкоплечего, невысокого, коренастого мужчину с добрым, круглым лицом и тщательно расчесанными на пробор седыми волосами. Держался он уверенно и непринужденно...

Поздоровавшись со всеми, Дядюшка Артур сказал:

— Если я правильно понял, вам нужно шестьдесят моих самых толковых и способных ребят — если я сумею за короткий срок собрать такую команду. Но для начала не худо было бы услышать, откуда ветер дует.

— Это сделает Тедди, — сказал Партридж. И знаком велел Куперу начинать.

— Мы понимаем, Артур, что это выстрел с дальним прицелом, но в данный момент ничего другого в голову не приходит, — сказал Партридж после того, как Тедди закончил свой рассказ.

— Поверьте моему опыту, — ответил Дядюшка Артур, — когда не за что уцепиться, надо хвататься за любую соломинку — пусть даже это дальний прицел.

— Я рад, сэр, что вы так думаете, — сказал Купер.

Дядюшка Артур кивнул.

— В таких случаях редко находишь то, что ищешь, зато можно неожиданно наткнуться на что-то другое, не менее важное...

Купер проводил Дядюшку Артура в его кабинет, где тот стал раскладывать на столе папки и карточки — их было столько, что на столе не осталось свободного места. Затем Дядюшка Артур начал звонить по телефону — предмет разговоров был один и тот же, но каждый раз он подбирал новые слова, как будто говорил с близкими приятелями.

— ...Слушай, Йан, ты, кажется, хотел попробовать себя в нашем деле, даже если тебе предложат что-то незначительное, так вот, как раз представился такой случай...

Через час, сделав двенадцать звонков, Дядюшка Артур заручился уже семью «верняками» — эти явятся завтра — и одним «по всей вероятности». Он терпеливо продолжал работать по списку.

Тем временем Тедди Купер, вернувшись в комнату для совещаний, принялся за составление плана работы для тех, кто приступит к ней завтра. Вместе с двумя помощниками-добровольцами он изучил вдоль и поперек «Международный ежегодник редакций и издательств», карты и телефонные справочники, выбирая библиотеки и редакции газет, прикидывая маршруты и сроки.

Кроме того, Купер составил подробное описание объекта поиска в помощь ребятам, которым придется переворошить около ста шестидесяти изданий, вышедших за три месяца.

К концу дня Дядюшка Артур сообщил, что пятьдесят восемь его «самых толковых и способных» готовы приступить к работе в понедельник утром.

2

В воскресенье рано утром «лирджет-55» вошел в воздушное пространство провинции Сан-Мартин в малонаселенном районе сельвы, или перуанских джунглей. На борту самолета Джессика, Николас и Энгус все еще спали в гробах.

После пяти часов пятнадцати минут полета из Опа-Локки самолет приближался к пункту своего назначения — взлетно-посадочной полосе в Сионе, проложенной в предгорьях Анд. Было 4.15 утра по местному времени...

Мигель, Сокорро, Рафаэль и Баудельо вздохнули с облегчением, когда шасси самолета, спускавшегося в темноте, коснулись земли. Но с облегчением пришло и осознание того, что начинается новый этап операции. Баудельо, следивший за обстановкой в гробах с помощью контрольных приборов, снизил дозу снотворного, поскольку гробы скоро вскроют и вынут его пациентов, как он мысленно продолжал их называть.

Через несколько минут самолет остановился, двигатели стихли, и Фолкнер пошел открывать дверь. По сравнению с салоном самолета, где поддерживалась определенная температура, живой воздух оказался неожиданно душным и влажным.

Участники операции стали друг за другом сходить по трапу, и по реакции встречавших сразу стало ясно, что Мигель и Сокорро пользуются наибольшим вниманием и уважением.

Группа встречавших состояла из восьми мужчин. Даже в темноте, при слабом освещении видно было, что это крестьяне — крепкие, коренастые, со смуглыми, обветренными лицами. Самый молодой на вид выступил вперед и скороговоркой представился: его звали Густаво.

— Tenemos ordenes de ayudarle cuando lo necesite, señor *. — И повернувшись к Сокорро, добавил с поклоном: — Señora, la destinacion de sus prisioneros será Nueva Esperanza. El viaje será noventa kilometros, la mayor parte por el río. El barko está listo **.

Выходя из самолета, Андерхилл услышал эти слова.

— Каких это узников надо везти девяносто километров на лодке?

Мигелю вовсе не улыбалось, чтобы Андерхилл знал название места,

* Нам велено помогать вам, когда понадобится, сеньор (исп.).

** Сеньора, ваши узники поедут в Нуэва-Эсперанцу. Путь составляет девяносто километров, большей частью по реке. Лодка готова (исп.).

куда они направляются,— Нуэва-Эсперанца. Он и так уже достаточно долго терпел этого нахального пилота: сейчас он припомнил, как в Тетерборо тот встретил их словами: «Вы опоздали, черт побери!»,— да и потом, во время полета, во всем его поведении сквозила враждебность. Теперь, будучи хозяином положения, Мигель презрительно бросил:

— Не твоего ума дело.

— Все, что происходит на борту этого самолета, мое дело,— огрызнулся Андерхилл и взглянул на гробы. До сих пор он внушал себе, что чем меньше будет о них знать, тем лучше. Сейчас же, руководствуясь скорее инстинктом самосохранения, чем здравым смыслом, он решил выяснить все до конца, чтобы обезопасить себя в будущем.— Что там?

Не обращая внимания на летчика, Мигель приказал Густаво:

— Dígale a los hombres que descarguen los ataúdes cui dadosamente sin moverlos demasiado, y que los lleven adentro de la choza *.

— Нет! — раздался возглас Андерхилла. Он загородил вход в самолет.— Вы не вынесете гробы, пока не ответите на мой вопрос.

От жары по его лысине и лицу струился пот.

Мигель встретился глазами с Густаво и кивнул. Тут же произошло какое-то движение, раздался металлический лязг, и Андерхилл увидел нацеленные на него дула шести автоматов...

Оторопев и испугавшись, летчик воскликнул:

— Да Бог с вами, ладно! — Он быстро перевел взгляд на Мигеля.— Твоя взяла. Дай нам только заправиться, и мы уберемся отсюда.

Пропустив эту просьбу мимо ушей, Мигель прорычал:

— Отодвинь задницу от двери!

Андерхилл повиновался. Мигель кивнул еще раз, люди опустили дула, и четверо вошли в самолет за гробами. Второй пилот помог им снять ремни, затем гробы по одному выгрузили и перенесли в небольшую хижину. Бауделью и Сокорро вошли туда следом.

Прошло полтора часа с момента посадки самолета, и сейчас, когда до восхода солнца оставались считанные минуты, яснее стала видна взлетная полоса и местность вокруг. За время стоянки в самолет залили горючее для перелета в Боготу — его перекачали из запасных цилиндров с помощью портативного насоса. Андерхилл искал Мигеля, чтобы сообщить ему об отлете.

Мигель вместе с остальными находится в хижине, сказал ему Густаво. Андерхилл направился туда.

Дверь хижины была приоткрыта; услышав голоса, пилот распахнул ее настежь. И застыл на пороге, потрясенный увиденным.

На грязном полу хижины сидели три человека, привалившись к стене; голова у них бессильно висела, рот был приоткрыт — они были живы, но находились в коматозном состоянии. Два гроба, вынесенных из самолета,— уже без крышек и пустые,— подпирали сидевших с двух сторон, чтобы те не упали. Освещением служила единственная керосиновая лампа.

Андерхилл мгновенно догадался, кто были эти трое. Не понять этого было нельзя. Он каждый день слушал последние известия по американскому радио и читал американские газеты, которые покупал в аэропортах и заграничных отелях. Да и средства массовой информации Колумбии сообщали о похищении семьи известного американского телеобозревателя.

Страх, леденящий душу страх охватил Дениса Андерхилла. Ему и раньше доводилось ходить по лезвию бритвы, так как этого не мог избежать ни один пилот, выполнявший чартерные рейсы в Латинскую Америку и из нее. Но никогда еще он не был замешан в столь чудовищном злодеянии. В ту же секунду ему стало ясно, что, если в США станет известно, какую он сыграл роль в переброске этих людей сюда, ему уготовано пожизненное заключение.

Он чувствовал на себе взгляды троих мужчин и женщины, его бывших пассажиров. Их, видимо, тоже напугало его появление.

В этот момент женщина, сидевшая на полу, очнулась. Она слегка при-

* Скажи людям — пусть выгружают гробы осторожно, не слишком трясут и не ставят на землю (исп.).

подняла голову. Ее глаза, устремленные прямо на Андерхилла, прояснились, и она беззвучно пошевелила губами. Затем с усилием прошептала:

— Помогите... пожалуйста, помогите... скажите кому-нибудь.

Взгляд ее тотчас помутился, и голова упала на грудь.

Из дальнего угла хижины к Андерхиллу метнулась фигура. Это был Мигель. Взмахом руки, сжимавшей пистолет, он указал на дверь.

— Вон отсюда!

Андерхилл вышел в джунгли, Мигель с пистолетом — за ним.

— Я могу прикончить тебя прямо здесь,— процедил Мигель.— Никто и ухом не поведет.

У Андерхилла внутри как будто все окаменело. Он пожал плечами.

— Ты и так меня прикончил, ублюдок. Ты втянул меня в эту историю с похищением, и теперь мне все едино...

Он надеялся, что парень выстрелит в упор. Тогда все произойдет быстро и безболезненно... Ну что же он тянет? Внезапно, хотя Андерхилл и подготовил себя к смерти, панический ужас овладел им. И невзирая на то, что с него градом лил пот, его начала бить дрожь. Он открыл было рот, чтобы взмолиться о пощаде, но рот тут же наполнился слюной, и Андерхилл не смог выговорить ни слова.

Однако человек, наставивший на него дуло, почему-то колебался.

А Мигель и в самом деле колебался. Если он пристрелит пилота, тогда надо пристрелить и второго, значит, самолет не улетит, а это уже никому не нужное осложнение. Мигель знал также, что у колумбийца, которому принадлежал самолет, есть друзья в «Медельинском картеле». Владелец самолета мог поднять шум...

Мигель поставил пистолет на предохранитель. И произнес угрожающе:

— Может, тебе просто показалось, что ты что-то видел? А? Или ты все-таки ничего не видел во время путешествия?

Андерхилла осенило: **как он сразу не догадался — ему же дают шанс.** И он, задыхаясь, торопливо произнес:

— Конечно, не видел. Ничегошеньки.

— А теперь выметайся отсюда со своим паршивым самолетом,— рявкнул Мигель,— и прикуси язык. Если протреплешься, из-под земли достану и убью, даю слово. Понял?

Вздрогнув от облегчения и осознав, что впервые он был на волосок от смерти и что угроза Мигеля — дело серьезное, Андерхилл кивнул.

— Понял.— Затем повернулся и зашагал к взлетной полосе.

Утренний туман и рваные облака висели над джунглями. Прорезая их, самолет набирал высоту...

Андерхилл автоматически выполнял то, что от него требовалось, поглощенный мыслями о своем будущем.

Он был уверен, что Фолкнер, сидевший рядом, не видел похищенных Слоунов и ничего не знает о роли Андерхилла в этом деле и о том, что произошло несколько минут назад. Пусть так все и останется... Тогда Фолкнер сможет присягнуть, что и Андерхилл ничего не знал...

Поверят ли ему? Возможно, и не поверят, но это **неважно** — Андерхилл начал постепенно успокаиваться. **Покуда не отыщется свидетель, способный доказать обратное, это не будет иметь никакого значения.**

Он вспомнил про обратившуюся к нему женщину. Кажется, по радио сообщали, что ее зовут Джессика. А вот она не вспомнит его? Не сумеет ли потом опознать? Судя по тому, в каком она была состоянии,— вряд ли. Да и живой-то ей из Перу, пожалуй, не выбраться.

Он подал знак Фолкнеру сменить его у пульта. И откинулся в кресле — на лице его появилось слабое подобие улыбки.

Андерхиллу ни на секунду не пришла в голову мысль, что Слоунов могут спасти. Не собирался он и сообщать властям, кто и где их держит.

3

Не прошло и трех дней, как группа поиска на Си-би-эй добилась существенных результатов.

В Ларчмонте был опознан известный колумбийский террорист Улисес

Родригес — один из похитителей семьи Слоуна и возможный главарь операции.

В воскресенье утром, как и было обещано накануне, карандашный портрет Родригеса, сделанный двадцать лет назад его однокашником в университете Беркли, был доставлен на Си-би-эй. Карл Оуэнс, раскрывший имя Родригеса благодаря своим связям в Боготе и в иммиграционной службе США, получил рисунок в руки и отправился с ним в Ларчмонт. С ним была операторская группа и срочно вызванный корреспондент из Нью-Йорка.

Оуэнс попросил корреспондента показать перед камерой шесть фотографий бывшей учительнице Присцилле Ри, свидетельнице похищения на автомобильной стоянке у супермаркета. Одна из них была фотокопией изображения Родригеса, остальные пять были изъяты из досье сотрудников телестанции, имевших внешнее сходство с Родригесом. Мисс Ри без колебаний указала на Родригеса.

— Вот он. Это он крикнул, что они снимают фильм. Здесь он выглядит моложе, но это он. Я узнаю его, где угодно...

В воскресенье поздно вечером четверо членов группы поиска провели совещание... Оуэнс настаивал, чтобы информация пошла в выпуске «Вечерних новостей» в понедельник.

Партридж колебался, но Оуэнс с жаром доказывал:

— Слушай, Гарри, пока этой информацией владеем только мы. Мы же всех переплюнули... Но если будем тянуть, весть о Родригесе просочится наружу, и мы упустим первенство. Ты не хуже меня знаешь — у людей языки длинные. Эта женщина из Ларчмонта, Ри, может рассказать кому-нибудь, и пойдет, и пойдет. Даже наши могут проболтаться, и тогда информацию перехватит другая телестанция.

— Я того же мнения, — сказала Айрис Иверли. — Гарри, ты же хочешь, чтобы я завтра с чем-то выступила. А кроме Родригеса, у меня ничего нового нет.

— Знаю, — сказал Партридж. — Я и сам склоняюсь к этому, но есть несколько причин, чтобы повременить. Я определюсь к завтрашнему дню.

Остальным пришлось этим удовольствоваться.

Про себя же Партридж решил: Кроуфорд Слоун обязательно должен узнать о том, что им удалось выяснить... Несмотря на поздний час — а было около десяти вечера, — Партридж отправился к Слоуну домой. Звонить он, разумеется, не мог. Все телефонные разговоры Слоуна прослушивались ФБР, а Партридж еще не был готов предоставить ФБР новую информацию.

Из своего временного личного кабинета Партридж вызвал машину с шофером к главному входу здания.

— Спасибо, что приехал и рассказал, Гарри, — сказал Кроуфорд Слоун, после того как Партридж все ему выложил. — Вы собираетесь выйти с этим завтра в эфир?

— Не уверен. — Партридж высказал все свои соображения «за» и «против», добавив: — Утро вечера мудренее.

Они сидели в гостиной со стаканами в руках. Здесь четыре вечера назад, подумал Слоун, и сердце его сжалось, он, вернувшись с работы, разговаривал с Джессикой и Николасом...

— Каково бы ни было твое решение, — сказал Слоун, — я его поддержу. Как ты думаешь, тебе еще не пора вылетать в Колумбию?

Партридж отрицательно покачал головой.

— Пока нет, пойми: Родригес — наемник. Он орудует по всей Латинской Америке и Европе. Поэтому я должен еще кое-что выяснить, в частности, где проводится эта операция. Завтра я опять засяду за телефон. Остальные тоже.

В первую очередь Партридж намеревался позвонить адвокату, связанному с организованной преступностью; Партридж говорил с ним в пятницу, но тот до сих пор не перезвонил. Интуиция подсказывала Партриджу, что Родригес — как и всякий, кто действует подобным образом на территории США, должен непременно войти в контакт с преступными кругами...

— Куда ехать, мистер Партридж? — спросил шофер Си-би-эй.

Было около полуночи, и Партридж устало ответил:

— В отель «Интерконтинентл», пожалуйста...

— Приехали, мистер Партридж.

Партриджу показалось, что он только на минуту закрыл глаза, но они уже успели доехать до Манхэттена и остановились на Сорок восьмой улице у входа в «Интерконтинентл». Он поблагодарил шофера, пожелал ему спокойной ночи и вошел в отель.

Поднимаясь в лифте, он понял, что уже понедельник — начиналась неделя, которая могла стать решающей.

4

Джессика изо всех сил боролась с оцепенением, она пыталась стряхнуть с себя сонливость и сообразить, что происходит, но ей это плохо удавалось. В минуты прояснения она видела людей и ощущала собственное тело, то есть боль, неудобство, тошноту и сильную жажду. В такие моменты ее охватывала паника — в голове колотилась только одна мысль: «Никки! Где он? Что случилось?» Затем вдруг все куда-то уплывало, заволакивалось туманной дымкой, мозг отказывался подчиняться, и она даже не понимала, кто она...

Однако, периодически погружаясь в забытье и вновь приходя в сознание, она все же фиксировала в памяти обрывочные впечатления. Она чувствовала, что какой-то предмет исчез с ее руки, и в той точке, где он находился, теперь пульсировала боль. В минуты просветления она вспоминала, что ей помогли встать оттуда, где она лежала, потом под руки — она еле волочила ноги — ее привели и посадили сюда, кажется, на что-то гладкое. Она сидела, привалившись спиной к чему-то твердому, но никак не могла понять, к чему именно.

В промежутках между этими полумыслями ее опять захлестывал панический страх, и тогда она твердила себе: «Не теряй самообладания!» Она знала, что это сейчас главное.

Но одно воспоминание было отчетливым: внезапно возникшее перед ней лицо человека. Его образ прочно врезался ей в память. Высокий, лысоватый, держится прямо и уверенно. Именно это впечатление уверенности побудило ее заговорить с ним, попросить о помощи. Она видела, как он вздрогнул при звуке ее голоса — это тоже задержалось в памяти после того, как человек исчез. Но расслышал ли он ее мольбу? Вернется ли он, чтобы помочь?.. **О, Господи! Кто знает?!**

Сейчас... к ней вновь пришло сознание. Уже другой человек склонился над ней... Стоп! Она видела его раньше, узнала это мертвенно-бледное лицо... Да! Всего несколько минут назад она отчаянно сопротивлялась, зажав в руке нож, она полоснула его по лицу, увидела, как брызнула кровь... Но почему крови уже нет? Когда он успел наложить повязку?

В сознании Джессики долгий период забытья не зафиксировался...

Она вспомнила: **он что-то сделал с Никки...** Бешеная ярость спровоцировала выброс адреналина — она опять могла двигаться. Она протянула руку и сорвала пластырь. Ее ногти впились мужчине в щеку, содрали с раны корочку.

Вскрикнув от неожиданности, Бауделько отскочил от Джессики. Приложил руку к щеке и увидел, что она в крови... Вот сволочная баба! Опять расцарапала ему лицо. Все это время он непроизвольно думал о себе как о враче, а о ней — как о пациентке, но не сейчас! В злобе он сжал кулак и изо всей силы ударил ее...

Рядом с ним возникла Сокорро, и он попросил ее принести воды. Она кивнула и отправилась на поиски. Бауделько знал, что — как это ни странно — питьевая вода в этих почти безлюдных, дождливых джунглях является проблемой. Многочисленные ручьи и реки отравлены химикалиями: серной кислотой, керосином и прочими побочными продуктами, используемыми при переработке листьев кокаинового куста в кокаиновую пасту — основной элемент кокаина. Кроме того, можно было подхватить малярию или тиф, поэтому даже нищие крестьяне пьют безалкогольные напитки или пиво, а если воду, то кипяченую.

Мигель вошел в хижину в тот момент, когда Джессика вцепилась в Бауделько, и слышал, о чем Бауделько попросил Сокорро. Он крикнул ей вслед:

— Раздобудь какие-нибудь веревки и свяжи им всем руки за спи-

ной.— Затем, повернувшись к Бауделью, Мигель приказал: — Готовь заложников к переезду. Сначала поедем на грузовике, потом все пойдут пешком.

Джессика все слышала — она уже только притворялась, что находится без сознания.

Удар Бауделью сослужил ей хорошую службу. Болевой шок вывел ее из состояния полузабытья. Она уже понимала, кто она, и постепенно к ней возвращалась память. Но, повинуясь инстинкту самосохранения, она молчала...

Никки! Все ли с ним в порядке? Где он сейчас?

Слава Богу! Никки рядом. Он зевал и то открывал, то закрывал глаза.

А Энгус? Энгус сидел за Никки с закрытыми глазами, но видно было, что он дышит.

Спрашивается, зачем их всех захватили? Она решила, что с ответом на этот вопрос надо повременить.

Вопрос более существенный: **где они находятся?** Оглядевшись по сторонам, Джессика увидела, что они в небольшой полутемной комнате без окон — освещением служила керосиновая лампа. **Почему здесь нет электричества?** Похоже, они сидели на земляном полу; она почувствовала, что по ней ползают насекомые, но постаралась об этом не думать. Было невыносимо душно и сыро — странно, ведь сентябрь в этом году выдался на редкость прохладный, и перемены погоды не обещали...

Ее размышления прервали голоса...

— Эта дрянь притворяется, — сказал Мигель.

— Знаю, — откликнулся Бауделью. — Она пришла в созиание и думает, она самая хитрая. Она слышала все, о чем мы говорили.

Мигель сильно пнул Джессику в ребра.

— Вставай, сука! Надо идти в другое место.

Джессика скорчилась от боли и, поскольку продолжать притворяться уже не имело смысла, подняла голову и открыла глаза. Она узнала обоих мужчин, смотревших на нее сверху вниз: один с раной на щеке, другого она успела заметить в пикапе. Во рту у нее пересохло, и голос сел, но ей все же удалось выговорить:

— Вы пожалеете об этом. Вас поймают. И накажут.

— Молчать! — Мигель еще раз пнул ее, уже в живот. — Запомни: открывать рот, только когда тебя спрашивают.

Она услышала, как рядом зашевелился Никки, потом спросил:

— Что случилось? Где мы? — в голосе его звучала та же паника, какую испытала она сама.

Ему тихо ответил Энгус:

— Сдается мне, старина, нас похитили какие-то изрядные мерзавцы. Но не падай духом! Крепись! Твой папа отыщет нас.

Джессику еще не отпустила боль от удара сапогом; она почувствовала ладошку на своей руке, и Никки нежно спросил:

— Мамочка, как ты?..

— Ты тоже не смей рта открывать, придурок! Запомни это! — рявкнул Мигель.

— Обязательно запомнит, — проговорил Энгус; в голосе его, сухом и надтреснутом, звучало презрение. — Кто же забудет такого храбреца, который может пнуть беззащитную женщину и обидеть ребенка? — Старик попытался встать.

Джессика прошептала:

— Энгус, не надо. — Она понимала, что в их положении ничто не поможет, а грубость только обозлит мучителей.

Энгус, с трудом сохраняя равновесие, поднялся на ноги. Тем временем Мигель, оглядев хижину, схватил толстую ветку, валявшуюся на полу. И подскочив к Энгусу, принялся осыпать его ударами по голове и по плечам. Старик повалился на спину; один глаз у него, по которому пришелся удар, закрылся, и Энгус застонал от боли.

— Это всем вам урок! — гаркнул Мигель. — Попридержите языки. — Он повернулся к Бауделью. — Готовь их к переходу.

Сокорро принесла воду в оплетенном кувшине и длинную грубую веревку.

— Прежде им надо дать воды, — сказал Бауделью. И добавил с оттенком раздражения: — Если хочешь, чтобы они остались живы.

— Сначала свяжите им руки, — приказал Мигель. — Хватит с меня неприятностей.

Он с мрачным видом вышел из хижины. Солнце уже всходило, и влажный зной становился невыносимым.

Джессика все больше недоумевала по поводу того, где же они находятся.

Несколько минут назад ее, Никки и Энгуса вывели, как она теперь видела, из грубо сколоченной хижины и усадили в грязный кузов открытого грузовика среди корзин, ящиков и мешков. Их подвели к грузовику уже со связанными за спиной руками, и несколько человек втолкнули их в кузов через откидной борт. С полдюжины пестро одетых мужчин, которых можно было бы принять за крестьян, если бы не ружья, влезли следом: за ними влез Порезанный, как окрестила его про себя Джессика, и еще один, которого она мельком видела раньше. После чего борт подняли и закрепили.

Пока это все происходило, Джессика разглядывала местность, стараясь не упустить ни одной мелочи, но это ничего не дало. Никаких построек поблизости не было — кругом только густые заросли да проселочная дорога, которую и дорогой-то с трудом можно было назвать. Джессика попыталась подглядеть номер грузовика, но если на нем и была номерная табличка, то ее закрывал откидной борт.

Физически Джессика почувствовала себя лучше после того, как ей дали воды. Никки и Энгус тоже сделали по глотку, прежде чем их вывели из хижины...

Передохнув между глотками воды, которой ее поила Сокорро из побитой алюминиевой кружки, Джессика прошептала, взывая к женской солидарности:

— Спасибо за воду. Умоляю вас, скажите, где мы и почему?

Реакция была неожиданно резкой. Поставив кружку, женщина отвесила Джессике две звонких пощечины такой силы, что Джессика едва не упала.

— Ты же слышала приказ, — прошипела женщина. — ¡Silencio! *. Еще слово, и не получишь воды целый день.

После этого Джессика уже не раскрывала рта. Молчали и Никки с Энгусом.

А женщина села в кабину грузовика рядом с шофером, и тот завел мотор. Там же сидел человек, пнувший Джессику... Она слышала, как кто-то назвал его Мигелем — похоже, он был здесь главным. Грузовик тронулся, подскакивая на ухабах.

Стояла жара — даже в хижине было прохладнее. Со всех градом лил пот. **Где же все-таки они находятся?..**

Пытаясь найти ключ к разгадке, Джессика стала прислушиваться к разговору вооруженных охранников. Она определила, что они говорят по-испански, — этот язык Джессика немного понимала на слух...

Она взглянула на Никки, и все мысли сразу вылетели у нее из головы. Когда грузовик тронулся, Никки не сумел из-за связанных рук удержаться прямо — он сполз по борту вниз, и теперь на каждом ухабе голова его ударялась о дно кузова.

Джессика пришла в ужас; не в силах помочь, она уже готова была нарушить молчание и обратиться к Порезанному, но тут один из охранников встал и шагнул к Никки. Он приподнял мальчика и прислонил спиной к мешку так, чтобы тот мог упереться ногами в ящик и больше не соскальзывать на пол. Джессика попыталась выразить свою благодарность взглядом и полуулыбкой. В ответ мужчина едва заметно кивнул. По крайней мере она убедилась, что среди этих бессердечных людей есть хоть один, способный на сострадание.

Мужчина сел рядом с Никки. И пробормотал какие-то слова, которые

---

* Молчок! (исп.).

Никки, недавно начавший изучать испанский в школе, как будто понял. За время пути мужчина и мальчик еще раза два перекинулись фразами.

Примерно через двадцать минут, там, где дорога обрывалась и начиналась сплошная чаща, они остановились. Джессику, Никки и Энгуса наполовину вытолкнули, наполовину сбросили с грузовика. Они уже стояли на земле, когда со стороны кабины к ним подошел Мигель и коротко объявил:

— Отсюда пойдем пешком.

Густаво и двое людей с автоматами пошли первыми по неровной, едва различимой тропе, прокладывая путь среди густых зарослей. Им приходилось продираться сквозь ветви и листья, и, хотя деревья давали густую тень, было невыносимо жарко, а в воздухе стоял непрерывный гул насекомых.

Иногда узники оказывались рядом. Улучив момент, Никки тихо сказал:

— Мы идем к реке, мам. Дальше нас повезут в лодке.

Джессика спросила шепотом:

— Это тебе сказал тот человек?

— Да...

Чуть позже Никки спросил:

— Дед, как дела?

— В старой собаке еще теплится жизнь.— Пауза. Потом: — Джесси, ты-то как?

Когда выпала следующая возможность, она сказала:

— Я все пытаюсь определить, где мы. В Джорджии? В Арканзасе? Где?

Ответ дал Никки:

— Они увезли нас из Америки, мам. Этот человек сказал мне. Мы в Перу.

5

Был понедельник, 9.39 утра. В течение последнего получаса шестьдесят молодых людей и девушек—тех и других почти поровну—были оформлены на временную работу на телестанцию Си-би-эй. К этому времени все они собрались в здании, принадлежащем Си-би-эй и расположенном в квартале от основного здания.

Почти всем им было немногим больше двадцати, они недавно окончили университеты и имели хорошие дипломы. Они прекрасно владели пером, стремились отличиться и прорваться в телебизнес.

Примерно треть группы составляли черные, на одного из них — Джонатана Мони—Дядюшка Артур посоветовал Куперу обратить особое внимание.

— По-моему, координатором стоит назначить Джонатана,—порекомендовал старик.—Окончил Школу журналистики Колумбийского университета, работает официантом, так как нуждается в деньгах. Если наши мнения о нем совпадут, то когда все это останется позади, может быть, нам удастся как-нибудь протащить его на Си-би-эй.

Через некоторое время Купер попросил Мони сделать два телефонных звонка. Мони кивнул и исчез. Вернулся он очень скоро.

— Порядок, мистер Купер. Оба согласились.

Это было десять минут назад. А сейчас Тедди Купер выступал перед молодежью со вступительной речью:

— Так вот, речь идет о похищении, о котором вы, разумеется, слышали,—похищении миссис Кроуфорд Слоун, Николаса Слоуна и мистера Энгуса Слоуна. Вам предстоит архиважная работа, которая может облегчить участь заложников. Отсюда вы разойдетесь по редакциям местных газет и библиотекам и поднимете там подшивки за последние три месяца. Учтите, что газеты надо не просто читать, а, подобно Шерлоку Холмсу, искать в них—после того, как я сообщу вам отправные данные,—ключ к разгадке, ключ, который может навести нас на след похитителей...

Вам не обязательно являться сюда в конце каждого дня, но докладывать по телефону вы должны во что бы то ни стало—номера телефонов мы вам дадим; если наткнетесь на что-то важное, звоните немедленно.

Теперь, когда Тедди Купер принял решение рассказать этим ребятам все начистоту, ему было легко объяснить им, что от них требуется... Конечно, здесь был определенный риск. О замысле Си-би-эй могли пронюхать конкуренты, например, другая телекомпания, и либо предать его огласке, либо перехватить идею. Купер собирался предупредить молодых людей, чтобы помалкивали насчет затеи Си-би-эй. Он надеялся, что его доверие будет оправдано. Он обвел взглядом аудиторию—все сосредоточенно слушали, многие записывали; нет, ребята не подведут.

Купер поглядывал на входную дверь. По его просьбе Джонатан Мони позвонил Гарри Партриджу и Кроуфорду Слоуну и попросил ненадолго появиться. Купер был рад слышать, что оба согласились.

Они вошли вместе. Купер как раз описывал предполагаемую конспиративную квартиру похитителей, он остановился на полуслове и указал на дверь. Все одновременно повернули голову...

В знак уважения к гостям Купер сошел с кафедры.

Слоун, будто кафедры тут и не было, подошел прямо к рядам стульев. Лицо его было серьезным.

— Леди и джентльмены, может быть, в ближайшие несколько дней кто-то из вас в процессе предстоящей работы сумеет непосредственно помочь благополучному возвращению моей жены, сына и отца. Если судьба нам улыбнется и это произойдет, не сомневайтесь, я лично разыщу вас, чтобы отблагодарить. А пока спасибо, что пришли, желаю успеха. И удачи нам всем.

Слоун попрощался и ушел так же скромно, как появился. Партридж, обменявшись рукопожатиями и поговорив с некоторыми из присутствующих, вышел следом.

А Купер продолжил инструктаж новоявленных сыщиков, обрисовывая, что надо искать... В заключение он высказал несколько идей, которые тщательно обдумал накануне ночью и еще ни с кем не обсуждал:

— Я прошу вас не только просматривать объявления насчет помещений, но и пролистать за эти три месяца все страницы в газетах—ищите что-нибудь необычное. Не спрашивайте меня, что именно — я и сам не знаю. Но помните: похитители, по нашему предположению, пробыли в этом районе около месяца, может быть, двух. За такой срок, как бы они ни осторожничали, они могли допустить какую-нибудь мелкую оплошность—другими словами, наследить. Возможно, эта оплошность каким-то образом попала в газеты.

— Звучит весьма многообещающе,—раздался чей-то голос.

Тедди Купер кивнул.

— Согласен: один шанс из тысячи, что такое произошло, да еще и просочилось в прессу, такова же вероятность, что кто-то из вас на подобное сообщение наткнется. Да, ситуация против нас. Но не забывайте, чей-то лотерейный билет всегда выигрывает, хотя шансов один на миллион. Могу сказать вам только одно: думайте, думайте и еще раз **думайте!** Ищите усердно и с умом. Включите воображение. Мы вас пригласили, потому что считаем сообразительными, докажите это. Разумеется, ваша первоочередная задача — объявления о сдаче внаем, но имейте в виду и другие возможные варианты.

Еще раньше в то утро, как только начался рабочий день, Гарри Партридж позвонил своему знакомому адвокату, имеющему клиентов в среде организованной преступности. Тот был не слишком любезен.

— А, это вы. Я обещал в пятницу, что попытаюсь аккуратно навести справки,—я пытался дважды, безрезультатно. Только не надо садиться мне на шею.

— Прошу прощения, если я...—начал было Партридж, но адвокат не дал ему договорить.

— Вы, телевизионные ищейки, никак не можете понять, что в данном случае я рискую головой. Люди, с которыми я имею дело, мои клиенты, доверяют мне, и я не собираюсь терять их доверие. Я-то знаю, что им плевать на чужие проблемы, какими бы серьезными эти проблемы ни казались вам или Кроуфорду Слоуну.

— Я все понимаю, — запротестовал Партридж. — Но это же похищение и...

— Закройте рот и слушайте! Во время нашего последнего разговора я выразил уверенность в том, что никто из моих клиентов не только не совершал похищения, но и не имеет к нему ни малейшего отношения. Я по-прежнему стою на своем. Но мне приходится пробираться по минному полю, убеждая каждого, что если ему что-то известно или до него дошли какие-то слухи, то ради своей же пользы стоит этим поделиться.

— Послушайте, я же сказал, я приношу извинения, если...

Адвокат гнул свое:

— Такие вещи с помощью бульдозера или скорого поезда не решишь. Понятно?

— Понятно, — подавив вздох, сказал Партридж.

Голос адвоката смягчился.

— Дайте мне еще несколько дней. И не звоните — я позвоню сам.

Повесив трубку, Партридж подумал, что хотя знакомые — люди полезные, их не обязательно любить.

В то утро, еще до появления на Си-би-эй, Партридж принял решение о том, включать или не включать в «Вечерние новости» информацию о связи известного колумбийского террориста Улисеса Родригеса с похищением семьи Слоуна.

Решение его было таким: попридержать новость.

После встречи с ребятами Купера Партридж отправился разыскивать группу поиска, чтобы сообщить им о своем решении. В комнате для совещаний он застал Карла Оуэнса и Айрис Иверли, которым изложил свои аргументы.

— Подумайте сами. Сейчас Родригес — единственная ниточка, за которую мы можем ухватиться, и ему это не известно. Если мы сообщим об этом во всеуслышанье, скорее всего это дойдет до самого Родригеса, и мы срубим сук, на котором сидим.

— Неужели это имеет значение? — с сомнением спросил Оуэнс.

— Полагаю, что да. Все факты говорят за то, что Родригес действует под прикрытием, мы же заставим его вообще залечь на дно. Не мне вам объяснять, что в этом случае у нас практически не останется шансов выяснить, где он, а значит, и Слоуны.

— Я все понимаю, — сказала Айрис, — но, Гарри, неужели ты думаешь, что такая сенсационная новость, о которой знают, как минимум, десять человек, будет лежать в кубышке, пока мы не созреем? Не забывай, что лучшие силы всех телекомпаний и всех газет брошены на расследование этого преступления. Не позднее чем через двадцать четыре часа знать будут все.

К ним присоединились Рита Эбрамс и Норман Джегер; они сели и стали слушать.

— Может быть, ты и права, — сказал Партридж, обращаясь к Айрис, — но думаю, нам придется на это пойти. — И добавил: — Терпеть не могу изрекать прописные истины, но, по-моему, иногда нам стоит помнить, что выпуск новостей — не чаша Грааля. Если какое-то сообщение ставит под угрозу жизнь и свободу людей, сенсационность должна отступать на второй план.

— Мне вовсе не хочется казаться ханжой, — вставил Джегер, — но в данном случае я на стороне Гарри.

— Есть еще одно обстоятельство, — сказал Оуэнс. — ФБР. Если мы утаим от них информацию, у нас могут быть неприятности.

— Я думал об этом, — признался Партридж, — и решил: пусть будет, как будет. Если вас это беспокоит, напоминаю: ответственность несу я. Как только мы посвятим в это ФБР, они запросто могут выболтать все журналистам — это мы уже знаем по опыту, — и тогда плакала наша сенсация...

Тем не менее, поскольку вопрос имел принципиальное значение, Партридж счел необходимым известить о своем решении Лэса Чиппингема и Чака Инсена.

Шеф Отдела новостей, который принял Партриджа в своем обшитом деревом кабинете, в ответ лишь пожал плечами и сказал:

— Ты несешь ответственность за решения группы поиска, Гарри, мы доверяем твоей компетентности, иначе бы ты не возглавил группу. Но все равно спасибо, что проинформировал.

Ответственный за выпуск «Вечерних новостей» сидел на своем месте во главе «подковы». Его глаза заблестели, когда Патридж начал рассказывать.

— Это интересно, Гарри, прекрасная работа. Как только мы получим от тебя добро, материал пойдет первым номером. Но, разумеется, не раньше, чем ты сочтешь возможным.

Теперь Партридж мог снова сесть за телефон, и он отправился в свой новый кабинет.

Он вновь раскрыл свою синюю записную книжку, но если на прошлой неделе он связывался в основном с американцами, то сегодня звонил своим знакомым в Колумбии и соседствующих с ней странах — Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Перу и даже Никарагуа. Всюду, откуда он часто вел репортажи для Си-би-эй, у него были знакомые, которые ему помогали и которым он оказывал ответные услуги.

Сегодняшний день отличался от предыдущих еще и тем, что в распоряжении Партриджа была информация о Родригесе — в связи с этим возникало сразу два вопроса: **Знаете ли вы террориста по имени Улисес Родригес; если да, можете ли вы предположить, где он и чем, по слухам, сейчас занят?**

Хотя в пятницу Карл Оуэнс и разговаривал со своими людьми в Латинской Америке, знакомые у них, по мнению Партриджа, были разные, что неудивительно, поскольку редакторы и журналисты держат свои источники информации в тайне.

Сегодня почти все ответы на первый вопрос были утвердительными, на второй — отрицательными. Подтверждались сведения, добытые ранее Оуэнсом: Родригес действительно пропал три месяца назад и с тех пор нигде не появлялся... Однако во время разговора Партриджа с давним колумбийским приятелем, радиокорреспондентом из Боготы, всплыла одна любопытная деталь.

— Где бы он ни был, — сказал репортер, — голову даю на отсечение, что он за границей. Хоть он и ухитряется скрываться от властей, он все же колумбиец, и его тут слишком хорошо знают, поэтому если бы он объявился, об этом бы скоро пошли разговоры. Так что готов поклясться — его здесь нет...

Дальше следовало Перу. Один из разговоров заставил Партриджа призадуматься.

Он разговаривал с другим своим старым знакомым, Мануэлем-Леоном Семинарио, владельцем и редактором еженедельного журнала «Эсцена», выходившего в Лиме.

Когда Партридж представился, Семинарио сразу взял трубку...

— А, мой дорогой Гарри. Как я рад тебя слышать! Где ты? Надеюсь, в Лиме.

Узнав, что Партридж звонит из Нью-Йорка, Семинарио огорчился.

— А я-то думал, мы пообедаем завтра в «Пиццерии». Уверяю тебя, кормят там, как всегда, замечательно. Почему бы тебе не сесть в самолет и не прилететь?

— Мануэль, я бы с удовольствием. Но по уши занят очень важной работой. — Партридж объяснил, какова его роль в группе поиска похитителей семьи Слоуна.

— Господи! Как это я сразу не догадался! Это ужасно. Мы внимательно следим за ходом событий и в следующем номере посвящаем этому целую страницу. Нет ли у тебя для нас чего-нибудь нового по этой части?

— Кое-что есть, — сказал Партридж, — потому и звоню. Но пока мы держим это в тайне, и мне бы хотелось, чтобы этот разговор остался между нами.

— Хорошо... — Ответ был уклончивым. — Если мы этой информацией сами не располагаем.

— Мы же доверяем друг другу, Мануэль. Твое условие принимается. Значит, договорились?

— Раз так, договорились.

— У нас есть основания считать, что здесь замешан Улисес Родригес.

Последовало молчание, затем владелец журнала тихо произнес:

— Ты назвал скверное имя, Гарри. Здесь его произносят с отвращением и страхом.

— Почему со страхом?

— Считается, что этот человек руководит похищениями, он тайком проникает в Перу из Колумбии и обратно, работая на кого-то здесь. Так действуют наши уголовно-революционные элементы. Как тебе известно, сейчас в Перу похищение стало чуть ли не образом жизни. Процветающие бизнесмены и их семьи — самая популярная мишень. Многие из нас нанимают телохранителей и ездят в бронированных машинах, надеясь, что это поможет.

— Я знал об этом, — сказал Партридж, — но как-то упустил из виду.

Семинарио громко вздохнул.

— Не ты один, мой друг. Внимание западной прессы к Перу, мягко говоря, не слишком велико. А что касается вашего телевидения, так оно нас просто игнорирует, как будто нас и в помине нет.

Партридж понимал, что в этих словах есть доля истины. Он и сам не знал, почему американцы интересовались Перу меньше, чем другими странами. Вслух он произнес:

— Ты не слышал разговоров о том, что Родригес в Перу на кого-то работает или работал некоторое время тому назад?

— Вообще-то... нет.

— Ты сомневаешься, или мне показалось?

— К Родригесу это не относится. Я ничего не слышал, Гарри. Иначе я бы тебе сказал.

— Тогда в чем дело? .

— В течение нескольких недель на уголовно-революционном фронте, как я его называю, какое-то странное затишье. Почти ничего не происходит. Ничего существенного.

— Ну и что?

— Я наблюдал такие симптомы и раньше. На мой взгляд, они характерны только для Перу. Затишье часто означает, что готовится какая-то крупная операция. Обычно это что-нибудь отвратительное и неожиданное. — Внезапно Семинарио заговорил быстро и деловито: — Дорогой Гарри, рад был тебя слышать, молодец, что позвонил. Но «Эсцена» по мановению волшебной палочки не выйдет, а потому мне пора идти. Приезжай навестить меня в Лиме и помни: приглашение на обед в «Пиццерию» остается в силе.

Весь день у Партриджа из головы не выходила фраза: «Затишье часто означает, что готовится какая-то крупная операция».

6

По воле обстоятельств в тот же день, когда Гарри Партридж разговаривал с владельцем и редактором журнала «Эсцена», перуанские проблемы обсуждались на закрытом заседании правления «Глобаник индастриз Инк», владевшего телекомпанией Си-би-эй. Подобные встречи созывались два раза в год, продолжались по три дня и представляли собой «мастерскую по выработке политики», которой руководил председатель правления и директор концерна Теодор Эллиот. Присутствовали только директора девяти дочерних компаний концерна — все это были крупные фирмы с собственными филиалами.

Во время таких встреч происходил конфиденциальный обмен информацией и раскрывались секретные планы — иногда от них зависела судьба конкурентов, вкладчиков и рынков всего мира. На этих переговорах на бумагу никогда не заносилась повестка дня и не велись протоколы. Система безопасности была строжайшей — перед началом заседаний при помощи специальной электронной аппаратуры проверяли, нет ли в конференц-зале подслушивающих устройств.

За дверями зала — в сам зал они никогда не приглашались — постоянно работала группа помощников, человек пять-шесть от каждой дочерней компании, обеспечивавших своего шефа необходимыми данными и консультациями.

Место проведения встреч почти всегда было одно и то же. На сей раз, как обычно, это был клуб «Фордли-кэй», недалеко от Нассау на Багамских островах.

«Фордли-кэй», один из самых фешенебельных частных клубов в мире, где к вашим услугам были и яхты, и поле для гольфа, и теннисные корты, и белые песчаные пляжи, предоставлял свои дорогостоящие удобства группам особо важных лиц. Многочисленные собрания были здесь verboten *, коммерсанты в «Фордли-кэй» не допускались.

Стать постоянным членом этого клуба было делом нелегким — многие претенденты занесенные в список, подолгу дожидались своей очереди, некоторые — напрасно. Теодор Эллиот недавно вступил в клуб, на что ему потребовалось два года.

Встречая участников, прибывших накануне, Эллиот чувствовал себя здесь хозяином; особенно любезен он был с женами директоров «Глобаник», которые будут появляться только на приемах, а также во время перерывов — для партии в теннис, гольф или морской прогулки. Сегодня первое утреннее заседание проходило в небольшой, уютной библиотеке с глубокими креслами, обтянутыми бежевой кожей, и с узорчатым ковром во весь пол. В промежутках между книжными шкафами стояли горки с мягкой подсветкой, где были выставлены серебряные спортивные трофеи. Над камином, в котором редко разводили огонь, висел портрет основателя клуба, озарявшего лучезарной улыбкой маленькую компанию избранных. .

Тео Эллиот был классическим красавцем — высокий, стройный, широкоплечий, с волевым подбородком и густой шевелюрой совершенно седых волос. Седина служила напоминанием о том, что через пару лет шеф-председатель достигнет пенсионного возраста и почти наверняка его сменит один из присутствующих.

Учитывая, что некоторые директора компаний были уже в летах и не могли претендовать на этот пост, реальных кандидатур было три. Одна из них — Марго Ллойд-Мэйсон.

Марго помнила об этом, когда в начале заседания делала доклад о положении дел на Си-би-эй...

Она упомянула о недавнем похищении семьи Кроуфорда Слоуна. И придирчивый орегонец по фамилии Девитт, глава компании «Интернэшнл форест продактс», тотчас произнес:

— Скверная история, и все мы надеемся, что этих мерзавцев поймают. Однако благодаря ей ваша телестанция приобрела немалую популярность.

— Настолько большую, — подхватила Марго, — что рейтинг «Вечерних новостей» вырос с девяти и двух десятых до двенадцати и одной десятой за последние пять дней, другими словами, прибавилось шесть миллионов новых зрителей — мы среди телестанций идем первым номером. Одновременно поднялся рейтинг нашей ежедневной развлекательной программы, которую сразу после выпуска «Новостей» передают пять наших телестанций. То же относится и к нашим передачам в самое выгодное время, в первую очередь к шоу Бена Ларго по пятницам, здесь рейтинг с двадцати двух и пяти десятых поднялся до двадцати пяти и девяти. Все спонсоры в восторге, в результате мы получили множество заказов на рекламу на следующий год.

— Марго, к вопросу о рекламодателях. — Это произнес Леон Айронвуд, президент «Уэст уорлд эвиейшн», загорелый калифорниец атлетического телосложения, один из трех претендентов на место Эллиота. Компания Айронвуда занималась производством боевых самолетов, успешно справляясь с заказами министерства обороны. — В последнее время вы столкнулись с проблемой видеозаписывающей аппаратуры, предприняты ли какие-то шаги?..

— Мы предвидим, что в будущем доходы от рекламы сократятся,

* Запрещены (нем.).

и ищем дополнительные источники дохода — вот почему Си-би-эй и другие телестанции без особого шума откупают кабельное телевидение и будут продолжать делать это и впредь. У телекомпаний есть капитал, и недалек тот день, когда все кабельное телевидение окажется в руках телестанций. В то же время мы изучаем возможности совместной деятельности с телефонными компаниями.

— Совместной деятельности? — переспросил Айронвуд.

— Поясню. Во-первых, надо примириться с тем, что дни наземного телевещания сочтены. Через десять — пятнадцать лет старомодную телеантенну можно будет увидеть только в музее Смитсоновского института; к тому времени телецентры откажутся от традиционных передающих устройств, так как они будут неэкономичны.

— Их полностью вытеснят спутники и кабель?

— Не совсем так... — Марго улыбнулась. — Во-вторых, следует понять, что кабельное телевидение само по себе не имеет будущего. Чтобы выжить, ему, как и нам, понадобится поддержка телефонных компаний, чья проводка есть в каждом доме.

— Уже сейчас существует волоконно-оптический кабель, позволяющий соединить телефонный и телевизионный способы передачи, — заявила Марго, и несколько человек одобрительно кивнули. — Остается одно — чтобы система заработала, стало быть, такие телестанции, как наша, должны разрабатывать специальные кабельные программы. Потенциальные источники дохода огромны.

— А как насчет государственных ограничений, не разрешающих телефонным компаниям участвовать в телебизнесе? — поинтересовался Айронвуд.

— Ограничения эти будут сняты конгрессом. Мы сейчас над этим работаем; уже даже составлен проект закона.

— А вы убеждены, что конгресс на это пойдет?

Тео Эллиот усмехнулся...

— Дело в том, что «Глобаник индастриз» оказывает весьма ощутимую помощь любому комитету, занимающемуся разработкой политики, которая имеет отношение к нашим интересам, а это значит, что голоса в конгрессе куплены и ждут своего часа. Когда Марго надо будет снять эти ограничения, она даст мне знать. А я скажу, кому следует.

Откровенный разговор при закрытых дверях продолжался. Однако тема похищения семьи Слоуна больше не затрагивалась.

Ближе к обеду настала очередь К. Фосиса (Фосси) Ксеноса, председателя правления директоров «Глобаник файнэншл сервисиз», выступать перед коллегами...

Сегодня Фосси Ксенос докладывал о сложном, деликатном и совершенно секретном проекте, который пока находился в первоначальной стадии, но сулил золотой дождь. Он включал в себя так называемое соглашение об уплате долгов Перу путем бартерной сделки — в обмен на право собственности и огромные капиталовложения в недвижимость; сделка эта заключалась между «Глобаник» и перуанским правительством.

Условия и этапы проекта, о котором рассказал Фосси, были следующими:

— В настоящее время внешний долг Перу превышает 16 миллиардов долларов; не выполнив долговых обязательств, страна потеряла доверие международного финансового сообщества, которое отказалось в дальнейшем предоставлять ей займы. Государство Перу, переживающее тяжелый экономический кризис, стремится вернуть прежний статус доверия и стало снова брать в долг.

— «Глобаник файнэншл сервисиз» негласно взял на себя 4,5 миллиарда долга Перу, то есть больше четверти всей суммы, заплатив за это по 5 центов с доллара, что составило 225 миллионов долларов. Кредиторы, главным образом американские банки, были рады получить даже такую сумму, так как давно уже потеряли всякую надежду вернуть деньги. Теперь «Глобаник» «обеспечил» долг Перу, то есть превратил его в кредитно-денежный документ.

— Через трех министров — финансов, туризма и труда — правительство Перу было поставлено в известность, что ему предоставляется уникальная возможность выкупить у концерна «Глобаник» «обеспеченный» долг на сумму 4,5 миллиарда долларов по цене 10 центов за доллар, с тем, чтобы по книгам выплата прошла в перуанской валюте — солях. Фосси изобретательно насадил на крючок наживку: таким образом страна сможет сохранить в целости и сохранности свои скудные запасы ценной твердой валюты других стран (в основном доллары).

— «Глобаник» принимает перуанскую валюту на следующих условиях. Ему не нужны наличные, а нужна бартерная сделка, в результате он получает право собственности на два роскошных курорта, которые сейчас принадлежат перуанскому правительству. Развивать эти курорты и управлять ими будет «Глобаник файнэншл», исходя из колоссального потенциала этих мест отдыха. Из курортного города на Тихоокеанском побережье предполагается создать второй Пунта-дель-Эсте. Другой курорт, в Андах, станет превосходным отправным пунктом экскурсий в Мачу-Пикчу и Куско — самые популярные объекты туризма...

В заключение Фосси сообщил, что в результате длительных и сложных переговоров между правительством Перу и «Глобаник файнэншл», закончившихся несколько дней назад, было достигнуто соглашение, в котором учтены все требования «Глобаник».

Когда Дж. Фосис Ксенос закончил свой доклад и сел, тотчас раздались аплодисменты.

Тео Эллиот, сияя, спросил:

— Есть у кого-нибудь вопросы?..

— Расскажите нам, Фосси, — попросила Марго, — достаточно ли стабильна ситуация в Перу. В последнее время там активизировались ультрареволюционные элементы, причем они действуют уже не только в пределах Анд, но и в Лиме и в других городах. Имеет ли смысл вкладывать деньги в курорты при подобных обстоятельствах? Захотят ли туда ехать отдыхающие?

Марго знала, что ступает по острию ножа. С одной стороны, Фосси Ксенос был ее соперником, и она не могла допустить, чтобы его доклад прошел без сучка без задоринки; к тому же, если план с курортами не сработает, пусть все запомнят, что у нее были сомнения в самом начале. С другой стороны, если Марго со временем возглавит «Глобаник», ей необходима будет поддержка Фосси и то, что он привносит в доходы концерна. Памятуя об этом, она постаралась, чтобы ее вопросы звучали разумно и беспристрастно.

Если Фосси и разгадал ее маневр, он не подал виду и бодро ответил:

— Я знаю одно: вся эта революционная возня скоро кончится, и в Перу рано или поздно восторжествует прочная демократия и правопорядок, что способствует туризму. Не следует забывать, что это страна с давними традициями, основанными на демократических ценностях.

Марго воздержалась от дальнейших комментариев, но про себя отметила, что Фосси обнаружил слабое место и в будущем она сможет этим воспользоваться. Она и раньше наблюдала эту черту в людях, особенно когда дело касалось недвижимости: далеко идущие планы заслоняли собой трезвые соображения. Психологи называют это отрывом от реальности, и все, кто надеялся на скорое прекращение вооруженных восстаний в Перу, по мнению Марго, страдали этой болезнью.

Безусловно, рассуждала она про себя, курорты смогут функционировать в любом случае — в конце концов, их можно охранять, тем более что в мире становится все больше мест, где курортные развлечения соседствуют с опасностью. Что касается Перу, то только время и большие расходы покажут, кто был прав.

Тео Эллиот явно не разделял сомнений Марго.

— Что ж, если вопросов больше нет, то давайте обедать, — провозгласил он.

7

Джессике понадобилось несколько минут, чтобы осознать сказанное Никки — скорее всего, они действительно в Перу.

Как это возможно?! Ведь прошло совсем мало времени!

Но постепенно она отказалась от первых предположений, — в памяти восстановились некоторые детали, и она пришла к выводу, что, вероятно, так оно и есть...

Однако если это Перу, как их сюда доставили? Наверное, совсем непросто перевезти трех человек в бессознательном состоянии...

Внезапная вспышка памяти! Воспоминание, спавшее до сих пор, но сейчас отчетливое и ясное.

В тот короткий промежуток времени, когда она сцепилась с Порезанным и умудрилась поранить его... в тот очаянный момент она же видела **два пустых гроба: один большой, другой поменьше.**

И Джессика, содрогнувшись, поняла, что их, должно быть, везли сюда в этих гробах — **как мертвецов!** Мысль была до того страшная, что она прогнала ее, заставила себя сосредоточиться на настоящем — мрачном и тягостном.

Джессика, Никки и Энгус продолжали идти со связанными за спиной руками по узкой тропе, пролегавшей среди зарослей деревьев и кустарника. Несколько человек с автоматами шли впереди, остальные — сзади. Стоило кому-нибудь замедлить шаг, как из-за спины раздавался окрик: «¡Andale! ¡Apaurense!» * — и пленников подгоняли, подталкивая дулами автоматов в спину.

Стояла жара. Невыносимая жара. Со всех градом лил пот...

Да, решила Джессика, человек, говоривший с Никки, не соврал. Это **Перу** — при мысли о том, как далеко они от дома и как мало надежды на спасение, к горлу ее подступили слезы.

Почва под ногами стала сырой, теперь идти было намного труднее. За спиной Джессики раздался вскрик, какое-то движение и звук падения. Обернувшись, она увидела, что упал Энгус. Лицом в грязь.

Старик мужественно пытался подняться на ноги, но ему это не удавалось из-за связанных рук. Мужчины с автоматами, шедшие сзади, расхохотались. Один из них сделал шаг вперед с явным намерением ударить Энгуса стволом в спину.

— Нет! Нет! — закричала Джессика.

Тот на мгновение оторопел, а Джессика уже подбежала к Энгусу и опустилась на колени. Она не упала, несмотря на связанные руки, но была бессильна помочь Энгусу встать. Охранник, с перекошенным от злости лицом, направился было к ней, но резкий окрик Мигеля остановил его. Мигель, Сокорро и Бауделио шли гуськом к ним из головной части колонны.

Джессика сразу заговорила звенящим от напряжения голосом:

— Да, мы ваши узники. Почему — нам не известно, но мы не хуже вашего понимаем, что бежать нам некуда. Так не лучше ли развязать нам руки? Мы хотим нормально идти, не спотыкаться и не падать. А так смотрите, что получается! Проявите, пожалуйста, хоть каплю великодушия! Умоляю, развяжите нам руки!

Впервые Мигель заколебался — особенно когда Сокорро тихо сказала:

— Если кто-то из них повредит ногу, руку или просто порежется, может начаться заражение. А в Нуэва-Эсперанце нам не справиться с инфекцией.

Буадельо, стоявший рядом, добавил:

— Она права.

Мигель, нетерпеливо взмахнув рукой, отдал резкий приказ по-испански. Один из охранников выступил вперед — тот, кто помог Никки в кузове грузовика. Из ножен, висевших на поясе, он вынул нож и подошел к Джессике сзади. Она почувствовала, как веревка, стягивавшая запястья, ослабла и упала. Следующим был Никки. Энгуса приподняли, чтобы срезать веревку, а потом Джессика и Никки помогли ему встать.

Громко прозвучала команда, и они двинулись дальше.

За эти несколько минут, несмотря на обуревавшие ее чувства, Джессика уяснила несколько вещей. Во-первых, место их назначения называется Нуэва-Эсперанца, хотя это название ей ничего не говорило. Во-вторых, человека, который сочувственно отнесся к Никки, зовут Висенте:

* Давай, двигай! Скорее! (исп.).

она слышала, как к нему обратились по имени, когда он разрезал веревки. В-третьих, женщина, вступившаяся за них перед Мигелем, та, что ударила Джессику в хижине, кое-что смыслит в медицине. Порезанный тоже. Возможно, один из них врач, может быть, оба.

Она упрятала в сознание эти детали: интуиция подсказывала ей, что любая мелочь может пригодиться.

Через несколько минут они миновали изгиб, который делала тропа, и увидели широкую реку.

Мигель помнил, что когда он только встал на путь нигилизма, он где-то вычитал: настоящий террорист должен вытравить из себя все человеческие чувства и добиваться своего, внушая ужас тем, кто отказывается ему повиноваться. Даже такое чувство, как ненависть, заставлявшее террориста действовать со страстью и потому полезное, если дать ему волю, может затуманить ум и помешать трезвому решению.

Мигель неукоснительно следовал этой истине, обогатив ее еще одним добавлением: действие и опасность — допинг для террориста. Он не мог обходиться без этих двух стимулов, подобно тому как наркоман не может жить без наркотиков.

Вот почему он с тоской думал о том, что ждало его впереди.

В течение четырех месяцев, начиная с перелета в Лондон и получения фальшивого паспорта, с помощью которого он проник в Соединенные Штаты, его подстегивали постоянная опасность и жизненная необходимость тщательно обдумывать каждый шаг, потом — пьянящее ощущение успеха и, наконец, — непрерывная бдительность, иначе не выжить.

Сейчас, в этих тихих перуанских джунглях, опасность была не столь велика. Правда, в любой момент могли нагрянуть правительственные войска, открыть огонь из автоматов, а потом начать допрос — практически это был единственный риск. Однако Мигель, согласно контракту, обязан торчать здесь — в захолустной деревушке Нуэва-Эсперанца, куда они прибудут сегодня, — Бог знает сколько времени, потому что так велел «Медельинскому картелю» «Сендеро луминосо». Почему? Мигель понятия не имел.

Он точно не знал и того, с какой целью захвачены заложники и что произойдет с ними здесь. Знал только, что их надо стеречь как зеницу ока — вероятно, поэтому ему и предстояло находиться при них: наверху его считали надежным человеком. За всем этим, скорее всего, стоял Абимаэль Гусман, основатель «Сендеро луминосо», числивший себя маоистом и Иисусом — буйный сумасшедший, по мнению Мигеля. Разумеется, при условии, что Гусман еще жив. Говорили то так, то эдак — слухи то и дело возникали и были столь же ненадежны, как предсказания дождей в джунглях.

Мигель ненавидел джунгли, или сельву, как их называли перуанцы. Ненавидел разъедающую сырость, гниль и плесень... ненавидел это ощущение замкнутого пространства, откуда быстрорастущий, непролазный кустарник тебя уже никогда не выпустит... ненавидел непрерывное жужжание насекомых, доводившее до исступленного желания хоть несколько минут побыть в тишине... ненавидел мерзкие полчища беззвучно ползающих скользких змей. А какие они огромные, джунгли, чуть ли не в два раза больше Калифорнии — они занимают три пятых территории Перу, хотя живет здесь всего пять процентов населения.

Перуанцы любят говорить, что существует три Перу: оживленное побережье с пляжами, коммерцией и городами, простирающимися на тысячи миль; Южные Анды, чьи гигантские вершины могут соперничать с Гималаями и где бережно хранят историю и традиции инков; и наконец, джунгли — сельва бассейна Амазонки — дикие, населенные туземцами места. Первые два Перу — еще куда ни шло, Мигелю они даже нравились. Но ничто не могло побороть его отвращения к третьему. Джунгли были для него asquerosa *.

Его мысли опять вернулись к «Сендеро луминосо» — «Сияющему пути» в революцию...

* Мерзость, погань (исп.).

Борцы «Сендеро луминосо» верили, что свергнут существующее правительство и установят свою власть во всем Перу. Но на это нужно время. Программа движения была рассчитана не на годы — на десятилетия. Однако «Сендеро» уже сейчас стало крупной и сильной организацией, влияние его правящей верхушки возрастало, и Мигель надеялся, что он еще станет свидетелем переворота. Но, уж конечно, не сидя в этих odiosa * джунглях.

Как бы то ни было, в настоящий момент Мигель ждал указаний относительно пленников — по всей вероятности инструкция придет из Аякучо, древнего города в предгорьях Анд, где «Сендеро» пользуется неограниченным влиянием. Собственно говоря, Мигелю было безразлично, откуда придет приказ, лишь бы скорее начать действовать.

Сейчас прямо перед ним была река Хуальяга — неожиданный просвет в нескончаемых джунглях. Мигель остановился, чтобы как следует ее обозреть.

Широкая и грязная, оранжево-коричневая от латеритных наносов с Анд, Хуальяга плавно впадала в реку Мараньон на расстоянии трехсот миль отсюда, а та сливалась с могучей Амазонкой. Много веков назад португальские путешественники назвали весь бассейн Амазонки О Rio Mar, река-море.

Когда они подошли ближе, Мигель увидел стоявшие на якоре две деревянные весельные лодки, каждая длиной примерно в тридцать пять футов, с двумя одинаковыми подвесными моторами. Густаво, командир вооруженной группы, встретившей их у самолета, руководил погрузкой запасов, которые они принесли с собой. Он же распорядился, как разместиться в лодках — пленники должны плыть в первой. Мигель с одобрением отметил, что Густаво выставил двух караульных на время погрузки — мера предосторожности на случай появления правительственных войск.

Мигеля вполне устраивало, как шло дело, и он не счел нужным вмешиваться. Он возьмет бразды правления в свои руки в Нуэва-Эсперанце.

Вид реки усилил в Джессике ощущение оторванности от мира... Она, Никки и Энгус, подталкиваемые ружьями, добрели по колено в воде до одной из лодок; когда они в нее забрались, им было велено сесть на мокрое дощатое дно...

Тут Джессика заметила, что Никки побледнел и скорчился в приступе рвоты. И хотя его вырвало только комочком слизи, грудь его ходила ходуном. Джессика передвинулась к нему и обняла, отчаянно ища глазами помощи.

Первый, кого она увидела, был Порезанный: он шел вброд от берега и как раз поравнялся с их лодкой. Не успела Джессика открыть рот, как появилась женщина, та самая, с которой она уже несколько раз сталкивалась, и Порезанный приказал:

— Дай им еще воды. Сначала мальчишке.

Сокорро налила воды в алюминиевую кружку и протянула ее Николасу — тот стал жадно пить; дрожь в его теле постепенно утихла. Он едва слышно проговорил:

— Есть хочу.

— Сейчас тебя кормить нечем, — сказал Бауделио. — Придется потерпеть.

— Ведь вы же врач! — с упреком бросила ему Джессика.

— Это тебя не касается.

— К тому же американец, — добавил Энгус. — Послушай, как он говорит...

Бауделио молча отвернулся и влез в другую лодку.

— Ну, пожалуйста, я есть хочу, — повторил Никки. И повернулся к Джессике. — Мам, мне страшно.

Джессика снова прижала его к себе и призналась:

— Мне тоже, милый.

Сокорро, слышавшая этот разговор, похоже, заколебалась. Затем

---

* Ненавистные (исп.).

она открыла сумку, висевшую на плече, и достала оттуда большую плитку шоколада «Кэдбери». Молча разорвав обертку, она отломила шесть квадратиков и дала по два каждому пленнику. В последнюю очередь Энгусу — он замотал головой.

— Отдайте мою долю ребенку.

Сокорро досадливо скривилась, потом вдруг швырнула всю плитку на дно лодки... И пошла во вторую лодку.

Несколько человек из вооруженной группы, ехавшие с ними в грузовике, а потом сопровождавшие их пешком, влезли в ту же лодку, и обе лодки отчалили от берега. Джессика заметила, что люди, встретившие их около лодок, тоже были вооружены. Даже у обоих рулевых, сидевших у подвесных моторов, на коленях лежали автоматы, приведенные в боевую готовность. Шансов на побег, даже если знать, куда бежать, не было никаких.

Когда обе лодки двинулись вверх по реке против течения, Сокорро стала корить себя за свой поступок. Она надеялась, что никто этого не видел — отдать пленникам хороший шоколад, который невозможно найти в Перу, было проявлением слабости, глупой жалостью, сентиментальностью, достойной презрения у революционера.

Беда в том, что временами она чувствовала в себе это безволие, психологическое следствие трудностей вечной войны...

Вид реки и ее безлюдных, покрытых густыми зарослями, зеленых берегов убаюкал Сокорро. После трех часов пути или около того обе лодки замедлили ход и вошли в небольшой приток Хуальяги — чем дальше они по нему плыли, тем уже и круче становились берега. Сокорро поняла, что они приближаются к Нуэва-Эсперанце, а там, уверяла она себя, к ней вернутся силы и революционный пыл.

Бауделио, не сводивший глаз с лодки, которая плыла впереди по притоку Хуальяги, был рад тому, что путешествие близится к концу. Срок его участия в этом деле истекал, и он надеялся в скором времени оказаться в Лиме. Его обещали отпустить, как только заложников доставят сюда в целости и сохранности.

Что ж, они были живы и здоровы, даже несмотря на этот удушливый, влажный зной.

Как бы в подтверждение его мыслей о здешнем климате небо над головой внезапно потемнело, стало мрачно-серым, и на них обрушились потоки дождя. Впереди уже виднелся причал и пришвартованные к нему или вытащенные на берег лодки, но до него оставалось еще несколько минут, и пленникам, как и их стражам, оставалось лишь сидеть и мокнуть под проливным дождем.

Бауделио было наплевать на дождь, как, впрочем, почти на все в жизни... Человеческие чувства, которые он когда-то испытывал по отношению к своим пациентам, давно исчезли.

Единственное, чего ему действительно хотелось, так это выпить, как следует выпить, а вернее — побыстрее напиться...

А кроме того, Бауделио хотелось быть рядом со своей подругой в Лиме. Это была опустившаяся женщина, бывшая проститутка, и такая же пьянчужка, как и он, но среди груды обломков его незадавшейся жизни она была для него всем, и он скучал по ней. Не выдержав пустоты одиночества, неделю назад он позвонил ей тайком по радиотелефону из Хакенсака. Тем самым он нарушил приказ Мигеля и потом очень нервничал, холодея от страха при мысли, что Мигель до этого докопается. Но вроде бы все обошлось...

Ох, до чего же хочется выпить!

Шоколад помог — хоть и ненадолго, но утолил голод.

Джессика не стала понапрасну ломать голову над тем, с чего это вдруг девица с кислой физиономией пожертвовала им плитку шоколада,

лишь отметила про себя непредсказуемость ее нрава. Джессика просто спрятала шоколад в карман платья, подальше от глаз охранников.

Пока они плыли вверх по реке, большую часть плитки Джессика отдала Никки, съела немного сама и заставила Энгуса проглотить кусочек...

Вдруг Джессику осенило, как можно высчитать, сколько времени все трое были без сознания: по щетине Энгуса... Она сказала об этом Энгусу; тот ощупал подбородок и определил, что не брился четыре-пять дней.

Пускай сейчас это и не имело значения, но Джессика решила собирать по крупицам всю информацию...

На реке им несколько раз попадались навстречу небольшие каноэ, но ни одно не подплыло близко.

Джессику мучил непрерывный зуд... Она поняла, что ее кусают блохи, которых она подцепила в хижине, но избавиться от них можно было только вместе с одеждой. Она надеялась, что там, куда их везут, воды будет в достатке и она сможет отмыться от блох.

Как и все остальные, Джессика, Никки и Энгус вымокли до нитки под проливным дождем... Но как только борт лодки стукнулся о грубо сколоченный деревянный причал, дождь прекратился так же внезапно, как и начался, и все трое сразу сникли, увидев, в какой они оказались жуткой глуши.

За грязной, бугристой дорогой, что шла от реки, виднелись обветшалые строения — всего около двадцати домов; некоторые из них были настоящими хибарами, сооруженными из старых ящиков и проржавевших, деформированных железных листов, скрепленных стеблями бамбука. В большинстве хижин не было окон, зато к двум из них примыкали пристройки — нечто вроде сеней. Соломенные крыши давно пора было чинить — в них зияли дыры. Всюду валялись консервные банки и прочий мусор. Несколько тощих кур бродили без присмотра. Канюки клевали дохлую собаку...

Дорога уходила в гору, и по обеим ее сторонам, за домами, которые было видно с причала, непроходимой стеной стояли джунгли. На вершине холма дорога обрывалась.

Позже Джессика и остальные узнают, что Нуэва-Эсперанца была рыбацкой деревушкой, которую время от времени организация «Сендеро луминосо» использовала в качестве своей базы для проведения той или иной секретной операции.

— ¡Váyanse a tierra! ¡Muévanse! ¡Apúreuse! * — крикнул Густаво пленникам, жестами показывая, чтобы они вылезали из лодок.

То, что последовало за этим, превзошло самые худшие их опасения.

Под конвоем — Густаво и еще четырех охранников — они пошли вверх по грязной дороге; затем их втолкнули в сарай, стоявший на отшибе. Прошло несколько минут, прежде чем их глаза привыкли к царившему здесь полумраку. И тогда Джессика в ужасе воскликнула:

— О, Боже, нет! Вы не можете запереть нас здесь! Только не в клетках, мы же не животные! **Пожалуйста! Пожалуйста, не надо!**

У противоположной стены она увидела три камеры, каждая площадью примерно в восемь квадратных футов. Тонкие, но крепкие бамбуковые стебли заменяли собой прутья решетки и были прочно скреплены. Перегородки между камерами были обиты проволочной сеткой, чтобы предотвратить любой физический контакт между узниками и лишить их возможности что-либо передать друг другу. Дверь каждой камеры запиралась на стальную задвижку и тяжелый висячий замок.

Внутри были низкие деревянные нары с грязным матрацем, рядом — цинковое ведро, вероятно, предназначавшееся для естественных отправлений. В сарае можно было задохнуться от отвратительного смрада.

Когда Джессика взмолилась и запротестовала, Густаво схватил ее за плечи. Она пыталась вырваться, но он держал ее стальной хваткой. Толкнув ее вперед, он приказал:

— ¡Vete para adentro! — И на ломаном английском перевел: — Иди туда.

«Туда» означало самую дальнюю от входной двери камеру; Густаво

* Сходите на землю! Шевелитесь! Поторапливайтесь! (исп.).

с силой втолкнул туда Джессику. Ударившись о внутреннюю стену, она услышала, как захлопнулась дверь и щелкнул металлический замок... В соседней клетке рыдал Никки...

8

Полторы недели прошло с тех пор, как шестьдесят человек, временно нанятых Си-би-эй, приступили к исследованию региональных газет... Однако до сих пор их работа не принесла никаких результатов, и вообще никаких новостей пока не было.

ФБР молчало, не желая признаваться, что зашло в тупик. Поговаривали, что к этому делу подключилось ЦРУ, но официального заявления на этот счет сделано не было.

Похоже, все выжидали, когда появятся похитители и выдвинут свои требования. Однако до сих пор от них не было ни слуху, ни духу.

В средствах массовой информации похищению по-прежнему уделялось большое внимание, но в телевизионных выпусках сообщения о нем уже перестали быть главной новостью, а в газетах их помещали где-то на внутренней полосе.

Однако, в отличие от других телестанций, Си-би-эй настойчиво твердила о похищении, взяв на вооружение прием, использованный когда-то конкурирующей телестанцией Си-би-эс. В 1979—1981 годах, во время критической ситуации с заложниками в Иране, Уолтер Кронкайт, ведущий «Вечерних новостей» Си-би-эс, завершал каждую передачу словами: «Сегодня (дата) пошел такой-то день с момента захвата американских заложников в Иране»...

Таким же образом начинал теперь каждую передачу Гарри Партридж, выступавший в роли второго ведущего.

В каждом выпуске «Вечерних новостей» говорилось о похищении семьи Слоуна — даже чтобы просто сказать, что никаких свежих известий нет, — такова была стратегия, одобренная Лэсом Чиппингемом и Чаком Инсеном.

Однако в среду утром, когда группа по исследованию прессы работала уже десять дней, произошло событие, взбудоражившее Отдел новостей Си-би-эй. Период бездействия, угнетавшего всех членов группы поиска, закончился.

Гарри Партридж сидел у себя в кабинете. Подняв глаза от бумаг, он увидел в дверях Тедди Купера, а за ним — молодого негра Джонатана Мони...

— Гарри, похоже, мы кое-что откопали, — сказал Купер.

Партридж жестом пригласил их войти.

— Джонатан тебе все расскажет. — Купер кивнул Мони. — Выкладывай.

— Вчера, мистер Партридж, я был в редакции одной местной газеты в Астории, — начал Мони. — Это в Куинсе, неподалеку от Джэксон-Хейтс. Сделал все, что от меня требовалось, ничего не нашел. Выходя, я увидел дверь с табличкой: «Редакция испано-язычного еженедельника ,,Семана''». В списке он не значился, но я зашел.

— Вы говорите по-испански?

Мони кивнул.

— Вполне сносно. Я попросил разрешения посмотреть их номера за те числа, которые нас интересуют, и мне позволили. Опять-таки ничего не обнаружив, я собрался уходить, и тут они сунули мне последний номер газеты. Я взял его с собой и вчера вечером проглядел.

— А сегодня утром принес мне, — вставил Купер. Он достал малоформатную газету и развернул ее у Партриджа на столе. — Вот она, эта любопытная колонка, а вот перевод, который сделал Джонатан.

Партридж взглянул на газету, затем прочел перевод, отпечатанный на машинке и уместившийся на одной страничке.

> «Привет. Можете вы представить себе, чтобы кто-то покупал гробы, как мы с вами сыр в бакалее? Однако и такое бывает — спросите у Альберто Годоя из ,,Похоронного бюро Годоя''.
>
> Какой-то парень вошел с улицы и запросто купил два гроба прямо ,,с прилавка'' — один стандартный, другой детский. Он, де-

скать, хочет подарить их мамаше и папаше, маленький гробик — для мамаши. Неплохой намек старикам, верно? „Мамуля и папуля, однако зажились вы на этом свете, пора и честь знать".

Но погодите, это еще не все. На прошлой неделе — через шесть недель после первой покупки — тот же самый парень является снова: подавай ему еще один гроб стандартного размера. Заплатил наличными, как и за два предыдущих. Для кого этот гроб, — не сказал. Может, жена ему рога наставила.

Но Альберто Годою наплевать. Он к вашим услугам, и с удовольствием готов и дальше торговать вот так гробами».

— Есть еще кое-что, Гарри, — сказал Купер. — Мы только что позвонили в редакцию «Семаны». Разговаривал Джонатан, и нам повезло. Автор заметки оказался на месте.

— Он сказал мне, — сообщил Мони, — что написал статейку за неделю до прошлой пятницы. Как раз тогда он встретил в баре Годоя, который в тот день продал третий гроб.

— То есть, — добавил Купер, — сразу после похищения, на следующий день.

— Подождите-ка, — попросил Партридж. — Дайте подумать.

Купер и Мони умолкли. Партридж соображал.

«Сохраняй хладнокровие, — говорил он себе. — Не впадай в эйфорию». Но все сходилось: два первых гроба были куплены за шесть недель до похищения, незадолго до того, как началась месячная слежка за семьей Слоуна...

Затем совершенно неожиданно появляется Энгус, предупредив Слоунов о своем приезде по телефону накануне. Раз его не ждали Слоуны, то не ждали и похитители. Но они захватили его вместе с Джессикой и мальчиком. Трое похищенных вместо двух...

Не для него ли был куплен в похоронном бюро Годоя дополнительный гроб **на следующий день после похищения?**

Неужели все это лишь невероятное совпадение? Вполне возможно. А возможно, что и нет.

Партридж взглянул на обоих мужчин, напряженно смотревших на него...

— Вот что я думаю, — сказал Купер, — может статься, мы выяснили, каким способом миссис Слоун и остальных членов семьи вывезли из страны.

— В гробах? Думаешь, мертвых?

Купер помотал головой.

— Их накачали наркотиками. Такие случаи уже были.

Это подтверждало догадку Партриджа.

— Что будем делать дальше, мистер Партридж? — спросил Мони.

— Надо как можно скорее встретиться с этим гробовщиком... — Партридж взглянул на листок с переводом, где значился адрес похоронного бюро. — ...Годоем. Это я возьму на себя.

— Можно мне с вами?

— Гарри, по-моему, он этого заслуживает, — заметил Купер.

— Я тоже так считаю. — Партридж улыбнулся Мони. — Молодчина, Джонатан...

Партридж решил, что они отправятся туда немедленно, взяв с собой оператора.

— Минь Ван Кань, по-моему, в комнате для совещаний. Скажи ему, — обратился он к Куперу, — пусть берет аппаратуру и идет к нам.

Как только Купер вышел, Партридж снял телефонную трубку и вызвал служебную машину.

Проходя через главную репортерскую, Партридж и Мони столкнулись с Доном Кеттерингом, корреспондентом по экономическим вопросам Си-би-эй. Кеттеринг первым вышел в эфир с экстренным сообщением о похищении семьи Слоуна.

Сейчас он спросил:

— Есть что-нибудь новое, Гарри?..

Партридж ответил не сразу. Он уважал Кеттеринга не только как экономиста, но и как первоклассного репортера. В данном случае Кеттеринг со своим опытом мог лучше разобраться в ситуации, чем Партридж.

— Выплыло кое-что, Дон. Ты сейчас занят?

— Не особенно. На Уолл стрит сегодня тихо. Нужна моя помощь?

— Не исключено. Поехали с нами. По дороге все объясню.

— Я только предупрежу «подкову». — Кеттеринг снял телефонную трубку на ближайшем столе. — Я вас догоню.

Партридж, Мони и Минь Ван Кань вышли на улицу; в следующую минуту к главному входу здания Си-би-эй подъехала служебная машина — джип-фургон... К ним присоединился Дон Кеттеринг и сел сзади.

— В Куинс, — сказал Партридж шоферу...

Быстро развернувшись, машина двинулась на восток, к мосту Куинсборо.

— Дон, — сказал Партридж, повернувшись к Кеттерингу, — вот что нам стало известно и вот что мы хотели бы выяснить...

Через двадцать минут Гарри Партридж, Дон Кеттеринг и Джонатан Мони вошли в захламленный, прокуренный кабинет Годоя, и перед ними предстал тучный лысый владелец похоронного бюро, сидевший за письменным столом.

Следуя указаниям Партриджа, Минь Ван Кань остался ждать в джипе. Если понадобится сделать съемку, его позовут. А пока Ван Кань из окна фургона незаметно снимал видеокамерой здание похоронного бюро Годоя.

Гробовщик, как всегда не выпуская изо рта сигареты, с подозрением взирал на посетителей. Они, в свою очередь, уже успели оглядеть обшарпанную комнату, обрюзгшее лицо Годоя, свидетельствовавшее о беспробудном пьянстве, и пятна от еды на его черном пиджаке и брюках в серую полоску. Сие заведение явно не принадлежало к числу перворазрядных и, по всей вероятности, не отличалось безупречной репутацией.

— Мистер Годой, — начал Партридж, — как я уже сообщил вашей помощнице в приемной, мы с телестанции Си-би-эй.

На лице Годоя отразилось любопытство.

— Не вас ли я видел по телеку? Вы вещали из Белого дома?

— Это был Джон Кочрэн, иногда меня с ним путают. Он работает на Эн-би-си. Меня зовут Гарри Партридж.

Годой хлопнул себя ладонью по колену.

— Так это вы все время чешете про похищение?

— Да, и это одна из причин, по которой мы здесь. Разрешите сесть?

Годой указал на стулья. Партридж и остальные сели напротив него.

Развернув экземпляр «Семаны», Партридж спросил:

— Вы, случайно, с этим не знакомы?

Годой помрачнел.

— Подонок, проныра, сукин сын! Он не имел права печатать то, что подслушал, это предназначалось не для его ушей!

— Так значит, вы **видели** газету и знаете, о чем идет речь.

— Само собой. Дальше что?

— Мы были бы очень вам признательны, господин Годой, если бы вы ответили нам на несколько вопросов. Во-первых, как фамилия человека, купившего гробы? Как он выглядел? Могли бы вы его описать?

Гробовщик замотал головой.

— Нечего лезть в мои дела.

— Поймите, это чрезвычайно важно. — Партридж намеренно говорил спокойным, дружелюбным тоном. — Не исключено, что тут есть связь с тем, о чем вы только что упомянули, — с похищением семьи Слоуна.

— Никакой связи не вижу. — И Годой упрямо заявил: — Словом, это мое частное дело, и ничего я вам не скажу. Так что, если не возражаете, я примусь за работу.

Тут в разговор вступил молчавший до сих пор Дон Кеттеринг:

— А как насчет цены, которую вы запросили за гробы, Годой? Не хотите ее назвать?

Гробовщик вспыхнул.

— Сколько раз повторять одно и то же?! У меня свои дела, у вас свои.

— За наши дела не беспокойтесь, — сказал Кеттеринг. — Сейчас же ими и займемся — отправимся прямо отсюда в городское налоговое управление Нью-Йорка. Здесь сказано, — он ткнул пальцем в «Семану», — что за все три гроба вы получили наличными, и я не сомневаюсь, что вы сообщили об этом в налоговое управление и уплатили налог с продажи; там все должно быть зарегистрировано, в том числе и имя покупателя. — Кеттеринг повернулся к Партриджу: — Гарри, почему бы нам не оставить в покое эту малообщительную личность и не поехать сейчас же к налоговому инспектору?

Годой побледнел и залопотал:

— Эй, не порите горячку. Подождите минуту.

— А в чем проблема? — спросил Кеттеринг с невинным выражением лица.

— Может, я...

— Может, вы не уплатили налога с продажи и не сообщили о ней, но бьюсь об заклад, денежки-то вы получили, — резко перебил его Кеттеринг. И добавил: — Слушайте меня внимательно, Годой. Такая телестанция, как наша, обладает большими возможностями, и если понадобится, мы их используем, тем более что сейчас мы защищаем интересы одного из наших сотрудников, расследуем грязное преступление — похищение его семьи. Нам нужны ответы на вопросы и быстро; если вы нам поможете, мы в долгу не останемся — не будем вытаскивать на свет то, что нас не касается: неуплату налога с продажи или подоходного налога... Но если вы станете скрывать правду, представители ФБР, городской полиции, налогового и финансового управлений будут доставлены сюда сегодня же. Так что выбирайте. С кем предпочитаете иметь дело — с ними или с нами.

Годой облизнул губы.

— Я отвечу на ваши вопросы, ребята. — В его голосе слышалось напряжение.

Кеттеринг кивнул.

— Давай, Гарри.

— Господин Годой, — начал Партридж, — как звали человека, купившего гробы?

— Он назвался Новаком. Я ему не поверил.

— Скорее всего, правильно сделали. Что-нибудь еще вам о нем известно?

— Нет.

Партридж полез в карман.

— Я хочу показать вам один снимок. А вы просто скажете мне, что о нем думаете.

Он протянул Годою фотокопию, снятую с карандашного портрета Улисеса Родригеса двадцатилетней давности.

— Это он, — сказал Годой без колебаний. — Новак. В жизни он выглядит старше, чем на этом снимке.

— Да, мы знаем. Вы абсолютно уверены?

— Не сойти мне с этого места. Я видел его дважды. Он сидел там же, где вы.

Впервые за сегодняшний день, с того момента, как начали раскручиваться события, Партридж испытал чувство удовлетворения. Связь между гробами и похищением была налицо. Взглянув на Кеттеринга и Мони, он понял, что они думают так же.

Партридж задал еще ряд вопросов и вытянул из гробовщика все, что мог. Правда, информации оказалось не густо — несомненно, Улисес Родригес постарался как следует замести следы.

— Есть еще какие-нибудь соображения, Дон? — спросил Партридж Кеттеринга.

— Есть парочка. — И Кеттеринг обратился к Годою: — К вопросу о тех деньгах, что вам заплатил Новак. Если не ошибаюсь, вы сказали, что общая сумма составила почти десять тысяч долларов, главным образом стодолларовыми банкнотами. Так?

— Так.

— Ничего примечательного в этих банкнотах не было?

Годой покачал головой.

— А что может быть примечательного в деньгах — деньги они и есть деньги.

— Они были новые?

Гробовщик задумался.

— Разве что несколько бумажек, а остальные — нет.

— А что стало с этими деньгами?

— Уплыли. Я пустил их в ход — потратил, заплатил по счетам. — Годой пожал плечами. — Сегодня деньги-то утекают как песок.

В продолжение всего разговора Джонатан Мони не спускал с гробовщика глаз. Еще раньше, как только речь зашла о деньгах, он мог с полной уверенностью сказать, что Годой проявляет нервозность. Эта уверенность его не покидала. Он набросал в блокноте записку и передал блокнот Кеттерингу. Записка гласила: **«Врет. У него остались какие-то деньги. Боится признаться, потому что беспокоится о налогах — с продажи и подоходного».**

Кеттеринг прочел записку, едва заметно кивнул и вернул блокнот. Он встал, как будто собрался уходить, и вкрадчиво спросил Годоя:

— Больше ничего не припоминаете? Или, может быть, располагаете еще какой-нибудь полезной для нас информацией? — И, произнеся это, Кеттеринг направился к выходу.

Годой вздохнул с облегчением, уверенный, что все в порядке; он не скрывал своего желания положить конец разговору и потому ответил:

— Ни черта у меня больше нет.

Кеттеринг резко повернулся на каблуках. С искаженным и красным от гнева лицом он подошел к столу, перегнулся через него и схватил гробовщика за грудки. Притянув Годоя к себе, он прошипел ему в лицо:

— Ты гнусный лгун, Годой. У тебя ведь остались деньги. Не хочешь нам их показывать, мы позаботимся, чтобы на них взглянули люди из финансового управления. Я тебя предупреждал: поможешь нам, будем молчать, а теперь все.

Кеттеринг толкнул Годоя обратно на стул, достал из кармана маленькую записную книжку и придвинул к себе стоявший на столе телефон.

— Нет! — вскричал Годой. Он выхватил телефон. И тяжело дыша, прорычал: — Ублюдок. Ладно, покажу.

— Смотри, — сказал Кеттеринг, — в последний раз идем тебе навстречу. А там пеняй на себя...

Годой уже встал и снимал со стены диплом бальзамировщика, висевший над столом. За ним оказался сейф. Гробовщик набрал шифр.

Через несколько минут Кеттеринг внимательно осматривал извлеченные из сейфа банкноты — около четырех тысяч долларов; остальные наблюдали за ним. Кеттеринг складывал купюры в три стопки — две небольшие и одну весьма внушительных размеров, — предварительно оглядев каждую с обеих сторон. Закончив, он придвинул самую высокую стопку к Годою и, указав на две другие, сказал:

— Эти нам придется взять у вас в долг.

— Ладно, забирайте, — проворчал Годой.

Кеттеринг жестом подозвал Партриджа и Мони к столу, где остались лежать две маленькие кучки банкнот. Достоинством в сто долларов каждая.

— Если механизм сработает, мы узнаем, **услугами какого банка воспользовались похитители**, а может быть, имели там свой счет. — Он пожал плечами. — Если мы это выясним, Гарри, твое расследование может быстро раскрутиться...

Окончание следует

Михаил Айзенберг

СТИХИ ИЗ ШЕСТОГО РУКОПИСНОГО СБОРНИКА

* * *

И подобно придурковатому дырмоляю,
обратясь к углу, шепчу ему, умоляю:
«Дыра моя, спаси меня!
Укажи дупло, где светлое спит огниво».

И к вину обращаюсь, домашнему эскулапу:
«Ты спасешь ли? излечишь меня на вечер?
Я плетню, посмотри, деревенскому стал подобен».

«Рифма! — шепчу, — видавшее виды искусство,
тяга твоя спасительна от угара.
Сколько незванных на всех твоих именинах!»

Вижу луг, зеленый как до советской власти.
Корова лежит, лоснится.
«Эй, корова! — кричу, — Выручай!»

И к траве обращаюсь: «Трава,
ты всего зеленей и сильней.
Ни срубить, ни разрушить тебя невозможно,
ты начальница жизни. Спаси!»

Рифма! Дыра! Корова!
Луг и живая изгородь!
Башенка остролиста, веточка чабреца.

Кто исцелит, кто же меня спасет?
Кто защитит от мысли, что всё напрасно?

* * *

Дай живущему сил вдвойне.
В насмерть замусоренной стране
трудно жить.
Ничему не равен
долгий труд выживать.
Извне

Михаил АЙЗЕНБЕРГ родился в 1948 году, окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором-реставратором. До недавнего времени не имел публикаций стихов в нашей стране, и только в 1989 году его стихотворения появились в № 11 журнала «Театр», в альманахе «Молодая поэзия», в «Дне поэзии»-89. Зарубежные публикации: «Континент» № 13, 1977 г., «Синтаксис» № 23, 1988 г., «Время и мы» № 8, 1976 г., № 35, 1978 г., № 62, 1981 г., № 63, 1981 г. Живет в Москве.

только у самых глухих окраин
жить начинают, — вчерне.
Но даже
в смутном сознании передовиц
днем на посту или ночью на страже,
что ни спроси, отзовется по-разному —
черным по белому,
белым по красному —
новое время, дыра без границ.
Тлеют каркасы. Растут штабеля.
Это открыто
как на духу отвечает земля
мертвого быта.

* * *

Что сегодня розовое к лицу,
что сегодня правильное в почете,
расскажите бывшему мертвецу,
до конца стоящему на учете.
Неужели он не поймет, злодей,
что удавлен временно, не нарочно.
Что пока идет санитарный день,
и еще нельзя, но вполне возможно.

Надоело кланяться до земли,
у земли-хозяйки снимая угол,
видеть тех, кто вчера цвели,
превратившихся в сонных кукол
(не поймешь, когда они так смогли),
вроде комнатных черепашек
угасающих по углам.
Знайте наших. Узнайте наших.
Их не видно по их делам.
Мало места в родных пенатах,
много времени — как в плену.

Крест поставлю на этих датах,
а не хером перечеркну.

* * *

Перелом, перелом.
И не где-то в былом —
жизнь ломается в самом прямом
ежедневном звучании, чаяньи.

Кто заметит и сможет понять
это — прущее напролом,
перепахивать невосполнимую гладь,
землю резать тупым углом.

Посчитаем, кому грозит
стать свидетелем — и каким! —
в одна тысяча черный год
мутной вспенившейся реки,
на пороги несущей плот.

* * *

Ах, это было здорово! весело, весело.
Ах, это было невесело, ужасно, ужасно.

Это было какое-то месиво
слухов, событий, зависти, чистоты,
нежности, зависти.
Смена страшных ночей и сказочных.
Света и духоты.

И уже не тайна, что выпили чистый яд.
Господин хороший, куда ж нас теперь велят
на закон укороченный?
Господин хорунжий, товарищ уполномоченный!

Даже то, что пряталось, шло в стадах,
не всегда нелепо. Что-то почти красиво.
Неужели мы жили за просто так,
вычитаясь вон как одна рабсила?
Столько лет к дисциплине нетрудовой
привыкали ох, как мучительно,
взад-вперед в конвульсии родовой.
Холодно-горячо. Горячительно. Исключительно!

Слава тебе и хвала тебе, каждый,
что-то вписавший остатками языка.
Славен голод писчебумажный
всех, унесенных за облака,
чудом спасших себя от жажды
умереть-уснуть и не быть,
не бывать пока.

* * *

Здрасьте-здрасьте!
Битте-дритте! — пели ножницы.
Подравняем-подстрижем, какая разница!
И красиво некрасивое уложится,
серо-бурое серебряным окрасится.

Зашипит одеколон из груш оранжевых
довоенного особенного качества,
и приклеется отхваченное заживо,
или вырастет отрезанное начисто.

И легчайшее сквозное напряжение
по затылку проскользит в одно касание.
Вот исполнено твое распоряжение,
а еще какие будут указания?

* * *

Как чернилами брызнет
в ветровое стекло.
Это впадина жизни —
только бы пронесло.

Черным брызнуло соком,
понесло кислотой
от распахнутых окон,
подворотни пустой.

Из шумов безголосых
неспокойная трель.
А сарай на колесах
понесется быстрей.

И за музыкой близкой
слышен гул вдалеке
с электрической искрой
на трамвайной дуге.

* * *

Тишина. Из табачных туч
светит комнатная луна.
Телевизорный синий луч
чертит рожицы, письмена.
Хор поет хоровую песню.

Он поет хорошо,
но слегка отдает болезнью.

Вечер, и снег в окне.
Вот и зима вчерне.

Только бы мне
в бессоннице не поплыть
по лучевой волне.

Только, только бы не
ссыпаться в низовой этаж,
где под видеооблучением
переползает блюдце
весь циферблат стола,

где за столоверчением
не дрожат, не смеются.

Я ведь не знаю, чем
кормят зеленых псов
на прогулке под фонарем.
И снег в круговой вираж
поднимается, невесом.

* * *

Что я делал все время?
Я изживал свое время.
Я измышлял свою душу,
чтоб скорее, скорее
грела как батарея, —
непонятную стужу
выталкивала наружу.

Только вот что мне ни предстоит,
что там ни затевается,
стужа стоит-стоит,
никуда не девается.

Так и не понял я, почему
холодно мне в ледяном дому?

А наверху Игорек-мой-свет
все что-то возится, ковыряет.
Нет, не сводит меня на нет,
просто он времени не теряет.
Дни за днями встают рядком.
Он работает молотком.
Пилит, строгает.
Стужа его не пугает.
Всю субботу и все воскресение
он выстукивает спасение.

* * *

А земля живет как в последний раз
Где она асфальт, где она атлас,
где она балласт.
Через все затейливое уныние
не заметил, желтая или синяя.
Словно зренье пустил на ветер —
не запомнил и не заметил.

Ровная линия за окном.
Вот она родина, общий дом.
Или это облако моя родина,
на глазах расходится волокном?

* * *

В лаковом еловом блеске,
синевой и парусиной пеленая,
на засвеченном подлеске
пятна плавают, и зыбь идет речная.
В обморочном стрекоте,
в воздухе речном
тонут купы
в синем дыме, еле живы.
А далекие вершины
шелком шиты, серебром.

* * *

Гора-призрак.
Гора-облако.
Здесь бы нам
глаза коршуна,
птичьи зрачки, глаза сокола
(взгляд прям, слеза около).

Вот летит орлан, белоглав.
Крылья загнутые крючки.

А по склонам ласточки,
как пыль в луче.

Здесь бы на обколотом сургуче,
на камне плоском
год пролежать —
ни с кем, ни о чем.
Синь да просыпанная известка.

Щебнем рассыпан, иссечен
хрупкий камень земли безлесой
под горой,
дымовой завесой.

* * *

Чтобы выйти в прямую безумную речь.
Чтобы вырваться напрямую.
Не отцеживать слово.
И не обкладывать ватой.
И не гореть синим пламенем
культурной деятельности.

Нет, я не есть большая культурная ценность.
Я не есть человек культуры.
Я — человек тоски.

О, тоска.
Единственное мое оружие.
Вечная вибрация,
от которой кирпич существования
дает долгожданную трещину.

Скоро появятся

Скоро, скоро появятся
скоро появятся такие следы,
которых не избежал ни один
из старших товарищей.
Потертости и проплешины.
Прорехи взгляда.
Лопнувшие швы движений.
Неизбежные знаки поражения,

незаметные мне,
но всегда понятные окружающим.
Тонкий, неуловимый сквознячок беды,
отпугивающий собак и девушек.

* * *

Раз-два —
и все уже чем-то заняты.

Год, два —
и каждому дело нашлось по душе.

Пять-шесть
месяцев не встречаться
уже в порядке вещей.

Кто же наводит порядок вещей?

Его наводит товарищ Кощей.
Наш первый товарищ.
Детсадовский послеобеденный сон.
Свидетель прогулки.
Гроза пионерской линейки.
Почтенный удавленник с требовательным
лицом.

* * *

Мы состояли как бы в одном ЛИТО,
но общались с пятого на десятое.
Что-то за ним водилось.
Да мне-то что?
Мало за кем когда не водилось всякое?

Только в зрачках уже стекленел мираж.
Молодой еще, а казалось, что моложавый.
Иногда играл.
Временами впадал в кураж,
и тогда страну, не гнушаясь,
считал державой.
Он любил учащихся ПТУ.
Он любил актеров и не любил евреев.
Вот поэтому?
Вовсе не потому.
Потому что медлил, а все раскрутил скорее.
Потому что умер несколько лет тому.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ

Понимание долга и назначения писателя на земле для Ф. М. Достоевского было неотрывно от непосредственного участия в общественной жизни своего времени. В 1861—65 гг. он — фактический соредактор журналов «Время» и «Эпоха», спорит с Катковым и Щедриным, со славянофилами и западниками. В 1873—74 гг. редактирует газету-журнал «Гражданин», а в 1876, 1877, 1880 и 1881 гг. выпускает «Дневник писателя». Можно сказать даже, что романы он пишет в перерывах между общественными бурями, набравшись сильных и острых впечатлений. А можно сказать иначе: нетерпение гражданина побуждало художника использовать свой дар, чтобы повлиять на сегодняшнее, сиюминутное состояние умов.

Год и четыре месяца был Достоевский редактором «Гражданина». Надо отдать должное мужеству писателя: он пришел в издание, уже осмеянное всемогущей либеральной и радикальной прессой. «Гражданин» при нем поумнел, но переделать кардинально состояние дел новому редактору так и не удалось. Достоевский не стал единоличным хозяином издания, целиком определяющим его направление; издателем и ведущим автором продолжал оставаться не весьма далекий консерватор князь В. П. Мещерский.

В «Гражданине» Достоевский начал печатать «Дневник писателя», вел обзоры иностранных событий, известно несколько его фельетонов, рецензий. Но и это, кажется, не все. Множество материалов еженедельника печаталось анонимно. Среди них еще сокрыты статьи, принадлежащие самому автору. Корпус недавно завершенного академического тридцатитомного собрания сочинений Достоевского может быть пополнен. Разумеется, художественная и идейная значимость этих пополнений несопоставима с прославленными шедеврами, многое писалось в спешке, однако нам интересно все, что вышло из-под пера гения.

Предлагаемая читателю «Сцена в редакции одной из столичных газет», напечатанная без подписи в «Гражданине» 22 октября 1873 г.,— эпизод из литературной борьбы, которую вел Достоевский с поверхностно-либеральной, неумной и амбициозной журналистикой. Его ирония, юмор были весьма острым оружием в этой борьбе за чистоту литературных нравов.

Придуманные Достоевским «псевдонимы» предельно прозрачны. Газета «Звук» — это петербургский «Голос», а «маститый редактор» — издатель и редактор «Голоса» А. А. Краевский. Узнаваемы и другие сотрудники «Голоса», тонко спародированные Достоевским.

В. В. Виноградов предположительно приписал эту «сцену» Достоевскому («Русская литература», 1969, № 3), но... не привел ни каких доказательств, кроме интуитивной догадки об идейной и стилистической связи «сцены» с другими сатирами Достоевского на А. А. Краевского. Посему редакция тридцатитомного собрания сочинений Достоевского имела все основания отвергнуть предположения ученого, правда, добавив: «вопрос требует дальнейшего изучения». На наш взгляд, имеются достаточно неопровержимые аргументы в пользу авторства Достоевского (они приведены после текста «сцены»). «Сцена» печатается с сохранением авторской пунктуации.

СЦЕНА В РЕДАКЦИИ ОДНОЙ ИЗ СТОЛИЧНЫХ ГАЗЕТ

Кабинет Маститого редактора газеты «Звук». Все сотрудники в сборе. Выходит Маститый редактор.

Маст. ред. Господа, я пригласил вас по случаю подписки. Надо объявлять подписку.

(Изо всех ртов раздаются звуки, в целом как бы жужжание мух).

Один голос. Так что же, не новость.

Сотрудник Дубльве. «Новости»? Нет, будет почище «Новостей»-с! [1]

Отец Нил. Эх вы, с вашим остроумием! Приберегите себя к четвергу.

Дубльве. Берегу-с и берегусь! Маститый, я имею к вам просьбу: нельзя ли мне псевдоним изменить? Мне Дубльве надоело.

Маст. ред. Видите, сотрудник, мне Дубльве потому нравится что начинается с Дубль [2]. А впрочем вы бы как желали подписываться?

Дубльве. Так как я фельетонничаю по четвергам, то я и выдумал себе подпись: Четверговая соль [3].

Маст. ред. Гм.. Клерикально. Нельзя. Вот что, господа, я вообще желаю чтоб были псевдонимы или полные подписи, а то все неподписанные статьи мне приписывают. Все думают что это я сам написал. Пусть пишут те у которых денег нет, а я может нарочно и копил для того, чтоб уж о перья больше рук не марать.

Отец Нил. Да неужто вы так презрительно на нас литераторов смотрите?

Маст. ред. То есть не презрительно, а так... Шекспир, господа, чуть-чуть лишь сколотил копейку и — тотчас на родину, чтоб только в литературе не пачкаться. Литература — это занятие нищих и завистников. Процветание литературы есть только признак нищеты в государстве, признак присутствия умственного пролетариата — самый опасный признак, какой только может быть. И потому издатель газеты — есть, так сказать, спаситель отечества, давая хлеб завистливому пролетариату. После того как же ему денег не брать? Теперь, господа, к делу. Господа, я вот именно хотел заметить, что у нас нет остроумия [4].

Голоса. Как нет остроумия? Это у нас-то нет остроумия?

О. Нил. Кто это ему внушил? Ведь непременно от кого-нибудь слышал. Вот теперь и наладит.

Маст. ред. Да, господа, если мы чем хромаем так это остроумием. У всех остроумие, у нас нет остроумия.

Опытный сотрудник отцу Нилу. Так и есть наладил; теперь его не собьешь.

О. Нил. Маститый, помилуйте, где же у всех остроумие? Это в «Ведомостях»-то [5] что ли?

Маст. ред. Да, там все-таки почище. Именно, отец Нил, говорят что у нас лакейское остроумие. Много раз слышал.

О. Нил (махнув рукой). Эх, да ведь как же иначе!

Маст. ред. Да по мне все равно, но...

О. Нил. Эх, Маститый, нынче излишним-то благородством «чувствий» ничего не возьмешь!

Опытный сотр. Сунься-ка с благородством-то, подписываться не станут.

Маст. ред. Вы так думаете? Так как же быть? А я именно насчет подписки. Ну так если нельзя с благородством, так пишите... без благородства, только чтоб подписка была. Нумера прискучили (жужжанье). Покупают потому что бумага мягкая. Надобно подживить. Ну там известьица... Научки... Какой-нибудь там отдельчик... Повестца... Остроумьице... Одним словом подпустить, подпустить! (вертит рукою). Ну, там все эти идейки, идейки! Вот тоже у нас нет идей. У всех идеи, у нас нет идей.

Опытный сотр. У кого это у всех? Ни у кого нет идей.

---

[1] «Новости» — ежедневная газета, основанная в 1872 г., была тогда мелким листком известий и объявлений. В фельетоне «Литература и жизнь» («Голос», 1873, 11 октября) W. возмущался тем, что «Гражданин» поставил «Голос» в один ряд с «Новостями»

[2] Т. е. нравится созвучием с «рубль».

[3] Фельетоны «Литература и жизнь» печатались в «Голосе» по четвергам. Четверговая — соль, пережженная с квасною гущей в великий четверг, с нею едят на пасху яйца, кроме того, она считалась в народе лекарством от всех болезней.

[4] Возможно, отклик на выпад Достоевского в главе «Бобок» «Дневника писателя». «Ныне юмор и хороший слог исчезают и ругательства заместо остроты принимаются». Впрочем, «Гражданин» не раз укорял газету Краевского в отсутствии остроумия.

[5] Имеются в виду, скорее всего, «Санкт-Петербургские ведомости», где тогда сотрудничали В. П. Буренин, А. С. Суворин.

Маст. ред. Как нет идей? Это денег нет, а идей всегда целый воз. Последнее дело.

О. Нил. Именно нет идей. Идеи перестали. Я так и пишу, так и пригоняю, чтоб концы и начала прятать. Говорил — говорил, а что сказал — неизвестно. Вот как в наше время надо писать. А то влопаешься.

Маст. ред. Почему же влопаешься?

Опытный сотр. А потому что писать загадками выгоднее. Именно чтоб читатель восемь столбцов прочел и ни до одной идеи не добрался. Видит что смеется человек, а над чем — неизвестно. Поневоле и подумает: Эх сколько у них там идейц-то запрятано, только высказаться-то бедненьким не дают. Вот ведь современный-то фортель в чем!

Маст. ред. Ну нет, я хочу чтоб и идеи.

Дубльве. Именно идеи. Я всегда пропускаю идеи.

О. Нил. Это я верю, что ты их пропускаешь. Эх, Маститый! Ну пусть укажут теперь, например: что либерально, а что нет?

Маст. ред. Гм. То есть как это? По-моему либерально так либерально, а не либерально, так не либерально — вот и все.

Опытный сотр. Не всегда так, Маститый.

Голоса. Да, да, не всегда!

Маст. ред. Почему не всегда? Я не понимаю. Кажется я плачу достаточно чтоб у меня знали что̀ либерально... А коль не знаете — так у других справьтесь, вот и все. Это глупо.

О. Нил. А вот опять-таки вас ловлю! Скажите что значит: глупо? Кто в наше время знает что глупо и что умно?

Маст. ред. Как, и этого уж не знают? Ну — так так и объявить что нынче неизвестно, что глупо и что умно.

Один из юных, но неопытных сотрудников. Да мы вот и объявили было что не знаем ничего про Россию, да тотчас и влопались[1].

Маст. ред. Гм. Так как же быть, господа? Надо что-нибудь предпринять, а то подписка упадет. Новенького этак чего-нибудь... (вывертывает рукой).

Дубльве. Новенького? Я вот просил переменить псевдоним, вы и на то не согласились! А вон я слышал, говорят, надо бы и названье газеты переменить.

Маст. ред. Как переменить! Кто говорит?

Голоса. Это еще зачем?

Дубльве. А затем что «звук могут издавать и ослы». Вот как говорят!

Маст. ред. Кто это говорит? И я даже не понимаю, как вы-то сами осмелились. Впрочем мне давно все равно, что бы там в этом смысле ни сказали. Напечатать все-таки не посмеют! Вздор!

Юный но неопытный сотрудник (с необычайным жаром набрасывается на Дубльве, который стоит с глуповатой, но торжествующей улыбкою). Да-с, не посмеют-с! Теперь этого уж никак не посмеют написать-с! Было, было время, когда еще это можно было сказать, только это время давно прошло-с.

Маст. ред. Ну, довольно, юный! Вижу, что ты привержен, но — довольно...

Юный. Нет-с, как же это смеет сказать, что «Звук» могут издавать ослы!

Маст. ред. Сократи, сократи!

Дубльве (с величайшим торжеством). А как же? разве когда осел ревет он не издает звука?

Юный. А, вы в этом смысле? Так ведь «звук» нужно тут с маленькой буквы, а вы с большой.

Дубльве (продолжая торжествовать). А вольно ж вам с большой! Конечно, я в этом смысле, а то как же б я мог. А теперь оно безобидно. Нет, послушайте, господа, а ведь это похоже: разве не издает когда ревет? Разве не

[1] Имеется в виду фраза Нила Адмирари в фельетоне «Листок» («Голос», 1873, 2 сентября): «Да, мудрое правило «познай себя» нигде не может принести такой громадной пользы, как в России, где граждане так мало знают о собственных своих потребностях». Эта фраза вызвала иронический выпад «Гражданина» (10 сентября) в «Последней страничке»: «На 11-м году своей жизни, газета «Голос» объявляет вдруг что на одном все газеты и все журналы должны сойтись братски: на том что все они не имеют-де понятия о России». Мы склонны согласиться с В. В. Виноградовым, что цитируемый фельетон также принадлежит Достоевскому.

издает? Только тут с маленькой буквы, а там с большой. Это я сам, один выдумал, господа! (охорашивается).

Маст. ред. Ну вздор и пустяки! Издавать звук не значит еще «Звук» издавать. «Звук» издавать значит деньги брать. Осел даром ревет, а я за деньги: вот уж и разница!

Опытный сотр. Именно разница! Иные и теперь ревут даром, из принципа, без подписчиков. Вот это так уж настоящие ослы! Именно так. Маститый! Ай да Маститый!

Голос. Ай да Маститый!

Маст. ред. (очень польщенный). Что ж, господа, это бы можно в передовую.

Голоса. Можно, можно!

Опытный сотр. Только осторожно.

Маст. ред. И чего это, господа, на меня одного все указывают? Простить не могут! А я напротив могу указать что есть и теперь русские писатели, которые, несмотря уже на несомненное дарование, литературой дома себе нажили! А коли так, так ведь нам-то уж и простительно. Одним словом я, господа, еще раз принужден заметить что у нас вовсе недостаточно остроумия. По крайней мере в виду подписки надо бы условиться хоть насчет направления. Я давно, господа, хотел вас спросить: какого мы направления? Ведь мы держимся русского направления, а?

Опытный сотр. Ну, на этот счет у нас шваховато.

Маст. ред. Ну так подживить коли шваховато!

Опытный сотр. Да что подживлять-то! Влезем в русское — славянофилами обзовут, тем подписка и кончится. А лучше бы как теперь, всего понемножку: и русское и французское, и монархия и республика...

Маст. ред. Ну да, чтоб и республику.

Опытный сотр. Т. е. как республику?

Маст. ред. То есть не вполне... а так только... идейку... чтоб показать что и у нас тоже. Слава Богу, газета большая, места хватит. А то скажут что у нас этого отдела недостает.

О. Нил. Ну, а насчет общества как же писать теперь: созрело оно иль не созрело? Я вон фельетон приготовляю, мне надо знать как у нас на будущий год решено.

Маст. ред. Ну, а как по прежнему?

Голоса. Созрело, созрело!

Маст. ред. Ну и писать что созрело. Как же не созрело коль у меня 10 000 подписчиков!

О. Нил. Эх, Маститый, да ведь это пожалуй не от того!

Маст. ред. Ну нет; как же не от того.

О. Нил. Созреют так ведь нам же первым плохо будет.

Маст. ред. Это еще почему?

О. Нил. Созреют — поумнеют. Поумнеют — перестанут подписываться.

Юный, но неопыт. сотр. Ах, так писать что не созрели! Непременно писать что не созрели!

Маст. ред. Постой, постой! Это вздор. Еще когда-то поумнеют, а теперь пусть подписываются. На наш век хватит. Писать по-старому!

Опытный сотр. Браво, Маститый! Опять слышу голос умудренного опытом человека! По-прежнему-то лучше. Чего там «научки», да «подживить». Сказано: «не открывать Америку»; помните! Тем нам и счастье что мы — середка на половину. Значит всякому по плечу.

Маст. ред. Именно, именно, я про то и говорю. Хватило бы на наш век, а там — après moi le déluge![1]

Сотр. Дубльве. Это вы про потоп... А знаете, господа, что третьего дня было наводнение?

Маст. ред. (с холодным взглядом). Я не про то.

[1] После меня хоть потоп (франц.).

Сотр. Дубльве (торопится). Нет, в самом деле, господа, слышу ночью каждую минуту по пяти пушек[1]

Голоса. Да не про то, не про то!

Сотр. Дубльве. Ах да, каждую пушку по пяти минут, ну, думаю наводнение!

Голоса. Да не про то, не про то!

О. Нил. Вот она четверговая-то соль!

Маст. ред. А только что же мы новенького-то, господа? Подписка не шутка!

О. Нил. Наладили же вы, Маститый, вы лучше скажите насчет классических языков: по-прежнему?

Маст. ред. Классические языки! Лупить! по-прежнему лупить![2]

Голоса. Лупить! По-прежнему лупить!

Дубльве. А «Гражданин»-то? Коли не об чем писать так я об «Гражданине»! Вот вам и новенькое. Это всегда новенькое! Никогда не состарится.

Маст. ред. «Гражданин» лупить!

Опытный сотр. Не скажу чтоб лупить «Гражданин» — было всегда новеньким. Вон, говорят, мы об нем на всю землю протрубили. Ему на 1000 р. на одних объявлениях выгоды сделали![3]

Дубльве. Так ведь ругали? Ведь ругали, а не хвалили!

Опытный сотр. Так ведь есть же что нам и не поверят. Дай дескать посмотрю, что за «Гражданин» такой, что все два года не могут успокоиться. Возьмет да и выпишет.

Маст. ред. Черт возьми, надо чтоб не выписывали. Я особенно не люблю «Гражданин», господа. Уж не начать ли хвалить, а?

Голоса. Что вы, Маститый, что вы, рехнулись!

Маст. ред. Совсем нет, а вот увидят что мы хвалим, ну и перестанут подписываться... Впрочем, черт, я сбился. Господа, извините! Нет уж лучше по-прежнему: лупить!

Голоса. Лупить, лупить! пуще прежнего лупить!

Дубльве. Ну, я было испугался! Вы только подумайте что же со мной-то станется, коли «Гражданин» не лупить? Без «Гражданина» я как муха пропал! Об чем мне тогда писать?

Маст. ред. Итак, господа, я вижу, что все по-старому, несмотря на близость подписки? Гм. А ведь я и сам так думал! Что же, господа, нынче благородством-то не возьмешь! Нынче вон неизвестно что глупо, а что умно, что либерально, что нет... Сунься-ка в славянофилы — русским назовут. Скажите, где теперь идеи? Укажите хоть одну! Гм. А только все-таки я б советовал подживить. Этак новый отдельчик какой-нибудь, али там Базена пустить[4]. Подпустить бы этак, подпустить! (вертит рукою).

Голоса. Да уж подпустим, Маститый! Не в первый раз; останетесь довольны, не выдадим!

Опытный сотр. То-то вот и есть. Без Америки-то лучше. Проползем и так.

Маст. ред. Проползем-то, проползем. Гм. (про себя) А только все-таки надо бы остроумия...

---

[1] Пародия на следующий эпизод из «Листка» Нила Адмирари («Голос»., 1873, 7 октября): «Около полуночи выстрелы (пушки, извещавшей о прибытии воды в Неве.—В. В.) сделались громче и чаще...».

[2] Реформа среднего образования 1871 г. вытеснила «реальное» образование «классическим». В русской печати велась по этому поводу оживленная полемика. Достоевский в основном поддержал реформу либеральная пресса, в том числе «Голос», выступила против.

[3] Т. е. избавили от частных рекламных — платных! — объявлений о подписке на «Гражданин», печатавшихся в том же «Голосе».

[4] С 24 сентября по 28 ноября 1873 г. (ст. ст.) во Франции заседал военный суд над маршалом Базеном, сдавшим без должного сопротивления крепость Мец и вверенную ему армию. Был приговорен к смертной казни, но затем помилован президентом. «Голос» печатал регулярные отчеты о судебных заседаниях.

Аргументация в пользу авторства Ф. М. Достоевского

1. «Сцена» написана в форме пародийного диалога известных журналистов, которую Достоевский хорошо освоил еще в 60-е годы. В том числе — разговор в «редакционной кухне» «Г-н Щедрин или раскол в нигилистах» (1864), где писатель пустил в ход пародийную идиому: «Можно... не говорить: «Лайте!», а можно сказать: «Издавайте звуки». Далее в той же статье 1864 г. идиома «издавать звуки» повторяется в разных сочетаниях 14 раз (!). Очевидно, очень уж понравилась автору.

Через четыре месяца в том же 1864 г. в фельетоне «Каламбуры в жизни и в литературе» Достоевский изобретает новый каламбур, теперь уже по поводу Краевского, издателя новой газеты «Голос»: он издает голос и издает «Голос». «Одним словом, он издает два голоса в ущерб русской литературе».

Нетрудно заметить, что в интересующей нас «сцене» 1873 г. каламбур, изобретенный Достоевским в 1864 г., вновь направлен против Краевского, «маститого редактора» газеты «Звук»: «Звук могут издавать и ослы». Более того, один из сотрудников тонко намекает на это обстоятельство: «Теперь уж этого никак не могут написать-с. Было, было время, когда еще это можно было сказать, только это время давно прошло-с».

2. В «сцене» со знанием дела высмеяны повадки «маститого редактора» А. А. Краевского. В редакции «Гражданина» только двое — Достоевский и А. У. Порецкий были когда-то, по «Отечественным запискам» сороковых годов, посвящены в его издательскую кухню.

В «сцене» «маститый редактор» изрекает: «Нумера прискучили... Надобно подживить. Ну там известьица... Научки... Какой-нибудь там отдельчик... Повестца...»

В записной тетради Достоевского 1876—1877 гг. находим: «У нас не науки, а до сих пор все еще «научки», как говаривал в старину один редактор, издатель ежемесячного журнала...: «Ну вот повестица, ну там критичка, ну «научки» тоже — вот и номерок составился — хе-хе-хе...» В академическом издании Достоевского (т. 24, с. 479) эта запись неверно толкуется как выпад против Некрасова. Имеется в виду именно Краевский (доказательства читатель найдет в нашей статье, готовящейся к изданию в составе десятого сборника «Достоевский. Материалы и исследования»).

Любопытно, что словцо «научки» Достоевский обыграет и в своей статье «Одна из современных фальшей», напечатанной в «Гражданине» через полтора месяца после «сцены в редакции».

3. Издание «Бесов» и редакторство в «Гражданине» ознаменовались обрушившимся на Достоевского градом насмешек и даже издевательств со стороны мелко-либеральной прессы. Поусердствовал и «Голос» Краевского, особенно в лице двух ведущих сотрудников: Нила Адмирари (псевдоним Л. К. Панютина) и W. (возможно, М. Г. Вильде). Последний в «сцене» назван Дубльве, а первый — о. Нилом, что каламбурно сближало развязно-либерального журналиста со скандально прославившимся беспутным попом Нилом, о котором Достоевский недавно написал едкий фельетон «История о. Нила» («Гражданин», 11 июня 1873 г.).

Весною или в начале лета 1873 г. Достоевский наметил в записной книжке: «Статья: Газета Голос», готовиться все лето (перед подпиской)». Статьи с таким названием Достоевский не написал, но сатирическая «сцена в редакции» выполняла намеченную им задачу, выйдя именно «перед подпиской». В записной тетради Достоевского 1873 г. мы находим подготовительные наброски, дословно совпадающие с некоторыми местами «сцены в редакции», что, на наш взгляд, является абсолютным доказательством при атрибуции.

В записной книжке Достоевского: «Есть и теперь русские писатели, которые, несмотря на несомненное дарование их, построили себе литературой дома»[1].

В «сцене»: «...есть и теперь русские писатели, которые, несмотря уже на несомненное дарование, литературой дома себе нажили!»

В кого целит этот эпизод, раскрывает упоминание в статье Достоевского «Молодое перо» (1863): «таланты здесь изображены под видом домов, что употребляется в литературе (см. дом Краевского на Литейной и дом Старчевского на Мойке)». Позднее к ним прибавился дом Г. Е. Благосветлова, также известного редактора и издателя.

В записной книжке: «Идеи у вас нет».

«В «сцене»: «Вот тоже у нас нет идей. У всех идеи, у нас нет идей». (Тема эта использована Достоевским раньше в статье «Полписьма «одного лица».

В «сцене» получили отражение некоторые традиционные мотивы Достоевского-сатирика. Так, в той же записной книжке: «Кто же не знает, что ты ругаешь газету-соперницу, потому что боишься, не отобьют ли твоих подписчиков».

---

[1] Приводим эту запись из «Тетради № 8» (ЦГАЛИ, ф. 212, 1. 11, л. 5) в более точном прочтении, чем это сделано в академическом собрании сочинений Достоевского (т. 21, с. 257).

Или вот слова «опытного сотрудника», что «писать загадками выгоднее», потому что читатель «поневоле подумает: Эх, сколько у них там идеищ-то запрятано, только высказаться-то бедненьким не дают». Ср. заметку Достоевского к статье о нравах соаременной журналистики: «Полная свобода прессы необходима, иначе до сих пор дается право дрянным людишкам (умишкам) не высказываться и оставлять слово с намеком: дескать, пострадаем... Предполагается добрым читателем, что вот в том-то, что они не высказали, и звключаются перлы».

Можно привести иные, более мелкие совпадения (напр., огласовка слова «пселдоним», намекающая на героя «Скверного анекдота» Пселдонимова), но и приведенных достаточно для уверенного атрибутирования «сцены в редакции».

Одно замечание вне текстологии. Недавно предпринята попытка полной «реабилитации» А. А. Краевского (статья М. Юрьевой «Судьбою несть даны нам тяжкие вериги...» в «Советской культуре» 5 сентября 1989 г.). Кажется, на смену одному мифу приходит другой, сильно подслащенный. А неплохо бы вслушаться в суждения современников, хотя бы наиболее авторитетных. Достоевский в своем отношении к Краевскому был неровен, изменчив, сказывалась и политическая конъюнктура. Но Достоевский-то мог подняться над конъюнктурой! В «Петербургских сновидениях...» (1861) он признал Краевского «лицом весьма полезным русской литературе»; «...он первый придал издательскому делу серьезиую деловитость коммерческого предприятия...». Однако, чем дальше, тем больше коммерческая деловитость Краевского приобретала в глазах Достоевского (и не его одного) характер делячества. Люди типа Краевского вызывали у него недоверие к мотивам их общественной позиции. Все в той же записной книжке 1873 г.: «Человек весьма часто принадлежит известному роду убеждений вовсе не потому, что разделяет их, а потому что принадлежать к ним красиво, дает мундир, положение в свете, зачастую даже доходы».

Публикация, вступительная статья и комментарии В. ВИКТОРОВИЧА

Алексей Эйсснер

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Автор предлагаемых читателю воспоминаний — художиик Алексей Петрович Эйсснер (1871—1942), внук известного петербургского архитектора, создателя Мариинского дворца и других замечательных зданий в Петербурге, профессора Академии художеств Андрея Ивановича Штакеншнейдера. Его обширный гостеприимный дом на Миллионной в конце 1850-х и начале 1860-х гг. был знаменит своими литературно-музыкальными вечерами, на которых собирались видные представители литературы и искусства, общественные деятели. Хозяйкой салона была его жена Мария Федоровна, но центром, душой этого сообщества, по свидетельству современников, была старшая дочь Штакеншнейдеров Елена Андреевна, отличавшаяся недюжинным умом, наблюдательностью, доброжелательным интересом к людям, умением расположить собеседников к откровенности, блестяще образованная. Имя ее тесно связано с историей русской литературы и общественной жизни. К Достоевскому она относилась с особым вниманием и чуткостью. Он был для нее не только великим писателем, ио и учителем жизни.

Достоевский стал бывать в доме Штакеншнейдеров еще на Миллионной в начале 1860-х гг., вскоре по возвращении из Сибири. После отъезда Штакеншнейдеров на мызу Ивановка, близ Гатчины, встречи стали редкими и возобновились уже в 1873 г. Особенно часто Достоевский стал бывать у Штакеншнейдеров в 1879—1880 гг., стараясь не пропускать их приемные дии, часто заходил просто «на огонек». Дружба со Штакеншнейдерами — одна из светлых страниц в жизни Достоевского. В записных тетрадях писателя упоминаются все адреса, по которым жили в те годы овдовевшая Мария Федоровна, Елена Андреевна и семья ее сестры Ольги Андреевны, в замужестве Эйсснер (ее сыном и был автор публикуемых воспоминаний). В ту пору, когда он впервые увидел Достоевского, Алеше Эйсснеру было около восьми лет. «Мама и сестры кланяются Вам. а Алеша и Вера (сестра Алеши.— Г. К.) — детям Вашим» — писала в те годы Достоевскому Е. А. Штакеншнейдер.

Посещения Достоевским дома Штакеншнейдеров в последние годы его жизни описаны А. Г. Достоевской, женой писателя, в ее «Воспоминаниях», в книге

Е. А. Штакеншнейдер «Дневник и записки» (М.-Л., 1934) и В. Микулич «Встреча со знаменитостью» (М., 1903). Воспоминания А. П. Эйсснера — новые, неизвестные страницы о последнем периоде жизни Достоевского. Такие живые, основанные на непосредственном детском восприятии воспоминания в мемуаристике, посвященной Достоевскому, вообще очень редки. И хотя написаны они много лет спустя и отмечены весьма сильным субъективизмом взгляда, но открывают такие подробности и детали, которые ускользали от внимания взрослых.

Дети всегда интересовали Достоевского. «Я их изучаю и всю жизнь изучал, и очень люблю и сам нх имею...» — писал он в 1878 г.

Алеша Эйсснер с нетерпением ожидал прихода Достоевского.

«Отчего вы с детками не приехали? — спрашивала Елена Андреевна Анну Григорьевну Достоевскую.— Алеша при каждом звонке все бегает в переднюю и кричит: «Достоевские!». Каждый раз еще — не приехал ли Федор Михайлович?» (Е. А. Штакеншнейдер — А. Г.Достоевской. «Лит. насл.», т. 86, с. 436). «Пришел, пришел, пришел!» — восклицал «маленький Алеша», пробегая по всем комнатам и сообщая о приходе Достоевского В. Микулич (В. Микулич. Указ. соч., с. 9).

По свидетельству А. Г. Достоевской, у Достоевского было «какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы...»

В этой связи примечателен рассказ А. П. Эйсснера о первой встрече с Достоевским, когда великий писатель вместе с восьмилетним мальчиком с живейшим интересом разглядывает книги, которые так много значили для него самого в детстве, те самые, которые он советовал родителям и педагогам непременно давать детям для их духовного развития, вспоминая, «сколько высоких и прекрасных впечатлений» захватил он в жизнь из этого чтения.

Весьма знаменателен не ускользнувший от мальчика пристальный интерес Достоевского к образу Христа, созданному художником Ф. Бруни.

Известно, с каким вниманием и глубоким волнением всматривался Достоевский в изображение Христа кисти итальянских живописцев Тициана («Христос с монетой») и Каррачи (голова молодого Христа), немецкого художника Ганса Гольбейна («Мертвый Христос»). В наблюдениях мальчика — важное свидетельство об интересе автора «Братьев Карамазовых» к изображению Христа в русской живописи. Ф. А. Бруни занимался в те годы сочинением и рисованием картонов для образов Христа в Исаакиевском соборе и храме Христа Спасителя в Москве, сотрудничая в этой работе с А. И. Штакеншнейдером.

Весьма любопытен рассказ о любительском спектакле «Каменный гость», состоявшемся на Знаменской в одну из суббот зимой 1880 г. О нем вспоминают и А. Г. Достоевская, и Е. А. Штакеншнейдер, и наиболее полно его описавшая В. Микулич. Но в воспоминаниях мальчика сохранились такие детали, которые взрослыми оказались не замечены: Достоевский был одним из инициаторов спектакля, участвовал в распределении ролей и даже сам был в числе исполнителей, а не сидел на спектакле «в последних рядах с Еленой Андреевной», как пишет В. Микулич. В жизни Достоевского это был второй спектакль, в котором он участвовал. В знаменитом писательском спектакле «Ревизор», устроенном Литературным фондом 14 апреля 1860 г., он выбрал для себя роль почтмейстера Шпекина. В «Каменном госте» — первого гостя Лауры, произносящего столь близкие самому Достоевскому пушкинские строки:

...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь — мелодия...»

(Сцена II. Комната. Ужин у Лауры).

Роль Лауры исполняла «очень красивая молодая женщина... приятельница Елены Андреевны, Мария Николаевна Бушен, очень одаренная личность. Она прелестно рисует, пишет, декламирует, играет на сцене, при этом хороша как ангел и несчастлива в семейной жизни» (В. Микулич. Указ. соч., с. 14). «Помню, в какой восторг привела его (Достоевского.— Г. К.) тогда иа представлении «Каменного гостя» Маша Бушен своим костюмом Лауры, который, сказать по правде, приличием тоже не отличался, потому что был слишком короток. Я даже тогда чуть не вскрикнула, увидав на сцене ее толстые ноги и толстые же обнаженные руки, а он ничего не заметил и только восхищался»,— возмущалась Е. А. Штакеншнейдер. По ее мнению, «глубочайший мыслитель и гениальный писатель» «не был тонок» по части дамских костюмов и женской красоты, хотя и «знает все изгибы души человеческой, предвидит судьбы мира».

В кругу Штакеншнейдеров долго помнили о пушкинском спектакле. В переписке Достоевского с Еленой Андреевной Аверкиева (жена писателя Д. В. Аверкиева) и Бушен стали упоминаться как Донна Анна и Лаура — так называли их после спектакля. Был задуман новый спекталь — «Отелло» и Федор Михайлович на сей раз мечтал сыграть в нем уже главную роль. «Я сам буду Отелло»,— говорил он. Бушен готовилась к роли Дездемоны (см. В. Микулич. Указ. соч., с. 14, 21). Этим планам не суждено было осуществиться.

В воспоминаниях вновь возникает легенда о телесном наказании, которому Достоевский якобы был подвергнут в остроге. Анна Григорьевна, по свидетельству родственников, «этого не знала» («Достоевский. Материалы и исследования». Л., 1974, вып. 1. с. 303). Л. Достоевская, дочь писателя, называла эту легенду «нелепой» (Л. П. Гроссман. «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского». М., 1935, с. 331). Недавно на основе документальных сведений, сохранившихся в архивах, показано, что нависшая над Достоевским и его товарищем — петрашевцем С. Дуровым угроза телесной расправы (о чем он писал брату М. М. Достоевскому 30 января — 22 февраля 1854 г. из Омска) была предотвращена комендантом крепости де Граве и одним из солдат охраны (М. М. Громыко. «Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского». Новосибирск, 1985, с. 40).

По вторникам в салоне Штакеншнейдеров происходили литературные чтения. Достоевский, всегда охотно откликавшийся на приглашения выступать с чтением отрывков из своих произведений в известных залах в пользу Литературного фонда, студентов С.-Петербургского университета, Бестужевских курсов, женских гимназий, просил осенью 1880 г. не беспокоить его — до 20 ноября: он заканчивал «Братьев Карамазовых», писал эпилог романа. 26 ноября, во вторник, он прочел только что законченные страницы в салоне Штакеншнейдеров. «Вчера у нас Федор Михайлович читал главу из эпилога, княгиня Дондукова пела»,— рассказывает Елена Андреевна Н. Н. Страхову 27 ноября 1880 г. Это было единственное свидетельство о чтении Достоевским эпилога романа. В воспоминаниях А. П. Эйсснера содержится подробное, живое описание этого чтения, на котором присутствовали известные представители петербургской интеллигенции.

Неизвестным было до сих пор и посещение Достоевским концерта знаменитого артиста московских театров, непревзойденного чтеца Гоголя В. Н Андреева-Бурлака. Очевидно, дело было в 1879 г., когда артист приезжал с гастролями в Петербург, и Достоевский, несомненно слышавший о мастерском чтении им «Записок сумасшедшего», не пропустил этого вечера в известном в Петербурге музыкально-театральном зале.

Смешна на первый взгляд, но многозначительна в свете известных нам ключевых образов философской проблематики произведений Достоевского жанровая сценка в гостиной Штакеншнейдеров, с ползущим по стене клопом. Этот «думающий клоп» сразу же вызывает в памяти и пауков из закоптелой баньки, какой представляется Свидригайлову преисподняя, и ту муху, жужжание которой в кошмарном сне Раскольникова столь ужасно оттеняет замогильную тишину происходящего и напоминает ему потом о единственном свидетеле преступления: «Муха летала, она видела», и омерзительного тарантула из кошмара Ипполита (в романе «Идиот»), и слова Кириллова из «Бесов»: «Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что он ползет».

Наконец, в воспоминаниях А. П. Эйссиера обнаруживаются новые данные о творческих исканиях Достоевского. Давно исследователей занимает вопрос о содержании задуманного великим писателем и оставшегося неосуществленным второго тома «Братьев Карамазовых», о том, какова должна была быть судьба главного героя Алеши Карамазова, как должен он был выйти на «правую дорогу»?

Существует несколько разных версий, основанных на свидетельствах современников Достоевского. Одна из них — рассказ А. С. Суворина, который, вспоминая о встрече с Достоевским, утверждал, что писатель «хотел провести его (Алешу.— **Г. К.**) через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление Его бы казнили...» («Дневник А. С. Суворина». М.—Пг., 1923, с. 16). Из воспоминаний А. П. Эйсснера видно, что Е. А. Штакеншнейдер, с которой Достоевский любил беседовать и делиться своими планами, также было известно его намерение писать об Алеше как о политическом преступнике, и она рекомендует искать материал для этого в среде прежних политических преступников — декабристов, «ссыльных старого времени», принявших ранее столь доброе участие в судьбе ссыльного нового времени — Достоевского. С некоторыми из них семья Штакеншнейдеров была связана родственными узами. И Достоевский увлекся этим сюжетом. Обращение к истории декабризма — новый, неизвестный прежде факт творческой биографии автора «Братьев Карамазовых».

Какова же история предлагаемой читателю рукописи и почему она до сих пор не была опубликована?

История моего многолетнего поиска именно этой рукописи началась в 1958 году в Омске, когда во время первой своей поездки по местам Достоевского я неожиданно увидела в местном краеведческом музее круглый диван и стол из знаменитого петербургского салона Штакеншнейдеров. Как он мог тут очутиться? Известный ученый-краевед Андрей Федорович Палашенков рассказал мне, что вещи эти поступили в музей в 1956 году от племянницы Е. А. Штакеншнейдер Маргариты Васильевны Долининой-Иванской вместе с фотографиями — портретом Елены Андреевны и изображением того уголка гостиной, где эти вещи стояли. К сожалению, встретиться тогда с Маргаритой Васильевной не удалось. А несколько лет спустя я увидела такие же фотографии в изобразительных фондах Государственного Литературного музея. Они не значились ни в коллекции А. Г. Достоевской, ни в коллекции материалов, собранных московским музеем Ф. М. Достоевского (открыт в 1928 г. и стал филиалом Гослитмузея в 1940 г.). В старой книге поступлений, начатой Гослитмузеем в октябре 1934 года, записано, что эти фотографии поступили вместе с исполненным сангиной и тушью портретом Достоевского в 1934 году от А. П. Эйсснера. Сбоку помета: «автор воспоминаний».

Какие воспоминания, о ком, где рукопись... И кто такой Эйсснер, имеющий, судя по фотографиям, отношение к Штакеншнейдерам?

1934 год — год основания Государственного литературного музея. Его директор В. Д. Бонч-Бруевич развернул собирательскую и публикаторскую, издательскую деятельность. Мне неоднократно приходилось слышать и от старейших сотрудников музея, и от самого Бонч-Бруевича (я начала работать в музее с 1946 г.) о той огромной переписке, которую он вел с потомками писателей, художников и исторических деятелей, обращаясь к ним с призывами передавать в государственные хранилища свои семейные и родовые архивы, чтобы сберечь их от гибели Конечно, не мог он в этой связи не обратиться и к Штакеншнейдерам. «Я привык всю мою жизнь к Штакеншнейдерам относиться с самым глубоким уважением»,— писал он племяннице Елены Андреевны Софье Владимировне Штакеншнейдер, чрезвычайно радуясь ее решению передать свой архив музею (ГБЛ, ф. 369, оп. 1, карт. 225, ед. хр. 43, л. 1). История архивов Штакеншнейдеров — особая и очень интересная тема, но здесь для нее нет, к сожалению, места. Скажу лишь, что о существовании воспоминаний А. П. Эйсснера в семье Штакеншнейдеров не знали.

Я решила заняться изучением всей переписки В. Д. Бонч-Бруевича, а также протоколов заседаний фондовой комиссии, принимавшей коллекции (ЦГАЛИ, ф. 612 Гослитмузей; ГБЛ, ф. 369 В. Д. Бонч-Бруевич). И вот среди корреспондентов Владимира Дмитриевича оказался и ленинградский профессор, художник А. П. Эйсснер! 29 декабря 1932 г. он, очевидно, в ответ на обращение к нему Бонч-Бруевича писал о задуманной им большой работе, листов до пятидесяти: «Мои воспоминания являются как бы семейной хроникой моих близких: Штакеншнейдер, Эйсснер, Малиновских и Вольховских — товарищей по лицею А. С. Пушкина и др. ...»; «Из писателей мне достаточно придется остановиться на Ф. М. Достоевском как друге моей тетки Елены Андреевны и дядюшки Адриана А. Штакеншнейдер и как отце Лили и Феди, моих сверстников...» (ГБЛ, ф. 369, картон 369, ед. хр. 9, л. 1 — об.). 9 июля 1933 г. он сообщал Бонч-Бруевичу, что статья «Из моих воспоминаний о Достоевском» окончена (писал ее полтора месяца) и 23 августа она вместе с иллюстрациями была выслана в Москву (там же, лл. 3, 5).

«Рукопись Вашу прочел. Полагаю, что она будет напечатана в 5-ой книжке «Звеньев», где мы помещаем большой материал о Достоевском. Окончательное решение будет тогда, когда наша коллегия просмотрит весь сборник № 5 и утвердит к печати...»—отвечал В. Д. Бонч-Бруевич 26 ноября 1933 г. (ЦГАЛИ, ф. 612, оп. 1, ед. хр. 2523; ПБЛ, ф. 369, картон 226, ед. хр. 21, л. 4; ГЛМ, ф. 327, оп. 1, ед. хр. 170, л. 37).

Однако 5-ая книжка «Звеньев» — сборника материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века, издававшегося под редакцией Бонч-Бруевича.— вышла в 1935 г. без материалов о Достоевском. Воспоминаний А. П. Эйсснера не оказалось и в 6-ой книжке «Звеньев», вышедшей в 1936 г., и в последующих номерах.

Рукопись Эйсснера следовало искать в портфеле редакции «Звеньев». Но в 1949 г. издательство Гослитмузея было закрыто, и архив его, по мнению исследователей, исчез — во всяком случае, судьба его оказалась весьма загадочной... Однако часть этого архива еще при жизни Бонч-Бруевича была передана в Гослитмузей из Центрального Государственного архива литературы (ныне ЦГАЛИ). Коробки эти берегли, но они стояли неразобранными, недоступными для исследователей. Оказалось, что это—небольшая часть редакционного портфеля «Звеньев»; рукопись Эйсснера сохранилась в ее составе за № 170. Она состоит из 36 машинописных страниц. Ныне хранится в Рукописном отделе Государственного Литературного музея.

А как сложилась судьба автора «Воспоминаний»?

Художник А. П. Эйсснер закончил Академию художеств и Археологический институт, был участником Всероссийского съезда художников в С.-Петербурге (дек. 1911—янв. 1912 г.), будучи секретарем отдела съезда «Живопись и ея техника» (почетным председателем которого был И. Е. Репин), выступал с докладами («О грузинской древней росписи», «Памятники Закавказья», «Древние одежды по церковным династическим фрескам», «Памятники старины Юго-Западного Закавказья») и с предложением об основании в столице «Дома художников», где бы художники могли работать и жить (см. «Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде», 1912, тт. 1, 2, 3). В 1929 г. в ленинградском издательстве «Наука и школа» вышла его книга «Школа рисования и живописи»,

посвященная им памяти матери — О. А. Эйсснер. По свидетельству его внучатой племянницы Наталии Борисовны Мешковой-Малиновской, деятельностью по воспитанию юных художников А. П. Эйсснер занимался до конца своей жизни. Умер в 1942 году в блокадном Ленинграде.

Рукопись публикуется с небольшими сокращениями. Орфография и пунктуация автора в основном сохранены.

В конце 70-х годов прошлого столетия моя мать, сестра, я, бабушка Мария Федоровна и тетка Елена Андреевна Штакеншнейдер, с которыми мы жили вместе с тех пор, как я себя помню, собирались переезжать на новую квартиру.

Был Великий пост. Мать моя впервые повела меня к исповеди в церковь Козьмы и Дамиана, что на Кирочной улице, почти рядом с тем домом, где мы жили. Она выходила на Фурштадтскую улицу. Говорили, что церковъ переделана из военного манежа.

Как сейчас вспоминаю свои первые впечатления того знаменательного для меня дня. Погода была серая, слякотная — пронизывающая. Я весь был полон тайных, неиспытанных еще ощущений «грешника», идущего на покаяние. С легкой дрожью и робостью я поднялся на паперть, где нас с матерью тесной толпой обступили нищие, бродяги и разные странники из «святых мест». Охваченный волнением предстоящего испытания, только я хотел переступить порог притвора, как передо мной выросла фигура с заскорузлой протянутой рукой, держа в другой крепко сжатый сучковатый посох. Голова этой фигуры лысая, мертвенно-бледная, бесцветные маленькие глаза, как стеклянные, смотрели на меня исподлобья в упор тупо и вопросительно; она шептала что-то, глухо и невнятно, и едва, едва улыбалась, а стеклянные глаза так и впились в меня. Я с острасткой оглянулся на мать, которая в это время подавала монету. Мы вошли в церковь. Царил таинственный полумрак, мерцали свечи. Слышался шопот, кашель, вздохи и временами звон разменной монеты. Пахло выдохшимся ладаном и сырой одеждой. В стороне, в темном углу, стояла ширма. Несколько человек толпились возле нее. Мы с матерью также подошли и стали в очередь. Я впереди. Тихонько сняв пальто, безучастно озираясь кругом. Мысль моя бродила, а в глазах мерещился странник у притвора, мерещился и пугал!..

Мать мне шепнула: «Иди — твоя очередь». Я беспомощно вступил за ширму... У аналоя, вытянувшись и нагнувшись, на меня смотрела, кивала и шептала, лысая, суровая, болезненно-изнеможденная голова. С боков ее гладко лежали волосы. Огромный лоб нависал над мелкими серыми задумчивыми и проницательными глазами, которые слегка прикрывали сдвинутые над ними брови. Редкие опущенные усы под прямым мясистым носом и редкая, от больших ушей растущая седая борода лопатой, из-под которой сначала едва заметной — темной, а затем широкой поблескивающей лентой повисла передо мной епитрахиль. Перед иконой зажженная лампада и свечи, сверху мягким теплым полусветом разливаясь по голове, задевали епитрахиль и все это, как гигантский восклицательный знак, заканчивалось и отражалось в лежащем под нею серебряном блюдце с грудой монет и свечей!.. Все остальное тонуло в сумраке и в моем измученном воображении. Испытывая неимоверную подавленность и щемящую тоску, я зарыдал!.. Все у меня смешалось в мозгу. Очнулся я только тогда, когда прикоснулся губами к холодному кресту и Евангелию. Я вышел... Очередь была моей матери. Примостившись у наших снятых пальто, я забылся и задремал, и мне мерещились все время эти обе головы, которые я впервые заметил и так близко, близко видел, почти касаясь их.

Переехав с Фурштадтской ул., из дома Кононова, в дом Дылева на угол Знаменской (ныне пл. Восстания) и Озерного переулка, мы наняли большую квартиру в 3-м этаже с 3-мя балконами, один из которых выходил на Знаменскую, 2 других на Озерный переулок, как раз на большой деревянный дом с мезонином, таинственный, вечно тихий, как вымерший, дом с большим тенистым фруктовым садом, принадлежавший скопцам Дурдиным (ныне в нем Детдом). Рядом с нами по той же парадной лестнице занимал небольшую квартиру присяжный поверенный Александров, вскоре высланный из Петербурга административным порядком за защиту Веры Засулич. Он спешно распродавал свои вещи. У него бабушка купила мне письменный столик с решеткой и при нем проведенный на кухню телефон — тогда совершенно необычайную, небывалую «новинку».

Я уже учился и очень интересовался книгами, но не детскими. <...> Любил я очень хорошо изданные книги с художественными рисунками. Я не расставался с историей Фридриха Великого в русском переводе с иллюстрациями Адольфа Менцеля, часами любуясь ими, «Die Glokke» Шиллера в оригинале, с рисунками Каульбаха, восхищался Диккенсом на английском языке («Пиквикский клуб» с рисунками Сеймура и Фиша) и «Ундиной» Жуковского со стильными рисунками au trait, но без подписи, предполагаю гр. Ф. Толстого. Все это аккуратно размещалось на моем письменном «столике с телефоном», который поставили в нашей обширной столовой, скорее напоминавшей старинный кабинет усадьбы: с диванами, креслами, стульями и столиками, с большим концертным роялем фабрики «Вирт», над которым висела в большой золотой раме голова Христа, кисти Бруни — товарища по Академии моего деда. Это был эскиз, написанный в стиле древних мастеров, в темных тонах, и совершенно не походил на все работы этого художника.

Голова — «полный фасс», почти во все полотно, сливаясь с фоном и только часть лица слегка освещена. Большие бархатистые глаза задумчиво смотрели на зрителя, куда бы он ни пошел. У самого низа рамы шею охватывал синий хитон с красной полоской посредине, скрепленный пряжкой с «Альфой и Омегой», а от нее во все стороны расходились струйки едва заметных отблесков. <...> По стенам большие старинные гравюры в рамах, на постаментах мраморный бюст деда и бронзовая статуя тети Зины, умершей 3-х лет, работы Румянцева. И только большой обеденный стол, покрытый тяжелой скатертью, пожалуй, напоминал, что тут завтракают, обедают, ужинают и пьют чай. Огромный, в два этажа, с башенными часами и витыми колоннами, закрытый темный буфет, тогда уже исполненный полвека назад по рисунку деда, напоминал скорее средневековый орган и придавал всему внушительный покой. Комната эта соединялась с гостиной темно-красным проходным «фиммуар»-ом, с аркой и белым мраморным камином, в котором зимой постоянно тлел и вспыхивал «коко», где стояли уютные диванчики и стулья. В столовую обыкновенно стремились друзья нашего дома и вообще «люди свои».

В эти годы велась война с турками, и здесь мы вместе с гостями щипали «корпию» из мытых полотняных обрезков от старого белья. Сестра и я также принимали в этом деятельное участие, и нам доставляло это очень большое удовольствие. Не было дома, где бы в часы досуга не занимались этим, и Петербург в изобилии отправлял в «Красный крест» корпию для ран.

Вот в этой-то самой комнате и произошло мое тесное знакомство с Достоевским. Тогда у нас бывали «журфиксы» два раза в неделю по вторникам и пятницам — по пятницам в память былых знаменитых «пятниц» Академии художеств, коей мой дед Штакеншнейдер был питомцем, а затем профессором и академиком.

Собиралось у нас самое разнообразное общество: литераторы, поэты, общественные деятели, философы, музыканты, певцы, актеры, художники, сановники и революционеры (нигилисты, как их тогда называли). Большинство из них друзья дома. Из последних Михаил Павлович Покровский, в студенческие годы пылкий вожак революционного студенчества, Шелгунов, Михаэлис, Д. В. Стасов, передовые женщины Н. В. Стасова, Е. Х. Маляревская, рожденная Колодеева, женщина-врач О. А. Мордвинова, Н. И. Утина (рожденная Корсини), А. П. Философова (рожденная Дягилева), Черкесова (рожденная Трубникова), Н. К. Шульц (женщина-врач, родоначальница русской бактериологии). А. Н. Энгельхард (сестра жены Салтыкова-Щедрина), художники Айвазовский, Горавский, Гох, бар. М. П. Клодт, актеры Горбунов, Писарев, Стрепетова... певицы: кн. Дондукова-Корсакова, Занетти, Лядова... музыканты: Мусоргский, Сафонов, Синягина-Лилиенфельдт, философы: Владимир Соловьев, Н. Н. Страхов, литераторы: Федор и Иван братья Берг, Загуляев, В. В. Стасов и другие, поэты:

А. Н. Майков, Я. П. Полонский, К. К. Случевский, писатели: Гаршин, Гончаров, Ф. М. Достоевский, Писемский и прочие.

Достоевский для меня был не близкий, какой-то «не городской» «пришлец», ранее невиданный, своеобразный — чужой! И я невольно болезненно побаивался его и прежде, и теперь я недоумевал — кого же он мне напоминает!?..

Тут у нас на «журфиксах» и пели, и играли и сюда-то забирались все те, которые хотели под музыку, в уюте провести вечерок; где и мне разрешалось в это время присутствовать за моим неизменным «столиком с телефоном». Более редкие гости сидели чаще в зале или в комнате у тетки Елены Андреевны.

Как-то раз, забравшись к нам спозаранку, здесь появился Достоевский.

Я заглянул и вздрогнул, увидев Достоевского. Я оторопел! Я вспомнил исповедь и «головы»... Ф. М. постоял у рояля и пристально посмотрел на огромного Христа Бруни, затем, крадучись, подошел ко мне, поздоровался и, обняв меня, принялся перелистывать со мной историю Фридриха Великого. Примостившись рядом, он внимательно просматривал рисунки и, увлекшись, погрузился в чтение, а я украдкой близко-близко поглядывал тогда на его бледное землистое лицо с большим бугроватым лбом, и мне становилось как-то не по себе. Я как знакомого давно видал Ф. М., всегда помнил его вообще как частого гостя, но с этого раза для меня он начал становиться «Достоевским», и вот что дало толчок к этому. В выборе поименованных книг мы с ним сошлись! Он сам мне тогда же заявил об этом: «Лешечка, а ведь вкусы у нас с тобой одинакие!» Он как-то особенно в это время, судорожно, сжал мне плечо. «Вот как сошлись», говорил он, вставая и потирая руки, наклонился ко мне, улыбнулся, и, немного сгорбившись, отошел к окружившим его гостям. И сочувствующие и несочувствующие ему все старались быть поближе к нему — послушать, что скажет Достоевский.

Вечера эти описаны в талантливом рассказе В. Микулич (псевдоним; рожденная Веселитская, по замужеству Чернавина) «Встреча со знаменитостью» (сборник «Дуся»). Рассказ этот, должно быть, написан по прошествии многих лет, и поэтому спектакль «Каменный гость» и его постановка не совсем точны. Многое, вероятно, изгладилось из памяти Лидии Ивановны, а для меня, как для маленького мальчика, все было тогда весьма интересно, а теперь для многих и существенно. Вот почему я и позволяю себе подробно описать былое, врезавшееся тогда в мою память и оставшееся в ней до сих пор.

Среди приятельниц моей матери и тети особенно обращала на себя всеобщее внимание только что тогда вернувшаяся из Парижа Мария Николаевна Бушен (рожденная Новосельская), блиставшая своим обаянием, красотой, талантливостью и образованностью. Особенно ею увлекся Ф. М. Достоевский. Для нее на одном из наших вечеров он прочел «Скупого рыцаря», после чего Мария Николаевна как-то в беседе с Федором Михайловичем о его удивительном чтении предложила устроить у нас спектакль, выбрав «Каменного гостя».

«Конечно, Вы будете Лаурой, — с улыбкой сказал Федор Михайлович. — Ну, давайте распределять роли, а я буду гостем, только не «каменным», а Вашим, Лаура! Вот еще И. Н. Пущин (племянник декабриста). Н. О. Осипов (он также увлекался Марией Николаевной), а уж Каменным гостем, конечно, должен быть Иван Ильич» (Назимов, молодой очень высокий красавец, только что начавший службу в государственной канцелярии). Я стоял возле Марии Николаевны, подходит К. К. Случевский: «А уж позвольте мне быть Дон-Жуаном».— сказал он, также усердно ухаживавший за Марией Николаевной. «Так, так,— говорит Федор Михайлович и показал рукой на Загуляева,— «Дон Карлос», «Лепорелло» — Дмитрий Васильевич (Аверкиев — драматург), Донна Анна — София Викторовна (жена Аверкиева)», «а я,— почти шепотом сказал, подходя и улыбаясь, Н. Н. Страхов,— «монах». Так все роли и распределились. Началась «считка». А меня послали спать!

Репетиции были назначены два раза в неделю перед началом «журфикса», их было, кажется, 3 или 4 — упорные и настолько серьезные, что я, прислушиваясь, все роли выучил наизусть и до сих пор их помню. Меня и мою

сестру репетиции и приготовления очень волновали, тем более, что все домашние во главе с бабушкой были в хлопотах, приготовляясь к спектаклю <...>

Не помню точно месяца и числа, когда состоялся спектакль. Он был устроен без всяких подмостков, декораций, кулис и прочих необходимых в таких случаях приспособлений. Поставлен он был в нашей зале, наполовину представлявшей сад (бабушка была большая любительница цветов и растений), вместо кулис перед сценой стояли ширмы, а между ними протянуты на шнурах на обе стороны раздвигающиеся занавески. Перед каждым действием сцена по требованиям видоизменялась при помощи наших домашних и актеров, и несмотря на такое простое устройство, спектакль был проведен серьезно и художественно (действующие лица говорят сами за себя). Актеры все были в соответствующих пьесе костюмах, и даже Федор Михайлович Достоевский был в малиновом бархатном костюме с буфами и шпагой. Перед сценой в зале стояли рядами стулья. Гостей было очень много. В первых рядах, помню, сидели Владимир Соловьев, рядом с ним графиня Толстая (вдова поэта Алексея Толстого) и ее племянница Хитрово. По другую сторону Новикова (друг английского премьера Гладстона) с огромным зеленым попугаем на шляпе. Далее поэт Жемчужников, Вышнеградский *, Полонский, Майков, Стасов, Стасова... Дамы, кавалеры... Остальные присутствующие слились в моей памяти. Под звуки рояля раздвинулись занавески: находившиеся в зале растения и цветы, среди которых всегда стояли мраморные статуи, должны были представлять из себя Campo santo. Впереди на мраморный постамент стал И. И. Назимов, весь белый со шлемом на голове — Командор. Действие 1-е — любовное объяснение Дон-Жуана с Донной Анной (Случевский — Аверкиева). Лепорелло (Аверкиев) небольшого роста, с большим животом, отекшим лицом, крючковатым носом и хриплым голосом (это была всегдашняя особенность Дмитрия Васильевича), обращаясь к статуе Командора, производил такое комическое впечатление, что статуя затряслась. В это время по сцене проходил монах (Страхов). Назимов едва удерживался от хохота. Это все заметили, и мы, дети. Статуя кивнула. Занавески задвинулись.

Действие 2-е, сцена с Лаурой. Федор Михайлович (Достоевский) сидел в глубине комнаты (растения и цветы были раздвинуты, виднелся балкон), сидел он рядом с Пущиным и Осиповым на фоне зеркала, слегка облокотясь на столик, издали наклоняясь к Лауре, которая обратилась к Дону Карлосу (Загуляев): — «Пойди открой балкон...» Раздался стук в дверь, и появился Дон-Жуан!.. Схватка!.. Действие кончено.

После аплодисментов гости начали выходить в фиммуар и в столовую, обмениваясь впечатлениями. Я остался в зале и помогал прислуге расставлять стулья по местам и наводить порядок, пока участники спектакля снимали свои костюмы.

Первыми появились в зале мужчины: Иван Ильич и Страхов, а за ними спешил Федор Михайлович Достоевский и слегка ковылял Аверкиев, покашливая и чихая. Иван Ильич залился хохотом. Все от души смеялись, не исключая и Достоевского, что меня очень поразило, потому что я его видел постоянно угрюмым и серьезным, а тут он как будто переродился. В это время с другой стороны выплыла София Викторовна Аверкиева в своем неизменном черном платье с очень длинной кружевной косынкой на голове, в которой появлялась всегда и везде, и в ней же сыграла, имитируя испанку. За ней выбежала Лаура, не пожелавшая снять своего костюма, который к ней совершенно не шел и даже портил ее, ярко-красный с черным, глубокое декольте, короткая юбка, до плеч обнаженные руки с золотыми обручами выше локтей, соединенные цепями с такими же браслетами у кисти. Костюм совершенно не стильный и не гармонировавший ни с ней самой, ни с остальными действующими лицами.

Меня очень удивлял Федор Михайлович. Я внутренно побаивался его. Увидя Марию Николаевну, он захлопал в ладоши, смотря на Страхова и на Назимова, и все время смеялся. Смеялись и все, и Мария Николаевна звонко хо-

* Тогда директор Технологического института (прим. авт. — Г. К.).

хотала, а Аверкиев что-то бурчал себе под нос. Достоевский очень оживленно обращался то к одному, то к другому и все же останавливался на Марии Николаевне. Теперь я объясняю себе его желание хотя бы пассивно (в качестве гостя Лауры) участвовать в спектакле. Это именно было увлечение Марией Николаевной. К нему очень шел его костюм, он подымал его наружность, скрывая чахлую фигуру и придавая всей сцене некоторую торжественность. Мне больше всего понравился Страхов (монах) и Лепорелло (Аверкиев). Смотря на них и слушая, я совершенно забывал, кто это такие, хотя был искренно к ним привязан и очень их любил. На веселый шум участников спектакля стали появляться ушедшие зрители. Образовывались группы, раздавались громкие голоса, а в это время разносили чай, фрукты и конфеты. Близко было к полуночи, и мы с сестрой отправились в свои комнаты, расположенные по длинному коридору, и легли спать, полные впечатлений и грез. Долго еще мы с ней декламировали любимые места из разыгранной пьесы, стараясь подражать голосам и жестам действующих лиц.

Я помню, как сестра моя (старше меня на 4 года) с ужасом рассказала мне, что когда она была в бабушкиной комнате, где перед началом спектакля дамы одевали свои костюмы и она помогала им, а С. В. Аверкиева прихорашивалась, туда тихонько пробрался Ф. М. Достоевский (он на сестру мою производил впечатление «гнома» и недоброго), он подсел к М. Н. Бушен и, потрогав ее, по тем временам, «рискованно короткую» юбку, с присущей ему ехидной улыбкой, настойчиво домогался у нее, чтобы она показала ему свои ножки, говоря: «А ну-ка! Дайте, дайте мне посмотреть Ваши ножки, какие они у Вас?! Какие? Лаура».

Сестра была изумлена и очень сконфужена этим.

Вот какие различные бывают впечатления: тогда как Ф. М. мне представлялся таинственным и жутким «пришлецом» и странником, и напоминал мне исповедь и «головы», и я страшился его, сестре моей. Веруше, он просто был неприятен и отталкивал ее, напоминал «гнома», должно быть, под влиянием сказок и описанного случая с Марией Николаевной Бушен («Лаурой»).

Со времени этого спектакля я особенно внимательно стал всматриваться во все окружающее, присматриваться ко всем знакомым и особенно к Федору Михайловичу Достоевскому, с этого года почти ежедневно приходившему к нам и подолгу беседовавшему с моей теткой Еленой Андреевной, которую он очень ценил и уважал, называя ее «министром в юбке», за ее редкую образованность, ум и глубокое знание и понимание литературы как русской, так и иностранной (она владела языками французским, немецким и английским, как своим родным русским). Он особенно дружил с ней и с ее братом Адрианом Андреевичем — юристом, с которым постоянно советовался, описывая судебные дела в своих романах.

Спустя некоторое время после спектакля мать моя и тетя Леля повели меня в гости к Федору Михайловичу. Он жил тогда на углу Кузнечного и Ямской (теперь улица Достоевского), во 2-м этаже (к этому дому сейчас прибита мраморная доска: «Здесь жил и умер Федор Михайлович Достоевский»), по парадной с улицы без швейцара. Лестница была темная, грязная. По ней беспрепятственно бегали и пачкали кошки, и по запаху она очень напоминала черную. Если я не ошибаюсь, квартира была из 5-ти небольших комнат, частью выходивших на улицу, частью во двор.

В ней я впервые познакомился с детьми Достоевского, моими сверстниками Федей и Лилей. Нас встретили очень радушно. Хозяева занялись со старшими, а меня дети подхватили играть. Пробыли мы у Достоевского часа два. Я все время был с детьми и только уходя попал в кабинет, уставленный книгами, со столом, покрытым рукописями. Кабинет, мне казалось, был больше других комнат, неуютный и очень скромно обставленный. Ни стены, ничто вокруг не обращали на себя моего внимания. Он напоминал мне рабочую комнату завзятого, заурядного педагога. Тетя Леля почти еженедельно бывала у Достоевских и, кажется, обедала у них вместе с Н. Н. Страховым. После одного из таких обедов она, возвратясь домой, рассказывала нам, что у Федора Михайловича из передней утащили шубу, долж-

но быть один из посетителей под видом студента. Студенты и курсистки усердно и во множестве посещали Федора Михайловича, приходили и за советом, и за помощью. Когда мог, он никогда ннкому ни в чем не отказывал, сам подчас изрядно нуждаясь. Так шуба и исчезла без следа. В другой раз прибежавшая к нам жена Федора Михайловича, Анна Григорьевна, со слезами и обидой жаловалась на то, что у них скоро все растащат: «сегодня стащили бронзовую доску с двери, с надписью: «Федор Михайлович Достоевский»,— и жалобам на частые посещения и вечную помощь, «когда сами не знаем, где взять» — не было конца. Подобные вопли происходили не раз в моем присутствии, а Федор Михайлович на все это наивно махал рукой и грустно улыбался.

Как-то, когда я опять был у Феди и Лили, Федя повел меня в одну из комнат, кажется, в столовую, и там показал мне направо у окна на стене багетную рамку, где под стеклом была какая-то грамота *. По моему росту она висела довольно высоко, и я не мог различить, что в ней было написано. «Ты знаешь, это что?» — сказал мне Федя. «Тут написано, что папу никогда больше не будут бить плетьми,— его помиловали». Мне стало так жутко, что я не знал, куда мне смотреть, куда мне деться. Это было для меня так неожиданно и так дико, ново и тяжело, что меня начало душить, мне хотелось рыдать, но я сдержался и потихоньку матери моей сказал, что мне нездоровится, прося поскорее увезти меня домой. Возвратясь, я долгое время проплакал, ни слова не говоря, и мне было стыдно и за все, и за себя. Так я и не сказал о причине своих слез, и только лет через 20, когда разговор с матерью случайно зашел о Достоевском, я рассказал, почему я больше не пошел к Феде и Лиле, а предпочел, чтобы они приходили ко мне. Когда они бывали у нас, мы играли в различные детские игры, преимущественно в бирюльки. И Федя и Лиля были малоподвижные и мало чем-либо интересовались, и мало что их занимало особенно. Я же очень любил рисовать, и с годами у нас все меньше и меньше оставалось общего. Федя поступил к Гуревичу, Лиля, кажется, в Литейную гимназию.

Весной мы переехали на новую квартиру, там же на Знаменской, наискосок от прежней,— угол Баскова переулка, в дом Сидорова, впоследствии дом Ралля, где вся наша квартира выходила на улицу — 17 окон по фасаду, что очень редко бывало в Петербурге. Федор Михайлович особенно часто стал посещать нас. Я подрастал и пристально всматривался в него, и хотя он всегда, приветливо здороваясь, ласкал меня и улыбался, я никак не мог подавить в себе чувства неопределенной жути, чувства сродного тому, что я испытал, когда сын его Федя пояснил мне содержание грамоты. Достоевский мерещился мне и во сне, и хотя я всегда приходил к нему, когда он бывал у нас, я принужден был бороться с внутренним чувством подавленности.

Федор Михайлович Достоевский слегка сутулый, небольшого роста, но костистый, фигура его обыденно простоватая и незаметная. Одежда, всегда от хорошего портного и доброкачественного материала, на нем, казалось, была какая-то чужая, как будто он не умел ее носить. Голова обычно немного опущена, как у задумавшегося человека. Большой лоб с налитыми на висках венами, редкие прямые волосы, немного нависшие на брови, глубоко сидящие и смотрящие исподлобья небольшие сероватые глаза, а взгляд их заставлял обратить на себя внимание. Они то загорались, то потухали, и зрение их было какое-то двойное — вперед безучастно блуждающее и куда-то еще смотрящее — внутрь себя. Довольно крупные усы и редковатая, как будто бы чужая, неживая, приклеенная борода, бледная зеленоватая кожа придавали мертвенность лицу и бесцветность всему его облику. Голос глухой, заискивающе-подавленный. Все это на очень многих производило

* Очевидно, даровавшая Ф. М. в 1858 году потомственное дворянство. (Примечание А. П. Эйсснера неверно. Дворянского звания Достоевский был удостоен в 1828 г. семи лет от роду. Отец его, врач Мариинской больницы для бедных, был «за выслугу узаконенных лет награжден чином коллежского асессора» и занесен со своими сыновьями в книгу Московского потомственного дворянства. Возвращение Достоевскому дворянского звания, которого он был лишен в 1849 г. как политический преступник, произошло не в 1858 г., а 14 сентября 1856 г., когда после четырех лет каторги в Омском остроге и трех лет солдатчины (рядовым — два года и 11 месяцев унтер-офицером) в Семипалатинском линейном батальоне он был произведен в прапорщики. «Я милостью Монарха прощен, произведен в офицеры вот уже скоро год и недавно получил прежнее потомственное дворянство»,— писал он 29 июля 1857 г. И. В. Ждан-Пушкину.— Г. К.).

неприятное впечатление, и его сторонились и не любили. Но как писателем и знаменитостью интересовались и из любопытства искали с ним встречи. В обществе его не считали ни симпатичным, ни светским. Когда появлялся среди большой публики, он приосанивался, подымал голову большой знаменитости, преображался и по-своему царственно вступал на эстраду. Голос его, слегка дрожащий, становился громким и глубоким. Он говорил в этих случаях книжно, словом тяжелым, неразговорным. Когда приходил к нам на «журфиксы», увидев из передней большое общество, он прихорашивался, слегка сгорбившись, усердно потирал себе руки, а затем выпрямлялся и с любезной горделивой улыбкой вступал в зало. Когда же запросто заглядывал к нам, у нас он бывал совсем другим — «свой у своих» — и не говорил, а беседовал интересно, без претензий, своеобразно.

И хотя Федор Михайлович был как будто бы «простой», все же и наедине он был «сам не свой»: вечно в каких-то внутренних противоречиях человека, ищущего в человечестве красоты и истины божественной, и в то же время падающего в какую-то бездну неизвестную и непреодолимую. Зачастую вдруг становился он капризным, как ребенок, цепляясь за самые пустяки. Так, я помню на одном замкнутом, но многолюдном вечере в зале Павловой, что на Троицкой улице (ныне ул. Рубинштейна), на выступлении тогда гремевшего Андреева-Бурлака, который на сцене в больничном халате и колпаке читал «Записки сумасшедшего», Достоевский по окончании чтения вышел в буфет-столовую, где в числе распорядительниц мать моя разливала чай. Увидав ее, Ф. М. любезно подбежал к ней, поцеловав руку. Она предложила ему чаю и вместе с ним села за отдельный столик; и вдруг, ни с того ни с сего, он напустился на мою мать: «Что Вы мне дали за чай, Ольга Андреевна. Вы разве не знаете, какой я люблю»,— и, оттолкнув стакан, наговорил ей разных дерзостей и так расхорохорился, что собрал вокруг себя толпу любопытных, а потом стал извиняться. Моя мать значения, конечно, этому не придала никакого и, вернувшись домой, от души смеялась, рассказывая об очередном капризе Федора Михайловича. Такие капризы с ним случались периодически, нередко и неожиданно, иногда они кончались для него очень неприятно, производя на посторонних тяжелое впечатление и оставляя весьма скверный осадок. Он не был добродушным, но не был и злым; он был скорее, как я уже упомянул, «сам не свой», он не знал, когда на него «найдет стих» и какой... И хотя в нем заметно копошилась борьба, но как будто она была в нем каким-то посторонним элементом, сидящим внутри его, не дающим ему покоя и заставляющим постоянно терпеть его — до того момента, пока это терпение не лопнет и не разразится ввиду сумасбродного каприза или даже просто бестактности.

Конечно, друзья Федора Михайловича знали эту его особенность, будучи всегда готовы благодушно отнестись к этому. Посторонние же находили это безобразием распустившейся знаменитости и распространяли о Федоре Михайловиче недоброжелательные слухи.

На мой взгляд, Достоевский был болезненно и скрытно тщеславен, любил, чтобы ему кадили, от большинства ожидая или затаенно требуя даже поклонения. Меня он подавлял и в то же время притягивал. Я зорко наблюдал за ним, когда я встречался с ним, а встречи эти были весьма часты, почти ежедневны, и продолжительны. Проводил он у нас запросто иногда многие часы. Чтобы он когда-либо обедал у нас, я этого не помню, несмотря на то, что друг его и нашего дома Н. Н. Страхов еженедельно в определенные дни приглашался к обеду. Он усердно запивал съеденное содовой водой и неизменно по обычаю своему, отобедав, тотчас же уходил к себе домой, чтобы лечь на боковую.

Федор Михайлович вообще не любил кушать нигде, кроме дома, где за этим строго следила его верная соработница и домовитая жена Анна Григорьевна. При жизни Федора Михайловича она, кажется, в виде исключения, бывала с ним вместе у нас на журфиксах, да и так хлопотливо частенько забегала не то за советами, не то с жалобами. Она вечно, до смерти Достоевского и после, была в хлопотах, иначе я ее не помню, и так же хлопотливо говорила. Говорила «скороговоркой» с прибавкою к каждому слову «и вот говорит», «что говорит», «да говорит», и при этом, если не жаловалась, не плакалась, то с неизменной улыбкой и неестественным хохотком. Говорила неинтересно и неинтересное. <...>.

Еще среднего роста, худощавая, костистая, она одевалась скромно, но из добротного материала; носить платье, как и ее муж, не умела.

Как она нам поведала, ее давнишней заветной мечтой было иметь тогда вошедшие в моду бирюзовые серьги в бриллиантовой оправе, как у бар. Таточки Врангель, дочери приятельницы моей бабушки... И вот однажды она явилась к нам на журфикс сияющая в бриллиантовых серьгах, но без бирюзы. Подарок этот сделал ей Федор Михайлович, получивший давно ожидаемый гонорар.

Анна Григорьевна была очень счастлива и горда этим вниманием мужа и все хвалила и благодарила его, и никогда эти серьги не снимала (по этому поводу один из наших знакомых сострил: «что у Анны Григорьевны всегда в ушах произведения ее мужа»). Блондинка с простой гладкой прической, из-под которой на обе стороны постоянно отделялись пряди жидких волос, тогда бальзаковского возраста, с довольно правильными чертами лица, с прямым рубленым подбородком, с сухими тонкими губами, нос прямой, на конце красноватый и мягкий, глаза серые, смотрели прямо на собеседника с чувством собственного достоинства, кожа на лице пористая, к подбородку еще несколько грубоватая; она не производила никакого впечатления и очень напоминала финку.

Она и Ф. М. с детьми вообще, и с нами в частности, старались быть особенно ласковыми, но эти старания всегда отзывались холодком, в этих ласках чувствовалась неискренность, деланность. Уже после смерти Достоевского (в 1883 — 1884 гг.), как-то на елку Анна Григорьевна, в виде особого благоволения, поднесла мне книжку «Русским детям», выборки из произведений Федора Михайловича. Книга в красном тисненном золотом переплете, на первой странице которой она написала, что дарит эту книгу мне. Подарок этот волею судеб сохранился у меня до настоящего времени и настолько, что можно подумать — он только что мною получен, а не как раз полсотни лет тому назад.

Федор Михайлович Достоевский был крестным отцом моего двоюродного брата Бориса Штакеншнейдера, сына младшего моего дядюшки Владимира Андреевича. Крестник умер 7-ми лет от дифтерита.

Пожалуй, в то время, в самом конце 70-х годов и до самой смерти, у Федора Михайловича дом наш был самый близкий для него. Я не скажу, чтобы все наши особенно его любили, но относились к нему доброжелательно и ценили его, что и доказали на деле дядя мой Адриан Андреевич и тетка Елена Андреевна Штакеншнейдер, принявшие самое деятельное участие в устройстве его похорон. Моя мать рассказывала, что в день похорон в квартире Достоевского было такое множество народу, что не только нельзя было пошевельнуться, но трудно было дышать. Тетку мою Е. А., больную ногами, поставили на подоконник, а свечи тухли от спертого воздуха. Многие хоронившие несколько десятков лет спустя В. Комиссаржевскую говорили, что похороны ее напоминают похороны Достоевского; я же, видевший те и другие из окна (в обоих случаях я по нездоровью не выходил), скажу: таких похорон, как похороны Достоевского, я ни до, ни после не видывал, и грандиозностью своей они представляли нечто небывалое.

Достоевский долгое время собирался читать, и вот в нашей новой квартире он решил прочесть из оконченных «Карамазовых», что именно, какую главу — я не помню. Мне слушать запретили, и потому я украдкой поместился за одной из стоявших в гостиной среди зелени мраморных статуй. Меня интересовал Федор Михайлович. Я, как подросток, ко всякого рода «знаменитостям», постоянно посещавшим наш дом, и ко многолюдью привык. А за Достоевским я просто охотился, изучая его до мелочей — настолько, что многое, незаметное другим, не ускользало от меня.

И вот перед самым чтением, я помню, оно началось ровно в 8 часов, я спрятался в зелени за колонной и во «все глаза» следил: Достоевский сидел на своем любимом угловом старинном, обитом красным штофом диване, у своего любимого оригинального стола с инкрустацией. Перед ним лежала рукопись. По бокам стояли два больших бронзовых канделябра, каждый в 5 зажженных свечей (электричества тогда и помину не было). Они бросали таинственный свет, который играл мерцающими полутонами и по штофу, и по рукописям, и

по сидевшему в молчаливом ожидании, потиравшему свои руки Ф. М. Приподнятое лицо его было бледно, бесцветно, как всегда, глаза глядели прямо на гостей, сидевших вокруг него и далее. Взгляд был неопределенный, пространственный, слегка насмешливый, как бы прислушивающийся и в то же время выжидательно торжественный. Рот полуоткрыт, готовый заговорить. Подобное бывало с ним часто в минуты задумчивости, которые наступали у него иногда сразу, совершенно неожиданно, даже среди разговора или перед началом «каприза». И когда он так застывал, мне казалось, он сейчас зашепчет — зашепчет зловещим шопотом зловещего шептуна: наклонится, сгорбится, сначала издали, потом все ближе и ближе... к самому уху, как будто хочет войти в тебя, терзая твои нервы и окутывая жутью. Заморгает, закивает, погладит, потрет себе руки и станет опять таким обыкновенным — не Достоевским, а незаметным Федором Михайловичем.

Такой он был, приготовляясь начать чтение, только выжидательно торжествующий, с едва заметной улыбкой полураскрытого рта.

Картина была чрезвычайная. Она и сейчас стоит передо мною, живая, яркая, выразительная, рассказывающая многое о многом и о многих. Это страница эпохи, страница быта, страница мысли, никогда не оскудевающей в человеке. Я бы назвал эту картину «ожиданием».

Федор Михайлович сам ожидал, ожидали и все; и я ожидал, увлеченный, запрятавшийся среди растений за статуей.

Не смотря в рукопись, Достоевский начал...

Голосом мерным, плавным и тихим...

Перед ним на обитом штофом кресле полуразвалился грузный И. А. Вышнеградский (в скором времени министр финансов). Сидел он, ухватившись за ручки кресла; красная голова с сединой и седыми фаворитами, бритые усы и тяжелый подбородок с большущим ртом, большие роговые очки на мягком прямом носе и маленькие умные глаза сосредоточенно, почти в упор, были устремлены на Федора Михайловича. Вышнеградский походил на дородную «гориллу». А рядом с ним у стенки самого дивана направо от чтеца скромно расположился целый цветник молодых женщин: бар. Таточка Врангель, обаятельная блондинка с огромными задумчивыми серо-голубыми глазами, с необыкновенно ласковыми правильными чертами лица и миниатюрная, худенькая, со сросшимися бровями, прелестная бар. Вера Петровна Витте, а рядом с ней М. Н. Бушен. Все слух и внимание.

Тут же, с другой стороны, пред большим столом, покрытым старинной бархатной скатертью, на котором стояла огромная бронзовая фигурная лампа с матовым абажуром глобусом, бросая на окружающих бледный свет. <Так в тексте.— Г. К.>. За ней влево от Федора Михайловича на соседнем диване сидела вся в черном, в накидке, близорукая Н. В. Стасова в обычной для нее позе знаменитого портрета, писанного с нее впоследствии И. Е. Репиным. Рядом с нею маленькая, сгорбленная, но еще очень бодрая мать Веры Петровны, также вся в черном. И Анна Ивановна Майкова, все в чепцах. На своем неизменном месте, на кресле, восседала теперь немая торжествующая А. Г. Достоевская.

Позади Вышнеградского, в полоборота, сидя боком и положивши короткую ножку на ножку, опираясь на спинку стула локтем и запустив растопыренную пятерню в остаток редких всклокоченных волос и наполовину прикрывая лысину, примостился Д. В. Аверкиев, и комичный, и симпатичный со своим неизменным животиком, отекшим лицом, с огромными мешками под близорукими навыкате глазами, жидкими усами и такой же жиденькой маленькой бородкой. Глядя на него, так и кажется, что он сейчас заговорит своим тяжелым сиплым голосом. Но он молчал, полный ожидания и слуха...

Все остальное многолюдие не вошло в этот момент в круг моего зрения. Эта живая картина всецело увлекала меня и приковывала к себе все мое существо: а ну-ка, какой теперь будет Федор Михайлович?!!

Увижу ли я в кем что-нибудь «новое», что-нибудь еще «неожиданное», или я еще недостаточно изучил его? Откроется ли мне еще что-нибудь скрытое — такое, как он сам?

Сердце у меня нещадно билось, я волновался, мне хотелось броситься к самому столу с канделябрами, войти во внутрь чтеца-«чародея», чтобы вполне разгадать его, чтобы он меня больше не мучил. Для меня тогда Федор Михайлович становился видимым и невидимым мучителем моего взбудораженного воображения, неожиданно с неимоверной силой болезненно возбужденного откровением Феди Достоевского.

Его отец представлялся мне во сне то таинственным, чурающимся людей странником, какие во множестве тогда таскались по Руси, то зловещим чернецом, таинственно подкрадывающимся ко мне, то что-то нашептывающим. То бездомным больным бродягой, хватающим меня за горло, то ласкающим меня и глухо говорящим непонятные, неслыханные, заковыристые слова — отрывистые, страшные, как молотом битые, смысл которых я не понимал и звука их как будто бы не слыхал, но ощущая что-то, но что и сам не знал, но становилось мне от них жутко, жутко.

Под этим впечатлением я просыпался, и подолгу оно гнездилось во мне, оставляя осадок неопределенно горького чувства. Я уверял себя, что этого быть не должно. Задавал себе вопрос, от чего все это. Ф. М.— друг наш, а я никак не могу к нему привыкнуть, привыкнуть и полюбить, как люблю Страхова, Майкова, Полонского, Аверкиева и других наших близких...

Чувство неразгаданной обиды на самого себя сидело во мне колом и постоянно тормошило меня. Я задумывался и терялся. Таким был тогда для меня Достоевский.

Федор Михайлович читал... Часы пробили половину десятого. Прошло еще минут десять — читал среди всеобщего напряжения, среди общей невозмутимой тишины и меня, смотревшего «во все глаза» на чтеца, на всю эту застывшую близ него группу,— читал... Голос его едва заметно ослабевал и замер на последней фразе. Спокойно он берет стоявший перед ним стакан воды, которую глотает, сумрачно смотря вперед пространственно и безучастно. Молчание... Перед самым столом Вышнеградский слегка склоняется к чтецу, снимая очки. Передние ножки кресла подломились и... грузная «горилла» с очками в руках очутилась на полу, задравши ноги. Чей-то вырвавшийся нервный смешок всколыхнул оцепенение. Аверкиев в ужасе растерянно отпрянул в сторону, повторив сцену с «командором», но только сидя. Все устремляются вперед, но как-то втихомолку; как будто кто-то сделал что-то стыдное. Произошло смятение, спешат на помощь уже встрепенувшиеся мужчины...

Все обошлось благополучно, и почтенный сановник с цельными очками в руках, виновато улыбаясь, с острасткою садится в подставленное ему другое кресло.

Один лишь миг, как все это свершилось!

А Достоевский, окончив чтение, невозмутимо, безучастно застыл, полураскрывши рот, и пальцы его замерли на рукописи...

Вышнеградский с силой захлопал в ладоши, остальные подхватили, и взрыв аплодисментов покатился по зале!..

Федор Михайлович очнулся. Лукавая едва заметная улыбка скользнула по его лицу. Он порывисто встал, закрывши рукопись. Застыл, потом сразу направился к моей тетке, которая на костылях спешила к его столу. Хозяева были очень сконфужены. А я опрометью бросился из залы.

Чтение не было сорвано. Достоевский остался спокоен и заботливо, говорят, осведомлялся у Ивана Алексеевича (Вышнеградского), не зашиб ли он себе «сидение»! И еще сострил, что ему, быть может, полезно было «встряхнуться», так как он застыл и слишком внимательно, не шевелясь, слушал его. И, обращаясь к хозяевам, не без ехидства заметил: «А я помнить буду «этот случай со стулом»!.. Хотя Карамазовы не пострадали, ведь я их у вас окончил «до падения!»

Это настоящее его благодушие надо объяснить себе исключительно расположением к нашей семье, иначе был бы «каприз и великий»!!!

Меня немало удивляло то, что милый, разговорчивый и веселый, похожий на кота, Н. Н. Страхов никогда, никогда ни о Федоре Михайловиче, ни о его семье вообще не говорил ни слова, а между тем еженедельно обедал у них и пос-

ле этого вскорости бывал у нас. Я заметил также, что Федор Михайлович с прочими литераторами и поэтами, кроме Майкова, Случевского, Аверкиева и немногих других, бывавших у нас, как говорится «не был ни в каких отношениях». И только с Григоровичем часто прогуливался по улицам Петербурга, поддерживая с ним постоянно дружескую связь. У нас же Григорович и Тургенев, если и бывали, то очень-очень редко, хотя оба в молодости участвовали в спектакле, устроенном бабушкой в пользу сосланного поэта Михайлова <...>

Как-то Федор Михайлович появился у нас, пройдя прямо в комнату к тете Леле. Уселся он на свое любимое низенькое старинное с решеткой и подушкой кресло, раскинулся в нем, протянул ножки, потрепал бородку, потер рука об руку, устремил взор перед собой на стенку, в одну точку между старинным золоченым зеркалом и во множестве висевшими тут же портретами. Вдруг обратился к тетке вкрадчивым глухим чуть слышным шопотом: «Елена Андреевна, а что думает клоп, когда он ползет по стенке?» — и с язвительной вкрадчивой улыбкой тогда посмотрел на нее, недоумевающую.

Я в это время остановился в дверях столовой и тетиной комнаты и остолбенел от неожиданности. Я видел близ себя изумленную и насторожившуюся мою тетку, а в зеркало лицо и всю фигуру Федора Михайловича, наклоненную к самому лицу собеседницы. Затем он вмиг откинулся, замер, полураскрыв рот в ожидании. Я стоял полный недоумения. Когда я взглянул на стену, я действительно увидел медленно ползущего клопа; не предвидя, чем вся эта сцена окончится, я застыл на месте. У тети Лели заиграла на лице улыбка. Она затянулась папироской и первая нарушила молчание: «А что, Федор Михайлович, отчего Вы так заинтересовались мыслью клопа?» Достоевский ничего не ответил и также улыбнулся и опять погладил бородку.

Меня не замечали. Я решил придти на помощь и бросился давить клопа. Произошла суматоха из-за неожиданности. Ф. М. вскочил с места и как-то неуклюже стал переминаться с ноги на ногу, а тетка, остановив мою прыть, звала прислугу убрать злополучного клопа, привлекшего внимание знаменитого писателя и сконфузившего своим неуместным и неожиданным присутствием тетю Лелю.

«Вы и его и меня перепугали, Лешенька, здравствуйте»,— сказал, пожимая мне руку и лаская, Федор Михайлович. «Да, вот какие бывают эпизоды в жизни, какие неожиданности... И все это жизнь,— продолжал он, обращаясь к тетке и ко мне, и к вошедшей в это время прислуге,— да, да, Анна Ильинишна»,— глухой теткиной горничной, прожившей у нас в доме более 50 лет.

Клоп был счастливо пойман и унесен. Я также ушел, впервые не испытавши жути прикосновения и встречи с Федором Михайловичем. Как будто мне кто-то развязал руки. Неужто причиной был клоп?!! И у меня в ушах слышался простой, не вкрадчивый шепоток и не плавно деланный, а впервые простой голос: «Какие неожиданности... и все это жизнь»!..

Часа через два Достоевский ушел. Тетя Леля пришла к бабушке и рассказала о своем конфузе с клопом. Обе они весело смеялись. Я чувствовал в себе какую-то легкость освобождения и заглянул к бабушке в комнату; она меня поманила и спрашивает: «И ты помогал?», и смеется. Тут я решился в первый раз спросить о Федоре Михайловиче — отчего он такой странный? Бабушка ответила: «Он не странный, он больной. У него бывают припадки; ведь он был на каторге, много тяжелого перенес и испытал; все это отразилось на нем, и он как великий писатель — задумчивый».

Этот ответ меня мало удовлетворил, но я больше не спрашивал, стремясь сам себе объяснить и разобраться в своих впечатлениях и переживаниях.

Помню еще, когда в комнате у Елены Андреевны — бабушка, Достоевский, моя мать и я собрались все вместе. Бабушка вязала свое неизменное пестрое одеяло, обыкновенно для одного из ее многочисленных внуков, тетка с протянутыми на кушетке больными ногами покуривала из длинного янтарного мундштука насыпную папироску <...> «Кому это Вы опять, Мария Федоровна, одеяльце, не для Бореньки ли?» — обратился Федор Михайлович к бабушке. «Нет, для Софьи Ивановны» (жена дяди Адриана, рожденная Малиновская), и разговор сам собою перешел на семейную хронику.

«Вы вот все ищете, Федор Михайлович, материал для дальнейших «Карамазовых»,— говорила моя тетка.— А я давно Вам предлагала собрать с натуры в семействе барона Розена (декабрист, женатый на Малиновской — тетке Софьи Ивановны Штакеншнейдер). Материала непочатый край, что ни человек, то тип, и тип самобытный. Для Вас несомненно интересный. Да, пожалуй, это могло бы Вам дать идею и для нового романа. Семья совсем из ряда вон выходящая! Да и поплутала она по Вашей Сибири и ссылкам! И я бы с Вами поехала. Хороший климат, полная чаша! Тишь — «земля обетованная»! И никто бы Вам не мешал. Отвели бы Вам целый флигель в Ваше распоряжение. Живи — пиши, питайся и отдыхай! Да и доктора прекрасные есть. Огромный сад, степь, леса, полные уединения. За Вами ухаживали бы, не хуже Анны Григорьевны. Подумайте-ка! И я давно там не бывала, тянет меня туда — и природа, и люди, очень интересные и «все в прошлом»! Да и настоящая жизнь культурная; новейшие русские и иностранные журналы, библиотека очень интересная; а старик Малиновский Иван Васильевич — товарищ по полку Розена и друг и товарищ Пушкина, у него много пушкинских реликвий. Сестра его, Мария Васильевна Вольховская, проведшая молодость, не расставаясь с мужем при завоевании Дагестана — ведь он взял в плен Кази-Мулу, первый мюрид, учитель Шамиля,— и Пушкин за ней ухаживал еще лицеистом. Она была очень красива. Ее рассказы бесконечны! Отдохнете Вы там душою и телом и много наработаете. И расходов Вам никаких, кроме дороги!»

Достоевский сидел, судорожно схватив руками длинные ручки кресла, сосредоточенно, внимательно слушал, как будто что-то соображая, и вдруг закопошился, встал, потирая руки. Потер лоб и, обратясь ко всем нам, сказал: «Да, да, надо поехать, я в этих краях не был, «заграница» мне надоела. Вы говорите — материал богатый! Да, да — материал есть, да материал серьезный, да, я Вам вполне верю, Елена Андреевна. Да, я поеду. Согласен! Надо к этому приготовиться. Поеду, поеду. Ну, а теперь до свидания!» И распростившись со всеми нами, он поспешил домой.

И каждый раз, когда он снова бывал у нас, сам наводил разговор на эту поездку. Видно было, что действительно он ею заинтересован не на шутку и вполне серьезно намеревался ее осуществить.

«Только не знаю, как Анну Григорьевну с детьми оставить?!» — говорил он моей тетке. «В Руссе, что ли, пускай поживут? Я поеду вперед, а Вы приезжайте потом; или нет, Вы поезжайте — подготовьте, а я за Вами приеду». Видно было, что он колебался, и хотел и не решался... Сначала дела ему мешали — писательство, затем кое-какие финансовые расчеты. Семейные дела... Так и не побывал он у Розена!

Когда еще последний раз был у нас Достоевский, он неоднократно упоминал об этой поездке.

Только последнее время мне все реже и реже приходится вспоминать Достоевского. Как-то не встречаешь подобного вида людей! А то за свою с лишком 35-летнюю деятельность по изучению древней стенописи мне приходилось близко соприкасаться с духовенством черным и белым, русским и грузинским, и среди них попадались мне такие старцы, страннички и зловеще жуткие исповеднички. Хотя я и весьма был далек среди своей напряженной археологической работы от всяких иных мыслей, но, тем не менее, при виде их, мне невольно тогда вспоминался Федор Михайлович Достоевский — и он вырастал передо мной, как живой, со всеми моими отроческими впечатлениями<...>

Прошло некоторое время со смерти Федора Михайловича. Вдова Достоевского переехала на новую квартиру, совсем не помню куда. Анна Григорьевна тогда начала удачно реализовывать произведения своего покойного мужа и квартира ее была хорошая, но и ее я не помню.

Одно лишь запечатлелось у меня — это угол у окна гостиной: тропические растения, финиковые пальмы поставлены так, что сразу напоминали присутствие покойника. На черном мольберте в черной раме в натуральную величину — порт-

рет Федора Михайловича, рисованный соусом, Крамским. Под ним на постаменте также в черной раме со стеклом — ящик, в нем бронзированная маска покойного писателя. Кругом мирты и венки с лентами и без лент. У портрета пальмовая ветвь — впечатление мертвенного покоя! Кругом тишина и пустота. Остального я не помню. Остановился я в этом углу и долго пристально смотрел на маску и на портрет, и не было во мне жути, неловкого подавленного щемящего чувства. Но не было и Федора Михайловича! Маска измученного страдальца, чем-то напоминающая Христа. Сухие осевшие черты лица ничуть не давали понятия о живом Достоевском. Портрет, первоклассно исполненный таким мастером, как Крамской, не давал мне того Федора Михайловича, который в продолжение нескольких лет почти ежедневно стоял у меня перед глазами. Ни в одной из фотографий, имевшихся у вдовы и у нас, ни в портрете маслом Перова для меня Достоевского не было. У Перова он пришибленный, согбенный, задумавшийся. У Крамского: — «отошел». Вот что мелькнуло у меня в мысли, когда я пристально всмотрелся. Ушедшая в подушки, тяжелая мертвая голова покойника, его — Федора Михайловича здесь нет, он — «отошел»! Он не живой. Он умер. Закрыл глаза навеки, успокоился. Покой, покой! Вот что схватил и передал художник.

А Достоевский в жизни был «беспокойник»! Хотя он и не был, что называется, «живым». Он был тих, незаметен... И беспокойство его было внутреннее, вечное, своеобразное! <...>

1933 г. Ленинград

Публикация и вступительная статья Галины Коган

Г. Померанц

ДОЛГАЯ ДОРОГА ИСТОРИИ

НЕЕВРОПЕЙСКИЙ АРШИН

Когда Тютчев писал «умом Россию не понять», он имел в виду европейский ум и европейский аршин. Но не менее отличаются от Запада и другие незападные страны. Все эти страны европеизируются (или, как сейчас говорят, вестернизируются), и некоторые «русские» (послепетровские) черты распространились по всему земному шару. Они довольно хорошо изучены «социологией развития». Беспочвенность, поиски «почвы» и т. п. суть следствия перехода от слабо дифференцированного традиционного общества к сильно дифференцированному, индивидуалистическому, плюралистическому, «рыночному». Глубочайших страниц Достоевского и Толстого мы таким образом заново не прочтем, но кое-что станет яснее.

В рамках социологии развития втягивание в отношения, сложившиеся в Европе в XVII—XIX веках, называется модернизацией. Содержание модернизации примерно совпадает с тем, что Маркс и Энгельс называли буржуазным развитием. Но социология развития выносит за скобки различия частнокапиталистических, государственнокапиталистических и «социалистических» форм. Подчеркивается общее: высвобождение науки, искусства, школы из-под контроля религии, рост разделения труда, рост удельного веса промышленности. Можно заметить, что подобные сдвиги происходили с древнейших времен. Однако до XVII века эти сдвиги были прерывистыми, местными и не сливались воедино. То, что подразумевается, когда говорят о модернизации, это ускоренный и непрерывный процесс рационализации человеческих отношений с природой (или, выражаясь более привычным языком,— развития производительных сил).

Переход к Новому времени, таким образом, жестко фиксируется во времени (отсекая Возрождение) и в пространстве: очагом модернизации признается только небольшая группа стран — Англия, Голландия, Скандинавия, Франция. Страны, захваченные рефеодализацией — Германия, Италия, так же как Испания,— трактуются в качестве «Незапада». Условность такого деления очевидна. Но для тех целей, для которых определение создано, оно хорошо работает. Испанская и португальская колонизации действительно распространяли феодальные, средневековые европейские порядки. Цивилизация Нового времени стала всемирной только с началом голландской, английской, французской экспансии. Наконец, история Германии и Италии действительно перекликалась временами скорее с развитием России или Японии, чем Англии или Голландии. Можно заметить, что с этой точки зрения и Франция не всегда ведет себя «по-западному». Но ни одну границу нельзя провести безупречно. По совокупности признаков Францию от Запада невозможно отделить.

Жестко очертив ядро модернизации, мы подчеркиваем контраст между инициаторами процесса и странами, в данное время (каким бы ни было их прошлое) воспринимающими импульс модернизации извне, странами, для которых секуляризация сознания, разрушение святынь, распад архаических связей между людьми выступают как вторжение чуждой идеологии. Разумеется, это не

снимает различия между зонами модернизации (Центральная Европа, Восточная Европа, отдельные области Азии, Африки) и отдельными странами внутри каждой зоны. Но прежде чем подойти к особенному, попытаемся рассмотреть общее.

СКОМКАННОЕ РАЗВИТИЕ

Одна из особенностей запоздалой модернизации — ускоренное и скомканное развитие. Скомканным я называю такое развитие, при котором этапы не следуют друг за другом спокойной чередой, а налезают друг на друга. От этого острее становятся противоречия прогресса, его болезненные черты.

Что такое прогресс? Если отбросить оценки, то основное содержание прогресса — дифференциация. Была амеба, дифференцировалась, возник многоклеточный организм. Но вместе с дифференциацией пришла смерть... Таким образом, прогресс связан с некоторыми утратами. То же самое в обществе. Примитивные коллективы удивительно устойчивы, а цивилизации разваливались одна за другой... Всякая дифференциация, всякий прогресс расшатывает старые интеграторы (объединяющие воспоминания, идеи, образы, учреждения). Если их не обновлять, происходит то, что в древности называли падением нравов. Возникает полуобразованность, обрисованная еще в образе библейского Хама. Хам — человек, несколько хвативший просвещения. Настолько, чтобы не бояться нарушить табу. Но не настолько, чтобы своим умом и опытом дойти до нравственных истин. Рост хамства ставит под угрозу целостность общества и заставляет искать — чем заново его объединить, цивилизовать.

После всех больших внешних перемен, великих строек и великих ломок приходит оскомина ко всему внешнему, движение внутрь, в глубину. Впервые это отчетливо прослеживается в Китае, после краха династии Цинь (III век до Р. Х.). И в Средиземноморье, после стремительного расширения Римской империи, центральными проблемами становятся догматы о единосущности Сына Отцу и о неслиянном и нераздельном единстве Бога и человека во второй ипостаси. Вечные смены ориентиров китайцы осознали в терминах «инь» и «ян». В западной культуре таких категорий нет. Французский философ Габриэль Марсель воспользовался двумя вспомогательными глаголами — «иметь» и «быть». Впоследствии те же термины подхватил американский психолог Эрих Фромм, книги которого переводились на русский язык. «Иметь» рационально: можно сосчитать, сколько ты имеешь. «Быть» иррационально, не делится на части, не поддается подсчету. Чрезмерная сосредоточенность на «иметь» приводит к кризису бытия, к духовному кризису, к моральному кризису. Чрезмерный упор на «быть» делает человечество беззащитным перед голодом и болезнями.

Пока прогресс шел медленно, поворот в сторону «иметь» или «быть» захватывал несколько веков. Классическая древность с ее философией (и софистикой) расшатала архаическую устойчивость бытия. Чувство целостности восстановила христианская мистика. Но крен в сторону иррационализма не давал человечеству выйти из грязи и нищеты; на Западе начался новый поворот к рациональным, позитивным задачам. Развитие пошло скорее, и зигзаги сделались мельче. За ренессансом сразу пошло барокко. Его иррационализм преодолен классицизмом и Просвещением. Сентиментализм и романтизм опять развенчивают разум, позитивизм возвращает его на трон, декаданс и модернизм — снова свергают. Это *нормальный* ход развития, невозможного без перекосов и кризисов. Покойный социолог Сергей Маслов проверил мою схему на истории архитектуры. Вышло, что во Франции классические периоды длинные, романтические — короткие; в Германии — наоборот. А в России *зигзаг временами полностью смят* и уступает место застойному, прошедшему через весь XIX век противостоянию позитивистского западничества и романтического почвенничества.

В результате ускоренного и скомканного развития *вся* русская литература XIX века оказывается и синхронной, и асинхронной европейскому развитию.

Поверхностные, подражательные слои ее синхронны Европе, глубочайшие развиваются по своей внутренней логике, сжато повторяющей логику европейского развития нескольких веков в своеобразной для всего Незапада «смещенной и уплотненной» форме. «Тарас Бульба» — романтическая повесть, вызванная к жизни Вальтер Скоттом; но нельзя свести к влиянию Гофмана «Нос» и «Шинель». Гофмановский человек прошел через классицизм и Просвещение, отталкивается от них — гоголевский «маеор» Ковалев о них просто не знает. Гофман любил гротеск XVII века, а Гоголь непосредственно близок XVII веку, скорее «барочен», чем романтичен. Константин Аксаков увлекся, сравнивая Гоголя с Гомером, но какая-то первозданность, какая-то дорационалистичность, допросвещенность в Гоголе действительно есть. Когда Достоевский написал «Бедных людей» и заставил Макара Девушкина обидеться за Акакия Акакиевича и критиковать «Шинель», обнаружилась по крайней мере одна вещь: то, что в гоголевском мире никому не приходили в голову права человека и гражданина. С точки зрения европейских темпов развития третьего сословия в Макаре Девушкине сделан шаг от смешных буржуа Мольера к достойному маленькому человеку Голдсмита и Ричардсона, то есть примерно в сто лет. Отсюда восторг Белинского, прочитавшего «Бедных людей», и отсюда его недоумение, а потом негодование, когда Достоевский не захотел продолжить начатое и занялся какими-то диковинными экспериментами.

Между тем Достоевский, автор «Бедных людей», был в то же время переводчиком «Евгении Гранде» и, по-видимому, чувствовал, что его роман, так новаторски выглядевший в России, по западному счету стоит рядом с «Клариссой Гарлоу» — и по духу, и по своей эпистолярной форме. Русский европеец, Достоевский, как и весь его круг, был втянут в жизнь Запада, заглянул в двойственность души «маленького человека», ставшего угнетателем, деспотом. Не находя «реальных» бытовых персонажей и ситуаций, отвечавших его интересам, он шаг за шагом все больше изменял реализму XVIII века, с которого начал, и создавал фантастические характеры, действовавшие в фантастических обстоятельствах.

Белинский этого не понял и не мог понять. Возвращение к романтизму, только что изжитому, казалось ему бесплодным эпигонством, и великий критик приписал фантастику «Хозяйки» полному упадку таланта, на который он когда-то возлагал большие надежды.

Однако ускоренное и скомканное развитие характерно не только для России. В начале XX века лучшие японские писатели причисляли себя к направлению «сидзэнсюги», то есть натурализму. Но под европейским натурализмом японцы понимали очень широкий и пестрый круг явлений XVIII—XIX веков. В их глазах все европейское и «верное природе» сливалось, как спицы в быстро движущемся колесе.

Развитие китайской литературы Нового времени совсем «неправильно». Литературная и идеологическая модернизация захватывает Китай очень поздно и как-то внезапно. Европа открывается китайскому сознанию вдруг, от классицизма до символизма. Возникает духовный хаос, настолько невыносимый, что спасением могла показаться простота «мыслей Мао Цзэдуна». Этот путь никак не напоминает классические европейские переходы от Просвещения к романтизму, от романтизма к реализму и т. п., с развертыванием каждого «стиля», успевшего стать стилем жизни по крайней мере в течение целого поколения, а иногда двух-трех поколений. И некоторые эксцессы «смещенного и уплотненного» развития нельзя приписывать глупости русских или китайцев. Это историческое несчастье.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Западные страны модернизировались в целом, всей системой переходя от эпохи к эпохе, успевая «просветиться» до низов, и поэтому не было надобности повторять пройденное. И действительно, второго Просвещения во Франции не

было. Сама идея такого повторения представляется нелепой: рядом с Гюго для Вольтера нет места. Напротив, в России было дворянское Просвещение (Радищев и декабристы), потом разночинное («два социалистических Лессинга») и на рубеже XX века — нечто вроде третьего Просвещения, захватившего национальные окраины и городские низы; в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» оно пародийно представлено фигурами Берлиоза и Бездомного. Каждый раз новое Просвещение сталкивалось со старой интеллигенцией, успевшей отойти от прямолинейной идеологии модернизации к более глубоким идеям, и возникали своеобразные конфликты, которых не знал Запад,— например, спор Достоевского с Добролюбовым и Чернышевским, споры вокруг «Вех» и т. п.

В модернизированном анклаве происходит процесс развития, параллельный европейскому, но он сталкивается не просто со старым косным обществом, а еще как бы и со своим собственным прошлым, с волнами движений, возникших среди неофитов прогресса и повторяющих заново то, что в центре уже было пройдено. Эта фантастическая для Запада картина — реальность для России. Романтизм Достоевского возмущал Белинского, как тень Банко, пришедшая в редакцию «Отечественных записок», а нигилисты шестидесятых годов казались Достоевскому дьявольским кошмаром именно потому, что он сам прошел через нечто подобное.

Япония в этом отношении более западная страна, чем Россия. После переворота Мэйдзи модернизация не задержалась здесь на одном слое (подобно реформам Петра), захватила все общество и развивалась чрезвычайно успешно. По-видимому, это объясняется особенностью самой японской традиции, постепенным накоплением элементов социальной динамики еще в эпоху феодализма.

РОМАНТИКА КРОВИ И ПОЧВЫ

Третья черта процесса модернизации — почвенный характер незападной романтической реакции на Просвещение. В Англии и Франции романтическое движение сохраняет универсализм Просвещения. Оно углубляется в средневековье, но не обязательно собственное. Романтический идеал может быть найден на чужбине, на Востоке. Просвещение не было для англичан и французов чем-то чужим, от которого бегут к своему, родному. Скорее наоборот: западный романтик склонен бежать с просвещенной родины. И только к востоку от Рейна положение меняется. Для большинства немцев Просвещение пришло извне, вторглось в Германию вместе с армиями Наполеона и его кодексом, противоречащим германскому праву; оно силой расчищало авгиевы конюшни немецкого феодализма. И в результате возник особый немецкий романтизм, со своеобразным почвенным привкусом. Слово «почвенничество» изобретено в России, но впервые именно в Германии возникло острое чувство беспочвенности, разрушения национальных основ, и поиски собственной традиции выступили в романтизме на первое место, оттеснив Восток, экзотику, романтическую даль.

Гейне говорил, что французский патриотизм расширяет сердце, а немецкий его сужает. То же хочется сказать о романтизме. Вместо знамени борьбы за свободу *чужого* народа, под которым умер Байрон, незападные романтики подняли каждый свое знамя, и это знамя легко становится знаменем ксенофобии. «Французоедский» стереотип, созданный немцами, с очень небольшими вариациями повторяется — или изобретается заново — почвенными движениями Востока.

Особенно неизменен набор *обвинений*, впервые выдвинутых против Франции. Он просто переносится на Западную Европу в целом, включая Германию, на белую расу в целом, включая русских, и т. д.

В начале шестидесятых годов в Южной Африке демонстранты несли хоругвь с надписью: «Белые распяли Иисуса Христа». Это, к сожалению, неоспоримо. Кто бы ни был главным виновником — еврейский первосвященник или римский наместник,— грех богоубийства лежит на белой расе. Правда, к ней принадлежал также Иисус. Но последнее для африканцев не очевидно. Некоторые идеологи африканизма настаивают, что Моисей и Иисус — африканцы. В африканской народной иконографии белые распинают черного Христа.

Несколько более вариативна похвала собственным добродетелям, но и в ней можно проследить общепочвеннический стандарт. Запад всегда безнравственный, порочный, гнилой, растленный. Ему противостоит этически полноценный немец, «верный росс» и т. п. Иногда почвенничество признает возможным заимствование западной техники, но так, чтобы не повредить нравы. Отсюда китайский (и японский) лозунг: «Восточная этика, западная техника».

Если этическое превосходство сомнительно, его дополняет превосходство религиозное. Достоевский, например, признавал, что мужики пьянствуют, лгут, воруют, но зато у них есть сознание греха, способность к покаянию и очищению. Поэтому они в конечном счете и нравственнее, чем интеллигенты, потерявшие веру в Бога.

Отдаленным предшественником Достоевского был Кальдерон, любимый писатель немецких романтиков. В «Поклонении Кресту» Кальдерон сталкивает два характера: разбойника, который грабит, убивает, насилует, но никогда не забывает перекреститься; и ученого монаха, своего рода протоинтеллигента средних веков, который мухи не обидел, но усомнился в символах веры. Разбойник после некоторых перипетий попадает в рай, монах — в ад. При этом Кальдерон не считает нужным доказывать, что сомнение в символе веры может привести к убийству, или по крайней мере создать идейную атмосферу убийства (как в «Братьях Карамазовых»). Это для него просто аксиома, очевидность.

Несмотря на все отличия, творчество Кальдерона и Достоевского вдохновляет одна и та же идея, возникшая в ответ на обезбоженное научное мировоззрение. С точки зрения социологии развития, Испания — такой же Незапад, как Россия. На Западе научное мировоззрение, развиваясь рядом с религиозными движениями и реформами, практически сживается с христианской по происхождению этикой. На Незападе внезапно появившаяся наука сталкивается с религией, совершенно не готовой к диалогу. Ситуация обостряется, и возникает выбор: либо окаменевшая традиция с заповедями, либо свобода научной мысли без всяких заповедей. «Если Бога нет, то все позволено». В этой обстановке всякая интеллигентность, всякая затронутость западным свободомыслием воспринимается как пагуба и бесовщина. Это не индивидуальное, а всемирно-историческое заблуждение, ставшее почвой трагических коллизий в жизни и в искусстве.

Иногда индивидуальное этическое превосходство незападного человека дополняется превосходством незападных социальных систем, основанных на соборности (Россия), или всеобщем долге перед императором (Япония), или на сельской общине (Россия, Африка). Джулиус Ньерере, лидер Танзании, вероятно, не читал Бакунина и Герцена, но он обосновывал африканский социализм примерно так же, как они обосновывали русский социализм.

Наконец, сухой рассудочности Запада противопоставляется эмоциональное богатство Незапада: немецкая задушевность, русская широта, японское «чувство чая» или то, что «негр думает, танцуя».

В наиболее резких и вульгарных формах почвенничества представление о Западе доводится до уровня бесед странницы Феклуши (из «Грозы» Островского): «Все-все неправедно»,— и в некотором духовном и душевном вакууме развиваются наука и техника. Просвещенное почвенничество, напротив, понимает достоинства европейской культуры и недостатки собственной «почвы». Идея «борьбы с Западом» уступает тогда идее синтеза европейского рационализма и незападной душевности. В просвещенном почвенничестве обнаруживается рациональное зерно почвенничества вообще. По сути дела, почвенничество — своеобразная форма протеста против *отчуждения*, которое несет с собой Новое время, против бесчеловечных сторон общественного развития; если воспользоваться выражением современного почвенника В. Солоухина,— против отрыва людей друг от друга и от неба. Почвенничество, как всякий романтизм, фантастично и часто реакционно; оно пытается остановить развитие, которое остановить невозможно, и предлагает для этого негодные средства. Но оно должно быть понято в своей истинности.

Сила почвенничества прежде всего в критике современной цивилизации как *законченного и безусловного идеала*. Достоевский сделал это с необычайной глубиной, потому что он глядел на Европу одновременно изнутри, как европеец, и извне, как неевропеец, чужак. Этот двойной взгляд глубже проникал в действительность, чем воззрения чистоевропейские. Тема противоречий прогресса — одна из самых плодотворных в искусстве. Задача искусства — защищать человека, которого давит машина прогресса, а не подталкивать эту машину.

Почвенничество рационально и в критике методов *распространения* современной цивилизации. Западничество сеет прогрессивные идеи, принципы, учреждения, убежденное в том, что они *должны* привиться, а почвенничество ставит вопрос о том, что в данных условиях *может* привиться. Опыт парламентских учреждений в Пакистане, Нигерии, Гане показывает, что это далеко не праздный вопрос.

В почвенничестве есть ощущение внутренней логики культуры, которая нелегко меняется, и если меняется, то не всегда так, как это было намечено, вырастая из новых учреждений, в строгом соответствии с планом. Из почвеннических тенденций историографии выросла культурология Шпенглера и Тойнби. Один из предшественников их — Данилевский. Культурология Шпенглера дает подступ к пониманию краха социально-экономических реформ в Иране. Наши энтузиасты рынка, кажется, совершенно не изучили этот феномен.

Наконец, сила почвенничества в установке на внутренний мир человека, на его полусознательные и бессознательные привязанности. Западничество как бы предлагает переехать на новую квартиру, а почвенничество отвечает эмоционально, по-обломовски: «Мне нравится старая, я к ней привык и не знаю, привыкну ли к новой!» Западничество предлагает «капитальный дом по контракту на тысячу лет и с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске» (Достоевский), а почвенничество ретроградно отказывается. Западничество толкает вперед, в царство крупнопанельных и крупноблочных удобств, а почвенничество тоскует по рябине, которая смотрелась в перекошенное старое окно перекошенного старого дома. Западническая точка зрения, очевидно, плодотворнее для плановика, вынужденного решать вопрос о переселении миллиона людей из подвалов или из районов экологических катастроф. Но для писателя важнее всего как раз то, от чего плановик отвлекся. И величайшие русские писатели, Толстой и Достоевский, не случайно были критиками Запада, прогресса, науки и т. п. Художественный талант толкал к тому из двух альтернативных миросозерцаний, которое прямо вело к главному писательскому делу — раскрытию «тайны о душе человеческой» (Достоевский). Разумеется, было бы лучше без связанных с этим крайностей. Но история без них не обошлась.

В 1939 году, когда я впервые об этом написал, меня очень дружно осудили. Господствовало убеждение, что взгляды радикальных западников плодотворны во всех отношениях — и в политической практике, и в практике художественной. Но потом жизнь показала, что почвенные идеи понадобились не только классической литературе, а и современной, что мне, признаться, в 1939 году не приходило в голову. Проза В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина и других, связанная с поисками забытых архаических слоев народной культуры, дала больше нового, чем рассказы и повести, *показывающие*, по совету Белинского, то, что социолог мог бы *доказать*. Эта альтернатива не обязательная, но на какое-то время — в связи с политикой, разрешавшей Распутина и запрещавшей Гроссмана,— она господствовала в нашей литературе.

Однако отказ от рационального подхода к общественной жизни мстит за себя торжеством бредовых представлений, овладевших умом В. Белова и В. Распутина. И рядом с отличной деревенской прозой — шумная спекуляция почвенническими идеями, не всегда грамотная и не всегда честная.

Поэтому хочется повторить мысль, высказанную в 1939 году, с противоположным акцентом: идеи, плодотворные в искусстве,— где романтизм вообще обнаруживает свои сильные стороны, а Просвещение свою слабость,— могут быть неплодотворными и опасными в общественной практике. Взлеты и падения по ту

сторону здравого смысла привлекают и захватывают в духовной жизни и в литературе, идущей по следам этой жизни, но в общественной практике осторожный и трезвый реализм сохраняет свои преимущества.

Парадокс почвенничества в том, что современное всемирно-историческое содержание выступает в нем в локальной и архаической форме, что против всемирного дьявола прогресса почвенники взывают каждый к своему старому местному богу. В таком споре дьявол всегда будет сильнее. Нечто сходное уже было в Древней Римской империи. Бездушное политико-административное единство накладывалось на локальные культы, вокруг которых лепился теплый человеческий мир. Римское владычество постепенно сглаживало, стирало местные культуры, не предлагая человеку ничего взамен, кроме еще более стертого культа принцепсов. Местные боги казались обреченными. Но бездушное единство тоже было обречено, оно не могло удержаться. И выход был найден в христианстве. Из иудаизма, привязанного к жизни племени, родилась религия, связывающая всех и каждому давшая икону общего теплого культа. В христианстве почвенничество стало «беспочвенным», вселенским, и в этой вселенской, беспочвенной форме оно победило. Хочется напомнить слова христианского апологета III века, а потом Августина: «Для христианина всякое отечество — чужбина и всякая чужбина — отечество». Вопреки нынешним представлениям новая, глубочайшая духовность была вселенской, «космополитической».

Современный мир также требует духовного синтеза, подобного синтезу местных традиций вокруг евангельского стержня, требует общего языка культуры, такого же универсального, как универсальны наука, экономика, транспорт, связь XX века — и каким больше не являются «языки» (символы) «мировых» религий, разных в каждом крупном регионе. Пока невозможно сказать, как это все случится. Ясно одно: необходимо глубокое взаимное понимание культур, прислушивание друг к другу, до которого еще очень далеко. Легче указать движения, рвущие мир на части, чем то, что ведет к духовному синтезу.

Постмодернистская Европа освобождается от «бремени белого человека», смотрит на Новое время со стороны, видит его ограниченность и готова учиться у примитивных и архаических культур, шедших другим путем. Запад хочет остановиться и оглянуться, использовать досуг, который ему дало развитие, для поисков духовных ценностей, которые буржуазное развитие скорее отымало. А в это время Восток, расшевеленный, вступивший на путь модернизации, корчится в муках социальных и национальных конфликтов, не дающих покоя ни ему, ни остальному миру. Волны ксенофобии бегут назад, к рубежам, у которых они некогда родились, вызывая и здесь отклики — воспоминания полумертвых антагонизмов: фламандско-валлонского, шотландско-английского. Католики Ольстера вспомнили поражение, понесенное в XVII веке, и пытаются взять реванш с помощью террора. Ожили старые болячки и в нашей стране. В этой обстановке всякая прямолинейность опасна. И прямолинейное западничество с его недооценкой местных традиций, и прямолинейное почвенничество, посыпающее солью раны народов, полученные в недавнем и давнем прошлом.

ЧУЖАКИ

Чужаки вообще играли большую роль в развитии, начиная с древности. Об этом написал большую интересную статью немецкий социолог Г. Айзерман. Он выводит из психологии эмигранта, беспочвенного человека, многие интересные явления и на Западе; например, Соединенные Штаты — страна эмигрантов, порвавших со старым порядком и рассчитывающих только на себя, на свои собственные руки и ум. «Чужой,— цитирует Айзерман Георга Зиммеля,— по самой своей природе не владеет землей, причем землю надо понимать не только в физическом смысле, но также в переносном смысле жизненной субстанции, фиксированной... в идеальном пространстве общественного окружения». Таким образом, «земля» Зиммеля — примерно то, что Достоевский назвал «почвой».

Поиски безопасности, обеспеченности вызывают у «беспочвенного» эмигранта повышенное стремление к успеху, к личным достижениям. «Чужак становится

проводником идеологии успеха, необходимой для экономического развития... Будет ли он торговцем или производителем, все равно,— чуждость своему окружению, во многом тяжелая, одновременно открывает ему (как оборотная сторона медали) и такие возможности, которых лишены люди окружающего общества, подчиненные господствующим традициям и нормам...»

Чужаки приспосабливаются к новому окружению, не подчиняясь ему, а развивая способности, которых на новой родине не хватает, дополняя сложившееся разделение труда. У себя, на старой родине, они могли бы быть не очень предприимчивы, могли безоговорочно подчиняться традиции. На новой родине они ведут себя иначе. В результате из китайских кули, привезенных для работы на плантациях и на рудниках Малайи, вырос целый слой миллионеров.

Одновременно (хотя Айзерман об этом не упоминает) выдвинулся слой малайских интеллигентов китайского происхождения. Таким образом, возникли социальные группы, подобные евреям-купцам и евреям-интеллигентам в России начала XX века. В Малайе и в Индонезии, на Филиппинах, в Камбодже и Таиланде, в странах Африки — повсюду возникает энергичная диаспора, подталкивающая развитие. Возникает почти что из ничего, из нищих и безграмотных кули, вывезенных для работы на плантациях, и из полунищих эмигрантов, приехавших попытать счастья. Это один из самых поразительных фактов в истории модернизации Африки и Азии.

Именно потому, что в слаборазвитых странах не хватает технических знаний и способностей, быстрого использования экономических возможностей, административных талантов и упорства,— эти черты становятся характерными для чужаков. И в ходе социальных сдвигов некоторые группы чужаков стремительно выдвигаются вперед.

В Африке наряду с этим процессом происходит еще один, параллельный: облачко диаспоры выделяют местные народности, оказавшиеся более динамичными, чем их соседи. Судьба этих пионеров модернизации оказывается иногда довольно тяжелой.

Айзерман считает выдвижение чужаков выгодным для развития. Однако коренное население страны обычно рассуждает иначе. Успехи чужаков ассоциируются в его сознании прежде всего с негативными сторонами социальных сдвигов, с разрушением привычных ценностей и отношений. Традиционное отвращение к чужому, тысячелетиями воспитывавшееся в племенных и застойных крестьянских обществах, неоднократно вспыхивало и в Европе. Однако в современной Африке и Азии ксенофобия горит особенно ярким пламенем. Чем быстрее темпы экономического развития, чем меньше крестьянские общества умеют своевременно приспособиться к нему, тем выгоднее условия для выдвижения чужаков и тем больше ненависть к ним. Ненависть к «азиатским чужакам» даже превосходит ненависть к колонизаторам. И правительства недавно освободившихся стран охотно идут навстречу народным чувствам.

В этих условиях «три главнейших требования, которые сегодня выдвигаются в слаборазвитых странах,— требование национального достоинства, экономического развития и социального обеспечения,— в первую очередь заострены против чужаков» (Айзерман). Экономически и интеллектуально целесообразное разделение труда разрушается, и развитие терпит серьезный ущерб.

Почему же в Англии все было иначе? И там зачинщиком научно-технического и экономического развития выступили меньшинства, правда, на первый взгляд религиозные меньшинства, течения и секты, порвавшие с англиканской церковью. Но если присмотреться, окажется, что религиозное деление в какой-то мере совпадало с этническим: среди сектантов преобладали шотландцы. Почему же выдвижение шотландцев не вызвало ничего похожего на страсти, сопутствовавшие выдвижению китайцев в Индонезии и Малайзии, индийцев в Кении, народности ибо в Нигерии?

Ссылку на уровень цивилизации следует отвести. Немцы — народ, стоящий на очень высоком уровне цивилизации, но во второй четверти XX века они вели себя скорее как хауса, громившие мелких торговцев ибо, чем как англичане. Решили какие-то другие обстоятельства.

Одно из этих обстоятельств — то, что особую ненависть английской черни вызывало меньшинство, не имевшее ничего общего с модернизацией,— католики, паписты, которых и правительство беспощадно преследовало по различным политическим соображениям. Католики воспринимались как вредные чужаки и иногда вынуждены были эмигрировать. Напротив, сектанты, еще более решительные противники папизма, чем англикане, воспринимались как свои чужаки, как члены единой британской нации. Такими же членами единой британской нации были шотландцы. Сами шотландцы могли временами остро переживать свою этническую особенность, но с точки зрения англичанина они почти свои (примерно как украинцы для русского). И выдвижение шотландцев так же мало раздражало, как, скажем, выдвижение графа Безбородко — коренных русских дворян.

Ксенофобия вообще резко различает своих чужаков (с которыми она готова побрататься) и чужих чужаков. Можно это подтвердить любопытным примером из современной американской жизни. Статистика показывает, что высшее образование в США активнее всего стремятся приобрести евреи, шотландцы и итальянцы. Примерно 80 процентов американских евреев и 50 процентов итальянцев дают своим детям высшее образование. Это гораздо больше, чем в Израиле или в Италии. Но у себя на родине есть много возможностей занять уважаемое место и без диплома, а в США диплом — самое надежное средство превратиться из грязного еврейчика или грязного итальяшки в почтенного доктора наук. Шотландцы стоят на втором месте — впереди итальянцев, но чернь замечает только евреев и итальянцев.

Остается, однако, проблема еврейского меньшинства в Англии. Почему, когда Дизраэли стал министром, это взволновало только Достоевского, а когда министром стал Вальтер Ратенау, известная часть германского офицерства приняла это как пощечину и Ратенау застрелили?

Можно заметить, что евреев в Англии было несколько меньше, чем в Германии; однако папистов в Англии тоже было мало — что не мешало их ненавидеть. Можно заметить, что процесс развития в Англии был более плавным, менее болезненным, чем в Германии; однако совсем безболезненным он все же не был; массы и в Англии, доведенные до отчаяния, иногда подымались на бунт, на погром, но погромы не имели этнического характера. Разбивали машины, а не витрины еврейских лавок.

Мне кажется, что одной из причин такого различия между западной Англией и незападной (в нашей схеме) Германией была литературно-идеологическая традиция. Она окрашивала поведение если не самих люмпенов, то, во всяком случае, тех, кто мог стать во главе их и создать «движение». Политический антисемитизм существует в Германии с 1815 года, то есть появляется почти одновременно с немецким почвенным романтизмом и, конечно, в связи с ним. Две формы ксенофобии — шовинизм, направленный против другой страны, другой земли, и диаспорофобство, направленное против активных национальных меньшинств,— психологически тесно связаны и легко переходят одна в другую. Поэтому французоедский штамп, господствовавший в воспитании немцев со времен наполеоновских войн, подготовил почву для жидоедского штампа, получившего приоритет, когда понадобилось найти внутренних виновников поражения 1918 года, тягот «рационализации» и других язв. Таким же образом ненависть, вызванная империализмом и колониализмом, создает почву для экспроприации индийцев в Кении, резни китайцев в Индонезии и других печальных явлений.

Там, где есть почвенничество, всегда возможен взрыв погромной активности. Почвенничество нельзя примитивно истолковывать как идеологию погрома, но нельзя закрывать глаза на то, что погром — одно из возможных следствий почвенного романтизма так же, как террор — одно из возможных следствий Просвещения. Например, террор Великой французской революции:

Это все революции плод,
Это ее доктрина.

Во всем виноват Жан Жак Руссо,
Вольтер и гильотина.
(Г. Гейне, перевод Ю. Тынянова).

Что касается цивилизации, то она не мешает ни террору, ни погрому. Скорее напротив: школа и книга сыграли большую роль в распространении патриотических и других идей, «сужающих сердце», и в подготовке цивилизованного варварства,— как в реакционной Германии, так и в прогрессивном афро-азиатском мире. Носителями крайних форм ксенофобии являются не феллахи, а интеллигенты, люди грамотные, умеющие читать и даже писать книги. Советский исследователь Б. Б. Парникель изучил 400 малайских рассказов и выделил сцены, в которых действовали китайцы. Образ китайца в малайской литературе поразительно близок к образам евреев в «Молодой гвардии». И так как реально евреи и китайцы совсем не похожи, то можно только удивляться стандартности представлений, созданных ненавистью.

Стоит обратить внимание еще на одно обстоятельство. В психологии погрома всегда есть комплекс неполноценности, который компенсируется агрессией. У англичан комплекса неполноценности не было, скорее был комплекс сверхполноценности. Поэтому лидер английских фашистов Мосли не мог найти в душах своих соотечественников той болезненной жилки, которая с трепетом откликалась у немцев на речи Гитлера. Англичане, пришедшие на митинг, возмущались и били — не евреев, а Мосли и его немногочисленных сторонников. Это, конечно, не прирожденная, а исторически воспитанная черта, следствие многих веков, прошедших без национальных и социальных унижений, без иностранных завоеваний (с XI века) и крепостного права.

Подводя итоги, хочется поставить вопрос: почему в XIX веке прогрессивными называли страны, в которых не было диаспорофобства (Англия, например) или где диаспорофобство, вспыхнув, встречало массовое же сопротивление,— например, борьбу за оправдание Дрейфуса во Франции? Почему, напротив, в XX веке прогрессивными считаются страны, в которых национальные меньшинства подвергаются законодательным ограничениям и становятся жертвами погромов?

Прежде всего установим факты. Китайцев сравнительно мало притесняют на Филиппинах — и режут при всех режимах и всех сменах режима в динамической Индонезии, индийские лавочники продолжали свой бизнес в ЮАР под защитой апартеида, который их ограничивал и унижал, но не экспроприировал, как класс, а из освободившейся Кении их высылают. В умеренном когда-то Тунисе попытка еврейского погрома, предпринятая в июне 1967 года, была сурово подавлена, а в левобаасистском Ираке введены были специальные антиеврейские законы, и казни евреев превращались во всенародный карнавал (нетрудно заметить связь этой диаспорофобии с внешнеполитической агрессивностью).

Разумеется, обязательной связи прогрессивных движений с диаспорофобством нет, но она достаточно часто встречается. Как это можно объяснить?

В XIX веке прогресс захватывал западные нации в ц е л о м и ассимилировал меньшинства в едином, быстро развивающемся национальном коллективе. В XX веке прогресс создает в незападных странах э т н и ч е с к и е а н к л а в ы и сталкивает их с медленно развивающейся крестьянской и ремесленной массой — это создает конфликты. Важно и то, что афроазиатские страны хранят живую память перенесенных национальных унижений. Их европейская аналогия — скорее Германия, старые раны которой были растравлены Версалем, чем Англия. Но даже самые крайние европейские примеры не идут в сравнение с тем глубоким и недавним оскорблением национального достоинства, которое нес с собой колониализм. Как ни возмущали немцев союзники, как ни раздражало итальянцев австрийское господство, они никогда не наталкивались на надписи: «Собакам и немцам (или итальянцам) вход воспрещен». Все это в прошлом, но прошлое, если растравлять его, очень живуче. Во время мусульманских погромов в Гуджарате некоторые образованные индийцы, читавшие книжки по истории, говорили о реванше за проигранную тысячу лет назад войну с тюркскими завоевателями. Реванш заключался в том, что хамски оскверняли мечети и могилы мусульманских святых и около тысячи человек вырезали.

В социальном отношении афро-азиатские массы едва вышли — и часто не совсем еще вышли — из положения, близкого к рабскому. А рабство, как говорил еще Гомер, отнимает у человека лучшую часть его доблестей. Нужны десятки, а может быть, и сотни лет уважения к гражданским правам, чтобы воспитать чувство неприкосновенности человеческой личности.

Наконец, последнее по счету, но не по важности: стремясь сплотить нацию, многие правительства и партии афро-азиатских стран прямо поощряют ксенофобию. Особенно этим злоупотребляют диктаторские режимы. Сталинская политика «борьбы с космополитизмом» — отнюдь не исключение. Игроки, видящие на один ход вперед, не предполагают, что отдаленные последствия политики «козла отпущения» могут обрушиться на тот народ, который таким образом сплачивают. Три года тому назад писали об осквернении еврейского кладбища. Сегодня уже оскверняют р у с с к и е кладбища и русские бегут от погромов.

БЕСПОЧВЕННЫЕ ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

Характерная особенность незападных стран — своеобразный общественный слой, получивший в России название интеллигенции. Термин «интеллигенция», войдя в быт, получил новые значения, соответствующие положению работников умственного труда в советские десятилетия. Однако первоначально интеллигент — это не всякий работник умственного труда, а специфический тип, возникающий где-то на полдороге между к н и ж н и к о м древних и средневековых цивилизаций и и н т е л л е к т у а л о м Нового времени.

Некоторые западные словари определяют интеллигенцию так: «русские интеллектуалы, обычно в оппозиции к правительству». Несколько подробнее ту же модель развил царский министр внутренних дел Плеве в письме к Победоносцеву: «Интеллигенция — это тот слой нашего образованного общества, который с восхищением подхватывает всякую новость, и даже слух, клонящиеся к дискредитированию правительственной или духовно-православной власти, ко всему же остальному относится с равнодушием».

В таких определениях есть доля истины, но, разумеется, невозможно ограничиться чисто политической и отчасти даже полицейской характеристикой интеллигенции.

Интеллигенция трагически противостоит не только правительству, но и народу, во имя которого пытается выступать, и трудно сказать, от кого она дальше. Народ часто не умеет отличать интеллигенцию от режима, отечественного или иностранного, с которым она борется. Это проявлялось, например, во время холерных бунтов. А интеллигенция колеблется между презрением к невежественному народу и обожествлением его (начиная с русской концепции народа-богоносца, кончая китайским лозунгом: учиться у рабочих, крестьян, солдат).

Так же противоречива интеллигенция и во многих других отношениях. Она складывается в странах, где сравнительно быстро принялась европейская образованность и возник европейски образованный слой, а социальная «почва», социальная структура развивалась с р а в н и т е л ь н о медленнее. Интеллигент, вставший «в просвещенье с веком наравне», вынужден действовать в «непросвещенной» обстановке, полуазиатской, или, если воспользоваться другим термином,— полуфеодальной. Отсюда трагическая расколотость в отношении к практике. Чернышевский высмеял ее в «Русском человеке на rendez-vous», а Добролюбов — в статье про Обломова, думая, что говорят только о дворянах. Но Герцен был прав, ответив им: «Все мы Онегины, если не предпочитаем быть чиновниками или помещиками». Замечательный русский мыслитель Г. П. Федотов считал характерным для интеллигенции «идейность задач и беспочвенность идей». Иначе, по-видимому, и не могло быть у е в р о п е й с к и образованного слоя в н е е в р о п е й с к о й стране, народ которой сопротивлялся европеизации.

Становясь революционером, интеллигент либо р а с с у ж д а е т о насилии,

терроре, революционной диктатуре и проч., как Иван Карамазов, но действовать предоставляет Смердякову, либо сам берется за топор, как Раскольников, но тут же отшатывается от сделанного. Образы, созданные Достоевским,— вернее многих научных моделей исторического процесса. В жизни русской интеллигенции постоянно нарастают две тенденции: одна к действию во что бы то ни стало («К топору зовите Русь»), другая, напротив, окрашена непреодолимым отвращением к грязи и крови истории (Лев Толстой и толстовцы). Один поэт пишет:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Другой отвечает:

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сняли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первозданной красе...

Отсюда, с одной стороны, постоянное этическое горение русской литературы, «бунт» Ивана Карамазова («Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу... Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка...»), отсюда «Не могу молчать» Льва Толстого и проч. За это Томас Манн назвал русскую литературу святой, а Короленко, имевший возможность выбирать между украинской, польской и русской национальностью, выбрал русскую за гуманность (см. «Историю моего современника»).

С другой стороны, все проблемы «больной совести» решительно отвергались деятельной, практически настроенной частью интеллигенции. В пьесе Билль-Белоцерковского герой стремительной походкой проходит мимо девушки, ждущей поезда на каком-то сибирском полустанке. «Что вы читаете?» — спрашивает он вполоборота. «Преступление и наказание»,— кротко отвечает девушка. Герой пожимает плечами: «Одну старушку убили, а разговору сколько!»

На аналогичном контрасте построен роман Тагора «Дом и мир». Никхил, человек глубокий, чистый, гармоничный, двойник самого Тагора, хочет решить все вопросы жизни в духе любви. Шондип не верит в это и рвется к насилию. В нем есть что-то захватывающее, есть обаяние энергии. Бимола, в которой можно видеть воплощение народной души, на какое-то время увлекается Шондипом, но разочаровывается в нем и остается с Никхилом. В жизни не всегда так гладко кончалось.

С этим противопоставлением отчасти совпадает другое, имеющее, однако, самостоятельное значение. Интеллигенция одновременно порождает глубоко религиозный тип, ищущий обновления и очищения традиционной веры, и столь же убежденных атеистов, стремящихся разрушить веру во все трансцендентное до основания и утвердить на месте ее, в качестве предмета веры, научную теорию. Первый тип больше проявил себя в Индии — классической стране религиозных движений, второй — в Китае. В России обе тенденции были, кажется, одинаково сильны. Отсюда крутые переходы от богоискательства к атеизму — или от атеизма к религии: С. Булгаков, Н. Бердяев, Г. Федотов, С. Франк и др. Для западных интеллектуалов не характерно ни то, ни другое; Бог их как-то не мучил, по крайней мере в классический западный XIX век. Где-то в Дании писал свои дневники Кьеркегор, но его извлекли из забвения сто лет спустя.

Религиозные проблемы становятся, однако, основными литературными проблемами Запада в XX веке — в романах Ф. Мориака, Гр. Грина, Г. Белля, Д. Сэлинджера. Современная постмодернистская Европа находит для интеллигентского сознания какое-то место в своей духовной структуре. Это можно показать на судьбе русских интеллигентов-веховцев. Попав на Запад, они были там приняты как *экзистенциалисты*, то есть как чисто западное («послевоенное») явление. Следовательно, мы имеем право сказать, что «послевоенный» Запад — не

совсем Запад. Или пойти в другом направлении и определить понятие интеллигентности несколько более широко.

Подход к такому определению интеллигентности можно найти в философской антропологии, в учении об эпохах неуверенности человека в основах своего собственного и космического бытия. Коротко говоря, Аристотель «постигал только человека в мире, а не мир в человеке» (М. Бубер). Человеческое бытие само по себе становится проблематичным впервые для Августина, снова теряет свою проблематичность для Аквината — и снова, еще острее, становится проблематичным для Паскаля. Августина можно рассматривать как отдаленного предшественника веховской интеллигенции, с Паскалем у русской интеллигенции есть прямые духовные связи (от Тютчева до Пастернака).

Когда чувство проблематичности бытия становится эпидемическим, в эпоху большой культурной ломки, известная часть специалистов умственного труда становится интеллигентской. Если эпидемия ликвидируется и побеждает идеология, для которой сознание проблематичности неполноценно и недостойно, то интеллигент на время стушевывается и уступает первое место специалистам, интеллектуалам, функционерам, инженерам человеческих душ, и проблематический человек высмеивается, как Васисуалий Лоханкин и Кавалеров. В такую эпоху Кавалеров испытывает жестокую зависть к Бабичеву. (См. «Зависть» Ю. Олеши.) Этот сдвиг захватил в нашей стране несколько десятилетий. Началом конца его можно считать 1956 год, когда был реабилитирован Ф. М. Достоевский, самый проблематичный писатель в мировой литературе, эталон и лакмусовая бумажка проблематичности человеческого бытия. Опала Достоевского, несмотря на пропаганду русской национальной традиции,— показатель крайней степени разрыва с интеллигентностью (после войны и до 1956 года Достоевский был изъят из школьных программ).

В такой стране, как Япония, сталкиваются два процесса. С одной стороны, проблематичность незаконченной модернизации сходит на нет; с другой, вместе со всеми развитыми странами, Япония делается проблематичной по-новому, не зная, как и все не знают, куда ведет современное развитие и оставит ли оно человеку хоть немного места на земле. Таким образом, почва для интеллигентности то исчезает, то возникает вновь.

Кавалеров и Бабичев — два типа, идущие рядом,— а не друг за другом. История только попеременно дает им, так сказать, преимущественные условия развития.

В странах Африки, насколько я могу судить, условия не дают интеллигенции развернуться. Здесь можно пока говорить об интеллигентности скорее как о возрастной фазе, как о мироощущении студенчества. Вернувшись на родину, человек с дипломом довольно быстро становится ответственным работником, иногда прямо министром и поглощается «административной буржуазией», или «бюрократической буржуазией» (употребляются оба термина). По-видимому, интеллигентность может сложиться и сохраниться только в стороне от власти, от распоряжения государственным аппаратом; во всяком случае, ядро интеллигенции и в России, и в Индии состояло из людей, духовно независимых от государства, хотя иногда и вынужденных зарабатывать деньги службой на каких-либо второстепенных должностях.

Группа интеллигенции, пришедшая к власти, может некоторое время сохранять интеллигентность, во-первых, под влиянием традиций (если они успели сложиться), во-вторых, под влиянием ядра интеллигенции, оставшегося вне государственного аппарата. Но в конце концов она оказывается перед дилеммой: либо выпустить руль из рук, отойти от политической деятельности, либо стать такой, которой власть требует, то есть превратиться в группу функционеров. Этот процесс может быть острым и плавным, быстрым и медленным, но избежать его, по-видимому, нельзя. Этическое горение Индийского Национального конгресса было очень ярким, однако переход к независимости и здесь не обошелся без трагических провалов и разочарований. Погиб Ганди, столкнувшись с народом, который он учил сатьяграхе (ненасильственному сопротивлению) и который, пробудившись, стал резать мусульман. Постепенно отошли от политики Д. Пр. На-

раян и другие. Развитие в целом не было таким катастрофическим, как в Китае, но ядро интеллигенции шаг за шагом отделяется от правящей партии и от политики вообще, уступает первое место специалистам и функционерам.

Судьба интеллектуального анклава модернизации в чем-то подобна судьбе этнических анклавов. Иногда эти явления накладываются одно на другое. Нации диаспоры исстари несли по свету не только произведения рук человеческих, но и произведения человеческого ума и духа. Евреи завозили в Европу — и переводили на латынь — арабские рукописи, а в Турцию завезли из Европы печатный станок. Несториане — тоже своего рода диаспора — сыграли огромную роль в распространении начатков цивилизации по степям Азии и, возможно, подготовили триумф ислама, почти полностью истребившего их. Индийцы в ЮАР не только торговали с банту, они еще создали свой Национальный конгресс, по образцу которого банту организовали впоследствии Африканский Национальный конгресс, с той же самой гандистской идеологией. Но индийцев банту не любят, и были случаи индийских погромов.

Такие совпадения, разумеется, не обязательны. «Революционная интеллигенция» и «компрадорская буржуазия» могут быть этнически разными группами. Например, в Индии интеллигенция, в том числе и революционная, формировалась в основном из брахманов, а буржуазия складывалась из парсов, джайнов, сикхов и некоторых небрахманских каст. В России «жиды» и «студенты» сблизились в сознании охотнорядцев только в XX веке, под впечатлением массового наплыва евреев, расконсервированных реформой, из черты оседлости — в революционное подполье. Однако традиции революционного подполья сложились гораздо раньше, их создавали Рылеев и Пестель, Желябов и Перовская.

Отношения анклавов модернизации с медленно и болезненно перестраивающейся, главным образом крестьянской массой составляют, как мне кажется, основу трагедии, которая разыгрывается в незападных странах. Империалисты в известный момент стушевываются, сохраняя сдержанное, достойное и довольно безопасное присутствие (как французское присутствие, presense, в Западной Африке, английское в Индии и т. п.). А местные чужаки и отчужденная от народа интеллигенция остаются и попеременно играют роль палача и жертвы. В этой трагедии, которая, кажется, еще не дошла до последнего акта, ситуация может перемениться за какие-нибудь 10 дней (которые потрясли мир), даже за 6 дней, иногда за одну ночь (как в Индонезии). Орудие торопящейся интеллигенции — террор; орудие взбаламученной массы — погром. Жертвы погрома становятся яростными сторонниками революционной диктатуры, а жертвы террора становятся, в следующем действии, яростными погромщиками. Так именно шло дело в Индонезии во время и после событий 30 сентября 1965 года. В более сложных формах то же можно проследить в других странах. Например, Сталин использовал еврейские кадры для коллективизации, а выходцев из деревни — для «борьбы с космополитизмом».

Поэтому, мне кажется, неверно, что «главная трагедия нашего времени — это трагедия крестьянина» (Солженицын). Нельзя закрывать глаза на то, что индонезийские крестьяне вырезали за короткое время полмиллиона безбожных космополитов (в данном случае — китайцев и коммунистов) сплошь и рядом вместе с семьями, с женами и детьми. Но так же неверен и противоположный тезис, который я, увлекшись полемикой, защищал в шестидесятые годы,— что (если перефразировать А. И. Солженицына, хотя у меня это выражалось другими словами) «решающая трагедия нашего времени — это трагедия интеллигента». Можно сказать, что пока на земном шаре большинство людей — крестьяне; но на это можно возразить, что интеллигенция — предшественница завтрашнего большинства, или что трагедия вообще не меряется массовостью. Однако все это этически несущественно, а существенно другое: если один из протагонистов — главная жертва, то другой — главный палач. А палачей нечего жалеть. «Снисходительность к тиранам — это,— как сказал Сен-Жюст,— безжалостность к их жертвам». Из сен-жюстовской точки зрения вытекают все попытки окончательной ликвидации какого-то класса или окончательного реше-

ния какого-то национального вопроса. «Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей» (Н. Коржавин).

Сейчас мне кажется правильной только та точка зрения, на которой стоит Ф. Абрамов в произведении «Две зимы и три лета», очень последовательно, продуманно, нигде не противореча себе. Абрамов всегда на стороне жертвы сегодняшнего дня. Он не удивляется и не возмущается, если завтра она становится палачом, принимает это, как смену зимы летом и лета зимой, но принимает, не присоединяясь. Не присоединяясь ни к сегодняшней ненависти и к сегодняшней жестокости, ни к ненависти, которую она вызывает, и всегда готов опять принять в свое сердце кающегося грешника. Самая потрясающая сцена — та, где бригадир Михаил везет на дровнях из больницы мертвого Тимофея и в полую воду обнимает (чтобы не смыла река) труп человека, которого вчера отдавал под суд за саботаж, а сегодня во что бы то ни стало хочет похоронить на родном кладбище. Мне кажется, что никакой другой подход к трагедии этически немыслим. И на политическом уровне нет другого выхода из половодья взаимной ненависти.

БЛЕСК И НИЩЕТА АНАЛОГИЙ

Можно указать еще на несколько интересных аналогий между Россией и афро-азиатскими странами. Например, явление «беспочвенности» (разрыв между петербургской и народной культурой) не выдумка Достоевского и не специфически русская болезнь. Общество, подобное лучу в момент преломления, довольно долго не находит нового устойчивого состояния; над ним десятки лет висит угроза распада. Достоевскому как-то причудилось в туманный петербургский день, что вдруг, вместе с туманом, рассеется и город, и на месте Санкт-Петербурга останется пустое финское болото. Это, конечно, сон, видение. Дома остались на месте. Но петербургский период русской истории действительно исчез. Целая двухсотлетняя традиция, начиная с указа о вольности дворянства, кончая Государственной думой, рассеялась, как дым, как туман. И в этом отношении Достоевский оказался пророком. Более того. Его пророчество оказалось действительным не только для России. «Вестминстерские модели» (учреждения, созданные по образцу Англии) почти всюду разлетались как дым. В социологии развития это получило название «провала модернизации».

Советский Союз долго рассматривался социологами как пример успешной модернизации. Это отчасти верно; советскую школу, например, так же невозможно сравнивать с индийской, как советские фильмы — с китайскими времен Мао. Но сравнительно с хорошей западной школой и хорошим западным фильмом можно заметить противоположные черты — черты незавершенной модернизации.

В нашей стране сохраняется огромный, сравнительно с Западом, слой сельских жителей и огромный разрыв между уровнем жизни этого слоя и городским уровнем, между провинцией и столицей, между элитой и массой. Элита беспочвенна по-новому, от переразвитости; массы беспочвенны по-старому, от незавершенности модернизации. Деревня и провинция более не патриархальны, но они и не модернизированы. Страна напоминает дом, в котором десятки лет продолжается капитальный ремонт, и люди живут среди строительных лесов, стремянок и щебня, как герои «Котлована» Платонова, в глубокой тоске, не в силах вернуться назад, не умея пройти вперед, и это чувство тоски по-своему выражает новое почвенничество. Оно хватается за уцелевшие обломки патриархальности в деревенском и провинциальном быту,— но это обломки, они рассыпаются под руками. Действительно почва — только в углублении бытия, только в более остром и повседневном переживании вечного, оставшегося реальным в любом историческом разломе. Но искорки понимания этого лишь мелькают, не превращаясь в устойчивый свет.

Наконец, все еще не выработано такое отношение к труду, которого требует современная научно-техническая цивилизация. Степень разболтанности за последние десятилетия еще выросла, и это чрезвычайно грозный призрак. Недобросовестность компенсировалась нажимом, а избыток нажима поддерживал этику лу-

кавого нерадивого и вороватого раба. Инерция барщинных и тягловых отношений, идущая со времен крепостного права, не вполне изжитая русским капитализмом, резко усилена сталинской политикой принудительного труда и до сих пор определяет нашу экономику. Бросок в утопию дал — на волне энтузиазма — наращивание военного производства, но энтузиазм выдохся, а искаженные отношения остались. И вряд ли положение изменится на чисто экономическом уровне даже при самых либеральных экономических реформах. Рабы, ленивые и лукавые, жгли и будут жечь арендаторов и фермеров. В этом пункте экономика, от которой столь многое зависит, сама зависит от духа, от самосознания личности, от вдохновения и воли. Свобода и ответственность, ответственность и человеческое достоинство нераздельны. Надо менять весь стиль жизни, начиная с детского сада. Убежден: школа здесь значит не меньше, чем фабрика и ферма...

Впрочем, оставаясь в рамках выбранной модели, особые трудности, вызванные прыжком в утопию, надо вынести за скобки. Мы еще вернемся к этому вопросу. Заметим пока, что трудности развития всех незападных стран связаны с *неподготовленностью стартовой площадки*, с очень мощной совокупностью элементов традиции, блокирующих развитие или направляющих его в тупик. Социальные структуры почти всех незападных стран ведут себя, как мужики, старающиеся переупрямить барина, перетерпеть, пережить барские затеи и остаться при своем. Результат поединка до сих пор неясен.

Маркс не считал способ производства в Индии или Китае феодальным. Исходя из концепции «азиатских способов производства» или «азиатчины» (как упростил эту идею Ленин), можно ближе подойти к фактам, чем опираясь на квазимарксистскую схему универсальных законов эволюции. Первобытный строй порождал то рабовладение, то феодализм, то что-то совсем непонятное для европейца, «азиатское». Рабовладение, доведенное до логической завершенности, породило катастрофу и хаос,— как *всякая* идея, доведенная до абсурда. Феодализм Европы вырос из новых, варварских социальных структур. *Этот* феодализм породил капитализм. Но отсюда вовсе не следует, что *всякий* феодализм порождает капитализм.

Если очень широко определить термин «феодализм», можно приложить его к любым допромышленным, добуржуазным цивилизациям. Но такое крещение порося в карася не меняет вкус мяса. Волк, с точки зрения Линнея,— разновидность собаки, canis lupus. Но как его ни корми, он все в лес смотрит.

Абстрактная маска феодализма скрывает парадоксальную роль государства в подготовке импульсов развития. Известный американский социолог С. Н. Эйзенштадт показал, по-моему, убедительно, что *неразвитость* государства в средневековой Европе — одно из условий формирования социальных предпосылок буржуазного общества. «Нормальное» развитие азиатского государства блокирует социальную дифференциацию: развитие городов, меньшинств, науки. Подготовка условий капитализма в Европе — результат *аномалии* европейского средневекового общества.

Новаторские меньшинства веками складывались в Европе в условиях феодальной анархии и конфликта между светским и духовным авторитетом. Маневрируя между церковью и королями, европейские города добились свободы. Маневрируя между церковью и королями, стали независимыми университеты. Ничего подобного не было в Китае или Тибете, в Византии или в странах ислама. И в России этого не было. Русская полития расколота на Обломова, который не хочет переезжать, и ретивого начальника, который гонит его в шею.

Известная аналогия западного раскола авторитетов может быть прослежена в Японии. Императоры здесь не правили, только царствовали и передавали подданным небесную благодать. Правили советники из рода Фудзивара, правили сёгуны разных династий. Это создавало возможность второго стержня, которым при случае можно было воспользоваться,— как в средние века император Годайго, попытавшийся сбросить власть сёгуна, и в 1868 году император Мэйдзи. Самодержавие таких лазеек не оставляет. То, что японский самурай инициативнее, чем русский дворянин,— это не расовая черта. Это воспитано японской и русской историей. Япония здесь — Запад. Россия — Восток.

ЧУЖОЕ И НОВОЕ

Быстрота, с которой Япония из отсталой средневековой страны превратилась в современную высокоразвитую державу, до сих пор удовлетворительно не объяснена. Легко заметить, что Япония не знала колониального ярма. Но независимость сохранилась и в Таиланде, и в Иране. Между тем темпы развития экономики и культуры Ирана и Таиланда ничуть не выше, чем в Индии, испытавшей колониальный гнет. Япония достаточно хорошо познакомилась с «дипломатией канонерок» и неравноправными договорами; Япония не располагала и до сих пор не располагает многими важными видами промышленного сырья — нефтью, например. Если тем не менее Япония чрезвычайно быстро совершила промышленную революцию, то приходится искать разгадку этого не в независимости, а в чем-то ином. Отсюда внимание к японской традиции.

Исследование истории Японии позволяет вскрыть динамику ее развития задолго до периода Мэйдзи. Книгу «Источники японской традиции», изданную под редакцией видного американского ученого В. де Бари, пронизывает мысль (нигде, впрочем, резко не выраженная) о едином процессе аккультурации, начавшемся еще в VII веке, и социальных сдвигах, вызванных этим процессом. Напрашивается вывод: специфика Нового времени только в том, что в средние века Япония усваивает и приспосабливает к местным условиям элементы китайской цивилизации, а затем — элементы европейской цивилизации.

Близость высокой китайской цивилизации постепенно приучила японцев к мысли, что нельзя обходиться только собственной, доморощенной мудростью, что достойно, а совсем не стыдно, учиться у чужестранцев. В то же время независимость характера народности, основавшей японскую империю, постоянно препятствовала слепым заимствованиям. Японский императорский дом, усвоив окитаившийся буддизм, а вместе с ним известный запас конфуцианских традиций, продолжал гордиться своим происхождением от местных богов. Аристократия вела себя так же. Никогда не было попыток, подобных обычным попыткам в странах, окружавших Индию (Яве, Камбодже), вывести свою генеалогию от какого-либо индийского кшатрия. Японские аристократы не испытывали соблазна стать потомками китайского принца. Это может показаться мелким, незначительным фактом, но он чрезвычайно показателен для времен, когда религиозные и генеалогические символы играли огромную роль. Местная религия синто никогда не деградировала (так, как это случилось с местными верованиями в других странах) до уровня крестьянских суеверий, более или менее презираемых верхами. Она сохранялась и развивалась как национальная религия, временами споря с буддизмом, сохранялась, как символ святости социальной иерархии,— и вместе с тем святости национального своеобразия, национальной традиции наряду с «новозаветным», космополитическим, вселенским буддизмом. Японцы питали глубокое уважение к китайской культуре, но, как правило, не хотели раствориться в ней, перестать быть самими собой. Их отношение к культуре, шедшей с континента, приобретало характер соревнования, диалога.

Диалог стал внутренним структурным принципом японской культуры. В верхнем слое общества, располагавшем возможностью читать книги, всегда были группы, поддерживавшие местные традиции, и группы более синизированные (окитаившиеся). Отдельные формы культуры синизировались (философия), другие, напротив, хранились в строгой национальной чистоте (например, в некоторых формах лирики строго запрещалось употребление китайских слов, даже давно вошедших в живой язык; иногда становилось модным писать стихи по-китайски, но рядом бытовала японская проза). «Синизация» шла волнами, то усиливаясь, то спадая, но в конце концов впитывалось только то, чего явно не хватало, и этот аспект китайской культуры становился частью японской традиции и при всех дальнейших изменениях ее сохранялся (хотя бы отодвинутым вглубь), а не отбрасывался, словно старое платье, как верхами общества на Яве отброшен был буддизм — ради индуизма и индуизм — ради ислама. История высокой яванской культуры может быть описана как ряд страстных монологов, сменяющих друг друга: монолог буддизма, индуизма, ислама. История японской культуры —

расширяющийся диалог, число участников которого постоянно возрастает. Яванская культура в каждую данную эпоху монологичнее, качественно беднее индийской; японская, напротив, усваивает новое, не отбрасывая старое, и постепенно превосходит китайскую по своей широте. Можно охарактеризовать Японию как устойчивую и в то же время «открытую» культурную систему, в противоположность странам типа Явы («открытый», неуравновешенный тип) и типа Индии, Китая (устойчивый и «закрытый» тип, чрезвычайно неохотно уступающий «варварским» влияниям). Это, разумеется, «идеальная модель», в которую вмещаются не все факты. Но она подчеркивает решающий факт: совмещение любви к традиции — с любовью к чужому и новому. Конфуцианская традиция, постепенно проникая в Японию, решительно осуждала чужое и новое. Это поддерживало местный консерватизм. Но само конфуцианство было для японцев чем-то чужим и новым, и таким образом интерес к китайской культуре вызвал к жизни — или по крайней мере укрепил — характерную установку на иностранное, совершенно несходную с традиционной синтоистской и китайской.

Стремительное развитие Южной Кореи, Тайваня, Гонконга и Сингапура в последние десятилетия лишило Японию ее исключительности, подчеркнув важность общерегиональных особенностей дальневосточных окраин. В дальневосточном регионе бросается в глаза совершенно иное чувство времени, чем в Индии и ее окружении. Китайское время не тождественно смерти, не сливается с образом бога-разрушителя, оно привязано к ощутимым знакам: начало и конец царствования, династии, появление кометы и т. п. Оно не теряется в фантастическом нагромождении гигантских эпох и не тонет в вечности. Это исторически конкретное, а не метафизически-мифологическое время. В Индии до сих пор нет вкуса к датам и никогда не велись летописи; в Китае они ведутся с древности. Записки китайского паломника, посетившего святые места буддизма,— одна из немногих точных дат в истории Индии. Постоянный счет времени — одно из важнейших условий модернизации. Дух ее грубо выразила американская поговорка «Время — деньги». Однако импульсы модернизации были перекрыты китайским чувством культурной исключительности, нежеланием, почти невозможностью учиться у варваров, фаней. В дочерних культурах тормоз действовал несравненно слабее и в конце концов вовсе перестал действовать. Примерно то же произошло в маленьких государствах, созданных китайцами-эмигрантами: человек, оторванный от почвы, легче усваивает новое.

Можно предположить, что на окраинах Дальнего Востока сложится новая коалиция культур, которая окажет влияние на Китай так же, как Западное Средиземноморье повлекло за собой Восточное Средиземноморье в древности.

Ничего подобного нет на окраинах индийского мира. Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Кампучия остаются в порочном кругу слаборазвитости. Динамические возможности некоторых этнических групп Индии блокированы общим характером индийской культуры. В ней есть способность принять новое, но оно тут же тонет в вечном. Это плюрализм особого рода, несходный с европейским и иначе функционирующий в ходе развития. Модернизаторские возможности индийского плюрализма перекрыты так же, как возможности китайского чувства конкретного времени.

Еще труднее переход к современному плюрализму в мире ислама. Рационализм ислама тот же, который лег в основу европейской философии и науки. Европа получила логику Аристотеля из арабских рук. Почему же серию успехов модернизации на Дальнем Востоке сопровождает серия провалов модернизации на Ближнем Востоке? Чего не хватило в Ливии или в Иране? Допустим, в песках Ливии не хватало очень многого, но в Иране срыв наступил после замечательного подъема экономики. Иран начинал соперничать с Дальним Востоком. И вдруг все сорвалось.

Причина срыва, как известно, лежала вне «базиса». Мусульманское мировоззрение в целом оказалось травмировано развитием. Мусульманский рабочий и инженер вполне усваивали требования современного производства, но западная культура, врывавшаяся в жизнь вместе с западной экономикой и техникой, разрушала тождество иранца с самим собой. Народ почувствовал себя как подпольный человек Достоевского в хрустальном дворце и дал модернизации пинка.

Непосредственным поводом к бунту был шок от американского сексуального фильма, но можно говорить о более общей несовместимости западной свободы выбора и мусульманского знания единой и единственной истины. Традиционный китаец, кореец или японец, связанный обычаем в быту, свободно выбирал свой духовный путь. Внутри консервативной традиции дремала способность к личной ориентации, к ответственному личному выбору. Напротив, ислам был жесткой, раз навсегда установленной духовной системой. Для средних веков эта система была великим синтезом, на основе которого возникла замечательная культура; но с Новым временем догматика ислама очень плохо ладится, и резкий выход в Новое время вызвал своего рода агорафобию, страх открытого пространства. Этот синдром свойствен и многим православным.

«ПРЕОДОЛЕНИЕ НОВОГО»

Традиционному обществу — и отдельному человеку этого общества — мучительно трудно включиться в пространство и время современности. Арабскому, индийскому и китайскому кино это по большей части не удается. Японское кино подтверждает, что Япония вошла в западный темп жизни. Другая лакмусовая бумажка — шестидневная война. Г. А. Насер не мог понять, почему в воздухе израильских самолетов больше, чем подсчитано было на аэродромах. Недоразумение быстро разъяснилось: египетские самолеты делали за день два боевых вылета, израильские — восемь.

Еще острее — неспособность удерживаться на ногах в расширяющемся культурном пространстве. Ислам средних веков был достаточно дифференцирован, но он дифференцирован раз и навсегда, с объединяющей точкой в Коране. А в современной культуре объединяющей точки нет и дифференциация постоянно нарастает. Устойчивую опору личность может найти только в самой себе. Один из способов строить внутренний мир указал Николай Кузанский: docta ignorantia, ученое незнание (или: ученое невежество). Личность, уверенная в интуиции «своего», духовно близкого, выносит за скобки то, что ей далеко, что может быть хорошо, но для другого. Европейская культура накапливала эту способность несколько веков.

Для миллионов людей такое поведение совершенно недоступно. Им необходим «чин», обычай, внешняя идентификация (с этносом, с вероисповеданием). Нужна уверенность, что путь, на который ты стал, это единственный путь, а все другие ведут прямиком в ад. Само сомнение — ад для непривычного, не закаленного в сомнениях ума.

Тонкий наблюдатель, Роберт Белла, заметил, что даже в Японии модернизация не совсем завершена. Экономический рост не может быть «автоматическим показателем успешного преобразования социального строя... Напротив, там, где экономический рост стремителен, а структурные перемены блокированы или, как в коммунистических странах, искажены, возникает социальная неустойчивость, которая при современном положении в мире может иметь роковые последствия для всех».

Чувство утраты смысла может быть таким острым, что становится популярным лозунг «преодоления нового» или «использования нового, чтобы преодолеть новое», как это было в Японии тридцатых и сороковых годов. «Вторая мировая война рассматривалась как почти эсхатологический конфликт, в котором японский дух должен был преодолеть новый дух». «Преодоление нового сжато передает идеологию правых сил, но в конце пятидесятых о том же заговорили и левые. Чувство кризиса, опасности «духовного развала» (как выразился Нацумэ Сосэки) сближает правых и левых, ангажированных и неангажированных интеллигентов, экономически передовую Японию с экономически отсталыми странами Востока. В воспоминаниях Хасана аль Банны, основателя «мусульманского братства», рассказывается, как он был потрясен растущим духовным и идеологиче-

ским распадом во имя интеллектуальной свободы. Индонезийский интеллигент Суджатмоко также говорит о потере тождества с самим собой.

В этой перспективе можно понять и стремление Солженицына увести Россию на Северо-Восток, подальше от всемирной истории,— и отвращение к плюрализму. Солженицынская критика плюрализма опирается не столько на философские аргументы сколько на психологию раскрестьяненных и беспочвенных миллионов. В публицистике великого писателя они находят зеркало своей заброшенности.

ЧЕРЕДОВАНИЕ РАЗУМА И АБСУРДА

В странах Незапада, вступивших на путь развития, инициатива заменяется подтягиванием отстающих до уровня передовых (ударников, стахановцев). Русский опыт повторялся от Китая до Африки не потому, что он хорош, а потому, что другое не выходило. Но психология подтягивания быстро выветривается.

Существуют попытки описать нашу командно-административную систему как «диктатуру развития». Однако эта модель скорее подходит к Петру, чем к Сталину (любившему сравнения с Петром). Оба рубили сплеча, пробивали широкую дорогу, а не узкую тропинку, которая зарастала бы за плечами. Но куда вела дорога? Петр втолкнул Россию в Европу. Он бросил семена европейской культуры, и они проросли. После Петра был Ломоносов. После Сталина — только лауреаты сталинских премий. Семена утопии не дают всходов.

Образ Петра в русской историографии и литературе двоится: мощный властелин судьбы и медный всадник, промыслитель и самодур... Я думаю, что наследие Петра действительно двойственно так же, как наследие Екатерины... Впрочем, всякая традиция не однозначна, и от нас самих зависит ее истолкование. Внутри необходимости живет свобода. Не от Петра, а от нас самих зависит, как мы сегодня живем. Обстоятельства сужают выбор, но выбор всегда есть.

Диктатура развития ставит своей целью разрубить Гордиев узел слаборазвитости. Она оправдывает себя тем, что насилие — повивальная бабка истории. Лошадь, подхлестнутая кнутом, тащит воз рысью. Но еще один удар кнута — и лошадь падает, и насилие оказывается палачом истории.

И вот здесь аналогии начинают скользить и терять смысл. Можно ли назвать диктатурой развития военный коммунизм? Или сталинскую коллективизацию? Да и всю нашу систему, которую Гензель (сотрудник управления кожевенной промышленности гитлеровских времен, разработавший общую теорию таких систем) назвал «центрально-административной», а Г. Х. Попов — «командно-административной»? Исторически центрально-административная экономика возникла в Германии 1914—1918 годов и была военной экономикой, мобилизацией хозяйства для тотальной войны. В условиях такой войны она оправдана и хорошо действовала. Но Ленин ошибся, предположив, что так можно строить мирную жизнь. Наша экономика была эффективной только в 1941—1945 годах, когда ставились простые хозяйственные цели (миллионы одинаковых шинелей, сапог и т. д.), а материальную заинтересованность заменили патриотизм и террор. Впоследствии эту модель использовали многие афро-азиатские страны для индустриализации. У них не было буржуазии, и строить заводы могло только государство. Но ведь в России 1913 года бурно развивалась частная промышленность...

Так же обстоит дело с однопартийной системой, которую американский африканист Фридланд изящно назвал «фокусированным плюрализмом» (создание дифференцированной системы под единым управлением). В условиях Африки эта система рациональна, потому что многопартийность предполагает детрибализацию,— иначе партии становятся прикрытием племенной розни. В Либерии воюют не партии, не идейные течения, а племена. Единая партия с единой идеологией становится здесь необходимым инструментом модернизации. Африканский социализм оправдывает шутку М. Тэтчер: это «очень длинный путь к капитализму». Но зачем он нужен был нам? Или Китаю?

В конце тридцатых в Москву неожиданно завезли (кажется, из Испании) партию бананов. «Живем, как в Африке,— шутили москвичи,— ходим голые, едим бананы...» А некоторые тихо добавляли: «И имеем вождя».

Внешне сходные совокупности действий, в одном случае разумные, в другом становились абсурдными. И наоборот, система, которую мы готовы безоговорочно оценить как абсурдную, разумно действует во время войны и — с грехом пополам — в очень слабо развитых странах, выбравших (не от хорошей жизни) «социалистический» путь, то есть путь государственного хозяйства, украшенный социалистическими лозунгами.

ВЫХОД ЗА РАМКИ КОНЦЕПЦИИ

Теория модернизации основана на некоторых ценностных предпочтениях. Рост производительных сил, рационализация сознания, дифференциация общества рассматриваются как чистое благо, а современный Запад — как безусловный идеал. Это не относится к мыслителям, подобным Роберту Белле, но если взять нашумевшие в шестидесятые годы «Ступени роста» У. Ростоу (и десятки подобных книг), то кажется, что они написаны не после О. Шпенглера, а где-то на Луне, откуда кризис Запада еще не заметили. «Модернизаторы» сосредоточены на «иметь» и слабо воспринимают кризисы «бытия» — чувства целого, чувства тождества с собой и с миром,— вызванные «прогрессом». Они не сомневаются в идее прогресса. Между тем это по сути ложная идея. Развитие от простого к сложному не хорошо и не плохо, оно просто неизбежно. Его нельзя остановить, и Шафаревичу вместе с Беловым не удастся вернуть нас назад в Тимониху. Но оно несет с собой много зла, и «провалы модернизации» — реакция на недооценку этого зла, на неумение уравновесить его.

В конце шестидесятых годов мне бросилась в глаза статья (кажется, Левицкого) в журнале «Остойропа». Автор, печатающийся в антисоветском журнале и, видимо, недруг коммунизма, попытался оценить ленинскую культурную революцию в терминах социологии развития. Вышло, что культурная революция была полезна для индустриализации. Мне понравилась беспристрастность публициста, способность отвлечься от личных симпатий. Но по сути я с ним не был согласен и решил повернуть модель обратной стороной. Напечатать статью здесь не удалось, цитирую по моей книге «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972): «Борьба против суеверий и магического мышления проложила дорогу технической революции... однако пропаганда двадцатых годов была очень топорной. Она разрушила религиозные праздники, разрушила (или нарушила) систему поэтических символов, тесно связанных с нравственными представлениями...» Эти мои возражения относятся не к отдельной статье, а ко всей социологии развития.

Теория модернизации знает только две позиции: традиционное и современное общество. Воплощенная утопия, как особый тип, не рассматривается. И не случайно: это, собственно, и не специфическая проблема слаборазвитых стран. То, что Россию и Германию можно, с известной точки зрения, рассматривать как слаборазвитые страны — парадоксальное открытие, пришедшее одновременно в голову Роберту Белле и мне около 1970 года, на основе уже сложившейся теории, разработанной на афро-азиатском материале. Но аналогия между Россией и Азией не объясняет, почему прыжок в утопию был совершен в России, и уже из России, опираясь на ее опыт, повторен в Китае. И почему именно в Китае, а не в Индии. Занявшись историей Азии, мы с удивлением заметим, что в Китае уже 2000 лет создаются утопии и совершаются прыжки в утопию, а в Индии ничего подобного не было и нет. Так что это вовсе не уникальная проблема модернизации, не проблема одной лишь современности, а устойчивая черта культуры некоторых стран. В том числе, пожалуй, и России, если понять замысел Ивана Грозного. Царство-монастырь во главе с царем-игуменом — это ведь тоже утопия, несбыточный идеал окончательного общественного устройства. То, что опричнина выродилась в пьяное безобразие и разбой,— один из вариантов общей судьбы всех утопий. Они все, так или иначе, вырождаются...

Утопия не может быть понята как движение от одного этапа истории к другому; это попытка выпрыгнуть из истории, осуществить абсолют. Чтобы выпрыгнуть в абсолют, нужна зачарованность верой, идеей, теорией. Но то, что может сыграть решающую роль в поведении отдельного человека, группы людей, совершенно не объясняет поведения народа. Народ не состоит из теоретиков. 24 процента россиян, голосовавших за большевиков (и свыше 40 процентов немцев — за Гитлера), не были фанатиками идеи. Скорее, это растерявшиеся обыватели, выбитые из привычных условий жизни, охваченные чувством беспомощности, затерянности, страха. Германию в 1933 году лишил рассудка один клубок причин (Версаль, репарации, экономический кризис), Россию в 1917 году — перенапряжение сил на войне и потеря доверия к царю. Иран — столкновение американской эротики с мусульманским фундаментализмом. А в обстановке нарастающей истерики возникает социальный СПИД — отсутствие иммунитета к лжепророкам. Там, где иммунитет сохранился, идеи критически оцениваются, лидеров критически выслушивают — и развитие продолжается по проторенной колее.

Следующее условие катастрофы — «харизматический лидер» (термин М Вебера), «пассионарий» (термин Л. Н. Гумилева), человек, который «знает, как надо» (А. Галич). Знает абсолютное средство от мирового зла. Знает — и убежден, что ему «все позволено». Настолько убежден, что заражает своей верой группу сторонников (консорцию, как выражался Л. Н. Гумилев,— подобие брака по страстной любви),— группу, способную повести за собой народ.

Вождь увлекает народ к утопии, во имя которой необходима война. Ибо на пути к утопии всегда стоит Враг (этнический или социальный) и его надо уничтожить. Эту цель предлагает любая антимодернизаторская идеология (романтического национализма или радикального социализма). Сейчас есть тенденция переоценивать роль одной идеи (радикального социализма). Например, А. Латынина ставит рядом имена Сталина, Мао, Пол Пота — и на этом останавливается. Надо бы прибавить Гитлера, Хомейни. Группа риска идей принципиально открыта. Опыт Ирана включил в нее мусульманский фундаментализм. Возможно использование лозунгов экологического равновесия, спасения народа от наркомании и алкоголизма, от аэробики и т. п.

Валить все на Маркса, как это делает А. Ципко в опубликованной журналом «Новый мир» статье «Хороши ли наши принципы?», сегодня очень соблазнительно. Но соблазн несет две опасности. Во-первых, становятся менее виновными те, кто выбрал именно эту теорию и именно так интерпретировал. Можно подумать, что их опоили марксизмом, что выбор не был ответственным и сознательным. Во-вторых, возникает ложное чувство нашей собственной чистоты: освободились от марксизма — и дело в шляпе. Между тем свобода от марксизма не дает иммунитета к другим штаммам той же хворобы — к расизму, религиозному фундаментализму и т. д.

Утопии не страшны, пока остаются интеллектуальной игрой или романтическим мечтанием. Страшно другое: брак утопической идеи с традицией «административного восторга» (Щедрин). Этого еще один раз да не даст нам Бог! И мы поможем Богу, если будем помнить, что в нашей стране условия социального СПИДа еще не изжиты. И задача не в том, чтобы построже осудить поколение 1917 года (мы ничуть не лучше его), или идею революции, или идею коммунизма. Истинная трудность в том, чтобы не попасть из Сциллы в Харибду. Самыми яростными критиками коммунизма были национал-социалисты...

Мы стоим перед задачей, которую никто никогда не решал: как своими силами, без иностранной оккупации, выбраться из тупика утопии на долгую дорогу истории. Понадобится, может быть, двадцать или тридцать трудных лет, чтобы усвоить мировой опыт XX века и подогнать его по себе. И вместе с другими цивилизованными странами искать поворота из Нового времени в неведомое Посленовое. Которое принесет новые кризисы и новые задачи.

Критика

Ст. Рассадин

ГОЛОС ИЗ АРЬЕРГАРДА

Тень! Знай свое место.

Евгений Шварц

Словари не поспевают за временем, подчас запоздало кличшируя то, что успело налиться новым смыслом; достаточно вспомнить недавнее и забавное недоразумение с отнюдь не забавным понятием «геноцид»: критик, сказавший о геноциде российского крестьянства, был бдительно заподозрен в намеке на злодейские умыслы «малого народа», его и никого больше — ибо словарь закрепил за понятием только уничтожение одной нации другой. Понадобилось напомнить, что именно в этом, трагически широком смысле о геноциде говорил и академик Сахаров, в антисемитизме, хоть убей, неповинный, чтобы недоразумение кое-как, но замялось.

Вот и куда более безобидным понятиям «графоман», «графоманство» пришло, может быть, время вернуть изначально заложенный в них, ничуть не оскорбительный, тем паче не криминальный смысл — или разглядеть его нарождение. Так Ярослав Смеляков в замечательном стихотворении о «бедных братьях», названном не как-нибудь, но «Поэты», писал о тех, кого в редакциях огульно именуют «самотеком», а по отдельности «чайниками»: «Неясных замыслов величье их душ собственные жгло, но сквозь затор косноязычья пробиться к людям не могло».

«Психическое заболевание, выражающееся в пристрастии к писательству, у лица, лишенного литературных способностей»,— так, вполне в духе тех лет трактовал понятие толковый словарь Ушакова (1935), даже греческое «мания» переводя как «сумасшествие»; звучало как приговор, как диагноз, настаивающий на необходимости изоляции столь опасного маньяка от поголовно здоровых сограждан. Через тридцать лет Краткая Литературная Энциклопедия, неуклюжее дитя оттепели, не позволит себе безапелляционности, самое «мания» переведет помягче, как «безумие», даже «страсть», но, дав сравнительно сдержанное определение, тут же сорвется на нудно-обстоятельный разговор о том, что не случайно, мол, графоманы «примыкали к реакц. лит. направлениям», связанным с «правительственными кругами», и разоблачение их «всегда было в традициях передовой рус. лит-ры и критики»... В общем, неискоренимо классовый подход, и ни слова не только о том, что наша — уж поистине «так называемая» — демократия с ее призывами ударников в литературу («Землю попашет, попишет стихи»), как раз сама поощряла девальвацию эстетических критериев, прощая писателям «из народа» бездарность и малограмотность, но и... Вот тут, как всегда, сказывается счастливая неоднomерность жизни, ее «противоречья. Порох. Суть», как афористически выразился поэт Коржавин: заодно обнаружилось и подтвердилось то, что, впрочем, подтверждалось и обнаруживалось много раньше, пусть и не так массовидно. А именно: стихия «графоманства», творчества, необеспеченного — но и не связанного, не ограниченного — строгой литературной законностью, есть плодороднейшее поле для сугубо профессиональных писателей, то, что способно увлечь, заразить, умилить, научить. Например, дать возможность молодому Заболоцкому не в шутку сказать, что его любимый поэт — капитан Лебядкин (а еще прежде его и сам Блок заметил, что лебядкинские стихи «очень хорошие», да и Ахматова, по воспоминаниям Лидии Гинзбург, оценивая стихи Николая Олейникова, говорила: он «пишет, как капитан Лебядкин, который, впрочем, писал превосходные стихи»). А уж нынче все это преотличнейше поняли и наглядно используют представители «другой» словесности, именуемой и «соц-артом», и, еще условнее, «постмодернизмом», и вовсе расплывчато «неофициальной» литературой. Что вполне естественно, разумно, похвально — хотя...

У упомянутого Олейникова есть стихотворение «Перемена фамилии» — на тему, тогда злободневную:

Пойду я в контору «Известий»,
Внесу восемнадцать рублей
И там навсегда распрощаюсь
С фамилией прежней моей.

Козловым я был Александром,
Но больше им быть не хочу.
Зовите Орловым Никандром,
За это я деньги плачу.

Быть может, с фамилией новой
Судьба моя станет иной,
И жизнь потечет по-иному,
Когда я вернуся домой.

Собака при виде меня не залает,
А только помашет хвостом,
И в жакте меня обласкает
Сердитый подлец управдом.

Размер «Воздушного корабля», звучащий здесь комически-важно, молчалинская «собака дворника» — все нарочито литературно, так что и эта аналогия не покажется притянутой: в «Двойнике» Достоевского господин Голядкин, живущий с мучительным ощущением собственной незначительности (от которого шаг к самоутверждению: «...я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интригант — и этим тоже горжусь»), обретал жизнеспособного двойника, не гнушающегося как раз «интригантством», и тот, явившись как друг и пособник, подминал и губил бывшего своего хозяина. Подобно тени у Андерсена и Шварца.

Герой Олейникова сам ищет социального двойника, для которого власть, олицетворенная управдомом (это уже мир Зощенко, Эрдмана, «Зойкиной квартиры»), готова сменить гнев на милость. Увы!

Свершилось! Уже не Козлов я!
Меня называть Александром нельзя.
Меня поздравляют, желают здоровья
Родные мои и друзья.

Но что это значит? Откуда
На мне этот синий пиджак?
Зачем на подносе чужая посуда?
В бутылке зачем вместо водки
коньяк?

Я в зеркало глянул стенное,
И в нем вдруг лицо отразилось чужое.
Я видел лицо негодяя,
Волос напомаженный ряд,
Печальные тусклые очи,
Холодный уверенный взгляд.

...Я крикнуть хотел — и не крикнул,
Заплакать хотел — и не смог.
Привыкну,— сказал я,— привыкну.
Однако привыкнуть не мог.

Мрачновато-дурашливая баллада кончается так: «Орлова не стало. Козлова не стало. Друзья, помолитесь за нас!»... Заметим: «за нас», то есть заурядная процедура перемены фамилии с объявлением через газету (а речь-то именно о заурядной, не о случае, когда отрекались от родителей и от сословия), прежде чем привести героя к погибели, привела к раздвоенню личности. Ну, чистый Голядкин!..

Заметим и то, что писано это в пору, когда тонкий, интеллигентный Ильф видел в подобном лишь повод для шуток: «Наконец-то! Какашкин меняет фамилию на Любимов!» Или: «Мазепа меняет фамилию на Сергей Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я тебе скажу». А Горького эти насмешки, наоборот, раздражали, и вот почему: «Многим смешно читать, что люди изменяют фамилии Свинухин, Собакин, Кутейкиков, Попов, Свищев и т. д. на фамилии Ленский, Новый, Партизанов... Это не смешно, ибо это говорит о росте человеческого достоинства...» И лишь Олейников, «шут гороховый», не принимаемый «серьезной» литературой в расчет, попросту ею не замеченный (заметили только затем, чтобы «изъять»), каким-то образом угадал страшную сущность того, что одни воспринимали патетически, прочие — «как бы резвяся и играя»... Да нам ли теперь объяснять, что порождало и к чему привело переименование всего и вся, отказ от себя самих. «Орлова не стало. Козлова не стало». Остался Грядущий. «Грядущий хам, пришедший сам».

Замышлял ли Олейников этакую серьезность, имел ли претензию на прозрение? Нет — во всяком случае, не в большей степени, чем всякий «неголовной» поэт, надеющийся на кривую вдохновения, которая, авось, вывезет невесть куда, но именно куда надо. Олейников, как и его друзья обэриуты, ничего не «отражал», напротив, он уходил — от официальной поэзии да и от самой действительности, испытывая к обеим эстетическое — не слабее физического — отвращение. Уходил в игру, в застольный треп, в эротический бред, что было очень смешно, а получилось очень серьезно без малейших потуг на серьезничанье. И само его несомненное мастерство было «другим», наоборотным, не подотчетным тому сомнительному критерию, согласно которому Пабло Пикассо, в качестве теста на звание мастера, обязан нарисовать быка «как он есть» — хоть сейчас на бойню. «Нормальные» олейниковские стихи, если б они у него были, наверняка не могли обладать ни такой естественностью, ни незаконно-внезапным прорывом в сущность явления, ничем, что позволила абсолютная неангажированность, доходящая до демонстративной беспечности, до степени: «а пошли вы все...»

Как случилось — и случается — с некоторыми из тех, кого измученные литконсультанты наделяют издевательской кличкой. Например:

Прекрасно ночью, лежа на постели,
В раздумья погружаться бытия,
Воспоминанья, словно кадры фильма,
Мелькают пред глазами у меня.
Я вспоминаю тот февральский вечер,
Когда на танцах познакомился я с ней,
Когда признался ей в любви до гроба
И предложил ей стать моей.
Теперь живем и в общем-то неплохо,
Но что греха таить, бывает и разлад.
И все ж судьбой доволен я, и это ведь
неплохо,
И просто-напросто я очень рад! [1]

Какая пронзительная ламентация на вечную тему «как хороши, как свежи бы-

[1] Этот образчик «самотечного» творчества, как и все последующие примеры этого рода, с благодарностью позаимствован из коллекции А. Е. Петуховой-Якуниной, литконсультанта со стажем.

ли розы», какое грустное самовыражение, какое обнажение сокровенного — конечно, невольное, но так ведь и должно быть в лирической поэзии, где не столько говорят, сколько проговариваются. И что само по себе уникально — субъект самоизлияния здесь совсем не того уровня, рода и слоя, какой мы привычно встречаем в «профессиональной» лирике, имеющей ценз грамотности и мастеровитости; сама неумелость сыграла нечаянную роль умелости, ибо адекватна личности, а подобное совпадение может, хотя и редко, родить истинное чудо. Каковым оказалась рукопись покойной Евгении Киселевой «Кишмарева, Киселева, Тюричева» («Новый мир», 1991, № 2), где малограмотность как бы расчистила дорогу простодушию, которому в условиях «нормальной» литературы приходится исхищряться, то есть растрачиваться, пробиваясь сквозь неизбежный налет цивилизованности. Впрочем, так, с такой непосредственностью все равно мало шансов пробиться.— ну-ка сравните творение Киселевой с «Песнями восточных славян» Петрушевской, с реконструкцией городского фольклора, явившейся в том же журнале чуть раньше: каким безъязыким, ненатуральным (не говорю патологичным) покажется профессиональный труд — понятно, особенно в сравнении, лишь по контрасту с чудом, но я и имею в виду контраст.

И шедевр Киселевой, «просвирни» (ежели вспомнить, у кого Пушкин звал учиться языку), и скромный стишок счастливого мужа — оба разновеликих сочинения выполнили одно из важных условий искусства: они не подделка. Они первичны. В то время как (наконец-то беру облюбованного быка за его рог, как увидим, умеющий быть бодливым) едва ли не главный упрек, который выслушивают нынешние «другие», это их вторичность. Вольная и невольная. Отчасти принципиальная и, во всяком случае, неизбежная. «...Капитал ваш, культурный, а проценты с него наши, постмодернистские» [1]. И далее: «Один ядовитый наблюдатель заметил даже, что когда-нибудь в дополнение к постмодернистским текстам придется переиздавать подшивки «Правды», иначе потомок не поймет, о чем там у них речь»...

Это я процитировал превосходную статью Виктора Малухина «Пост без модернизма» («Известия», 8 мая 1991), сочинение достаточно сердитое для того, чтобы объекты малухинского скептицизма именно на авторскую сердитость захотели списать данное их литературе определение: «...Легко ли быть постмодернистом? Оставим в стороне метафизический бунт посредственности, мелкое жульничество на культурной ниве и случаи экзистенциального невроза. Останется: недифференцирующая способность к приятию всего на свете, утверждение равновеликости всего — всему, упразднение эстетических ценностей и иерархий, обобществление интеллектуальной собственности, отсасывание чужой творческой энергии. Это — эстетический беспредел».

Но отличительные черты постмодернизма (с трудом, с неохотой повторяю этот термин и потом поясню, отчего так), воспринимай их как достоинства или как пороки, перечислены объективно; что это именно «беспредел», косвенно или впрямую подтверждают и те, кто стоит на позиции, противоположной малухинской. «...Так называемая «неофициальная литература»,— пишет в информативной, как бы инвентарной статье («Театр», 1991, № 4) поэт и теоретик «другой» словесности Михаил Айзенберг.— это именно отдельная литература, определившаяся за тридцать лет система связей, отношений и зависимостей. Каждый автор и каждое произведение получают истинное освещение только в контексте этой литературы. Попав в иной контекст, в иное силовое поле, они неминуемо получат искаженное, иногда самое невероятное толкование. «Официальная» и «неофициальная» литературы практически несоединимы, потому что они разноприродны».

К этому можно отнестись юмористически, а по первому-то позыву даже и трудно не отнестись: уж больно похоже на то, как дети играют «в магазин», продавая воображаемый товар за фиктивно-игрушечные деньги, нарезанные из бумаги. Или, увы, на то, как мы, взрослые советские люди, тоже затворились в сугубо своем «контексте», заигрались со своим «деревянным», отделившим нас от всего нормально живущего, нормально торгующего мира. От его «силового поля». Да здесь и лукавство — то ли детское, то ли советское: играть-то играем, делаем (вернее, делали) вид, будто наши критерии, наши банкноты — самые настоящие, про-

[1] Механизм взимания процентов бывает до умилительности нагляден. М. Золотоносов («Дружба народов», 1990, № 11) цитирует суждение Саши Соколова, высказанное в беседе с Виктором Ерофеевым: «Для меня значение писателя — в его языке, мне нужен язык, меня тематика мало интересует. Если первая страница романа написана слабо, я чтение бросаю... Что можно сказать о писателе, который начинает повествование тем, что «Однажды весною, в час небывало жаркого заката в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина»... Какие-то необязательные описания, неустоявшийся стиль и не удивляет вовсе, не поражает».

«...Как, однако,— изящно анализирует критик,— характерна механика невинного эпатажа, использованного создателем «Школы для дураков»: антибулгаковская сентенция не может не означать утонченности и сверхэлитарности, при этом сам оказываешься выше Булгакова «складываясь» с ним. А точный выбор слагаемого выдает знание любимым автором Карла Проффера мировой литературной конъюнктуры. Иностранцы это чувствуют хорошо».

Я лишь замечу вдогонку, как очаровательна и оговорка в конце соколовской цитаты: **удивить, поразить** первой же фразой — вот стимул писателя, берущегося за перо или садящегося к компьютеру. Сомнительно, чтобы стимул творческий, доступный тому, кто знаком с «муками слова»: когда мучишься, не до эффектов...

сто «другие», но всегда ведь непрочь конвертироваться в одностороннем порядке, подлежать законам «иного контекста», ежели нам дают, а не у нас берут. В случае с «другой», «неофициальной» литературой — если ее беспардонно хвалят, а не зовут к подотчетности строгим традиционным критериям.

И все же слова Айзенберга стоят того, чтоб воспринять их серьезно и уважительно — хотя бы как трезвую, по-своему беспощадную автохарактеристику. Разве они (говорю в похвалу теоретической честности автора) не есть обоснование именно беспредела или, выражаясь не столь одиозно, абсолютной безграничности? **Мы не такие, как вы,** — это всегда и повсюду, в литературе или в сфере межнациональной розни, лишь видимость подлинного объединения, которое не может иметь главным критерием отъединение; если к тому же добавить: **как вы все**, возрастет отнюдь не определенность мотивов, по коим объединяются, а совсем напротив. И когда Галина Белая в статье, чье название исполнено надежды («Другая» проза: предвестие нового искусства — см. библиотеку «Огонек», 1991, № 14), причисляет к «другим» Сергея Каледина со «Смиренным кладбищем»; когда она цитирует строки, где могильщик Леха Воробей стоит «по пояс в бульонках», видя здесь знак «другого» искусства, — нет ли тут понятного, в общем, желания оптимистически принимать за «другое», за новое, стало быть, обещающее литературный прогресс, то, что «всего лишь» художественно, хорошо? Ведь сказать о человеческой кости: «бульонка» — для могильщика-работяги это так же естественно и ничуть не более кощунственно, чем для принца Гамлета ерничать с черепом Йорика: и то и другое — нормальный профессиональный цинизм, в одном случае гробокопательский, в другом — возрожденчески-философский...

«Старое», «новое» (как и «официальное», «неофициальное») — тут, как при любом беспределе, неизбежна путаница, и, чтоб не ходить далеко, готов защитить от той же Белой Юрия Бондарева, заклейменного ею как «монстр социалистического реализма»... Так ли? Тем более что жупелом «соцреализм» мы пользуемся неразборчиво, — а там ведь свои пригорки и ручейки, свой занятный рельеф.

Помню, как давным-давно С. И. Липкин определил в разговоре своеобразие Всеволода Кочетова. Все советские писатели, сказал он, видят действительность, как и положено, глазами партии. Кочетов видит ее глазами КГБ.

Замечание вообще богатое: ведь и впрямь в столь совершенной бюрократической системе было немало подразделений, нуждающихся в особом идеологическом обслуживании, и если романы Кочетова профессионально точно указывали, кого надо «брать» в первую голову, то были и соцреалисты, состоящие на службе у армии, у ЦК ВЛКСМ, у ВЦСПС и т. д. — то есть помимо подотчетности всеобщей и обязательной нормативности была и своя, узковедомственная дисциплина, свои, локальные — ну, не сверхзадачи, но спецзадания.

Будем справедливы: можно ли хоть что-то подобное сказать о нынешнем Бондареве, к примеру, о последнем его романе «Искушение», свидетельствующем о несомненной раскрепощенности?

«...Упала навзничь, попросила задохнувшимся шопотом:

— Обними меня сильнее... Я хочу, чтобы теперь ты обнял меня.

— Милая моя Валерия. Но что же мне делать с твоими ногами, если ты их сдвигаешь?

— Я сделаю, как ты хочешь...»

Это любит положительный герой. Вот он же подглядывает за отрицательным — не возведем напраслины, подглядывает случайно: «Тот, кто с раскинутыми ногами лежал в полумраке на ковре у топчана, издавая стонущие горловые всхлипы, судорожно вздернулся всем худым, с выступавшими ребрами телом, обратив к открытой двери мертвецки страшное белыми глазами лицо, задрожавшее острой бородкой, отстранил обеими руками нагую, с повязанными зачем-то лентой волосами женщину, что стояла на коленях меж его раздвинутых костлявых ног и водила ртом по старчески вдавленному животу, молодые груди ее отвисали полновесно...»

«Юрий Бондарев всегда помнит о красоте формы, о таинственной силе образа, о пластичности стиля, передающего и трудно постижимые изменения в природе и едва уловимые оттенки чувств, и тончайшее движение мысли». Так рецензирует бондаревский роман — кто же еще? — разумеется, Николай Федь («Молодая гвардия», 1991, № 4), и если есть в этих строчках особая неправота, то даже не в том, что между уровнем похвал и текстом, где лицо дрожит бородкой, заметно некоторое несоответствие. Главное, что критик отстал от эволюции своего любимого писателя — от эволюции, ежели не от революционного скачка в направлении ног, то сдвинутых, то раздвинутых, то и вовсе раскинутых.

«Он увидел то, что по неписанным мужским законам не хотел бы видеть...» — эта оговорка, предваряющая выше приведенное описание, быть может, и простодушна до нелогичности (а по женским законам — можно?), но оттого она еще интересней. Ведь соцреализм в своем репрезентативном выражении первым делом как раз и указывал: это можно видеть, это — просто необходимо, это — ни-ни. А то — хотел, не хотел... Автор-то — захотел и увидел, отнюдь не оторвав дотошного взора, и если искать для этой смелости и дотошности родственный образец, то уж никак не в многотомниках «монстров». Да и искать не нужно:

«Так, всплывая в ту ночь в разомкнутые мгновения, я находила себя в кровати, а рядом барахталась Ксюша, ее искривленное лицо потянулось ко мне, вытянулось и укусило так, что я встрепенулась и не могла сообразить — не то вообразить, не то согласиться с таким ощущением, однако была отвлечена явлением более категорического порядка, которое уставилось мне в щеку и стало горячим. Я схватила его, отчего он вздрогнул и выгнулся...» Ну и т. д., — словом, это Виктор Ерофеев, роман «Русская красавица», и, по-моему, самая заметная разница между его и бондаревской прозой в том, что тут повествование вложено в уста... Фу, какой напрашивается каламбур[1]. Ведется от лица той самой дамы-умелицы с полновесными грудями. Разница, что ни говори, непринципиальная, попросту никакая по сравнению с объединяющей целью, которую сформулировал тот же Ерофеев: «Работая со словом, я понял, что мы, русские, не умеем как следует перевести в слово даже эротические страсти...»

Не умеем — но учимся. Примерно с тем же успехом, как демократии.

Вероятно, согрешу субъективностью, если вспомню по конкретному этому поводу свое недавнее впечатление: «веселая» улочка в Копенгагене, унылее и грязнее которой я не встречал — конечно, у «них», а не у нас. И — витрины сексшопов, где под надписью «Tilbud» — распродажа, уценка — возлежат рядком разноцветные, разнокалиберные муляжи первичных признаков мужской доблести: отстрелянные патроны с баррикад отшумевшей сексуальной революции и, может быть, нечаянный символ нашей жалкой свободы, которая к нам приходит уже потасканной, уцененной, а для иных воплощается в механическом, скучном заголении того, что чувственный Хемингуэй шифровал как это. Может, потому и шифровал, что был чувствен?..[1]

Все-таки думаю, что «другая» словесность, к которой вовсе не остроумия ради я равно отношу и Юрия Бондарева и Виктора Ерофеева, напрасно использует не наше словечко «постмодернизм». Имея весьма мало общего с той системой знаков и — особенно — ценностей, которую принято метить этой метой на Западе, являясь продуктом сугубо отечественным, отражая кризис нашей и только нашей культуры, эта литература скорее имеет резон называться **«постсоцреализмом»** (бондаревский вариант), **«постреализмом»** (вариант ерофеевский, ибо, судя по его заявлениям, то, что́ он отрицает, простирается в едва обозримую даль, где закладывались самые что ни на есть основы русской гуманистической литературы)... В общем, не так уж важно, какой содержательный корень следует за приставкой «пост», важнее она сама — быть может, только это и важно. Этакий самодовлеющий Великий Пост, правда, в отличие от шести предпасхальных недель, не аскетически ограничивающий, а неразборчиво разрешающий — все, что угодно, включая небрежность, отказ от приличий, эстетическую расхлябанность, безвкусицу (которую, впрочем, очень удобно объявить антивкусом, то есть вкусом особенно пряным, на любителя).

Конечно, при беспредельности дозволений трудно говорить о чем-то цельном, слежавшемся или хотя бы сложившемся: как отграничить то, что не хочет иметь границ? Способней судить лишь о желании оформиться, о намерении воплотиться, о движении к этому, о тенденции, о поветрии, как угодно, — вот почему манифесты и декларации лидеров «другой» литературы бывает читать куда интереснее, чем сами их произведения. Я, например, с живым любопытством прочел в «Независимой газете» (19 февраля 1991 года) исповедальное интервью полуклассика советского авангарда Владимира Сорокина, но едва дошел до сорокинской прозы, представленной в том же номере... Цитирую:

«Один из мальчиков бросил удочку, подпрыгнул и, совершив в воздухе сложное движение, упал плашмя на землю. Двое других подбежали к нему, подняли на вытянутых руках, свистнули. Мальчика вырвало на голову другого мальчика. По телу другого мальчика прошла судорога, он ударил ногой в живот третьего мальчика. Третий мальчик...» — далее в том же (скучноватом, по-моему) роде, но, помимо всего, что́ это напоминает — неотвязно до раздражения, зеркально до неприличия? Кто читывал Хармса, долго думать не станет: «К нему подбежал Комаров... и ударил Фетелюшкина по животу. Фетелюшкин прислонился к стене и начал икать. Ромашкин плевался сверху из окна, стараясь попасть в Фетелюшкина. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка». Или: «Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха...» Достаточно?

Вторичность — совсем не то, чем можно оскорбить творцов постмодернизма или соц-арта, она у них — сознательная, пародийная, отрицающая, атакующая, она — их оружие в этой атаке, и в конце-то концов даже язвительная угроза, что наш потомок, придя в библиотеку читать постмодернистский текст, получит в нагрузку подшивку газеты «Правда», пугает не слишком. Ради таланта чего

[1] Одно утешение: «они» в этом смысле бывают не умнее нас, и вот в «Вопросах литературы» (1991, № 1), у американцев Нэнси Конди и Владимира Падунова, читаем: «До тех пор, пока повсеместно (!) в магистральных (!) литературных журналах табу на мат не будет последовательно преодолено, повседневная жизнь во всей ее сложности будет по-прежнему подвергаться лакировке.

Табу это можно будет считать сломленным окончательно лишь с публикацией в СССР полуавтобиографического романа Лимонова «Это я — Эдичка!»

Слава Богу, теперь в точности знаем, где пролег последний рубеж нашей несвободы. Возможно, тот самый, за которым и начинается беспредел.

не снесешь, и разве же не читаем, допустим, Джойса, Борхеса или Свифта, сверяясь с обширным комментарием? Конечно, худо, когда возникает вторичность литературная, полуплагиаторская; еще хуже. что она не может не возникать, ибо литература разрываемых связей и структурного разрушения неизбежно однообразна: ломать, как известно, не строить, а ломка, даже ведущаяся со знанием дела, куда более однотипный процесс, чем любое, самое убогое строительство. И орудия разрушения — лом, чугунная баба, а ежели все под корень, то и взрывчатка,— наперебор. Оттого лично я скорее возьмусь, одолев естественное отвращение, отличить Бабаевского от Бубеннова, чем выделить текст того же Сорокииа из растущей вширь массы ему подобного,— шансов все-таки больше, хотя. нет слов, «другие» мне несравненно милее «монстров»...

Но дело-то даже не в этом. Не в огорчительной второсортности многих «других» — по отношению, скажем, к Введенскому, Хармсу, Вагинову, Олейникову. Добычину, Платонову «Чевенгура» и «Ювенильного моря». Тут — иное.

В журнале «Октябрь» (1991, № 1), в статье «Будем читать Плутарха?» я мельком и совсем не враждебной рукой, а так, мягким бочком, задел концептуалиста Дмитрия Пригова, может быть, самого знаменнтого из стихотворцев авангарда; помянутый Виктор Малухин в ответ меня попрекнул, сказав, что негоже считать талантливого человека «тусклым эпигоном Хармса, Введенского и Олейникова»,— с чем спешу согласиться, тем паче, что ничего подобного не говорил. Напротнв.

Цитирую — с наслаждением, почти с восторгом:

Хорошо в метро зимой,
Воздух свеж н чист.
Я бы не вышел из метро,
Но я же коммунист.

А работать я умею,
Что греха таить,
Пятилетку я сумею
На себя взвалнть.

Да, работать мы умеем,
Как одна семья,
На работу вылетаем,
Словно из улья́.

Мы еще метро построим,
Будет словно царство.
Посмотреть бы нам с луны
Наше государство.

Там, где правит капитал,
Там метро не гожи,
По сравнению с Москвой
Даже не похожи.

Наркоманов там полно,
Есть они в метро,
И разденут и разуют
Даже засветло́.

Нет, это еще не Пригов: это безвестный автор из «самотека». Пригов — вот:

По волнам, волнам эфира
Потерявши внешний внд
Скотоводница Глафира
Со страною говорит

Как живет она прекрасно
На работе как горит
Как ей все легко и ясно
Со страною говорит

А страна вдали все слышит
Не видна, как за рекой
Но молчит и шумно дышит
Как огромный зверь какой

И это — он же:

Вот избран новый Президент
Соединенных Штатов
Поруган старый Президент
Соединенных Штатов

А нам-то что? — ну, Президент
Ну, Съедииенных Штатов
А интересио все ж — Преэдент
Соединенных Штатов

Возможно, подобные сожаления некорректны, а все же жалею, что стихи о метро сочинил не Пригов. Как и то (умножаю свою некорректность), что не им рождены и, скажем, вот эти «самотечные» строчкн: «Рабочий раньше не лечился, он на ногах привык хворать...» И эти (из стихотворения «За что я тебя полюбил»): «...За то, что носишь ты мозоль — натертый след работы. Еще люблю тебя за соль, насевшую от пота». И эти, этн: «Готов бы я в Ньютона превратиться, чтоб что-либо для Родины добыть... Люби любовницу, но в ней же — друга, мать... Русский, татарин, узбек и башкир — братья по классу против вампир...» И даже — этн:

Мудрый наш вождь и учитель
Ульянов
В Мавзолее спокойно лежит.
А верность ндей его мысли
По всей по плаиете летит.

Преданный делу его Л. И. Брежнев
Партию ленинским курсом ведет.
За мир, за свободу, за счастье
народов,
Планета, которого вся его ждет!

Дальнозоркий и мудрый политнк,
Преданный Леиину дел.
Стойко стоит за идею,
Чтоб капитал не воззрел.

Согласен: такие сравнения этически — а не только эстетически — рискованны. Добро еще, если кто-то не согласится, что «настоящее», натуральное — лучше, свежее; хуже, если меня заподозрят (несправедливо), будто выискиваю у Пригова что послабей. Так что устраивать состязание и не будем — речь

о другом, о принципе подхода к материалу языка и самой жизни. А некорректность моя отчасти оправдана тем, что цель поэта-концептуалиста, как утверждают сочувственные исследователи. как раз в том. чтоб максимально приблизиться к взгляду и поэтике «чайников», как бы превратиться в одного из них — нет больше того, поставить их частные, случайные удачи на поток: «Пригов реконструирует сознание, которое стоит за окружающими нас коллективно-безличными, исключающими авторство текстами и делает это сознание поэтически продуктивным...» (Андрей Зорин «Муза языка и семеро поэтов», «Дружба народов», 1990, № 4)

Что «реконструирует» — о да, без сомнения. Но на «поэтически продуктивном» — спотыкаюсь.

Ставка на безличностность как раэ и непродуктивна. Фольклор — не безличностен, общее употребление, конечно. обкатывает его создания, делая «всехними», убирая все слишком индивидуальное. но при этом — в основном, в определяющем — остается след личности первосоздателя, пусть обобщенной и типизированной но не поглощенной коллективом, а лишь адаптировавшейся к нему. Или даже — его адаптировавшей к себе. И те же осмеянные «чайники», по Смелякову — «бедные братья», наталкивающиеся на «затор косноязычья», в силу своей малограмотности (да, да, тут можно сказать: «в силу») не способные создать своего стиля, пользуются, как умеют, общеупотребительными клише, но случается, как я уже говорил, что это даже высвечивает их простодушие, непосредственность повода и порыва.

Простодушие? Это в стишках-то про «преданного делу Л. И. Брежнева»? Да! Ведь н в потрясающем душу «человеческом документе» Евгении Киселевой читаем: «Спасибо Советской власти, Великой Партии во главе с товарищем Брежневым за законы. что мы, инвалиды, работаем. а не побираемся!» — и не портит дела. не раздражает. даже наоборот. ибо уж это не чиновничье протокольное славословие очередного Феликса Кузнецова. отрабатывающего паек перед очередным генсеком. Конечно. об искренности говорить не приходится. лукавство так и лезет во все незаткнутые щели — а вдруг да и «сам» прочтет? Вдруг да побалует чем старуху? — но ведь без этого и не было бы подкупающей натуральности

Мифология, создаваемая государством, будь то легенды о капиталистических джунглях или о «верном ленинце», не то чтобы так уж покорно усваивается народным сознанием (хотя — не без того). а неосознанно-творчески пересоздается, традиционно обретая черты самопародии: ведь когда сухово-кобылинский Расплюев. пораженный — физически — боксерскнм ударом и — нравственно — известием, что бокс есть английское изобретение, вдохновенно творнл свой умозрительный миф о крохотной островной Англии, где за недостатком пространства и по крайней бедности только и остается, что мордовать друг дружку, это была не просто индивидуальная фантазия битого шулера. Тут продолжала свое развращающее дело национальная кичлнвость, потом лишь подправленная на советский манер («...смотрим свысока»), легкомысленное упование на спасительность наших огромных просторов и соответственное презрение к малым территориям н «малым народам». Кстати сказать, фантазии на сей счет Игоря Шафаревича — тоже не только плод воспаленной фантазин и ненаучного исторического подхода, но и отечественной традиции, среди столпов которой — расплюевы н чья почва — расплюевщина...

Взять хоть те же стихи о преимуществах советского метро. Откуда взялась в них лирическая (именно так!) прелесть? Ведь их сочинитель надевает — как Пригов — маску, приличествующую случаю: пишет-то он, **чтоб напечатали**, зная или предполагая, чего от него там, в редакции, ждут,— какая же здесь, помилуйте, может быть лнрика? То, что он нечаянно спародировал казенное клише, обнажил по наивности колесики пропагандистского механизма, те, которые циник-профессионал спрятал бы от насмешливых глаз,— это без сомнения; но лиризм, предполагающий самовыражение... Однако самовыражение тут не только есть, оно даже куда полнее, чем то, на какое бывает способен конкретный индивидуум. Как лирический герой «настоящего» поэта — это его типизированное лично-частное «я». так н здесь невзначай проговорился и выговорился пресловутый Маленький Человек, гражданин-товарищ Голядкин сменивший фамилию на Сергей Грядущий: тот, которого в прежнее время жалели. лишь иногда (как Сухово-Кобылин или Щедрин) брезгливо провидя в нем наклонности пакостника и хама. а в нашу эпоху принялись льстить — и тем заливистей льстили, чем энергичиее обирали, материально и духовно. Что, скажете, не больно хорош? Может, и гадок в невольном своем самовыражении? А чего ж вы хотели? Зато и трогателен в самом холопском мифотворчестве, в желании приспособиться, угодить, то есть **выжить**. В драматической своей беспочвенности, в бедственной люмпенизации...

«Лирическую эксцентрику» углядел в стихах, подобных приговским, Анатолий Пикач («Литературное обозрение», 1991, № 2): словосочетание знакомое. Так я когда-то в том же журнале пытался определить прихотливое своеобразие Давида Самойлова. Но если эти слова применимы к стихотворению «самотечного» сочинителя (а лучше сказать: задумано-то как лирика, однако помимо авторской воли, по велению внешних могучих сил обернулось эксцентрикой), то в стихах Пригова лирического посыла нет вовсе.

Это не упрек (ведь заповедано нам: не лезьте со своими критериями. «другая» литература сама себе судья); не упрек, однако сожаление, на которое я в любом случае имею право. Как, например, использую его и в случае Виктора Ерофеева, которого а) ценю как критика-эссеиста, б) совсем не ценю как прозаика, в) жалею, что в качестве ниспровергателя и рекламера он, по-моему, оказался смешон, компрометируя лучшую часть своей литературной работы, ибо историк литературы, казалось бы, должен держать в своей эрудированной памяти предостерегающие примеры.

Дело не в том, что Пригов копирует — то бишь «реконструирует» — чужое, существующее сознание, коли уж он пошел на эту сознательную вторичность; дело в том, что это сознание сужено, обделено, по-моему, и обескровлено именно тем, что поэт не делает сочувственной попытки проникнуть в драму перекореженного сознания. Он ограничивается интеллигентской усмешливостью, слегка саркастической стилизацией — в добрый час, отчего бы и нет, но стилизация всегда выдаст себя ненатуральностью. Скажем, самый известный приговский цикл об «апофиозе» Милицанера, являющегося, по определению автора, «символом государственности», он же ничегошеньки общего не имеет с народно-советским сознанием, каковое здесь якобы реконструируется. Такой Милицанер совсем из другой мифологии, из той, где «новые центурионы», а в нашем восприятии, в нашем городском фольклоре «мент» и «мильтон», увы, нечто совсем совсем другое. Приговский Милицанер скорее из Михалкова, который испортил своего беспартийного Дядю Степу льстиво-функциональным переодеванием он дядистепина пародийная тень, но это уж, по словам Флора Федулыча Прибыткова, которого вспомнил по схожему поводу и Виктор Малухин, совсем другой сорт-с!

Чудо искусства в том, что его «вторая реальность» может оказаться как бы первее «первой»,— не говорю о хрестоматийных примерах вытеснения черт подлинной личности чертами ее словесного воплощения; вот пример из неуправляемой стихии языка:

«Я спрашиваю: «...Как это понять? Вы же нацист».

«Нет,— говорит,—я не нацист. Я против нацистов. Поэтому я перешел к вам»

Я говорю: «Ведь в эсэсовские части берут людей из нацистов». (Я считал тогда, что только нацистов берут туда.)

«Нет,— говорит,— это раньше, в первый и второй год войны так было. Сейчас берут всех. Меня по росту и внешнему виду взяли. Так я и попал в эсэсовские войска А я против нацизма. Я не знаю, насколько вы можете мне поверить. Я немец, но родители мои из Эльзаса. Мы воспитывались на французской культуре, и поэтому мы не такие немцы, как эти нацисты. Родители мои против нацизма, и я так воспитан. Я принял решение для себя и убежал, чтобы не участвовать в этом наступлении, не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. Поэтому я перебежал».

Откуда? Из «Партизанских рассказов» Зощенко, где все, в том числе пленные немцы, говорят неповторимым (казалось) авторским языком, пользуются излюбленными зощенковскими оборотами? (Как здесь: «...не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера» — почти калька со знаменитого: «Я, говорит, не дозволю иметь такое жульничество под моим флагом».)

Нет. Не оттуда, и не только пленный эльзасец не мог читать Зощенко, но и рассказывающий о нем Никита Сергеевич Хрущев, уж конечно, не подражал сознательно его сказу. Это мы, читая, не можем отвлечься от языка, раз навсегда ставшего зощенковским, где нетвердо-упрямая мысль персонажа-рассказчика пробирается вперед с оглядчивой неуверенностью, обтаптывая наиболее приметные вешки, поминутно задерживаясь для поправок и уточнений: «Вы же нацист... Нет,— говорит,— я не нацист. Я против нацистов... А я против нацизма... Родители мои против нацизма...» Ср. у «самого» Зощенко: «У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет. Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет. И вот она едет к мужу»...

Зощенко, или Олейников, или Эрдман, по-мольеровски взяли чужое, сделав его своим, ибо задача реконструкции перед ними попросту не стояла или по крайней мере была промежуточной, мимоходной, чисто технической; смысл этого творческого захвата был в том, чтобы язык толпы сделать стилем художника, безличное и ничье преобразить в индивидуальное, личностное. А усилия «реконструктора» Пригова, отчасти же и премьера центонной[1] поэзии, остроумного Тимура Кибирова имеют обратный ход, здесь торжествует не воплощение, а развоплощение — в коллективе, в колхозе, в толпе, в мире осточертевших клише, лозунгов и цитат, до утраты очертаний собственной творческой личности, что, как ни крути, досадно... То есть коли хочется, на здоровье, но тогда уж нечего удивляться, что сами усилия эти могут оказаться излишними, получится **портрет с портрета**, не реконструк-

[1] Нет ничего стыдного, если кто не знаком с этим ходовым ныне термином, прежде не выходившим из узкого круга профессионалов. Центон,— говорит «Поэтический словарь» А. Квятковского,— «род литературной игры, стихотворение, составленное из известных читателю стихов какого-либо одного или нескольких поэтов... Являясь стихотворной шуткой, Ц. всегда бывает тем комичней, чем лучше знаком читатель со стихотворениями, из которых взяты нужные строки».

ция даже, а тиражирование. Ведь стоит раскрыть газету и прочитаешь: «...Когда два лидера устраивают между собой эти вот потаскушки народ может сказать кое-что обоим и применить какой-нибудь инструмент типа колена» (из предвыборных речей генерала Макашова — см. «Литературная газета», 3 июня 1991). Или: «Молодая техник горюче-смазочных материалов автопредприятия «Мясново» комбината мясо-птицы «Тульский»...» («Правда», 30 ноября 1990). Десяток слов, зачин заурядной информации — и какая фантастическая картина искаженной реальности. «Молодая техник... Мясо-птица...» Прямо как птеродактиль. И разве не этот же мир адекватно-гротескно запечатлен в незагаданных проблесках «самотека», в этом смысле не уступившего «самиздату»? «Жизнь кругом поет, играет и силой фонтана бьет во все свои отверстия». «Он сделался полностью современным Альфонсом, содержанкой женщины Свои половые органы превратил в источник нетрудового дохода. Его половые органы — его основной капитал» «Ведь очень многие, даже великие люди в юности озорничали. Возьмем хотя бы Пушкина. По воспоминаниям его современников, он такие шутки проделывал, что в наш век он не вышел бы из лагерей и все время сидел бы по 74 статье»... Ну? Что тут добавишь?

Полагаю совершенно всерьез, что беда — или, выражаясь мягче, ограниченность — нынешнего постмодернизма, или концептуализма, или соц-арта в том, что и фольклор, и неотличимый от него «самотек» (фольклором, по существу, и являющийся), и сама по себе действительность, исторгающая из недр на поверхность курьезы,— все это... Нет, не только первоначальней, свежее, это само собой, но **художественнее** того же соц-арта, созданного с участием иронической стилизации-реконструкции. Причина? Первым делом все та же адекватность стиля и содержания («стиль, отвечающий теме») без искусственно привнесенной игры. Искусственно потому, что игре там, как правило, уже нечего делать, все доиграно без нее; какая, к примеру, ядовитейшая фантазия переплюнет действительную историю, взятую на сей раз из статьи Андрея Синявского («Синтаксис» 1987, № 19)? Домохозяйка тридцатых годов, увидев во сне, что отдается Клименту Ефремовичу Ворошилову (первый красный офицер как первый любовник эпохи, как ее красный фаллический тотем — уже замечательно!), рассказывает об этом на коммунальной кухне; соседка доносит; и наша фрейдистка поневоле, естественно, отправляется в лагерь с гениальной формулировкой «за неэтические сны о вождях».

«Снился мне Фрейд Что бы это значило?» — тонко иронизировал Станислав Ежи Лец: вот наша действительность и разъяснила что могут значить подобные — или похлестче — сны, с прямолинейной броскостью кича, соревноваться с которым, по-моему, дело зряшное.

Все пародирующие Брежнева с его «затором косноязычья» меркнут перед включенной сегодня записью его очередного доклада... Сегодня? Смеялись-то ведь и прежде. Да, но бегущее время работает на комизм, превращает лицо в личину, в шарж и гротеск, словно бы отделяя их от «первой реальности» остраняющей рамкой. Вчера то была наша смешная жизнь, сегодня — почти искусство, и это «почти» имеет тенденцию к умалению и стиранию. В точности как старые любительские кино- и фотокадры, то есть всего лишь безэмоциональные свидетельства, продукты отнюдь не художественного творчества, а технического прогресса, как бы выращивают со временем (наблюдение Майи Туровской) ауру, эту принадлежность того, что единично то есть произведения индивидуального творчества.

Не впервые воспроизвожу фразу Осипа Мандельштама, записанную Георгием Ивановым: «Зачем пишется юмористика?. Ведь и так все смешно». Соглашаешься с этим находясь на уровне цели, в которую метит тот же соц-арт или, не метясь, попадает «самотечный» стрелок либо неумеха-газетчик, но стоит, допустим, прочесть у Ирины Ратушинской: «От Елабуги до Черной речки — широка страна моя родная» и захочется ли говорить о «центонности», вообще примечать, насколько функционально использована мифологема Лебедева-Кумача, эта «географическая фанфаронада», как высказался Петр Андреевич Вяземский. Помешает (простите мне тривиальность) воплощенное чувство. И, быть может, возникнет желание чуть не весь теневой театр постсоцреализма, словно тень у Шварца, поставить на место... Конечно, не в той волевой интонации, как в знаменитой цитате, которая вынесена мною в эпиграф статьи; если б с цитатами можно было вольничать, я бы добавил к этому «Знай свое место» нечто почти умоляющее: «Пожалуйста! Будь так добра!» Да и сейчас прошу, уговариваю: ведь осознание отдельным ли литератором или даже целым направлением своего достойного места внушает надежду на наиболее органичное их воплощение.

Тем более место это, в общем, известно... То есть Бог упаси старикоески брюзжать (узурпаторски умножая свой личный физический возраст за счет веков русской литературы): все это было, было, было. Было, понятно, не все Но что было — было.

Если и в графоманстве есть своя иерархия, то графоманом номер один российской словесности был и остался граф Дмитрий Иванович Хвостов, сполна исполнивший завет Батюшкова: он предсказывал Батюшков еще в 1813 году, «своим бесславием славен будет в позднейшем потомстве».

Славен бесславием... Слишком задолго угадано, слишком проницательно понято, чтобы быть всего лишь недурным каламбуром.

В конце концов, мало ли на Руси было и есть скверных стихотворцев? Конечно, Хвостов в этом смысле набедокурил, может быть, больше многих по количеству сотворенного; конечно, на его бесславную славу или на славное бесславие изрядно потрудилось усердие, с каким он «продвигал» свои труды, делая это, впрочем, бескорыстно, даже в убыток себе, издаваясь за собственный счет и раздаривая стихи знакомым (Пушкин острил, что в Европе поэты живут стихами, у нас же Хвостов прожился на них). А с другой стороны, не столь трудно выловить в океане хвостовских вдохновений (четыре собрания сочинений — в четырех, пяти и семи томах) нечто совсем неплохое. Как стихи на удивление внятные, складные и толковые, вполне соответствующие поэтическим требованиям классицизма, так и невольные, «чайнические» прозрения,— тот самый случай, когда наивное графоманство гарантировало по крайней мере отсутствие безликой гладкописи. Младшие современники, принимая от старших традицию издевательств над графом-графоманом, с удивлением обнаруживали у него строчки вроде афористического обращения к Княжнину-переводчику: «Выкрадывать стихи — не важное искусство. Украдь Корнелев дух, а у Расина чувство!» Или же в переводе «L'art poetique» Буало: «Слог в оде пламенен, а ход в пути не гладок; искусство часто в ней — прекрасный беспорядок». А то и такую очаровательную сентенцию: «Потомства не страшись — его ты не увидишь».

Да и сами курьезы Хвостова... Они, передаваемые из уст в уста,— что, кстати, свидетельствовало: такое у него было наперечет,— «Летят собаки пята с пятой» или: «Мужик представлен на картине: благодаря дубине он льва огромного терзал»,— были обаятельно забавны. В Хвостова играли, тешась игрой, он воспринимался как его собственное художественное произведение, за уровнем которого насмешники следили ревниво. «Что за прелесть его послание! — писал Пушкин.— Достойно лучших его времен. А то он сделался посредственным, как Василий Львович, Иванчин-Писарев и проч.»

И когда тот же Пушкин посвящал графу ирои-комическую «Оду», заимствуя самые красочные из его нелепостей, когда арзамасцы скопом сочиняли центон, почти целиком составленный из подлинных шедевров хвостовского косноязычия, это опять-таки были портреты, писанные с портрета, ни за что иное себя и не выдающие. Реконструкция:

Се Росска Флакка зрак! Се тот, кто, как и он,
Ввыспрь быстро, как птиц царь, нес звук на Геликон;
Се лик од, притч творца, муз чтителя Хвостова,
Кои поле испестрил Российска красна слова.

Прелестно! И кто причиной тому — одни ли «реконструкторы» или еще и сам «муз чтитель»?..

Хвостов был реальным Хвостовым — сенатором, чудаком, прожившимся богатеем, одним из зачинателей российской библиографии, академиком, зятем Суворова, который и выхлопотал ему графство; он был плодовитым, незадачливым стихотворцем, но был еще и Свистовым, Графовым, Визговым, Хлыстовым, то есть легендой, именно в качестве таковой и пригодившейся карамзинистам; так десятилетиями раньше в легенду был обращен Василий Кириллович Тредиаковский, у кого бывали подчас поразительные, великолепные стихи (не чета, конечно, хвостовским), но современникам-антагонистам были важней его стилистические промашки, в том числе и такие, каких он отродясь не делал и не писал (пресловутое: «Императрикс Екатерина, о! — поехала в Царское Село», без домыслов и легенда не в легенду).

В обоих случаях русская словесность переживала роковые моменты: кто кого. Шло — или готовилось — обновление литературы.

«Галиматья» имела своих классиков»,— заметил Ю. М. Лотман, имея в виду как раз Хвостова. И пояснил, отчего карамзинисты, строители и, выражаясь на волапюке нашего литературоведения, «новаторы», так ценили «галиматью», отчего стройная, выстраивающаяся система их поэтики к ней тянулась странным, ревнивым образом. Ради бранчливой полемики? Ради самолюбивого подчеркивания собственной стройности? Нет:

«Система нуждалась в контрастах и сама их создавала... Литература, стремящаяся к строгой нормализации, нуждается в отверженной неофициальной словесности и сама ее создает. Если литературные враги давали карамзинистам образцы «варварского слога», «дурного вкуса», «бедных мыслей», то «галиматью», игру с фантазией, непечатную фривольность и не предназначенное для печати вольномыслие карамзинисты создавали сами».

Согласитесь, аналогия, от которой трудновато отделаться, говоря о современной литературной ситуации...

Конечно, различиям как не быть, и первое вот какое. В ту пору сознательная «галиматья», намеренно «варварский слог», вызывающе «непечатная фривольность» — все это рождалось не вне литературы, «стремящейся к строгой нормализации», не назло ей; нет, и ею самой. «Неофициальная словесность» была ее неотъемлемой частью, необходимой функцией. Творимая карамзинистами, Пушкиным в том числе, «галиматья» имела характер не то чтоб подсобный (отдает прагматизмом), но, если вспомнить навязавшийся образ, была веселой, узорчатой, шаловливой тенью, спасающей от педантичной серьезности. Сегодня же, кажется, эта тень, эта «галиматья», эта «неофициальная словесность» [1], не ценя своего столь нужного для литературы места, претендует на то, на что претендовать ей, пожалуй, все же не стоит.

При том, что у части зачисленных, по их ли желанию или хотя бы не против его, в систему соц-арта, постмодернизма, «другой» или «неофициальной» словесности уже есть реальное настоящее и, возможно, яркое будущее, все они, ежели брать их в целом (как они сами себя берут),— это **симптом рождения в литературе чего-то подлинно нового.** Не «новаторского», а того, что связано с открытием нового смысла, стало быть, и новых форм. Не больше, но, повторю, и не меньше.

Надежда уговорить любого постмодерниста, что это «не меньше» — исторически почетная роль, наивна до глупости. Но (допускаю), возможно, именно подсознательное ощущение собственной, так сказать, «симптомности» и заставляет сбиваться вместе, объединяясь по внешним, даже случайным признакам. Так что сам термин «другая проза», пущенный в ход Сергеем Чуприниным, выглядит издевательством: что ж это за «другие», коли они так держатся друг за дружку,— добро, была бы угроза со стороны «недругих», так ведь нету!

Собственно говоря, сама война терминов, которую повели в «Литгазете» Чупринин и Дмитрий Урнов («другая» или же просто «плохая» проза), есть недоразумение хотя бы на уровне терминологии. Бывает «плохая», бывает «другая»; первой, естественно, значительно больше, что ж до второй... Но ведь все хорошее, все индивидуальное — «другое». И «другое» всякий раз по-другому, так что ему вроде бы совершенно незачем стремиться в стаю, отыскивая общее с «плохими», имя коим — легион.

Между тем две самых интересных статьи последних месяцев, работы Андрея Зорина и Михаила Айзенберга, принципиально (я так понимаю) внеоценочны: Зорин выдерживает тон аналитической бесстрастности, Айзенберг декларирует: «Автор позволяет себе давать так называемую «объективную оценку» только явлениям малоизвестным. В других случаях характеристика может иметь оттенок личного мнения».

Но декларация декларацией, а заявленная «объективность», пусть даже униженная прибавкой «так называемая», выдерживается не слишком. Попросту не выдерживается. С одной стороны, нам скажут: «Через Некрасова в русской поэзии открылось второе дыхание» (как вы, может быть, догадались, имея в виду не «сына покойного Алеши», но авангардиста Всеволода [2]). А то приведут бесцветные строки Владлена Гаврильчика («Молодые организмы залезают в механизмы»), объявивши и их «совершенно новым поэтическим сознанием». Или взяв примитивный каламбур того же автора («Торжественно всходило «ЛЕНГОРСОЛНЦЕ», приятный разливая «ЛЕНГОРСВЕТ»), почтительно его прокомментируют: «Надо учитывать, что эти строчки созданы задолго до подобных опытов Пригова...» Хотя каламбур, затрепанный в анекдотах вроде того, что жители города Херсона будто бы вынуждены лицезреть вывески «Херобувь» и «Хергалантерея», вряд ли станет от этого комментария лучше, а уж строчки «Я по Невскому гулялся с майне спаниель Тузик в атмосфере раздавался радиомузык», также, как нам сообщат, доприговского периода, не выдерживают даже и этого временного, комического критерия. Так как и до Гаврильчика, и до Пригова был ну хотя бы, простите за неуместное имя, Демьян Бедный с его «баронским унзер манифестом» и водевили, где петербургские немцы точно так же ломали язык: «И по плечу потрепетал», и традиция дешевейшего комизма «еврейских» анекдотов...

Это, как сказано, с одной стороны. А с другой, в похвалах, что подарены Всеволоду Некрасову или пуще того Владлену Гаврильчику, будет напрочь отказано не своей, не «другой» Анне Ахматовой: в ее поэтике, скажут нам, «достаточно силен момент стилизации», она светит лишь отраженным обаянием серебряного века. И полу-свой, полу-другой Иосиф Бродский получит взбучку за половинчатость — вроде как перебежчик и запроданец. В его поздних стихах «отсутствует радость открытия. Отсюда и общий налет тусклости... Там не рождается форма».

Удивляться, конечно, нечему. Все нормально. Выбор между «майне спаниелем», отнюдь не раздражающим своей эпигонской банальностью, и неуживчи-

[1] Кстати: когда наши «другие» объявляют себя «неофициальной» литературой, здесь — при явственной разнородности помыслов — сказывается та же терминологическая некорректность, что и у тех, кто узурпировал звание «патриотов». Кто таким образом попадает в «непатриоты» понятно, а среди «официальных» (!) литераторов, униженных одним этим словом, оказываются не только Твардовский и Гроссман, но и поздний Заболоцкий, Пастернак, Солженицын (еще бы!), под сомнением Ахматова, отбраковывается Булгаков, в ренегатах числится Бродский...

[2] Поскольку поэт в самом деле «малоизвестен», вот образчик тех самых его стихов, что открыли русской поэзии второе дыхание» (выбор сделан не мною и не ради уничижения, а Айзенбергом в подтверждение собственных слов):

Увидеть
Волгу
и ничему не придти
в голову
ну ,
можно
такому быть
или Волга не огого
стала
ю
воды много
И т. д.

вой индивидуальностью Бродского просто должен быть сделан в пользу спаниеля. И если вначале, объявив Бродского классиком постмодернизма, было лестно выстраиваться в затылок этакому вожаку, то потом неизбежно начинает тревожить сознание, выраженное фразой наподобие той, что Горький сказал когда-то о футуризме в целом и о Владимире Маяковском: никакого постмодернизма нет, а есть большой поэт Иосиф Бродский.

Что, разумеется, обидно.

Отмена критериев (опять припомним: «Каждый автор и каждое произведение получают истинное освещение только в контексте этой литературы») на деле всегда означает их подмену. «Перемену фамилии» (вспомним вещего Николая Олейникова). А беспредел ведет к переделу. Безвластие в искусстве, как в обществе, далеко не синоним свободы, а кончается, и неизбежно, попыткой тирании: больше того, оно подразумевает ее с самого начала. Даже если безотчетно и подсознательно.

Есть своего рода шик в том, как «другие» любят именовать свои тексты. Именно так — **тексты**, и все: воплощенная освобожденность от любых обещаний и обязательств, в том числе, а может, и прежде всего от читателя.

Виктор Шкловский как-то сказал, что поэты называют свои вещи поэмами, посланиями, пародиями, «чтобы закрепить жанр — сферу понимания»; словом, это что-то вроде правил хорошего тона, акт доброжелательства, указательный знак на пути читателя к сути сказанного тобою.

У «других» положение, естественно, совсем иное:

«Надо сказать, что читателя как такового я никогда не учитываю... Меня завораживал только текст» (Владимир Сорокин).

В принципе все это можно понять. Завлечение читателя в свою «сферу понимания» так часто перерастало в бесстыднейшее заигрывание, что впору взбеситься, восстать и сделать все наоборот и назло (даже неважно, что не задумываясь, кому назло и кто, собственно, виноват). Но чего мне — лично — здесь не хватает, так это именно восстания. Страсти. Это какая-то (виноват, но говорю лишь о свойствах эстетического процесса) собачья старость, и когда тот же Сорокин говорит, что для него «нет принципиальной разницы между Джойсом и Шевцовым, между Набоковым и каким-нибудь жэковским объявлением», что он в любом тексте может «найти очарование», я совсем не прочь увидеть здесь не больше, чем вызывающее стремление к самодостаточности литературы, к ее свободе от извне навязываемых «задач», к тому, что присуще всякому неодурманенному художнику («Цель поэзии — поэзия»,— сказал еще Дельвиг и любил повторять за ним Пушкин).

Не прочь, но не получается. Потому что бесконечное доверие к «тексту» самому по себе, к его структуре, излучающей самодовлеющее обаяние,— это доверие оказывается или обманутым, или желающим обмануться, если из текста вычленен смысл (а как скажешь иначе, когда Джеймс Джойс равновелик Ивану Шевцову).

Эстетический итог соцреализма — создание нечитабельных произведений, ибо критерий их оценки не имел ни малейшего отношения к читательскому суду. Так что сама нечитабельность и нечитаемость не нарушали писательского самоуважения; припоминаю из давних времен моего сотрудничества в «Литгазете», как коллега отправился в «Новый мир» (где редакторствовал еще Твардовский) с просьбой указать, какой отрывок из свежепечатающегося романа Федина стоило бы нам опубликовать на манер анонса. И выяснилось, что **ни один** человек в журнале романа не читал: зачем? Печатать так или иначе придется, описки исправит корректор, а читать... Разве **это** печатается для чтения?

Помню и то, как было забавно встречать в том же журнале озабоченные фединские покаяния, без сомнения, искренние: ах, как он, мол, провинился перед своим вожделеющим читателем, затянув шлифовку романа и задержавши его публикацию...

Странно — а как вдумаешься, так и не очень,— но именно это свойство проклинаемого соцреализма, как наследство, бережно переняли и наши «другие». Даже талантливые. Еще недавно кто-то внушал, ка́к нужно читать Дмитрия Пригова: не на выборку, не отдельными стихотворениями, а непременно подряд, без конца, только так можно обжиться в его «космосе», в его мифотворчестве. Но подряд-то как раз и не читается. Можно раз, другой, третий рассмеяться, например, каламбуру, вошедшему в обиход: «Я видел: над Кубой всходила луна и бородатые губы шептали: «Хрена вам» (как, добавлю для равновесия, можно поморщиться, когда президент Рейган остроумия ради именуется «вонючим пидером» и «мериканской блядью»); но вот и сочувствующий Анатолий Пикач жалуется, что очередная приговская поэма — «дурная бесконечность», «вызывающая зевоту».

«Шутить! и век шутить! как вас на это станет?» — пеняла Чацкому совсем неглупая (на сей раз уж точно) Софья Фамусова, догадавшаяся, что умным можно быть всегда, а остроумным лишь с перерывами. А история литературы и тут предлагает аналогию-предупреждение: судьбу Ивана — «Ишки» — Мятлева, виртуозного стихоплета, некогда реконструировавшего французско-нижегородский волапюк, на котором изъяснялась его «мадам де Курдюкофф». Он, то бишь «Ишка», оказавшись не в силах взнуздать собственное расточительное остроумие, превратил знаменитую поэму-буфф в «дурную бесконечность» и из любимца гостиных стал их сущим проклятием: едва завидев его, гости в панике разбегались.

Перспектива, как опасаюсь, более реальная, чем кажется (тем паче, что я не верю в столь громогласно декларируемое равнодушие к читательскому успеху, да и трудно поверить: слишком уж очевидны признаки борьбы и за читателя, и за прессу, и за возможность появиться на Западе в переводе и самолично. На отшельничество, на скит похоже не слишком).

Выписываю из «Огонька» (1991, № 21) кусок эссеистики Александра Терехова, автора очень понравившегося мне «Зёмы» (о чем я и не преминул обнадеженно заявить); выписывая, прошу не сетовать на некраткость куска, а дальнейший мой комментарий не толковать как отказ видеть в Терехове одну из надежд нашей прозы. Итак:

«Но что же случилось потом, когда вдруг так явно и неумолимо подурнели красавицы из читального зала, на которых дембелем смотрел с красными ушами и в горле комком, и в пяти шагах от стола экзаменатора стал умещаться лишь неловкий стыд за обоюдную постыдную игру, когда вдруг с отчаянной резкостью рухнул весь этот молитвенный XIX век, на который мы не дышали и из которого росли, который, оказывается, готовил нам лишь смерть с того самого момента, как отправился Радищев из столицы в столицу, а народ при этом страдал, и пошло, покатило, упекли в деревню Пушкина, нахохотался до смерти Николай Васильевич — великий сатирик, два богатыря, Достоевский и Толстой, пошатали да и вырвали к чертовой матери боженьку, размечтался товарищ Чернышевский, а потом вернулся из двадцатилетней ссылки да и оцепенел почему-то, примолк и не ответил на письмо Володи Ульянова, и принесло все это плоды, свалилось-таки дерево, допилили, и все бы хорошо, да онемел от догадки Ленин в Горках, его верный соратник замешивал последующий раствор и клал кирпичики уже один, да и тот упал на бегу, а Иван Бунин глянул на все это дело, обозлился, да и уехал подальше от греха в Париж гулять по темным аллеям, и увез с собой ключи от XIX века, и все вроде вышло, как хотели, но странно как-то — получили Акакии Акакиевичи шинели, да враз нацепили на них маршальские погоны, и голос у них прорезался, вылезли из желтых домов записки сумасшедшего и стали громить зачем-то морганистов и космополитов, пожалел старушку Раскольников Родион Романович, выучился, в люди вышел, но все на жизнь-то глядел с классового подхода и догляделся, и все вышло, как хотели: взошла она, эта самая звезда пленительного счастья, и на обломках самовластья...».

Нет, до конца периода все же не дотяну, терпения не хватает, как не могу дочитать до последней точки многих нынешних тереховских эссе, с горечью думая, что это счастливое журналистское открытие «Огонька» помаленьку стало его бедой, синонимом курчавой нечитабельности. (Вот и два читателя из зарубежья, Вайль и Генис, печатно пожаловались на то же.) Да мало того. Загвоздка или загадка в том, что эта проза, кокетничающая небрежной расслабленностью, подчеркнуто непочтительная, амикошонствующая с «Николай Васильичем», с «богатырями», не говоря о «товарище Чернышевском» (в чем, кстати сказать, вижу не аристократический снобизм Набокова, а наше, простите, общесоветское, коммунальное хамство), словом, эта «другая проза»[1] неотразимо напомнила мне нечто совсем иное:

«Как никто другой сейчас он понимал и желание Кагановича быть убедительным, и тем более именитых авторов проекта Дворца Советов Иофана, Щуко и Гельфрейха, с которыми он накануне обстоятельно и долго беседовал, придирчиво вникая в их грандиозный, дорогостоящий замысел; но вместе с тем он отлично, в подробностях знал другое, и в нем, как и всегда, шла непрерывная, нелегкая внутренняя работа: он вновь возвращался к отброшенному, и даже Каганович, считавший, что он хорошо знает Сталина и во многом влияет на него, не знал этой напряженной внутренней работы Сталина и думал, что хозяин сейчас доволен и со всем предстоящим согласен, хотя это было далеко от истины».

Это, по сути, тоже «центонность», непереваренная цитатность — не слова, так интонации, которая дает или не дает слову самостоятельную жизнь. Автор (Петр Проскурин в романе «Отречение») старательно имитирует «настоящую» прозу, подражая тому, «как люди пишут», впрочем, следы подражания ведут к одному из «людей», к автору «Воскресения» и «Смерти Ивана Ильича». Ведут до комизма, до самопародии явно — комизм тем сильней, а самопародия тем отчетливей, что тут, например, речь о совсем другом Ильиче — Леониде: «Стол возглавлял старик с изношенным дряблым и больным лицом и густо кустившимися бровями, в котором, несмотря на старческую дряхлость и размытость, проступали все пороки, весь разврат его долгой лицемерной жизни»... Чем не центон?! И дальше: «Правда, сам он не считал свою жизнь безнравственной, наоборот: его давно уверили в том, что

[1] Почти демонстративно отвечающая тому определению постмодернизма, которое дал спец по этому делу, теоретик-пропагандист Александр Тимофеевский: «Нарочитая эклектика, сочетание иестыкуемых структур, обращение... к низким жанрам с высокими целями, игра с кичем и маскультурой, обилие цитат как подлинных, так и мнимых и даже откровенно бессмысленных, заведомая пародийность любых утверждений...» («Искусство кино», 1988, № 8).

его жизнь и деятельность настоящего ленинца являет нравственный и патриотический пример и подвиг, и если бы кто-то осмелился указать на его безнравственность и лицемерие, он был бы удивлен, обижен и рассержен».

Это уже вроде кристаллов, выпадающих из перенасыщенного раствора, но и там, где зависимость не дорастает до степени плагиата, веселишься, читая. Не только потому, что комично изображение Сталина, опутанного «жидами», однако же — умница! — видящего их насквозь, но и... Впрочем, еще цитата, на сей раз из Платонова, из его некролога пародисту Архангельскому,— и тут уже не прошу прощения за великоватость отрывка:

«Избрание Архангельским этого рода жанра — «литературы по поводу литературы» — объясняется тем, что Архангельский считал существующую форму художественной литературы условной, и эта условность производила на него юмористическое и раздражающее впечатление. Он способен был улыбаться, читая самую серьезную и хорошо разработанную прозу, потому что и в такой прозе он чувствовал некоторую условность, поедающую то существо произведения, ради которого оно было написано... На вопрос, почему он, Архангельский, не напишет сочинения на тему, которая не была бы выведенной им из произведения другого автора, Архангельский отвечал: «Не хочу. Я не могу написать двух слов — «Наступило утро» или «Она загадочно улыбнулась», или так: «Елизавета, опершись двумя пальцами правой нежной руки, на одном из которых было надето обручальное кольцо червонного золота, и чуть касаясь тыльной стороной левой руки своего бедра, крутого и доброго от долголетней цветущей женственности, изредка моргая веками для смачивания горькой влагой своих синих (или голубых, или серых, или задумчиво-грустных) глаз, н в то же время слегка размышляя мыслями в голове под каштановыми волосами, только что утром вымытыми ромашкой для укрепления корней, размышляя относительно счастливого будущего Петра и блестящей карьеры Евгения, из которых первый был ее братом, архитектором, а второй мужем, инженером и крупнейшим облицовочником страны, в окно глядела, а там уже давно встало ослепительное солнце и вся площадка строительства гремела механизмами, словно укоряя Елизавету за ее позднее пробуждение после вчерашнего содержательного вечера, где за чашкой чая она, как жена мужа, принимала участие в обсуждении норм и расценок, сидя в кругу специалистов и знатных кладчиков кирпичей».

— А как же нужно бы написать, Александр Григорьевич?

— Я бы написал: Елизавета была стервой и глядела в окно».

Вероятно, «другой» Терехов разделил бы идиосинкразию великого пародиста Архангельского (и великого прозаика Платонова, так как при длине текста, будто бы запомнившегося ему, можно говорить по крайней мере о соавторстве). Еще меньше сомнений, что он готов вместе со мной смеяться над ухищрениями Проскурина, ведь не склонен же он, в самом деле, как Владимир Сорокин, к извращенческим крайностям, равно наслаждаясь Набоковым и Шевцовым. Сочинения вроде проскуринских — тоже симптом, признак того, что «хорошо разработанная проза» приказала — или приказывает — долго жить, умирает или хоть обмирает на время: но ведь и Терехов написал самопародию. Притом не только, а может быть, и не столько на «себя любимого», сколько на многих-многих «других», на их пренебрежение к читателю, на презрение или равнодушие к смыслу, на самолюбующуюся самодостаточность их «текстов», на их элитарность, оборачивающуюся уличным снобизмом, когда «все по фигу», «все не в кайф». Его огоньковский текст по-проскурински аморфен, по-проскурински безлик (там — слепок с окарикатуренного Толстого, здесь — сдача на милость расхожей постмодернистской интонации), по-проскурински же витиевато-старателен... Откуда такое странное, поистине опасное сходство? А оттуда (возвращаюсь к платоновскому некрологу):

«Художество без темы, и темы обязательно значительной, художество без человеческой глубины, которую истинный писатель имеет, во-первых в своей собственной натуре и, во-вторых, придает изображаемым характерам, — такое художество есть род наивности или мошенничества. Это хорошо знал Архангельский».

Что до Терехова, то форма цитированного эссе решительно неадекватна содержанию, то есть серьезности темы, которую он собрался поднять; ей, форме, нет внутреннего оправдания, в данном случае — необходимой, как я понимаю, боли за нашу историю, за то, что мы, в результате ее, **такие**. Конечно, тут речь не о «мошенничестве», скорей — как, впрочем, и у Проскурина,— о «наивности», но непосредственные итоги наглядно печальны (тем печальней, что — повторюсь суеверно — я не перестал ждать от Терехова многого). Легкость, с какой происходит уступка постмодернистскому трепу, пресловутой ернической центонности, где все прикосновенно и ничто не свято, той этически-эстетической развязности, где все равновелико всему, то бишь ни у чего нет настоящей цены,— эта легкость вдруг (хочется верить, что именно вдруг, ненароком, от легкомыслия) рождает пассаж, прямо примкнувший к цитированному, да не доцитированному периоду:

«Мы бросились к книгам, но они нагоняли сон, мы бросились к женщинам, но Пушкин увез по Тверской всех этих смирновых да сушковых, воронцовых да

ростопчиных, оставив нам лишь податливые тела да спутниц жизни...»

«Блядей да самок»,— возможно, сказал бы более последовательный постмодернист, вроде Виктора Ерофеева или Эдуарда Лимонова, но это уже вопрос всего лишь лексический. А дальше, может, и пуще:

«Когда время поставит мой обмылок для финишной фотографии и вскинет на уровень сердца свой единственный черный глаз и высокомерно разрешит мне: «Можете стать спиной», я соберу свои силы и скажу: «Нет. Лицом, пожалуйста...»

Такое вот невзоровское самолюбование. На самих себя у постмодернистов иронии хватает не всегда.

Является паническая, заполошная мысль: если все это не поза, если они в самом деле такие, становятся такими, то впрямь зря Радищев мотался из столицы в столицу, тем паче — в Илимский острог, зря надрывался от хохота Николай Васильевич и богатыри только сдуру тратили богатырские силы... Но нет. Все-таки — говорю, не касаясь других, о Терехове — не зря. Не все такие, даже те, кто хочет таким казаться, и дело, быть может, отчасти в избранной позе, в предпочтенной системе, трижды условно и четырежды узурпаторски названной постмодернизмом. (Об узурпации говорю потому, что на Западе, откуда слово пришло, в западном, скажем, кинематографе постмодернизм ничего общего не имеет ни со снобизмом, ни тем более с равнодушием к зрителю и читателю.) В системе, у которой нет сил и желания не давать душе художника поддаваться дурным чувствам; в системе, вступившей в беспечную игру — нет, не с дьяволом, а с мелким бесом вроде маркиза де Сада, которого пропагандирует все тот же Виктор Ерофеев, сближая садизм и внутреннюю свободу, в такой полноте недоступную литературе гуманизма. (А Сад, замечу я вскользь, лукаво гримасничает за спиной своего пропагандиста: ему ведь случалось сводить свои безобразия к наисугубой пользе, оправдывать их вполне прагматически: мужеложство, уверял он, крепит армейское братство, инцест упрочивает семью...)

Отсутствие запрета на скверное чувство, отсутствие боязни ляпнуть нечто несправедливое, глупое, пошлое — сомнительная форма свободы, и так же, как Юрий Бондарев, оговорив, что разглядывать половой акт, да еще во «французской» его разновидности, не по-мужски, все ж лицезрит и описывает,— примерно так же, я помню, Александр Терехов, дав интервью «Литгазете» (13 августа 1990), засомневался: может, то, что он сказал, не стоило говорить?.. Но поправиться не захотел, оставив в тексте, в частности, и такое:

«Шестидесятники, и это самое страшное, обнаружили какое-то нравственное уродство. Мне кажется, в большинстве своем им сейчас необходимо уйти в пещеры, кушать там ящериц и коренья и размышлять о своей жизни. Понимаю (понимает.— Ст. Р.), что я довольно жестко подхожу к ним, но они проиграли все, что можно было проиграть. И после этого пытаются опять «вести за собой»...»

Беспощадность к проигравшим — видимо, из разряда чувств допускаемых «другой» литературой. «Другой» — но уж в этом-то отношении никак не новой.

Мне это врезалось в память не потому, что стало обидно за сверстников и за себя; так, я уверен, подумают, но это неправда. Представьте, наоборот. Как будто не будучи мазохистом, я с некоторым облегчением встречаю именно жесткие высказывания о моем поколении, и дело не только в том, что обрыдло шестидесятническое самохвальство, кто и насколько из них «готовил перестройку»; легче мне от того простого сознания, что разрушается фикция, к созданию которой я по младости приложил руку. Хотя бы тем, что само словцо «шестидесятники», имитирующее целостность генерации, пошло от глупой моей одноименной статьи («Юность», 1960, № 12); после не раз о том пожалел, и утешало лишь то, что кто-то и без меня непременно пустил бы в ход этот титул — слишком легко он слез с языка, слишком неотвратимо должен был его породить филологический опыт.

Думаю, и тогда, в то мгновенье истории, целостность поколения была по большей части лишь видимостью; да и что это за поколенье, в котором сошлись фронтовики Слуцкий, Самойлов и Окуджава с Евтушенко, Аксеновым и Войновичем, людьми иного возраста и, что главное, совершенно иного опыта? Объединяли — и то в очень разновеликой степени — иллюзии и надежды, но объединяли-то не по горизонтали возраста, в этом смысле воспрянувший Паустовский мало чем отличался от Окуджавы, а пробудившийся Дудинцев — от Евтушенко; общество расколола антисталинская вертикаль — расколола, как глыбу железным ломом (и удар был нацелен сверху, увы). Я и сам-то в ту пору больше всего дорожил комплиментом, щедро подаренным мне Наумом Коржавиным: «Ты не похож на свое поколение». А уж теперь... То злосчастное фото знаменитой четверки, помещенное на огоньковской обложке и взбесившее серо-коричнево-черную сотню, да оно как раз криком кричало, как быстро и как далеко разбежались самые репрезентативные шестидесятники — куда дальше, чем евтушенковская шуба отстоит от ватника Окуджавы.

Поколение, сплоченное эйфорией, иллюзией, было обречено на скорый распад: кто осознал неуместность своего причисления к бодрой генерации, кто за нее цеплялся, почитая за честь (и рьянее всех, разумеется, те, кого там на деле попросту «не стояло»), кто выдоил из за-

консервированной иллюзии «брюки и галстук», даже орденок... Так что обиды — нет, обижаться мне — не на что, и речь лишь о том, что в авторе полюбившегося «Зёмы» меня сразила легкая его доступность жестокости, даже злобе, а слово, рожденное ими (и пощаженное, не вычеркнутое, когда приступ их миновал), боюсь, не проходит даром, как-то да откладывается в душе. И сколько б Терехов ни уверял, вероятно, веря и сам, будто «они», в отличие от «нас», «не складываются в поколение»; сколько б другой восьмидесятник-постмодернист, Александр Тимофеевский, ни вздыхал — не без кокетства и опять же не без жесткого противостояния шестидесятникам,— что его поколение «уклончивое и вялое, циничное и разрозненное», с тем, дескать, нас и возьмите,— читая все это, думаю: так, да не так. Потому что вижу в самом напоре противостояния, в плохо скрытой или совсем не скрываемой ярости по отношению к предшественникам (ко всем — скопом. ко всем — без разбора и сожаления) центростремительную силу, сбивающую в стаю и в кучу. нечто вроде племенного сознания.

Да, эйфория шестидесятников была никудышным крепежным материалом, поколение, едва наметившись, тут же и развалилось, распалось; по-настоящему сплачивает только трагедия или беда (как сплотила своих молодых Отечественная, тоже, правда, не насовсем, а покуда не заматерели). Но эта сплотка далеко не всегда означает духовное единение, далеко не всегда собирает вокруг великой (или кажущейся таковой) цели,— и что же у новых, у «других»? Ведь они, истинные дети застоя, до последней поры ничего, кроме него, не хлебавшие, они-то как раз люди в беде, которых тянет в общую стаю (о, ни в коем случае не бесповоротно!) ощущение обобранности, обворованности, недополученности. Что может привести к поиску виновных — и приводит: одни отлавливают масонов, другие — шестидесятников...

Сбиться всем вместе, ощетинившись против тех, кто не таков, как они,— это, повторю, подобие племенного, родового (а не народного) сознания, для которого плохонький свой лучше чужого, каков бы тот ни был. И не удивляюсь, разве что— призадумываюсь, когда поэт Виктор Кривулин, отнюдь не «уклончиво» и не «вяло», а сосредоточенно-зло отвечая статье Виктора Малухина (и походя отругавши меня, на которого тот вздумал сослаться), пишет: он, то есть Малухин, «ориентирован на ту систему ценностей, которая была выработана «либеральным» официозом, притихшими и замиренными шестидесятниками в 70-е годы. Им поневоле превыше всего приходилось ставить так называемую «творческую индивидуальность» — как правило, это были безликие авторы вяло-гуманистического направления. Всякий концептуальный разговор о современных художественных школах, течениях, группах был возможен лишь в строго определенном идеологическом контексте».

Спорить ли с этим? И возможен ли, предполагается ли спор, если моя скромная мысль, что превыше и подлинней всех концептуальных альтернатив стоит «альтернативность» таланта, этой самой «так называемой «художественной индивидуальности», Божьего дара, а не принадлежности к лучшей из групп,— эта мысль объявлена «гимназической пошлостью». И больше того: «Лубянская аллергия к литературным школам и манифестам прочно засела в сознании критиков — даже самых либеральных из них» («Независимая газета», 4 июня 1991).

Можно и пошутить, до чего ж она въедлива, старосоветская лексика, где слово «гимназия» превратилось в ругательство и в ярлык: известно же, там черт-те чему учили, а зачем нашему человеку латынь? Можно, но не хочется, когда подобно тому, как прежние критики ссылались на общенародное мнение, Кривулин ссылается на знакомых, единодушно пригвоздивших Малухина за (разумеется!) рецидив то ли ждановщины, то ли сусловщины. Или поигрывает лубянским клеймом — точь-в-точь Сергей Бондарчук, заявивший в ответ на мою оценку скучно-безграмотной экранизации «Годунова» нечто вроде того, что в 37-м я бы его (я — его) поставил к стенке... Похожи? Увы. И снова — какое опасное, **скучное** сходство!

«Если рассматривать «неофициальную» литературу как систему, можно сказать, что она более толерантна. Для нее характерна определенная готовность признать существование «другого». В этом смысле она уникальна для нашей страны». Михаил Айзенберг, все та же статья,— и если бы так!

Для меня толерантен, к примеру, тот, кого покойный Довлатов, неостановимо шутя, оскорбил своей несчастной формулой «соцреалист с человеческим лицом» (несчастной не для оскорбленного, а для оскорбителя, так как теперь его поминают и в связи с этой кичевой кличкой, по-моему, по характеру своему даже и не довлатовской, скорей «ерофеевской»). Короче говоря, Василий Гроссман, который в повести «Добро вам!» сказал — вовсе не обязательно добавлять: в пору гонений на абстракционизм,— что самая «странная, нелепая, безумная картина есть истинное выражение хотя бы одной живой человеческой души» — в противоположность соцреализму, взявшемуся говорить от лица народа (или ЦК, КГБ, ВЦСПС...).

Не любя, не принимая, не понимая, оставляя за собой святое право на непонимание, все же предполагать в том, что нелюбимо и непонятно, живую душу — вот он, урок толерантности. И когда, скажем, я читаю в «Искусстве кино» (1991, № 1) изложение «сюжета» экспериментального фильма Йоко Оно «Ягодицы»[1], а потом узнаю, какое он произвел впечатление на критика Скотта Макдональда («...Я как бы освободился от комплекса застенчивости, я будто впервые понял, что с моим задом все в порядке, равно как и с вашим, что попки — не более чем попки...»), у меня есть право отнестись иронически-равнодушно к столь «другому» кинематографу, но нет права не верить, что кому-то подобное в самом деле может нести освобождение от его комплексов. Примерно так же, следя за списком «других», представленным Айзенбергом, я с удовольствием отмечаю весьма интересных мне Бобышева, Гандлевского, Красовицкого, Сатуновского, Седакову, Бахыта Кенжеева или Елену Шварц (которые нравятся мне именно в том смысле что являют собой «так называемую «художественную индивидуальность», и слово «другой» звучит в применении к ним как знак отлички, а не причастности к коллективу),— и пребываю в спокойном равнодушии к плоским, на мой вкус и взгляд, строчкам Гаврильчика или к переизбытку банальностей у того же Кривулина. Даже если, по мнению Айзенберга, «у него как будто нет недостатков». Нет — ну, и слава Богу. Примите мои поздравления.

Нормально? По-моему, да, и напротив, агрессивная реакция на неприятие и сомнение, решительно ничем, никакими административными мерами не угрожающие (если угроза уже вернется, перед нею-то будем — по меньшей мере — равны), это, как и нападки на шестидесятников... Знаете ли, что? Столь знакомое нам **номенклатурное сознание**.

Что оно такое? Как для малых людей Достоевского было страданием сознавать не только: «Ах, я несчастлив и беден!», но и: «Зачем я беден в то время, как он богат?», так для нашей номенклатуры икра не в икру, ежели ты имеешь что-нибудь посмачней «городской» колбасы. Без шуток — это одно из мудрейших изобретений режима, обеспечившего себе неуязвимость перед обществом, неспособным объединиться. От этого не отшутишься анекдотом, не устранишь даже с устранением самих привилегий; это сознание проникает до глубинного, подсознательного, без преувеличения экзистенциального уровня, где первоначальный экономический интерес перерос в ощущение, успевшее позабыть о животной своей природе. И это уже не достояние одних лишь верхов, это стало принадлежностью не исключительно цековско-совминовского, но общественного (страшно спросить: не народного ли?) сознания; оно спускается по ступенькам иерархической лестницы — ниже, ниже, ниже, разумеется, умаляясь в размерах захваченной власти и отхваченных благ, но по мере того становясь, быть может, еще агрессивней и сладострастней Ведь презрение буфетчицы спецбуфета — самое совершенное из презрений. Брежнев нас с вами так не презирал, да, наверное, даже и не догадался, что мы стоим презрения: для этого ему было нужно осознать, кого мы терпим в его лице. Для буфетчицы же наслаждение от сознания, что она обладает тем, чего нам никогда не видать, выше наслаждения от самого обладания; ее презрение к нам — реванш за все, что недодано ей природою и судьбой, почти духовный восторг торжества бездуховности. Вот так и бездарность литгенерала, втайне всегда сознаваемая, утихомирится, как бурчание в животе, не только от зрелища переизданного многотомника, но и от сознания, что таланты, цену коим он тоже всегда сознаёт, кто не допущен к изданию, кто умотал, кто (тут самая сласть) исподличался и иссяк...

Между прочим, злосчастный Дмитрий Иванович Хвостов однажды весьма неглупо высказался по поводу европейского «лая собачьего», то есть обычая критиковать, не щадя звания и чинов: «Что им позволено, то нам нет, мы двуипостасные. Я сказал Шаховскому: мы все князья да графы. Осмеяние относится на наших жен, детей и на наше в обществе состояние, какового литераторы иных земель не имеют».

Точно — и прозорливо! Ибо и у нас было немыслимо высказать, что ты там думаешь о романах ли Маркова или поэмах Исаева из-за дву-ипостасности (ай да словечко!): их вторая, не графская, так начальственная ипостась заслоняла собой первую — ну, об этом-то писано-переписано, вот что, однако, меня побивает, как говаривал Зощенко. Неужто сознание это так заразительно, что всего лишь перетекает из одного слоя и лагеря в другой, и уже не начальство, а потерпевшие от начальства требуют льгот своему «в обществе состоянию»? Имею в виду, увы, и тех из писателей-эмигрантов, которые не хотят допустить, что пережитое ими не должно — что поделаешь! — быть непременной гарантией их критической неприкосновенности; и тех из наших «других», для кого само это слово, «другой», или любой его вариант есть знак дву-ипостасности. Притом абсолютной и постоянной — ведь номенклатурное сознание всегда **коллективно**, оно благородно требует привилегий не одному кому-то за особенные заслуги, а всем поголовно, независимо от заслуг, за причастность и принадлежность.

Если в своей тревоге я прав — чего, Боже, не допусти,— то это из самых печальных, неизжитых и покуда неизживаемых последствий маразма, в котором мы пребывали и из которого еще не выпростались...

Давний и робкий мой замысел — взяться за исследование литературных эпох,

[1] «На протяжении восьмидесяти минут мы не видим ничего, кроме ягодиц идущих людей, снятых в черно-белом изображении крупным планом, так что каждый раз экран заполняется полностью: впадина между правой и левой ягодицей и складки между ногой и ягодицами делят экран на четыре примерно равные части; за границами движущегося тела мы ничего не видим». И т. д.

использовав в качестве орудия постижения средний, чтоб не сказать низовой уровень тогдашних прозы и стихотворства. Гении — что ж, и они, разумеется, порождены или по крайней мере акушерски подтолкнуты в материнской утробе ждущим их временем, но тут все ж имеет место случайность рождения. Чудо. А вот середняк, «низовик» — как и что̀ говорит его уровень о культурных запросах эпохи?

Если глянуть с такой позиции на наше время, пожалуй, и ужаснешься.

«Мы будем жить куда намного лучше, чем мы сегодня, может быть (?), живем, когда свое грядущее получим из первых дней потерянным письмом». Или (это, кстати сказать, не отрывок, а все стихотворение целиком): «Конечно, хорошо, что мы в речах свободны. Но плохо, что у нас уже молчит закон. И вряд ли помнит тот, кто судит нас сегодня, о судьбах судий тех доверчивых времен». И еще, еще: «Луна голодному досталась, склевала звезды голова... Вас рядом не было, когда, шагнув из двери комсомола, я взял на плечи города, взвалил на горб поля и села... Кого оставят равнодушным три морды лошадиных врозь, сей бег, почти полувоздушный, что рвет из стенки вбитый гвоздь... В Москве сидеть престижно при свечах, объевшись освещенности столицы... Человек, не пускавший наружу ни слезы, вдруг мотнул головой ..» Феликс Чуев, Анатолий Парпара, Геннадий Касмынин, Игорь Тюленев, Игорь Ляпин. Журналы «Молодая гвардия», «Москва», газета «Литературная Россия».

Ангельским терпением, уверяю вас, я не обладаю, и все это не результаты мучительных поисков, а скороспелый плод беглого библиотечного просмотра — что подвернулось за 15—20 минут.

Убежден, что никто из этих не повторит за «другим» Владимиром Сорокиным: «...Читателя как такового я никогда не учитываю». Наоборот, станут клясться, что пишут для народа, о народе только и думают, но по сути и здесь — расхристанная свобода, полнейшая независимость от читателя. В этом смысле такая литература — тоже «другая», неподотчетная традиционным критериям здравого смысла, мастерства, даже, как видим, и грамотности. Если искать ей определение, сообразуясь с контекстом моей статьи, это — литература **постсекретарская**, развращенная протекционизмом, сознанием, что, как худо ни напиши, нужного человека пригреют, нужную идеологему опубликуют.

К чему я вспомнил об ущербной словесности неумех, изначально непрофессиональной или необратимо депрофессионализировавшейся? Чтоб унизить таким соседством Пригова или Сорокина? Унизить — ни в коем случае, а вот напугать, сознаюсь, не прочь.

Единожды приведя специальную формулу постмодернизма («Нарочитая эклектика... игра с китчем и маскультурой... заведомая пародийность любых утверждений...») и не раз ее проиллюстрировав, вспомню, пожалуй, еще одно, уже ненаучное и тоже чужое определение: постмодернизм — это вот что такое. Вы, любя и признаваясь в любви, скажете просто: «Я вас люблю». А постмодернист: «Как говорится, я вас люблю».

По-человечески все понятно. Жюль Ренар, сокрушаясь, что потерял непосредственность, убиваемую профессией, записывал в дневнике: когда я целу́ю женщину, мне хочется сказать ей: «Я вас люблю» по-английски. Виктор Шкловский, жалуясь, что «жизнь уплотнена» и в ней нет отдельного места для нежных чувств, писал: «Если бы я захотел написать любовное письмо, то должен был бы сперва продать его издателю и взять аванс. Если я пойду на свидание, то должен буду захватить с собой трубу от печки, чтобы занести по дороге». Чем не «постмодернизм жизни» — как был в свое время «футуризм жизни» в исполнении одного из футуристов, который не писал стихов, зато ломал на голове кирпичи?

Подхвативши традицию ненаучных определений, предположу: постмодернизм — это издерганность и усталость искусства. В том числе усталость от самого себя, от своей сверхумелости. Попытка самообновиться — путем иронии и самоиронии. Но ирония не может быть постоянной задачей искусства — да хотя бы и кратковременной тоже не может; ирония — перец и соль, приправа, а не (извините за примитивность сравнения) сама еда. И усталость можно преодолеть, а можно, закиснув, раствориться в ней навсегда — так, что от тебя и останется одна ирония и эклектика.

О постмодернизме на Западе не сужу, речь не о нем, а о нас; наши же постмодернисты — или как их ни называй,— кажется, нередко растворяются без остатка, до утраты даже иронии как последнего знака «так называемой «художественной индивидуальности», не противостоя распаду, а спокойно и вяло ему потворствуя. Распаду традиционных структур, «старой» культуры, распаду языка.

О, логос-лотос, ты растоптан,
Ты обесчещен на корню
Публицистическим восторгом
И бранью невских авеню...
Слух голоден. Эдем, олива,
Фонарь, аптека — о, изыск...
...Начпупс, горгав, тыр-пыр, главпиво...
Любая кара справедлива
Как месть за вырванный язык!..

Это из прекрасного ленинградского (санкт-петербургского?) поэта Ольги Бешенковской; вот из прозы Эрнста Неизвестного, также блистательной («Знамя», 1990, № 2): «Литературный язык сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблатненного языка с канцелярским клише». Разве не характеристика приговской «реконструкции» — что, понятно, в похвалу стилизаторской чуткости поэта и, вероятно, все же в упрек его иронически-безэмоциональному хладнокровию имитатора.

На уровне распада — вот где коварно смыкаются «чистые» графоманы Чуев и Ляпин с теми, кто им не чета во всех отношениях, кроме... Кроме презрения к читателю, к признанным эстетическим критериям, к понятию художественной индивидуальности и профессионализма. Социально устроенный, жизнеспособный двойник вновь настигает господина Голядкина, снова может его духовно пожрать. Каким образом? Ну, на это у него многообразный и долгий опыт, а самое-то несчастье, что наш современный Голядкин если не носит в себе опасного двойника, то дает тому основание претендовать на двойничество.

Краткая Литературная Энциклопедия напрасно подозревала всех графоманов прошлого в непременном тяготении к «реакц. лит. направлениям», но какой-то резон тут, призна́емся, есть. Сталин с его восточным уважением к мастерству, каковым должен был отличаться придворный поэт («...Мастер? Мастер?» — его зацитированный вопрос Пастернаку насчет квалификации Мандельштама), даже он и даже при наличии мастеров, готовых на что угодно (Луговской, Асеев, Сельвинский, Кирсанов), все же в конце концов находит и отбирает Гусева, Кумача, Долматовского. Нынешняя власть, с трудом, с неохотой, поневоле европеизирующаяся — то есть одновременно теряющая тоталитарную склонность к воспевателям-мастерам, а с ней вообще патронажное пристрастие к литературе,— слава Богу, предоставляет свободу естественному отбору, и он будет проходить на зыбкой почве, которую радостно расшатывают «другие», в среде, где ослаблен культурный иммунитет.

«...Нет ничего страшнее советского авангарда»,— вырвалось у режиссера Львова-Анохина, ужаснувшегося непрофессионализму (правда, не литературы, а театральных студий), и кто имеет охоту возразить его запальчивости, может это сделать, тем паче что есть кое-что и пострашнее. Георгий Владимов, прочитав альманах «Зеркала», по-иному, сдержанно замечает, что «когда описывается, как тугая струя бьет в унитаз, я не вижу за этим ничего, обогащающего литературу и привнесенного новым поколением... В целом будущее остается за реализмом. К нему всякий раз после всех отклонений в сторону, после всякого декаданса происходит покаянное возвращение».

Чего боюсь? Что будет поздно — не для литературы, само собой, а для талантливых из числа «других». Ибо то, что сейчас происходит в виде веселых поминок и плясок на пепелище или на погосте, это растрата без перспективы нового накопления — по молодости дело понятное и простительное, но жаль, что большинство пляшущих уже не молоды, инфантильность их не возрастная, а застарелая, стало быть, готовая отстаивать себя по спортивно-милитаристскому принципу: нападение — лучшая защита. Ненавистные шестидесятники тешились иллюзией, эти, восьмидесятники,— безыллюзорностью, то есть вроде бы абсолютной трезвостью, беспредельной свободой. И это новая стадия самообмана, может быть, худшая, во всяком случае, более тупиковая. От иллюзии можно освободиться, и освобождались, а сейчас — куда дальше?..

«Конечно, всем надоел соцреализм,— добавляет Владимов (интервью в «Литгазете», 6 июня 1990).— Но и авангард не спасение от него».

Продолжая делить ответственность за предсказание с художниками-мастерами, процитирую и Семена Липкина, его воспоминания о Василии Гроссмане:

«Социалистический реализм не боится декаданса, модернизма, преследует их, ибо должен преследовать, но не боится. Социалистический реализм боится реализма. Так антихрист не боится неверия или язычества, он может взять их в соратники. Антихрист боится Христа».

Возразят: реализм — это тоже ведь только термин, поддающийся манипулированию, явление, на редкость неоднородное. Да. Но в российском его варианте (ограничимся им) то была воплощенная идея добра, справедливости, правды, совести, сострадания... Достоинства слишком банальные, пресные? Конечно. Ничуть не менее, чем Нагорная проповедь.

P. S. Закончено в июне — и вот в августе, после «трех дней», потянуло добавить несколько слов. Почему?

Одно из сугубо частных, третьестепенных, быть может, микроскопически малых последствий **свершившегося** переворота (подчеркнул слово, ибо речь не о заговоре негодяев, речь о том, что и в самом деле перевернулось в наших душах и головах): захотелось непреме́нно оглянуться на всё, сделанное и написанное «до того». Даже вот и эту статью перечесть обновившимся взглядом, твердо зная наперед, что не изменю ни строки, не исправлю ни единой оценки. И зачесались бы руки внести поправку — нельзя, нечестно. Слава Богу, не зачесались.

И все-таки добавляю. Вот что.

Перечитавши статью, я испытал приступ гордости — о, разумеется, не за себя. За них. За Солженицына. Гроссмана. Ахматову.

За многих, о ком и речи-то почти не велось в этой статье, посвященной совсем-совсем другому, «другим»; за тех, кто воплощает собой то искусство, которое я, вслед за Липкиным и Владимовым, готов именовать «реализмом». Искусство правды, искусство открытых глаз, открывающее и наши глаза.

Не так уж давно я где-то писал — по другому, но, в сущности, близкому поводу. Сравнивая два фильма, «Ассу» Сергея Соловьева, которую кинокритики признали шедевром отечественного пост-

модернизма, и то, что они же высокомерно третировали как прагматическую поделку, рязановскую «Забытую мелодию для флейты», я замечал: хорошо, допустим, что «Асса» эстетически неуязвима — конечно, с точки зрения правил, которым собралась соответствовать. А в «Забытой мелодии» — без сомнения, пропасть недостатков. Но как не заметить, что Рязанов старается что-то дать — и дает — тому процессу, который был начерно окрещен «перестройкой», а «Асса» мастерски, грациозно — берет. Использует перестроечные выгоды и возможности.

Пусть берет — ее право, отвоеванное тем не менее другими.

Одни сеют свободу, другие ею пользуются. На здоровье — для того и сеяно. И в конце-то концов еще Пушкин с горечью обнажил наивность надежды, что «свободы сеятель пустынный» может рассчитывать на благодарность ближнего потомства, кусающего (снова — пушкинское словцо) груди кормилицы. Но в одном я и был убежден и теперь убедился прочно. То, что все разом сказали, разом выдохнули после трехдиевных ужасов и надежд: дескать, мы-то считали, что мы — быдло, а оказалось, что мы — народ, в этом победа и их, бесстрашных реалистов, поборников правды, авторов «Реквиема» и «Ивана Денисовича». Их труд, не исчезнувший втуне,— винюсь за высокий слог, но избавляться от него на сей раз не хочу.

Опять процитирую автора, чье имя, пожалуй, с перебором мелькало в этой статье, но уж тут речь не о том, «другой» ли он или какой-то еще; просто слишком выразительно и печально в своей репрезентативной — и, увы, распространенной — пошлости то, что привелось высказать именно ему:

«...При чем здесь народ? Многие черты русского народа, безусловно, симпатичны, но не надо пририсовывать всем нимбы святых. Сами себя обманули, избавляться надо от иллюзий! Говорят: народ за Ельцина, Ельцин самый радикальный, значит, народ за прогресс. Да ничего подобного, народ за тех, кто укажет Эльдорадо.. Но главное — хватит уже спасать Россию, не работают давно все эти красивые жесты... Надо разомкнуться на индивидуумы, чтобы из толпы превратиться в общество. Каждый выживает в одиночку...»

Как всегда у Виктора Ерофеева, хлестко. И насчет иллюзий — золотые слова. Нимбов тоже не нужно. Но эта снисходительная высокомерность, эта элитарность, оборачивающаяся снобизмом, этот снобизм, схожий с кривлянием уличного задаваки, они... Хорошо, скажу с мягкостью сверхпредельной: неправы. И всегда, что б ни случилось, будут неправы перед высокой прагматикой нашей литературы, никогда не оставлявшей надежды найти в человеке человеческое и утвердить его в нем.

Л. Вильчек, Вс. Вильчек

ЭПИГРАФ СТОЛЕТИЯ

В искусстве существуют произведения, таящие в себе пророческий смысл, становящийся, как и смысл любого пророчества, ясным только тогда, когда все или почти все уже в прошлом. А до этого срока текст произведения — словно тест, и каждое поколение толкователей проходит, в сущности, испытание, рассказывая нам не столько о произведении, сколько о себе и своей эпохе.

Одно из таких пророческих творений появилось семьдесят три года назад как порождение великого исторического катаклизма и наиболее полное воплощение эстетики века — с присущим ей тяготением к документальности, факту и — одновременно — сверхобобщениям. Если бы векам, точно книгам, можно было бы предпосылать эпиграфы, то XX веку с его трагизмом и диссонансами лучше всего подошло бы именно это. Во всяком случае — нашему, русскому XX веку.

Речь идет о поэме Александра Блока «Двенадцать».

САТИРА ИЛИ ГИМН?

«Эту поэму толковали по-всякому и будут толковать еще тысячу раз, и всегда неверно»,— предрек в книге «Александр Блок как человек и поэт» К. Чуковский.

Одна из первых трактовок, принадлежащая кругу Гиппиус — Мережковского: варварское разрушение поэзии и культуры, шарж на Христа, возглавляющего шайку грабителей и убийц. По мнению В. Короленко, «Христос говорит о большевистских симпатиях автора». Наконец, большевик Н. Осинский воспринимает «Двенадцать» как «интеллигентский гимн Октябрьской революции».

И противоположная трактовка, принадлежащая Горькому: «...самая злая сатира на все, что происходило в те дни».

«Сатира? — спросил Блок и задумался.— Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю».

«Поэт,— продолжал Чуковский,— чувствовал, что написанное им есть высшая правда, не зависящая от его желаний... Написав «Двенадцать», он все эти три с половиной года (до своей смерти.— **Авт.**) старался уяснить себе, что же у него написалось...» Так, словно он не творец, реализовавший свой замысел, а экспериментатор, введший в некий компьютер данные и исследовательскую программу и получивший неожиданный результат, смысл которого ему самому непонятен.

Уже поэтому, кстати, бесполезно пытаться искать ключ к «Двенадцати» в публицистике Блока, философии Владимира Соловьева и Ницше и т. д.; подобный подход поможет объяснить: «как написалось», но лишь помешает понять главное: «что?» Это не парадокс. Циолковский пришел к идее ракетоплавания, решая прикладную задачу, заданную великой и безумной идеей Федорова — воскресить все поколения предков в их земной плоти: ежели воскресить, то где поселить? Ньютон открыл законы небесной механики, преследуя не менее иррациональную цель: доказать правоту пророчества, для чего надо было установить точные даты упоминающихся в пророчествах небесных знамений,— синхронизировать календари. Но ни мистика Федорова, ни ветхозаветные прорицания не по-

могут нам разобраться ни в основах космонавтики, ни в конкретных законах движения небесных светил.

Шло время. Перепалки двадцатых заглохли на пересылках тридцатых, сменились громогласным единонемыслием победившего разум социализма. Поэму канонизировали, согласовав ее трактовку с требуемым ответом с помощью нехитрого лжесиллогизма. Революция — величайшее событие новейшей истории? Да. Блок принял революцию? Принял («встретил ее,— цитируем опять же Чуковского,— с какой-то религиозной радостью, как праздник духовного преображения России... «А я у каждого красногвардейца вижу ангельские крылья за плечами»). Следовательно, «Двенадцать» — вдохновенный гимн революции, пусть и не свободный еще от рудиментов старорежимной христианской символики. «Ее (революции) звучание,— писал С. Наровчатов в статье, появившейся в сравнительно недавнее время,— наполняет бессмертные строки «Двенадцати». Чеканный шаг революционного патруля, воспетого гениальным поэтом, надолго определил ритм советской поэзии:

— Шаг держи революцьонный!
Близок враг неугомонный!..

Читаешь подобное — десятки, сотни страниц — и думаешь: неужели А. Блок написал в дневнике «Сегодня я гений», достигнув лозунговых высот А. Безыменского или вовсе безымянных текстовиков агитпропа?!

Однако утверждения про воспетый революционный патруль досадно не увязывались с реальностями текста: «Уж я ножичком полосну, полосну...» «Самая злая сатира» на революцию — такая трактовка казалась куда лучше аргументированной. Ну, а где неувязки, противоречия — тут как тут возникает и «диалектика» (в средневековье «диалектикой» называлось искусство словесного разрешения антиномий в Священном писании или между писанием и решениями Святейших Соборов.— Авт.): «Музыка» звучит в героике «державного шага»,— пишет исследователь,— в той «демократии, которая приходит опоясанная бурей», по любимому Блоком выражению Карлейля, «музыка» пронизывает новую этику (этику «человека-артиста», прекрасного человека будущего),— этику массовую, муки рождения которой так ярко описаны в «Двенадцати» (особенно в истории Петрухи, трагического убийства Катьки и последующего приобщения героя «коллективной морали» борьбы за новый мир». (З. Минц. «Блок и русский символизм». //Новые материалы и исследования. Книга первая, М., 1980).

Для полноты контекста или, лучше сказать, системы координат, с которой нам придется соотносить свои рассуждения, не хватает еще несколько толкований — и давних, писавшихся как бы уже в сумерках надвигавшейся эры, и недавних, написанных еще в сумерках,— порой утонченно интеллектуалистских, отличающихся глубиной авторской эрудиции. Они понадобятся нам позже. Но сразу скажем о странной мысли, неотвязно преследовавшей нас, когда мы штудировали исследования поэмы: как много все-таки надо **знать**, чтобы суметь **не увидеть** того, что написано просто черным по белому. Во всех смыслах — черным по белому...

ДОКУМЕНТ И СИМВОЛ

«Черный вечер
Белый снег.
Ветер, ветер!

. . . .

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»

Это не поэтическое описание мира и не лирическое самовыражение. Это документальная фиксация наблюдаемого.* Конечно, запись выполнена стихами, но сама стихотворная речь снижена до стиля раешника, небрежно, словно случайно срифмовавшихся описаний и голосов улицы, пародийного цитирования то частушки, то городского романса: документальна, фотографична сама фактура стиха.

Поэма едва ли не наполовину словно бы вообще не написана, а смонтирована из реалий времени: обрывков лозунгов и мелодий, подслушанных реплик, фотографически достоверных сцен. И это не случайность. Искусство встретилось с неэстетизируемыми явлениями, художественное изображение которых невозможно, бесцельно (эстетическое претворение не обостряет, а лишь притупляет их восприятие), а иногда и кощунственно. Наиболее адекватным способом введения таких объектов в культуру оказывается документ: язык онемения, выразитель невыразимого — того, что для искусства традиционного — «слишком» (слишком страшно, слишком невероятно, фантасмагорично, или наоборот: слишком смешно, слишком сентиментально); поэтому методом деятельности художника становится не живописание, а фиксация и выявление образного потенциала факта.

Империя рухнула. Блок перебирает обломки, пытаясь ремарками, ритмом, немыми догадками монтажных сопоставлений, пралогикой случайных созвучий найти тайный смысл в безумном хаосе. Лишь антилогика катаклизма, разрушающего культуру вообще, и абсолютный нигилизм документа позволяют монтировать:

«Пес — Христос».
«Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!» **

Вспомним «кадр»: плакат «Вся власть Учредительному Собранию!». Ветер плакат «рвет, мнет и носит» и «слова доносит» («носит — доносит» безусловно не рифма, а монтажная склейка). И далее — несколько подслушанных строк, так же склеенных созвучием окончаний, но отнюдь не являющихся поэтической речью:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

И из двух «документальных кадров» рождается художественно-философский образ, исполненный злой иронии и сарказма: убийственной силы реплика из января восемнадцатого в конец восьмидесятых годов, с их всеобщей политизацией и бурлением либеральных дискуссий о демократии в люмпенизированной стране.

Еще более интересной особенностью «Двенадцати» является то, что поэт ведет себя не просто как документалист, но и как «включенный наблюдатель» — хроникер, репортер, резко ограничивая себя в возможностях отбора документального материала, в возможностях типизации. Документалист мог выбрать объектом своего наблюдения не обязательно полууголовников, люмпенов, а из всех деяний красногвардейского патруля — эпизоды, более или менее «характерные», т. е. соответствующие определению революционных.

Однако поэт делает как бы случайный, свидетельски непроизвольный выбор, показывая «нетипичных» красногвардейцев («В зубах — цыгарка, примят картуз...» И реплика-титр: «На спину б надо бубновый туз!»). Конечно, эта «случайность» далеко не случайна; она — проявление и ипостась хаоса, из которого и должна родиться новая мировая гармония. Исключительно негативный объект выбран принципиально — чтобы не оставалось уже никаких исключений, позволяющих усомниться в искренности поэта, видевшего у каждого красногвардейца

* Строго аналогичные кадры — по сообщению историка кино В. Листова — сохранила и кинохроника.

** О внутренней связи поэмы «Двенадцать» с кинематографом писал Ю. Лотман.

ангельские крылья за плечами: это их, крыльев ангельских, антитеза — бубновый туз, который должен, видимо, превратиться в крылья за время сюжетных перипетий. Увы: автор показывает только такие действия патруля, которые тоже совершенно случайны, как если бы патрульное шествие наблюдал репортер-неудачник, поскольку решительно ничего, достойного эпитета «героического», «революцьонного», за время съемки, к сожалению, не случилось. Все революционные, героические темы и мотивы поэмы — это призывы, лозунги («Товарищ, винтовку держи, не трусь! Пальнем-ка пулей в Святую Русь...» «Революцьонный держите шаг!»), ни разу не ставшие реальностью поступков героев, больше того: являющиеся контрапунктом поступков.

Поэма — почти до финала — как лента «потока жизни». Идет по темному городу полупатруль-полубанда, готовится к страшной встрече с близким, лютым, неугомонным врагом, но кто этот враг — неясно. «Святая Русь»? Но это метафора. Буржуй? Но он — зримый — стоит неподвижно на перекрестке, не проявляя никакой агрессивности, скорей обреченно. Где же, в таком случае, враг? Старый мир? — так считает подавляющее большинство исследователей: старый мир, символизированный в поэме псом. Но пес — «безродный», «голодный», «холодный», «паршивый», «поджавший хвост», хоть и скалит по-волчьи зубы,— явно не тот лютый незримый враг, который держит героев в напряженном ожидании встречи. «Отвяжись ты, шелудивый»... Не отвяжется. Так и будет ковылять за Двенадцатью, но не как преследователь и враг,— с собачьей преданностью раба.

Единственное реальное событие, точнее — эксцесс, на протяжении одиннадцати из двенадцати глав поэмы — полуслучайное убийство проститутки Катьки, прежде гулявшей с Петькой, а затем изменившей ему с солдатом Ванькой.

Убивает Катьку шальной пулей Петька: так считает он сам, «бедным убийцей» называет его и автор. Но поразительно свойство документальной фиксации: она запечатлевает такое, чего мог не увидеть субъективный свидетель, даже сам хроникер. Внимательное изучение эпизода показывает: выстрелов было несколько; не исключено, что убийцей оказался именно Петька, но виновником убийства — инициатором разбойного нападения и расправы — несомненно кто-то незримый, командовавший и Петькой, и другими. Судите сами:

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!..
Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!..

...Исследователи склонны приписывать убийству Катьки некий мистический смысл (у одних Катька — душа буйной воли Двенадцати, у других — воплощение старой, грешной, разгульной Руси, у третьих — последняя Прекрасная Дама Блока), во всяком случае, все дружно считают сцену убийства кульминацией трагедии и началом духовного возрождения Петьки, но подтверждения этим трактовкам в тексте поэмы нет.

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...
Он головку вскидавает,
Он опять повеселел...
Эх, эх!
Позабавиться не грех!
Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!

И все: вся любовь, все «духовное возрождение», все «низверженье старых святынь» — никаких других событий до финальной главы поэмы не происходит. По-прежнему: «...И идут **без имени святого** все двенадцать — вдаль (выделено нами.— **Авт.**). Ко всему готовы, ничего не жаль...» По-прежнему: «Их винтовочки стальные На незримого врага... В переулочки глухие, Где одна пылит пурга...»

Но нечто — поначалу незаметно — меняется. Ритм. В поэме — при всем разноголосье и разностопье — два типа ритмов. Первый — частушечный, разудалый, вольный, а то и вовсе растворяющийся в хаосе. Второй — строевой, чеканный, дисциплинирующий, мобилизующий ритм. Он возникает всегда внезапно, порождая некий кощунственный диссонанс,— внезапно, но никогда не случайно, всегда в моменты наибольшего внутреннего разлада, растерянности, деморализованности героев.

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..
Тра-та-та!

А через короткую — всего в две строки — «перебивку»:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Во второй раз тот же ритм возникает в сцене убийства Катьки:

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

И уже вовсе без перехода, кинематографической «чистой склейкой»:

Революцьонный держите шаг!

Наконец, в третий раз, кто-то напоминает Петьке, совершившему некую идеологическую оплошность, о которой мы еще скажем:

— Али руки не в крови?..

И звучит уже не призыв, а приказ:

— Шаг держи революцьонный!

В следующей, одиннадцатой главе этот внешний, дисциплинарный маршевый ритм, вытесняя шалые ритмы вольницы, становится внутренним, собственным ритмом строя Двенадцати:

В очи бьется
Красный флаг.
Раздается
Мерный шаг.

(Двенадцатая глава начинается строкой, подтверждающей окончательность этого строевого ритма: «Вдаль идут державным шагом...» В финале строка повторяется, только звонкое «вдаль», в котором еще не отзвучала удаль разгульной вольницы, заменяется жестким, непререкаемым «так»: «Так идут державным шагом»).

Какофония окончательно трансформировалась в маршевый ритм. Это — итог, осознав который Блок «расфокусирует» изображение, превращая столь типичным кинoприемом репортажный «поток жизни» в образ исторического державного шествия под аккомпанемент «Варшавянки»:

И вьюга́ пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...
Вперед, вперед,
Рабочий народ!

Словом, если бы поэма состояла из одиннадцати, а не двенадцати глав, то в какой-то степени были бы правы критики, видевшие в поэме нечто вроде поэтической версии «Железного потока» Серафимовича.

Но, пожалуй, ближе к истине в этом случае все же Горький: «самая злая сатира на происходившее в те дни». Ведь превращение полууголовной вольницы в новый державный строй совершается не путем возвышения, очищения в борьбе

с реальным врагом, отвержения и сокрушения старых святынь, а за счет спайки общими преступлениями, кровью невинных жертв, за счет дегуманизации и утраты собственной воли. Правда, и прочитав поэму как сатиру, памфлет, нельзя было бы отказать поэту-символисту... в марксизме, не увидеть сходства его «сатиры» со знаменитым памфлетом Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи-Бонапарта», в котором показана та же логика связи между люмпенизацией, страшным разгулом черни и становлением деспотического державного строя; и это уже реальная диалектика, а не «диалектика» средневековых скрипториев (так назывались тогда дома творчества.— **Авт.**).

Интересно? Наверное. Но ни замечательная документально-художественная иллюстрация социологического закона, известного уже древним грекам (различавшим демос — оплот свободы и охлос, чернь — власть которой есть деспотия), ни даже самостоятельное открытие подобной закономерности путем художественного исследования хаоса — гармонией, стихии — стихом,— еще не основание заключить «сегодня я гений», до самой смерти потом мучительно размышляя, что это у него написалось?..

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА

Гениальной поэму делает двенадцатая глава, ведущая к переосмыслению одиннадцати предшествующих «документальных» глав, выявляющая в не столь уж и ярком на первый взгляд потоке фактов «глубины, которых не найти у Шекспира» (так писал об образной силе факта Ф. Достоевский). Все помнят финал главы, завершающийся строкой: «Впереди — Исус Христос».

Н. Гумилев утверждал, что финал искусственно приклеен к поэме, что это — чисто литературный аттракцион. В. Маяковский ерничал: «Впереди — Абрам Эфрос» (или «Луначарский — наркомпрос»), подчеркивая умозрительность, неорганичность финала. Затем спаянный хор исследователей доказывал, что «Христос» — не более чем попытка, за неимением лучшего символа, благословить Двенадцать, а заодно ответить старухе, причитавшей: «Ох, Матушка-Заступница! Ох, большевики загонят в гроб!», и писателю-витии, вещавшему: «Предатели! Погибла Россия!»

В наше время С. Ломинадзе возвращается к идее неорганичности финала поэмы, но уже во всеоружии тонких методов анализа художественного текста, т. е. на новом витке спирали. Блок, как сначала вполне справедливо пишет исследователь, хотел показать рождение «музыки из хаоса», высокого и прекрасного из низкого, безобразного. Но слишком уж безоглядно реализуя идею неизбежного появления «крыльев» над «бубновым тузом», идею прославления революции «несмотря ни на что», а потому с отчаянной смелостью множа, усугубляя, акцентируя диссонансы, Блок — по мнению С. Ломинадзе — оказывается в плену иронии, сначала не замечает ее, а затем — рад бы в рай, да грехи Двенадцати не пускают — уже не может претворить диссонансы в гармонию, преобразить иронию в пафос. Поэтому — тщетно пытается покрыть грех поэмы Христом — безапелляционным стереотипом, подменяющим художественное разрешение непреодоленного диссонанса.

Мы упрощаем и огрубляем мысль исследователя, но ничуть не утрируем: ...«Величавого рева» в «диссонансах» не прозвучало, и Блок бросил на чашу весов «Исуса Христа» как наиболее абсолютный, если так можно выразиться, из всех мыслимых в ту пору символов торжества и исторической правоты «носителей новой музыки».

Но Христос не прилеплен к поэме как некий умозрительный символ, он изначально присутствует в ней — от первого ее слова (апостольского числа героев поэмы) и до последнего. **Христос и есть тот неугомонный враг героев поэмы, который незримо сопровождает их почти до самого конца и за которым они в то же время «охотятся».** (Удивительно, что это сумел заметить в девятнадцатом году М. Волошин, но затем в течение почти полувека в упор не видели авторы капитальных томов.)

Вот доказательства. Христос в финале «за вьюгой невидим» — так же, как и тот «незримый враг» в одиннадцатой главе, который прячется за сугробами и в глухих переулках, «где одна пылит пурга», ослепляющая затем героев. Христос в конце поэмы идет «поступью надвьюжной» — а кто еще может ходить «беглым шагом» по сугробам таким, что «не утянешь сапога»? Далее — в поэме, в десятой главе, есть строки, которые многократно цитировались как образ разыгравшейся вьюги:

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

После этих строк Петька, будто увидев некое знамение, восклицает: «Ох, пурга какая, Спасе!» — и тут же получает суровую отповедь: «Петька! Эй, не завирайся!», завершающуюся упоминанием крови на руках и приказом держать шаг. А если внимательно вглядеться в «воронки» и «столбушки», то в них невольно видится буква X, нижняя часть которой скрыта от глаз, заметена снегом, и буква I; пурга как бы вычерчивает инициалы святого имени. Но в **«оборотническом», зеркально перевернутом виде.**

И последнее. В конце поэмы о Христе говорится, что он «от пули невредим» и что идет он «с кровавым флагом». Следовательно, в него стреляли, и все это, повторим, написано черным по белому — все черным по белому, кроме красного флага, который «бился в очи» героям, а затем, когда очи им запылила вьюга, исчез из виду и оказался в руках у Незримого, по которому Двенадцать открывают огонь. Читаем:

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...
. . . .
— Кто там машет красным флагом?
— Приглядись-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
— Все равно тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах-тах!..

Словом, финал не «приклеен» к поэме искусственно и Христос не «брошен на чашу весов» в качестве спасителя зашедшего в тупик сочинителя; явление Христа — обнажение замысла гениальной поэмы, дешифровка лежащей в ее основе художественно-философской гипотезы.

Эта гипотеза заключается в том, что в революции поэт предполагает не просто социальный переворот, а начало «царствия божьего на земле» — хилиастическое пришествие в мир Христа, в Двенадцати — его новых апостолов (упоминание в почти безымянной поэме помимо Петра лишь Андрея — далеко не самого распространенного крестьянского имени — тоже очень знаменательный факт, причем в сцене убийства Катьки на помощь **Некто первым** зовет «Андрюху») *. Поэтому поэт и избрал столь «нетипичный» объект наблюдения, избрал по логике: «последние станут первыми»,— что сразу лишает смысла обвинения в «очернительстве», сатире на революцию.

* Едва ли не первым распознал «оборотнических» апостолов в героях Блока безымянный петроградский священник, тезисы доклада которого опубликовал в своем журнале «Путь» Н. Бердяев (Париж, 1931, № 26): «Пародийный характер поэмы непосредственно очевиден: тут борьба с церковью, символизируемой числом — 12. Двенадцать красногвардейцев, предводителем коих становился «Исус Христос», пародируют апостолов даже именами: Ванька — «ученика, его-же любяше», Андрюха — первозванного и Петруха — первоверховного». Недавно «Литературная учеба» перепечатала этот текст и послесловие Н. Бердяева к нему; была сделана попытка установить имя священника, и высказано предположение, что основной текст мог быть черновиком П. Флоренского с дополнениями, сделанными другим лицом (См.: «Литературная учеба», 1990, № 6).

Но если Христос — незримый Тринадцатый ведомого им отряда, если именно Он — его знаменосец, то почему в поэме то и дело звучит: «без креста», «без имени святого», почему речь постоянно идет о таком «лютом, неугомонном враге», близость которого всего острей ощущается как раз в моменты «греха», преступления, крайней деморализации? — «Лежи ты, падаль, на снегу!» и без перехода, вплотную: «Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» (В контексте хилиастической гипотезы Блока последняя фраза явно обретает второй, не «социологический», а сакральный смысл *). Почему, наконец, апостолы стреляют в знаменосца-Христа?

Совсем недавно на этот вопрос попыталась ответить Т. Глушкова, вооружившись популярными ныне лозунгами «национал-патриотизма». Позаимствовав кое-что у М. Волошина (без ссылок — об этом писал Б. Сарнов), а также у Б. Гаспарова, она дала весьма оригинальную трактовку конфликта Двенадцати с Христом: Двенадцать — это великие, святые безбожники, идущие «державным шагом», а Христос — «кукла», «фигурка», «рвущаяся к вожачеству», забегающая вперед Двенадцати. Но он враждебен им, чужд русскому сознанию, «неприемлем в России»: это «не тот, не русский бог», поэтому в него палят. В общем, почти по Невзорову: «наши» стреляют в «не нашего». С этим, конечно, не поспоришь.

Между тем то, что «написалось» у Блока, на наш взгляд, не нуждается в мистических толкованиях, тут все предельно логично. Но чтобы постичь эту логику, этот глубинный и сокровенный смысл поэмы, нам придется сделать краткое отступление в область философской антропологии.

«СВОБОДА БЕЗ КРЕСТА»

В религии, в традиционной культуре самых разных народов существует странный обряд («таинство») сакрального преступления: поедание священного жертвенного животного, предававшегося огню и «возносившегося». Его обратным знаком является христианская евхаристия, т. е. причастие, «вкушение Тела Богова». Обратным — потому что причастие дарует духовное и телесное очищение, просветление человека. В древних же языческих культурах обряд убийства священного животного (некогда — животного-«предка», тотема) сопровождался оргиями, отменой большинства культурных запретов, табу. Такая мистерия (ее отголоски М. Бахтин находит и в карнавале) была величайшим праздником; люди предавались смертным грехам — и в то же время испытывали неизъяснимое наслаждение «...у бездны мрачной на краю».

Почему? Ответ на этот вопрос — в «таинстве» самого происхождения человека. Гердер называл человека «вольноотпущенником природы». В мифе эта «вольноотпущенность» трактуется как изгнание первольдей из рая, в науке — как первоначальное отчуждение: утрата прачеловеком инстинктивного, бессознательного единства с природой и вынужденный переход к жизни по искусственной программе, по образу и подобию — первоначально — животных-«тотемов», в симбиозе с которыми жили люди.

Человек ощущал свою «изгнанность» из природного универсума как свободу-отверженность, как тяготеющее над ним проклятье. Но стремясь восстановить нарушенное единство с природой, вернуться в «рай», человек в реальности все более от нее удалялся,— «удваивая» природу, развивая и усложняя систему искусственных условий и регуляторов бытия — культуру: достижение все большей свободы увеличивало и отчуждение.

Поэтому в кризисные моменты развития люди осознавали культуру как его — отчужденья, «проклятья» — причину; стремясь вернуть себе утраченный рай, преодолеть отчуждение, человек святотатствовал, сознательно или в истерическом опьянении преступал самые страшные табу, «возвращаясь в рай», «достигая

* Это заметил Б. Гаспаров.

бога» не путем святости, а путем греха, не путем подвига, творчества, созидания, а путем преступления, разрушения, расчеловечивания.

Это состояние «свободы без креста» философ и антрополог Тэрнер называет бесструктурной общностью или «состоянием коммунитас»; снятием, культурным претворением «коммунитас» и являются упомянутые выше обряды, мистерии. В религиозных движениях мистического толка идея «коммунитас» породила различные разновидности хилиазма — учения о земном и скором «царствии божьем». Однако хилиастический рай — это состояние, не имеющее позитивного воплощения, «коммунитас» существует лишь в негативной форме, т. е. лишь как процесс разрушения, расчеловечивания — греха. Неизбежным результатом этого разрушительного процесса оказывается сокращение пространства свободы и стабилизация, структурирование общества на более низком, следовательно, более рабском уровне. Тэрнер предупреждал: «Преувеличение коммунитас в определенных религиозных или политических движениях уравнительного типа может вскоре смениться деспотизмом, сверхбюрократизацией или другими видами структурного ужесточения... люди... начинают требовать чьей-либо абсолютной власти — будь то со стороны религиозной догмы, боговдохновенного вождя или диктатора...»

Блок не знал этих механизмов социогенеза. Но многое в его полумистических представлениях перекликается с хилиастическими учениями, к которым он проявлял интерес (в частности, к утопическим ожиданиям «града божьего» русскими сектантами, о чем писали исследователи). Знаменательно, что и революцию Блок понимает не как момент разрушения старого и зарождения нового социального строя, не как преодоление отчуждения трудящихся от средств производства и т. д., а как преодоление отчуждения, «изгнанности» человека вообще — вплоть до первоначального отчуждения от природы-«бога» («Один из основных мотивов всякой революции — мотив возвращения к природе»,— пишет он в «Крушении гуманизма»).

Философ Федор Степун в статье «Историософское и политическое миросозерцание Александра Блока» соотносит блоковскую философию разрушения с именем Бакунина, с «бакунинским прославлением библейского дьявола, этого извечного бунтаря и безбожника, начавшего великое дело освобождения человека от невыносимого рабства у Бога». Происходящее в послеоктябрьские дни Блок мыслит некоей тотальной мистерией: достижением рая, но не через святость, а через грех.

Логично, что в подобной коллизии становление «царства божьего на земле» должно выглядеть страшной, кровавой оргией, Христос — стать своим антиподом — Антихристом, а Двенадцать — апостолами Антихриста, Сатаны. («Что делать, если Христос... является и Антихристом...» — обронил, размышляя о «Двенадцати», К. Чуковский.) Понятно, что лишь к такому «богу» можно обратиться за благословением мирового пожара в крови, что, следуя за ним, ножиком полоснуть — не грех, ограбить, зарезать из ревности, выпить кровушку и т. п.— не грех, но произнести «Спасе» — предательство, тотчас получающее отпор.

Двенадцать апостолов Антихриста — действительно лютого, неугомонного врага человеческого (склонного, как известно, к оборотничеству), который и ведет их, и постоянно страшит,— разрушают традиционный «божий мир», хотя, как справедливо пишут исследователи, не разрушение является их конечной целью. Но и не созидание нового мира в реальном смысле. То, что вершат Двенадцать,— не очистительная работа, не расчистка площадки для созидания: всего только смертный грех. Однако Блок ожидает, что, достигнув путем греха, через преступление — бога — и в этом смысле «разрушив до основания» старый мир, Двенадцать не просто поднимутся по социальной лестнице из низов в верхи, а преобразятся, превратятся в некое новое человечество, в богочеловечество, говоря словами русских религиозных философов. (Поразительно, но этой мистике Блока вполне соответствовали и марксистские ожидания чуда революционного преображения жизни в некий аналог хилиастического царства божьего: безгосударственности, всеобщего братства, равенства и свободы.)

...Такова исследовательская художественно-философская гипотеза Блока. Не рассудочная концепция, которую поэт иллюстрирует, а гипотеза, подвергающаяся экспериментальной проверке реальностью — документальным рядом поэмы.

Но выстроенный с беспощадной правдивостью документальный ряд опровергает хилиастическую гипотезу символиста. Из диссонансов рождается не симфония нового мироздания, а монотонный маршевый ритм, из хаоса — не богочеловечество, а новый державный строй.

Утопия терпит крах; и в момент, когда диссонансы вольницы подавляются маршевым ритмом строя, происходят два финальных события, окончательно раскрывающие смысл музыкальной темы. Пес, обнаружив завидное социологическое чутье, оставляет старого хозяина жизни и увязывается за новыми. И в ту же минуту оборотнический Христос-Антихрист покидает героев (ибо, если перевести это на язык науки, «коммунитас» не имеет позитивного воплощения и существует либо как процесс отрицания, либо как идеал). А где-то на грани реального и «потустороннего», идеального мира возникает подлинный Христос, становясь тем «товарищем»-призраком с красным флагом, по которому открывают огонь Двенадцать:

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах —

сатанинским, как не раз писали наделенные хорошим слухом исследователи, и в то же время сардоническим смехом-рыданьем, в котором и находят свое трагедийное разрешение музыкальные диссонансы поэмы.

Дальше — тишина.

Финал поэмы — ее скрытая тринадцатая глава, в которой появляется незримый Тринадцатый,— абсолютно беззвучен. Подобный прием катарсической немоты финала стократно будет затем использован, доведен до штампа кинематографистами. Но у Блока это пророческое онемение человека, узнавшего трагическую правду грядущего (и ставшее после поэмы странной и мучительной «глухотой» последних лет жизни Блока. «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?» «Однажды,— вспоминает К. Чуковский,— он написал мне письмо об этом беззвучии»).

В беззвучном финале поэмы Двенадцать идут за Христом. Хотя Христос с красным, кровавым флагом вместо креста не совсем обычен: это явно коммунистический призрак. Но в державном марше Двенадцати есть мучительный парадокс: они идут за Христом, однако не как последователи, а как преследователи его, и само это шествие за Незримым — не историческое движение, а мистическое, сакральное действо, полуистория-полумистерия.

Сегодня, когда призрак коммунизма вроде бы покидает страну, мы так и осознаем свое прошлое — как страшный сон наяву, как чудовищную мистерию, а свой путь — как аномалию естественного исторического пути. Прошлого не вернешь, да и едва ли поэтические метафоры способны влиять на судьбу народов. И все же теперь, когда достаточно ясно, в какую бездну смог заглянуть поэт, с очень горькой усмешкой читаешь некогда прозвучавший и воспроизведенный В. Шульгиным диалог о «Двенадцати».

«А вы Блока читали?» «Да». «Понимаете?» «Люблю». «А я не понимаю».

Интересно, какой бы оказалась наша история, если бы вопрошавший, а им был Ленин, смог понять поэта?

Между прочим

Александр Кабаков

ЗАМЕТКИ САМОЗВАНЦА

«Пимен
Проснулся, брат?
Григорий
Благослови меня,
Честной отец».

Мечтая о литературных занятиях и вхождении в обыденную жизнь сочинительского цеха, естественно, не мог себе представить, при каких общих обстоятельствах я впервые буду публично назван писателем. Теперь иногда испытываю чувство суеверной вины: так получилось, что осуществление этого моего врожденного желания связано с гибелью нашего общества. Того самого общества, в котором я хотел стать писателем, литератором, сочинителем, беллетристом. То общество умерло, я стал — и возникает вопрос: а стал ли? Ведь независимо от безусловной нелюбви к мерзкой власти, к режиму, ко всему вокруг в большевизме сущему, писателем-то я хотел стать советским! Хотя бы уже просто потому, что об этой категории людей, пусть какое-то смутное понятие, но имел, а, к примеру, об американских или французских — никакого. Несмотря на старательное и взахлеб чтение «Иностранки». То есть было как бы такое подсознательное представление, что они тоже живут в каком-нибудь своем Переделкине или на своей Красноармейской, только наоборот. Честнее пишут, поэтому у них выпивают, с женщинами спят и даже стремятся разбогатеть, а не спасти шахту от провала квартального плана. Ну и, соответственно, сами авторы тоже стремятся не к Сталинской премии, а к Гонкуровской или Пулицеровской.

Словом, как и все, несоветскую жизнь в заманчивой для меня сфере я представлял себе как советскую, только гораздо лучше. Антисоветскую — уже и такая имелась — диссидентство переживало свой расцвет как раз в то время, когда я грезил опубликованием повести в «Юности» — представлял тоже как советскую, только с моральной стороны лучше, а с практической тем более. Ну, допустим, исключение из Союза писателей и совершенно непонятными для меня путями, без каких-либо репрессивных видимых последствий публикации на Западе. В сияющем нимбе входит такой отверженный в ЦДЛ, и неисключенные друзья соревнуются в готовности провести его в ресторан и угостить, потому что у него ни копейки, только немножко долларов от сочувствующего свободного мира.

Черт его знает, чем набита голова обычного нашего человека, даже когда человеку хорошо за двадцать и он намеревается стать если не властителем дум прогрессивной отечественной интеллигенции, то уж доброкачественным литератором с приличным и честным именем.

Самое горькое — что вся эта манная каша, которая тогда заменяла мне представления о профессии, оказалась удручающе близка к реальности, к той точнее ее части, которая была советской. Как с позитивным зарядом, так и с негативным, то есть к антисоветской. Что же касается несоветской литературной жизни, которую мы еще не имеем, но вот-вот будем иметь, то здесь все совсем не так. Это мы уже поняли, даже почувствовали, но никак не хотим смириться...

Перечитал предыдущие сбивчивые и непонятные свои ламентации и понял,

что то же самое можно сказать проще. Например, так: я хотел писать и печататься в стране, где родился и жил. Мне это удалось: сначала двадцать лет писал, потом и напечатался, даже с успехом, что сорокапятилетним — неважно. Но желание все равно оказалось невыполненным: той страны уже нет и не будет.

Что же из этого, собственно, следует, даже если все и так? Подробности, как говорится, биографии, совпавшие с минутами роковыми, сами по себе неинтересны. Ну, можешь считать, что блажен, коли посетил мир и социализм именно в это время, и радуйся. Или печалься — и то и другое — факт житейский, ну, общественный, но не литературный.

Вероятно, да. Но дело-то в том, что, мне кажется, ситуация моя не исключительная, а весьма и весьма типичная. И потому может оказаться достаточно любопытной для разбора, анализа.

Итак, мы все хотели стать. Но нам мешали монополизм идеологический — всем и нетерпимость эстетическая — многим. То и другое исходило от системы, казавшейся непоколебимой и вечной, но сгинувшей почти в одночасье. Нас опубликовали, прочли. Жизнь состоялась. Но ощущения удачи нет, чего-то не хватает, и если только что я заявил, что не хватает именно той страны или системы, которая мешала, то теперь скажу прямо противоположное: не хватает свободы от той страны и системы.

Поскольку и идеологический кретинизм, и эстетический расизм мы принесли в новую жизнь в себе. Так вирусоноситель СПИДа, не подозревая об этом и гордясь железным здоровьем, ввозит заразу в еще не тронутую страну.

Возьмем собственно сочинительство и прежде всего тех в нем, которые выглядят именинниками на поминках по советской литературе. Поминки эти — впрочем, как мне кажется и чему я хочу представить логические доказательства — затеянные при живом покойнике, празднуются пышно, в форме конференций и симпозиумов на родной и чужой земле. Тамада, представленный недостаточно знакомым с семьей покойника, под именем постмодернизма, красноречив. Основной тезис заупокойной речи: король умер, да здравствует король. Сомнений возникнуть не может — единственный законный и реальный наследник трона есть сам постмодернизм. Права подтверждаются по общему перестроечному принципу — через отрицание. Литературный совок был идеологизирован донельзя — мы, постмодернисты, донельзя деидеологизированы, нас от идеологии тошнит, и в текст мы ее на пушечный выстрел не подпускаем. Соцреализм решал практические задачи, поставленные очередным пленумом,— мы, рыцари андерграунда и авангарда, не то что пленума не слушаемся, но и вообще никаких общественных задач не решали, не решаем и не будем решать. Союзписательские творцы тщились залезть на генеалогическое дерево российской словесности, глаголом жечь, сеять и милость призывать, мы, упаси Боже, учителями и проповедниками быть не намерены, мы всею этой российской слякотью брезгуем, исключительно ограничив свои передвижения мраморными полами Дворца Чистых Художеств.

При том как бы само собой предполагается, что речь идет даже не о наследовании трона, а просто о законном первенстве среди равных в республике изящной словесности. Но жесткость тона и общее робеспьерство образа предвещают термидор, и на очередной конвент отчетливо накладывается корсиканская тень...

Как говаривал один знаменитый вратарь: что характерно, они все бегают, а я все стою, только после перерыва ворота другие. Что характерно, похороны советской литературы — своим чередом, членство в том еще Союзе советских писателей, ставшее доступным — своим... После перерыва ворота другие.

Я-то считаю, что все это вполне справедливо. И все основания быть героем этих странных похорон и наследником отпетого у нашего постмодернизма есть. Только не те, что обычно приводятся. Считаю, что главные основания для наследования, как и положено: глубокая генетическая связь, происхождение по прямой линии и воспитанность в тех же семейных традициях. Глубоко мною уважаемый, но совершенно чужой мне Виктор Ерофеев может сколь угодно твердо провозглашать свою независимость от русско-советской литературной традиции, но я считаю его роман прежде всего «Русской красавицей», а не «La belle de Moscou». И не по предмету изображения в первую очередь, и не по языку даже, и, наконец, даже

не по тщательно, но неудачно скрываемой, вполне русско-писательской болезненной жалости-любви к героине. А потому, что не будь в нашем литературно-общественном сознании инквизиторского ханжества, не возникла бы и сама идея романа. Я в этом убежден, и никто, даже автор, мне обратного не докажет.

Как и мы все, постмодернизм, весь наш авангард, все наше художественное подполье проклятого советского прошлого есть облаченный в художественную форму антисоветизм. И в этом смысле кураторы из цэка и чека были абсолютно правы, обнаруживая незаурядное художественное чутье и человеческую проницательность. Мы все были против, только кто-то, выпуская «Хронику текущих событий», бесхитростно излагал протоколы преступлений системы и столь же бесхитростно шел в психушку; кто-то писал в стол про «Детей» или «Одежды», столь же бесхитростно излагая близко по форме к протоколам, историю тех же преступлений,— дождался общей амнистии не в психушке, а в собственном скромном жилье; третьи же сочиняли не в форме протокола, а похитрей, чаще всего с едкой, иногда с придурочной усмешкой — но ведь по сути-то то же самое! Только вместо пафоса — ирония, пересмешничество, вместо пощечины — плевок, вместо «Долой!» — швейковское «Да здравствует император Франц-Иосиф!»

Готов согласиться, что этот метод художественней и эффективней: я понимаю, что вывернуть не только людоедское содержание наружу, но и уныло-тупую форму наизнанку — дело стоящее. Но если мне начинают доказывать, что бесконечно любимые мною Дмитрий Александрович Пригов с его стихами про милиционера, Еременко, Искренко, Друк, Иртеньев и все эти ребята вполне независимы от великой советской социалистической реалистической литературы — увольте. Самые настоящие дети с самым настоящим эдиповым комплексом. У талантливых детей он часто проявляется не в сумрачной ненависти к отцу, а в высмеивании и передразнивании.

И ничего дурного я здесь не вижу — ни дурного, ни обидного для них. Как сказано в классической шутке: эдипов-шмедипов, лишь бы мамочку любил! Лишь бы читать хотелось... А читать хочется — и совершенно не стоит доказывать свою расовую чистоту и отсутствие в литературных жилах советской крови.

Потому что чем больше это доказывается, тем больше сходства именно с советской литературой. Трудно проявить больше родовых черт, чем сбросив с корабля современности сначала Горького с Маяковским, потом Булгакова с Пастернаком, потом еще кого-нибудь, кто под руку подвернется, да волна бы набежала...

Один письмо Сталину писал, другой строй славил, третий Толстому подражал, тормозя приход на родную землю светлого эстетического будущего, к которому ведет народ литературная партия авангардного типа, попросту — авангард... Боже мой! Не мы ли смеялись над Онегиным — продуктом эпохи и над тем, что Достоевский был идейным путаником? Не мы ли?! И не мы ли теперь попрекаем Солженицына тем же самым?..

А говорим: померла, мол, советская литература. Нет, живее всех живых — как единственно художественно верный способ изображения великой эпохи. В полном соответствии с заветами. Постмодернизм (на это место можно подставить что угодно, кроме соцреализма, а то убьют) — как художественный метод, достойный самого передового учения о перестройке и гласности...

Тут, видимо, самое время перебить гневное обличение вопросом: а сам-то как? Начал с того, что хотел стать советским писателем, а удалось только постсоветским, от этого грусть — как же с тобой обстоит дело? По-нашему говоря: а ты кто такой?

Что ж, постараюсь ответить искренне.

Шел от того же — от неприятия. Про идеологию и говорить не стоит, все ясно. Но и технологически хотелось отделиться, только выбрал другой способ: не авангард, не эстетический взлет в недосягаемые для советского критического ПВО высоты, а наоборот — по-пластунски, в жанрах и стиле затаможенной, гнилой массовой культуры, через триллер и фэнтази, в расчете на образованную домохозяйку и инженера из почтового ящика, переводом на язык родных, в зоне возросших осин клише и масок тамошней литературно-кинематографической мифологии... И думал, что все превзошел и преодолел, и выпал из совка, и стану, как боги... Не

тут-то было. Универсальный закон сработал. Желал развлечь без агитации — произвели, дай им Бог здоровья, в пророки и учителя. Был уверен, что не борец, а сочинитель — получил звание официального обличителя КГБ. Жаждал сочетать чуждые жанры с традициями русской прозы — оказалось, что традиции пересилили все, и игра с читателем не получается, а получаются совместные страхи и лирические рыдания.

Ну, а в таком разе прохожу по общему делу и подсуден военно-литературным трибуналам, выносящим приговоры по законам чрезвычайного положения. В чем уже успел и убедиться в нескольких, к счастью, немногих соприкосновениях с той частью литературы, которая — совершенно справедливо, по-моему — утверждает свое равноправие с чистым сочинительством, но утверждает его слишком уж решительно, наводя на подозрение, что и сама в утверждаемом не уверена.

Речь, если догадались, идет о критике.

Писатель, рискующий отозваться о критике, попадает в сомнительное положение немедленно. Тому есть напрашивающееся объяснение: нечего отнимать у людей их законное. Если критик пишет о писателях, так о ком же и о чем ему еще писать? У него работа такая, объект деятельности ему дан Богом. Если же писатель высказывается о критиках, то это как бы попытка захапать чужое. Дана тебе жизнь, есть у тебя собственная фантазия и проч.— ну, и действуй, комбинируй, крои сюжет, наметывай композицию, вышивая стилем...

Поскольку же все это разыгрывается между людьми, публично не всегда провозглашающими, но про себя безусловно уверенными в первенстве литературы среди других человеческих занятий, да еще и в стране, где с этим первенством все еще согласны очень многие люди других профессий, то возникает иерархия: чем литература более литературна, чем она литературно чище, тем производящий ее выше, старше по чину. Сочинитель имеет дело напрямую с жизнью — чужой ли, своею, неважно. Критик же, создавая свою литературу, с жизнью дела не имеет, а лишь с литературой и литераторами. Значит, он главнее.

Рассуждение, вероятно, примитивнейшее, но, мне кажется, в этом первооснова нашего давнего отношения к критикам как к начальникам писателей. А уж на это накладываются текущие обстоятельства: доведение до писательской массы установок — как в советские времена; или преимущества критики в возможностях совмещения своего непосредственного дела с прямой политической публицистикой, и, следовательно, нахождение на гребне массового интереса — как случилось в первые годы после крушения советской власти.

Итак, о критике.

Проще всего сказать о той ее большей части, которая вполне откровенно, с мужеством отчаявшихся штрафников, знающих, что офицерское звание может быть возвращено только после собственной пролитой крови, идет в передовых порядках воюющих литературных армий. Как всякая откровенность, мне лично их партийная принципиальность импонирует. Кто не с ними — тот против них. Это по крайней мере честно и не претендует на объективность и научность. Рассматриваемые тексты судятся по простой анкете: не состоял ли в КПСС, привлекался ли к литературной, а лучше к уголовной ответственности при коммунистах, есть ли награды и степени от демократического (вариант: патриотического) движения и так далее, включая пятый пункт конечно же. С тем отличием, что демократы его упоминают с обязательной оговоркой: значения не имеет.

Основное же качественное различие между этими рейнджерами сражающихся сторон, по-моему, такое: если совсем уж опростившиеся идут врукопашную, тыча противника жидомасонством и антилитературностью, то сохраняющие европейские приличия защищаются тонкой рапирой издевки, одновременно поднимая на недосягаемую высоту оценки столпов своего лагеря. Впрочем, вполне независимо от их реального литературного качества. Проще говоря — одни бессовестно поносят врагов, другие безоглядно хвалят друзей.

При чем здесь литературная критика, не признаются ни те, ни эти.

И все же повторю,— к такой откровенности я без претензий. Хотя бы знаешь, чего ждать. В «Огоньке» похвалят за правильность содержания и укажут место в иерархии художественных достижений: старший словесности сержант от

демократии, есть шанс дослужиться... В «Литроссии» — если дойдет очередь, они не размениваются, по шеренгам не лупят, снайперы выбивают офицерский состав — отметят отчество, усомнятся в фамилии, о тексте же скажут в трех словах, все прилагательные для сарказма окружив кавычками.

И все нормально.

Но есть критики, которых боюсь по-настоящему, как, наверное, боялись во времена оны Ермилова или Феликса Кузнецова. И, думаю, не я один боюсь.

Эти гордые жрецы истины встали над схваткой.

Встать над схваткой можно двумя способами.

Можно подняться в такие высоты осведомленности, анализа, нравственной ясности, с которых действительно большая часть мечущихся на поле битвы кажется оловянными солдатиками с неаккуратно нарисованными розовыми лицами и чуть сплющенными при отливке фигурами. При таком взгляде слегка снисходительный тон появляется неизбежно, но не его я имею в виду — на этих высотах закрепились считанные единицы, я их глубоко уважаю, и в этом не одинок. Достаточно просмотреть писательские ответы на анкеты о наиболее заметных публикациях последних лет — там почти всегда небогатый набор из трех-четырех критических фамилий

Но есть и другой способ встать над схваткой — оставаясь самому на определенном тебе Господом бугорке, погрузить всех остальных в совсем уже низинное ничтожество. Дело несложное. Вместо того, чтобы разбираться в сочинениях и общей ситуации, рассматривая детали с помощью увеличительного стекла образованности, честности и аналитической мысли, просто глянуть на все в перевернутый бинокль. Ну и букашки засуетятся у ваших ног!

К сожалению, такого рода взгляд критика сейчас становится все более распространенным. Партийно-политическая критика себя скомпрометировала необъективностью и непрофессионализмом. И наиболее деловые из молодых представителей профессии сделали своевременный рывок в сторону. Тем более что нашли для этого несложный способ: собрать, пардон, все дерьмо, которым патриоты поливали прогрессистов, добавить туда того же продукта, сколько удалось наскрести в арсеналах прогрессистских, и распределить это равномерно для полива обеих сторон.

На этой почве всходят прекрасные, заметные, резкие, быстро делающие авторам имя статьи.

Понимая, что меня немедленно умоют: мол, некрасиво, тебя критик обидел, а ты вместо того, чтобы интеллигентно проглотить, отвечаешь — все-таки именно отвечу и именно на обиду. Собственно, я вообще не понимаю: а кто же должен отвечать, если меня обидели? Или писатель в этом случае должен себя вести, как хилый пацан во дворе, бегущий за старшим братом, и жаловаться знакомому критику? Нет уж, попробую сам.

Хотя это очень трудно ввиду отсутствия поля для битвы. Ведь спорить с критиком можно, если он дает для этого хоть какой-нибудь повод. Именно поэтому, видимо, критик, опускающий схватку под себя, таких поводов не дает, полностью освобождая свои утверждения от аргументов и логических подтверждений. Поэт имярек — бездарь, писатель — дешевка, еженедельник такой-то — умирающий. Почему? А потому. Главное — не отвлекаться на подробности, доказательства, не отводить от глаз перевернутого бинокля. В одно придаточное предложение, например, уместить всего Бердяева как «блистательного пустозвона» — согласитесь, это уметь надо! И дальше, дальше, не задерживаясь...

Даже неловко становится возражать. Уж если Бердяева эдак, так чего мне, грешному, отбиваться?

Только одно тут есть уязвимое место, роднящее такую объективность с самой необъективной партийностью: не подвергающееся критиком сомнению собственное право выставлять оценки. Откуда это? От Белинского? Писарева? Или от напостовской бдительности? Бог его знает. Но возникает предположение, что, кроме правых и левых (приложение этих обозначений к конкретным литературным партиям охотно предоставляю читателю, поскольку есть и путаница историко-географическая с этой терминологией, да и вообще не суть важно), кроме этих по-

литических литературных партий, появляется партия психологическая. Я бы назвал ее партией приподнявшихся. Не вставших, а именно приподнявшихся над схваткой, допустим, на цыпочки. И поскольку положение неустойчивое и утомительное, спешащих его зафиксировать кратким клеймением копошащихся там, у ног, в фокусе перевернутого бинокля.

Мог бы назвать пару-другую имен. Примерно одного поколения. Действующих примерно в одном стиле. Но и одного имени — самого обидчика — называть не хочу. Что в имени его? Все мы — советские люди. Все хороши. Просто грустно как-то чувствовать себя по-прежнему своим среди своих, советских...

...Ну-с, вот и поговорили. А почему все-таки заметки самозванца? Да потому, что не могу никак поверить в свое писательство. Вот если б покойный Юрий Валентинович Трифонов так назвал!.. Очумел бы от счастья.

А сейчас что-то не чумеется. Советская литература все-таки умерла. Антисоветская тоже. Во всяком случае, конец близок. Несоветская не родилась. Во всяком случае, еще не говорит и не ходит. Какой же роты я приписанный сержант? Черт его знает.

Тем более что, по мнению торгующих на углах из одной кучи Кафкой, Мережковским, переизданным Аксеновым, Алешковским с полными словами без всяких точек и «Хиромантией для всех», книжный бум стремительно идет к концу. «Ничего не берут, командир»,— грустно сказал молодой человек, стоящий за лотком у Маяковки, и волосы, стянутые на его затылке в «конский хвост», уныло качнулись...

Вот это действительно конец для всех. Несоветский период литературы наступает, а мы все копошимся в советском. Разруха коснулась и великого мифа о самом читающем народе. И будем теперь, как все: если нет университетской службы и не сделал бестселлера — не прокормишься. А наше «не прокормишься» — это не то, что их. Это буквально.

Пока еще везет: киношники предлагают экранизации. Но и кино советского никто смотреть не хочет...

В общем — похоже, что недолго предстоит побыть писателем.

«...А хочешь ли ты знать, кто я таков? Изволь, скажу: я бедный черноризец...»

...То, что произошло в августе, после того, как были написаны эти заметки,— принципиально ситуацию не изменило. Мы еще учителя жизни. Но уже ненадолго...

Советы непостороннего

Известный американский финансист и мультимиллионер Джордж Сорос в последние годы стал хорошо известен в нашей стране. Он является председателем совета попечителей советско-американского фонда «Культурная инициатива», о различных акциях Сороса периодически сообщает наша пресса. Совсем недавно, уже после провала августовского путча, Сорос на пресс-конференции для советских деловых кругов и зарубежной прессы огласил свой проект экономических реформ в СССР, предусматривающий широкое участие иностранного капитала.

Однако при всей важности для нас этой стороны деятельности американского бизнесмена ее конкретные подробности и детали вряд ли будут интересны (да и, попросту говоря, понятны) широкому кругу лиц. Иное дело — только что опубликованный у нас в стране русский перевод книги Сороса, рекомендуемой самим автором в предисловии как «попытку рассмотрения революционных процессов, которые в настоящее время разворачиваются в СССР. Если эта попытка окажется успешной, книга может стать частью революции, которую автор пытается анализировать». Это, возможно, звучит в какой-то мере самонадеянно, но ведь Сорос имеет в виду сугубо прагматический аспект, что здесь же и поясняет: «Ведь чем лучше люди понимают, что происходит, тем более эффективно они могут влиять на ход событий». И автор искренне старается помочь читателям понять, «что происходит», делясь своими рассуждениями, предложениями, прогнозами.

Интерес к нашим, как выразился Сорос, «революционным процессам» последних лет со стороны крупных западных бизнесменов, доброжелательное стремление многих из них помочь нам в воссоздании разрушенной экономики давно уже не удивляют. Лишь «Советская Россия» в былые «чикинские» времена да газета «Домострой» (ну, ее и название обязывает!) упрямо разоблачали этих троянских коней. Между тем подоплека такого повышенного внимания очевидна: вплоть до второй половины 80-х годов Западная Европа и даже защищенные двумя океанами США смотрели на нас с опаской, как на империю зла, способную в любой момент выкинуть все, что угодно. И ведь выкидывали! Вполне естественно, что по мере того, как эта непредсказуемость стала из нашей политики уходить, на нас начали смотреть как на нормальных людей, с которыми можно торговать и даже вести финансовые операции.

Должен признаться: отрецензировав за свою жизнь, наверное, не менее сотни книг, я впервые не испытываю к работе никаких иных чувств, кроме восхищения. Американский автор преподнес нам не только тончайший анализ происходящих в стране процессов, но и сделал ряд интересных прогнозов, которые отчасти уже успели оправдаться. Конечно, ситуация сейчас меняется настолько стремительно, что некоторые из положений книги Сороса устарели. Но они устарели в сравнении не только с реальностью, но и с меняющимися взглядами автора. Книга была окончена в ноябре 1989 года, немалое время ушло на перевод (кстати, там, где живет Сорос, перевод принято делать за считанные дни, если, конечно, речь не идет о литературном шедевре), поэтому Сорос, снова оказавшись в Москве в сентябре 1990 года, счел необходимым указать в предисловии, что в нашей «довольно безнадежной» ситуации все же появились определенные «мажорные» проблески.

И вот что любопытно — в этом предисловии, написанном ровно за 11 месяцев до августовских событий, 21 сентября 1990 года, содержится как бы намек на них и даже на их итоги. Сорос пишет, что в сравнении со странами Восточной Европы «революция в СССР еще не дошла до своей кульминации, и шансы на благоприятный исход весьма неопределенны. Демократические институты могут укорениться, если есть широкая народная поддержка, но в СССР сегодня вообще мало конструк-

---

Джордж Сорос. Советская система: к открытому обществу. Перевод с английского Т. В. Курашовой. М., ИПЛ, 1991.

тивной поддержки чему бы то ни было. Люди сыты по горло старым порядком, но они ни во что больше не верят». А чуть ниже идут строки, оказавшиеся, в общем-то, провидческими: «Еще до того как окончательно будет демонтирован старый центр власти, должен возникнуть новый. Тогда новое руководство сможет получить некоторую поддержку хотя бы потому, что возглавит процесс демонтажа и дезинтеграции». Что ж, в этом смысле пока что все идет, кажется, «по Соросу». Старый центр власти действительно демонтируется, а новый, олицетворяемый сотрудничеством (ох, не сглазить бы!) Горбачева и Ельцина,— активно создается и на ходу укрепляется.

Здесь же отмечу: те фрагменты книги, где Сорос характеризует личность и политику Горбачева (Ельцин этой чести не удостоился: книга писалась два года назад), исключительно интересны и поучительны для наших аналитиков. Спору нет, о Президенте написано уже столько, что впору издавать многотомные сборники этакой «горбианы». Но отечественный читатель все же черпает сведения в основном из отечественной же периодики (или, скажем, из книг Б. Н. Ельцина, А. А. Собчака, Э. А. Шеварднадзе, Р. М. Горбачевой и т. д.), да и с авторитетными зарубежными мнениями ему пока приходится знакомиться только в выдержках, публикуемых в тех же источниках. Так что и в этом смысле работа Сороса — весьма важное и ценное открытие.

Горбачев интересует автора прежде всего в процессе трансформации его политических взглядов, безусловно, имеющих — как бы по-разному мы ни относились к этому человеку — огромное влияние на политику государства. Искренне сожалею, что объем рецензии не позволяет привести хотя бы ключевые цитаты из «горбачевских» частей работы Сороса, которые в пересказе, конечно, многое теряют. Но постараюсь все же дать кое-что из самого главного. По мнению автора, в самом начале реформ Горбачевым и его «командой» руководило «прежде всего желание изменить систему, и они были готовы идти на полумеры, очень хорошо понимая, что полумеры обязательно потребуют следующих шагов. В то же время они, наверное, не полностью осознавали возможные негативные последствия, в противном случае... не могли бы так убедительно пропагандировать свою политику. ...реформа означает распад косной, закрытой, неизменной системы, и, чем дальше развивается реформа, тем более очевиден ее распад». Иными словами, «они» начинали реформу, предполагая лишь УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, облагородить систему, а оказалось, что своими же руками, строка за строкой, пишут ей смертный приговор. «Именно потому, что реформа завязана с распадом,— считает Сорос,— процесс нельзя повернуть вспять. Могут быть репрессии, как на площади Тяньаньмэнь в Китае, но вернуться к тому, что было, уже нельзя».

И все ж, продолжает свои размышления автор, «каково место Горбачева во всем этом раскладе? ...Он намеренно начал демонтаж некоторых сторон советской системы. Имел ли он в виду уничтожение всей системы? Если да, то почему? И чем он хотел заменить ее? ...Отдавал ли он себе отчет в том, что делает? До какой степени результаты соответствуют его ожиданиям? Нам нужно как-то ответить на эти вопросы, чтобы понять, что же произошло в Советском Союзе и чего можно ожидать в будущем». Любопытно, что иностранный автор задает вопросы, на которые и отечественные-то специалисты никак не могут ответить! Но в том-то все и дело, что, задавая эти вопросы, Сорос сам же ищет на них ответы. При этом он не боится выглядеть наивным дилетантом и с дотошностью искренне заинтересованного человека пытается «раскусить» Горбачева, сравнивая его... с собой! «Я думаю, что мировоззрение Горбачева,— пишет Сорос,— не очень отличается от моего. В частности, Горбачев считает деление общества на открытое и закрытое коренным вопросом, и, по его мнению, переделка Советского Союза в открытое общество — первоочередная задача. ...он обладает по крайней мере инстинктивным пониманием рефлексивности как исторической теории, в противном случае он не мог бы так смело действовать. Он также являет собой наглядный пример участника событий, который не до конца понимает то, что происходит».

Интересен рассказ Сороса о том, как он начал заниматься благотворительной деятельностью, учреждая различные фонды в ЮАР, Венгрии (кстати, сам Сорос по происхождению — венгерский еврей), Китае, Польше... Наконец дошла очередь и до СССР. Сорос пишет, что на мысль основать фонд в нашей стране его впервые натолкнул телефонный звонок Горбачева Сахарову в Горький в декабре 1986 года. Сорос усмотрел в этом факт «значительных перемен» и даже надеялся, что Сахаров станет его личным представителем в СССР. Однако «Сахаров сказал, что мои деньги лишь пополнят казну КГБ», и «отказался от личного участия в фонде, но обещал помочь с выбором членов правления». Что ж, весной 1987 года в опасениях Сахарова, конечно, был резон.

Тем не менее к сентябрю того же года правление фонда Сороса в СССР было создано. Сопредседателями его стали сам Сорос и Г. Мясников из Фонда культуры СССР. Этим событиям сопутствовала любопытная сценка. Поскольку Сорос хотел бы видеть на посту сопредседателя фонда не Мясникова, а академика Д. С. Лихачева, он отправился к нему в Ленинград. Но Лихачев в от-

вет на предложение немедленно позвонил в ЦК, и заинтересованный Сорос попросил свою переводчицу перевести слова академика. «Однако Лихачев на протяжении всего разговора не сказал ни слова, он лишь кивал. Я понял, что оказался свидетелем одного из тех знаменитых телефонных звонков из Кремля, когда тот, с кем разговаривают, может только слушать». Окончив разговор, Лихачев сказал: «Ничего не поделаешь. Сопредседателем должен (!) быть Мясников». Так или иначе, но вскоре независимый советско-американский фонд «Культурная инициатива» начал действовать.

Еще раз отмечу: точность некоторых прогнозов Сороса поразительная. В введении к книге, педантично датированном 24 ноября 1989 года, есть такие слова: «Политически возможны две развязки данной ситуации: либо Советский Союз станет частью мирового открытого общества, либо он будет продолжать разваливаться. Мне кажется, это вопрос ближайших нескольких месяцев. Ведь процессы не могут ускоряться до бесконечности, поэтому скорее всего гораздо больше событий произойдет в ближайшие месяцы, чем в последующие годы и десятилетия». А буквально через страницу Сорос уже пишет: «Я мог бы с достаточной точностью указать на источник грядущих неприятностей: это будет Прибалтика...» По поводу «ближайших нескольких месяцев» напомню, что спустя три с половиной месяца независимость провозгласила Литва, а вскоре — Эстония и Латвия.

В связи с этими центробежными процессами звучит и серьезное предостережение автора: «Чем более независимыми становятся республики, составляющие Союз (сегодня этот процесс зашел настолько далеко, что и Сорос не мог предвидеть — во всяком случае, таких темпов.— С. Б.), тем более вероятно то, что реакционный националистический режим захватит власть в РСФСР. Подобный режим питается вековой антизападной и антисемитской интеллектуальной традицией. Не случайна схожесть его с нацизмом. У них общие философские корни и общее чувство национального унижения, обиды, которое будет стимулировать экспансионистскую политику». Звучит страшновато, но ведь это пока лишь прогноз, и, как показали недавние августовские события, от народа зависит несколько больше, чем представлялось до них. Так что, думается, нам вполне под силу не дать сбыться этому грустному предвидению. Тем более что и Сорос дальше говорит: «Совершенно не обязательно, что события развернутся именно таким образом, но, если ничего не будет предпринято, чтобы предотвратить это, вполне вероятно, что так все и произойдет».

Как же быть?

Неутомимый Сорос отвечает и на этот вопрос: «Существует только один путь придания Советскому Союзу жизнеспособности — преобразование в конфедерацию... Превращение Советского Союза в конфедерацию было бы очень выгодно для Запада... Такое решение стоит много, и Запад должен быть готов заплатить за него». Что ж, и в этом отношении сегодня, кажется, все начинает сбываться. А Сорос, предвидя возможность новых конфронтационных процессов между Европой и распадающимся СССР, предлагает и на этот случай «только один путь» спасения от надвигающейся угрозы: «Надо уважать существующие границы, но границы должны утратить свое значение».

Не забыты в этой «раздаче слонов» и США, наблюдение Сороса по поводу которых отмечу как сверхважное: «А как отразится распад советской империи на Соединенных Штатах? Он приведет их к глубочайшему кризису национального самосознания. Мы (т. е. США.— С. Б.) привыкли воспринимать мир как противостояние двух сверхдержав, и нам было удобно представлять себя в роли хорошего парня, противостоящего империи зла... В настоящий момент мы теряем самый надежный ориентир нашей внешней политики — врага, через которого мы могли определить самих себя... Основными чертами американского представления о себе являются самая мощная экономика и военная сверхдержава (здесь несколько неуклюж перевод, но понять можно.— С. Б.). Будет исключительно тяжело избавляться от этого представления». Но и для родной Америки у Сороса есть рекомендации, вкратце сводящиеся к тому, чтобы избавиться от самоимиджа сверхдержавы и «помочь создать новый мир, в котором уже не будет сверхдержав».

Хочу свои размышления закончить словами Сороса: «Мы (!) переживаем критический момент революции, когда сравнительно немногочисленные решения относительно маленькой группы людей могут определить ход событий. Поистине, если решения окажутся правильными, настоящий момент будет считаться моментом зарождения нового общества, а если нет — страну засосет огромная черная дыра, которая уже плотоядно разинула свой страшный зев. Этот зев всем виден, что дает возможность надеяться на лучшее».

И все же добавлю: то, что и здесь, и в других местах работы Сорос говорит о себе и о нашей стране «мы», позволяет — как это ни наивно звучит — отнестись к его книге с особым вниманием и доверием. Тем более что сегодня «страшный зев» виден куда отчетливее, чем в бесконечно далеком сентябре 90-го года, когда это было сказано.

Сергей Бурин

Оправдание житейского

ИРИНА СЛЮСАРЕВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ «НОВУЮ ЖЕНСКУЮ ПРОЗУ»

Если книга начинается с предисловия, тому, как правило, есть две причины: либо читателю надо дослать дополнительную информацию об авторах, либо ему предлагают своего рода манифест. В случае со сборником «новой женской прозы» **«Не помнящая зла» (М., Московский рабочий, 1990)** причина, несомненно, вторая. Опорная же мысль манифеста: «...женская проза есть. Она существует... как неизбежиость, продиктованная нременем и пространством».

Пафос заявленного понятен, хотя, быть может, анахроничен. Факт, что женщины могут и имеют право заниматься творчеством, стал просто фактом и, пожалуй, не требует оценок и комментариев. А настаивать на типологических отличиях «женской» литературы — неосторожно. Хорошая проза хороша как таковая, как явление словесности. Зато если уж слабо пишет представительница прекрасного пола, у кого-то возникнет соблазн воскликнуть: «...не верю, что женщина может написать что-то стоящее, киндер, кюхе, клайдер и кирхе, йогой я тебе еще позволю заниматься, но литературой никогда!»

Так гонорит затекстовый возлюбленный героини повести Ларисы Ванеевой «Между Сатурном и Ураном» («Тени»). Не правда ли, странное название? — ключа к содержанию оно вроде не дает, как метафора тоже прочитывается не враз... Что там, между Сатурном и Ураном, что имеет в виду автор — находящуюся между их орбитами малую планету Хирон, или античный миф, где в результате оскопления Урана Кроносом — Сатурном оплодотворенная пролитой кровью Земля породила гигантон и Эриний?

Точный ответ не взялась бы предложить, хотя Эринии вкупе с гигантами кажутся более относящимися к делу. Поскольку речь ведется об упорных попытках сильной женской личности состояться, но «всем все вверху пообрезали, крышку гроба прихлопнули вместо реализапии — и только одно теперь делай: пей да ... (на месте отточия подразумеваются занятия любовью. — И. С.) Ну, можно еще быть паннькой, заводить семью, размножаться, выращивать рабов». Героиня, писательница И., с одной стороны, «пьет да ...», с другой — беспрерывно рефлектирует, находя и рассеянный, отчасти богемный, образ жизни, и вышеперечисленные «клайдер, кюхе, киндер» скучными, лишенными смысла. Иное дело — создание души, трактуемое как религиозность неясной конфессиональной ориентации плюс самостоятельное художественное творчество. Тексты дают веские основания полагать, что поиск модели достойного человеческого существования есть для нашего автора тема сквозная, постоянная.

Обстановка происходящих в этой прозе событий узнается легко — почти везде семидесятые, разгар пресловутого застоя. Нам знакома не понаслышке безрадостная, но весьма цепкая обыденность этих лет. Знаком и рекомендуемый способ освобождения — и тоже не из книг: кто не наблюдал по окружающим этих исканий в области то медитации, то отечественной религиозной философии. Так что портреты на фоне времени выполнены точно и в смелом ракурсе.

В смелом — определение в данном случае существенное. Книга **«Из Куба» (М., Советский писатель, 1990)** показывает, что Ванеева не ищет сюжетов непременно из разряда пригодных для семейного чтения. Если в одном ее рассказе некий Издатель и мэтр молодых охмуряет бедную, да гордую студентку Литинститута, а далее по тексту спит с ее подругой, обеспечивая взамен публикацию подругиной «нетленки», то в другом герой последовательно занимается любовью с бесчисленным количеством дам и девиц (похоже, что происходит это во снах, правда, вполне реалистических). Или некая журналистка, которую презирает собственная дочь — «как все наркоманы алкоголиков»: своего рода вариант конфликта отцов и детей. Или любовь вчетвером... право же, ряд можно продолжить без труда.

Подобных типических, увы, застойных «раскладов» долгое время как бы не замечала немалая часть нашей литературы. Потеснить ее сейчас пришла новая, более зоркая — «другая», или «альтернативная» проза. Она-то склонна видеть «правду жизни» до мельчайших деталей, частично ударяясь при этом в чернуху, то есть рассматривание все более и более жутких подробностей. Ужасы, хотя и списываемые с натуры, подаются крупным планом, заслоняя тем самым жизнь человеческой души, и словесность вырождается в своего рода этнографию.

В книге Ванеевой рискованные повороты не педалируются, а честно изображаются в их реальных пропорциях; исследуется же жизнь как попытка сопряжения несвободы обстоятельств с надличным смыслом. Причем обстоятельства у персонажей разные, а выход указывается практически однн. Неопровержимс доказать преимущества лечебного голодания (оно же в данном случае соблюдение поста) над мирной семейной жизнью, воспитанием детей и прочей «кюхе» — невозможно. Невозможно и обосновать превосходство последнего над первым. И в любом раскладе неясно, что же делать с неоспоримой женской привлекательностью героинь, с их нормальной человеческой (а не сугубо профессиональной) незаурядностью. Сдается, могло бы для них отыскаться спасение помимо литературных занятий. Хотя автор, похоже, убежден в единственности пути?

Твердо можно сказать одно: путь этот не только женский Так что чтение даже «женской» прозы напоминает нам о том, что в литературе, как и во всех видах духовной деятельности, важна не специфика пола, а художественный уровень.

Например, небольшие рассказы Нины Садур: общаговско-пэтэушный бытовои фон в них пересекается с душной, эмоциональной стихийностью, с мелкой домашней демонологией, овеянной «поэзией заговоров и заклинаний»,— и все это обнаруживает в заурядных женских судьбах бездонные, как древность вне времени, глубины, а быть может провалы.

Или совсем иная писательская манера, рассчитанная на своего — узкого, понимающе-родственного и единственно интересного читателя. Именно так, через избирательное сродство, устроены клубы — по типу Английского, или, что в данном случае ближе, наподобие сообщества «Бродячей собаки». В «клубе любителей прозы Валерии Нарбиковой» скорее всего ие может быть массового членства, однако и пуст он не останется. Чужой в нем тот, кто грубо и тенденциозно вчитает в текст, например, социальную направленность или эпатаж посредством эротики. Легкая, вся построенная на бесконечной словесной игре, стрекозиная эта проза — неэстетично считать ее повествующей о том, что «ей хотелось известно чего известно с кем» (ставшая знаменитой формула самой писательницы). Таков всего лишь общий сюжет — и повести «Ад как Да аД как дА», и повести «Около эколо», опубликованной в сборнике **«Новые амазоики» (М., Московский рабочий, 1991)**. А тема другая, в ней не душное женское преобладает, а наоборот: главное — игра, игровая природа искусства, так отвечающая игровым склонностям жизни, которая есть, как известно, театр. Недаром тяжкие приметы нашего нерадостного социума здесь отсутствуют полностью. Густота таковых именно означала бы главенство «женскости» над «литературностью». А мы видим сознание, наркозом искусства как бы отменившее тяжести земного обустройства плоти. Естественно, на этом пути нет места ванеенским истовому богоискательству и технике аскезы — усилия и способы высвобождения в счет не идут, существенны лишь мгновения умопостигаемой невесомости. Полет можно счесть организованным несколько искусственно. С другой стороны, не рожденный ползать будет летать как умеет. Достоинства и недостатки этой прозы так самоочевидно вытекают из принципа ее организации, что их и впрямь можно принять или отвергнуть лишь целиком.

Но уж как ни воспаряй, а возврат на землю неизбежен. И закономерное читательское ожидание, что он-таки погрузится в стихию родного затейливого быта, притом в характерно женском его варианте («киндер и кюхе»), оправдается всецело. Название повести Ирины Полянской — «Предлагаемые обстоятельства» — как бы обобщает сюжеты: предлагаемые обстоятельства, нравятся ли они нам, или, что скорее, нет, тем не менее являются, собственно, нашей жизнью, и уж по крайней мере ее событийной основой (сборник **«Чистенькая жизнь». М., Молодая гвардия, 1990)**. В книгах наличествуют роды нормальные и роды патологические, аборты, изнасилования групповые и, так сказать, обычные, а также без счета любви, измен, сложных отношений с родителями, детьми, мужьями, возлюбленными...

Однако изображение того, как трудно живется нашим современницам-соотечественницам, похоже, уже не несет никакой новой информации. Описаны бараки и коммунальные кухни, воспеты трудности эмансипации и борьбы с бытом.

Героиня «видеоповести» Светланы Василенко «Шамара», хотя и молода, имеет незаурядное прошлое в виде группового изнасилования; незаурядно и ее настоящее, примерно в том же роде: пьяные разборки н рабочем общежитии, встреча с сексуальным маньяком, попытка убийства соперницы и тому подобное. Сюжет выстроен грамотно и круто. Всей этой совдеповской безнадеге романтически и всепобеждающе противостоит любовь Шамары. Однако не слишком ли сложное доказательство того, что и жены зэков «чувствовать умеют»? Известно, что с накалом страстей у низового, то есть в основном чувствами и живущего, человека все обстоит нормально. Сошлемся на «Казаков» Толстого, где простой народ живет подлинными страстями, а интеллигент только рефлектирует. Невольно нторит классику Л. Ванеева. Занявшись анализом «простой» жизни, она мимоходом отмечает, что «глупенькие эти наседки жили примитивно, но на всю катушку... раскручивались на своем уровне до предела».

Так что, как ни странно, ни изображенные в «Шамаре» неизбитые характеры (например, передовая работница и тайная алкоголичка Рая; Долбилкина со Стукалкиной, по-деревенски уютно-простоватые, но и — по-деревенски же! — ухватистые и практичные), ни новые обстоятельства (не писали еще у нас о «стройках химии») впечатления явной художественной новизны в итоге почему-то не дают.

В «альтернативной» прозе выстраиваются подходы к литературе того уровня, который уже не требует оценочно-групповых эпитетов. «Литература просто» необходимо включает в себя и новизну материала, и ясность мысли, и оригинальность манеры письма, и, наконец, то таинственное нечто, что преображает текст в явление искусства. Эмпирика, сама по себе сколь угодно красноречивая, не срабатывает. Или, как говорится в предисловии к «Новым амазонкам», когда «она (женщина-писатель.— **И. С.**) в авангарде — она на коне». Это так,

даже если под авангардом подразумевать просто художнический подход к материалу, а не поиск непременно «новых» форм. Хорошо, если это симптом, указывающий, что литература вернулась к собственным делам, покинув территорию публицистики.

Тому есть ближайшие подтверждения. Так, пока публицистически-буквально прочитываешь первые страницы рассказа Нины Горлановой «История озера Веселого» — ну, это опять об ужасах отечественной медицины — или ее же повесть «Покаянные дни, или В ожидании конца света», пока вылущиваешь сюжет и «мораль», проза эта может показаться в чем-то вторичной. Но в том и дело, что существенны не сами по себе размышления о долюшке женской, «вряд ли труднее сыскать». Ключ к пониманию дает «Казачий суд». Рассказ этот полон мудрого народного юмора и чуть мистифицирующей выдумки: скажем, на похоронах инженера свистит рак, как по щучьему велению отменяя злые козни инженеровых супостатов-родственников. А ведь покойник-то от рака и умер. Так что комедийно-бытовые сценки борьбы за жилплощадь, обрамляющие погребальный обряд, не снижают важности совершающегося ухода человека из мира, а, напротив, наводят на бахтинскую формулу фольклорной смерти, которая, «хороня, рождает».

И поскольку, как утверждает один из персонажей Булгакова, каждому воздастся по его вере, то возможно и такое истолкование предлагаемых обстоятельств: есть, у каждого обязательно есть важные, большие, надличные ценности — например, принадлежность к единству национальной жизни,— поднимающие над обыденностью быта, проходящие сквозь него, скрепляющие с общим замыслом о человеке.

Недавно не имевшие еще ни публикаций, ни профессионального статуса, «знаменитыми проснувшиеся», хотя давно работающие «альтернативные» писатели (каковы Ванеева, Нарбикова, Василенко, Горланова, Елена Тарасова и отчасти несколько раньше вышедшая к читателю и зрителю Нина Садур) наиболее репрезентативны в книжке «Не помнящая зла». На обложке ее, кстати, изображена весьма мрачная и вряд ли добросердечная особа.

А уж вслед за ними идет племя вовсе молодое и вовсе незнакомое. Эна Трамп, как сказано в редакционной справке, «родилась в мае шестьдесят восьмого, что и определило ее дальнейшую судьбу». Действительно, герои ее большой повести «Дети. Толстая книга. Из девяти блуждающих историй» — по жанру скорее роман в рассказах — достаточно типичные члены братства, которое любит Леннона и Гребенщикова, странствует автостопом, увлекается техникой медитации, участвует в движении «зеленых» и употребляет наркотики.

Представлены в сборниках «женской» прозы работы и таких ее безусловных лидеров, как Петрушевская и Толстая. Рассказы последней «Огонь и пыль», «Самая любимая», «Ночь» написаны в устоявшейся манере этого автора, читательски ожидаемой, не становящейся от этого слабее.

«Новые Робинзоны» Людмилы Петрушевской — проза такого отчаяния и такой всесильной, абсолютно несокрушимой надежды, что кажется произведенной уже не индивидуальным, а каким-то коллективным мифологизирующим сознанием. Она ясна и многозначна одновременно. У нее ровное эпическое дыхание и далекий горизонт. Словом, типологически это «женская» проза, поскольку — повторюсь — «женское» и «литературное» здесь сливаются в одно.

Адрес редакцнн: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместнтели главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публнцистикн — 921-14-84, отдел критнкн и библиографии — 928-29-42, отдел поэзни — 921-59-67, для справок — 924-13-48.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 09.09.91. Подписано к печати 04.10.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,17.
Тираж 420 500 экз. Заказ № 890. Цена 1 р. 90 к.

Типография нздательства «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.